ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[10] 2000

РОМАН МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА "ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ" / СТИХИ ИСПАНСКОГО ПОЭТА ХОСЕ МОРЕНО ВИЛЬИ / ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ШТЕРНБУРГА ОБ ЭРИХЕ МАРИИ РЕМАРКЕ / ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ О ПЕРЕВОДАХ "ГИЛЬГАМЕША". ФРАГМЕНТЫ ЭПОСА В НОВОМ ПЕРЕВОДЕ СЕМЕНА ЛИПКИНА

Основан в 1891 году

[10]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2000

Ежемесячный
литературно-
художественный
и публицистический
журнал

3 Мишель Уэльбек. *Элементарные частицы.* Роман. Перевод с французского И. Васюченко и Г. Зингера. Вступление И. Кузнецовой

173 Хосе Морено Вилья. *Стихи разных лет.* Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

181 Петер Карваш. *Два апокрифа.* Перевод со словацкого и вступление В. Каменской и О. Малевича

Документальная проза 199 Вильгельм фон Штернбург. *"Как будто все в последний раз".* Отрывки из книги о жизни и творчестве Эриха Марии Ремарка. Перевод с немецкого А. Егоршева

Трибуна переводчика 257 Вячеслав Вс. Иванов. *Еще одно рождение Гильгамеша.*

Аккадское сказание о Гильгамеше, о все постигшем. Фрагменты. Стихотворное переложение Семена Липкина

Курьер "ИЛ" 281

Авторы номера 286

© "Иностранная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
в 13 350 экземпляров
Министерство культуры
РФ и Министерство РФ по
делам печати, телерадио-
вещания и средств массо-
вых коммуникаций ежеме-
сячно выкупают, а Инсти-
тут "Открытое
общество" направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Г. Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
А. М. Зверев
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Мишель Уэльбек

Элементарные частицы

Роман

Перевод с французского И. Васюченко и Г. Зингера

Трудно припомнить, чтобы за последние десятилетия во Франции какая-либо книга, принадлежащая по всем параметрам к жанру чистого вымысла, вызвала бы такой эмоциональный взрыв и смятение умов, как роман Мишеля Уэльбека "Элементарные частицы". На вернувшихся из отпусков французских критиков обрушился осенью 1998 года "неопознанный летающий объект" — текст на четырехстах страницах, не похожий ни на что, читанное прежде.

"Расширение пространства борьбы", первый роман Уэльбека, уже известного своими эссе и стихами, был встречен в 1994 году с одобрительным любопытством, кое-кто называл его даже культовым. Во всяком случае стало ясно, что появился новый яркий писатель. Его второго романа с нетерпением ждали. Но к такому удару по нервам не был готов никто. Мишель Уэльбек не оставил камня на камне по сути дела ни от чего, на чем держится самосознание современного человека, а уж интеллигента в особенности. И хотя с первых же страниц романа автор ясно дает понять, кому он передоверил функцию рассказчика, из какой "небывалой эпохи" предоставил ему судить наш уходящий век, вышло все равно обидно. Настолько обидно, что проглотить это оказалось нелегко даже видавшей виды французской публике, приученной еще со времен Бальзака к тому, что уважающий себя писатель непременно должен разоблачать и критиковать общество. Уэльбек неожиданно совершил то, что уже давно никому из литераторов не удавалось: он действительно шокировал своих соотечественников.

Оценки роману давались полярно противоположные, нейтральных практически не было, но и сторонники, и хулители сходились в том, что этот сорокалетний ниспровергатель основ необычайно талантлив. Тиражи "Элементарных частиц" до-

© Flammarion, 1998
© И. Васюченко и Г. Зингер. Перевод, 2000
© И. Кузнецова. Вступление, 2000
Печатается в сокращении. Полный текст романа готовится к публикации в издательстве "Иностранка".

стигли бешеных цифр. Заголовки рецензий звучали почти на истерической ноте: "Уэльбек — герольд конца света", "Мишель Уэльбек, или кривое зеркало поколения", "Апокалипсический итог сексуальной свободы в конце столетия". А от тех, для кого главная писательская установка Уэльбека — бить по самым больным местам — оказалась совсем уж неприемлема, на книгу сыпались дефиниции типа "литературная помойка", "порнографическое убожество" и т.п.

Не только активные противники Уэльбека, но и многие беспристрастные читатели попались в ловушки скрытой иронии, которыми изобилует текст. Обманутые внешне простой повествовательной манерой, они поняли буквально и приняли за чистую монету то, что на самом деле являлось просто насмешкой. А Уэльбек продолжал дразнить публику, делая вызывающие и зачастую издевательские заявления в интервью.

Особенно громкий скандал разразился в журнале "Перпендикуляр", с которым Уэльбек много лет сотрудничал. Бывшие друзья и единомышленники исключили его из редколлегии, устроив над ним нечто вроде товарищеского суда и опубликовав стенограмму вопросов и ответов. Уэльбека обвинили в недостатке политкорректности, в коммунистическом отношении к сексу (кто-то назвал его "Карл Маркс секса", и это определение некоторое время кочевало по страницам газет), в симпатиях к католицизму, а также к сталинизму. Любопытная деталь: в романе есть персонаж по фамилии Джерзински. Когда Уэльбек в прошлом году приехал в Россию, его сразу начали спрашивать, какое отношение эта фамилия имеет к Дзержинскому. Оказалось, никакого. Уэльбек никогда не слышал о Дзержинском, понятия не имел, кто он такой, и хотел просто дать герою польскую фамилию[1] ...

Тем временем "Элементарные частицы" выдвинули на Гонкуровскую премию. Правда, в итоге она досталась не Уэльбеку, а писательнице Поль Констан. Решение жюри вызвало споры, шум и только добавило Уэльбеку славы. Он получил другую премию — "Гран-при" в области литературы, и его роман был признан редакцией известного литературного журнала "Лир" лучшей книгой года.

И. Кузнецова

Пролог

ЭТА книга — прежде всего история человека, большая часть жизни которого прошла в Западной Европе второй половины XX столетия. В общем-то одинокий, он изредка тем не менее вступал в отношения с другими людьми. Жил он во времена несчастливые и беспокойные. Страна, где он появился на свет, в экономическом отношении медленно, но неукоснительно переходила в категорию средне бедных государств, а люди его поколения, живя там зачастую под угрозой нищеты, ко всему прочему проводили дни в одиночестве и горьком озлоблении. Чувства любви, нежности, человеческого братства в значитель-

1. Запись беседы с М. Уэльбеком в редакции "Иностранной литературы" можно прочесть в "ИЛ", 1999, № 10 ("Французская литература выходит из чистилища").

ной мере оказались утрачены; в своем отношении друг к другу его современники чаще всего являли пример взаимного равнодушия, если не жестокости.

К моменту своего исчезновения Мишель Джерзински как ученый-биолог был единодушно признан одним из ведущих, ему вполне серьезно прочили Нобелевскую премию, однако истинное его значение не было осознано: оно проявится несколько позже.

В эпоху, когда жил Джерзински, на философию по большей части смотрели как на науку, утратившую не только какое бы то ни было практическое значение, но даже самый свой предмет...

Метафизические мутации, то есть радикальные, глобальные изменения картины мира у подавляющего большинства, — явление редкое в истории человечества. Примером тому может служить зарождение христианства.

Когда метафизическая мутация совершилась, она распространяется, не встречая сопротивления, пока не исчерпает всех своих возможностей. При этом без малейшей оглядки сметаются экономические и политические системы, эстетические каноны, социальные иерархии. Никакая человеческая сила не остановит ее — такой силой может стать лишь новая метафизическая мутация.

Нельзя сказать, что метафизические мутации по преимуществу обрушиваются на общества слабеющие, уже клонящиеся к закату. Когда возникло христианство, Римская империя была в расцвете своего могущества: в высшей степени организованная, она властвовала над всем ей ведомым миром, ее технические и военные достижения не имели аналогов, и при всем том у нее не оставалось ни единого шанса. Когда возникла современная наука, средневековое христианство определяло целостную систему взаимоотношений человека и Вселенной, служило фундаментом для управления народами, движущей силой познания и деятельности, решающим условием как мира, так и войны, определяющим фактором накопления богатств и их распределения; все это никоим образом не могло предотвратить его крушение.

Мишель Джерзински не был ни первым, ни основным виновником третьей, во многих отношениях наиболее радикальной метафизической мутации, призванной дать начало новому периоду мировой истории, но в силу некоторых совершенно исключительных жизненных обстоятельств ему выпало стать одним из самых сознательных, самых прозорливых ее теоретиков и творцов.

Мы живем на заре небывалой эпохи.
Обновленная жизнь наполняет наши тела,
Озаряет наши тела,
Дарит нашим телам ореол немеркнущей радости.
То, что было лишь сладким предчувствием в музыке прошлых времен,
Для любого из нас повседневной реальностью стало.
То, что людям минувших времен рисовалось в мечтах как страна идеала,
Воплотилось в действительность нашу, как сбывшийся сон.
Но это не значит, что мы презираем этих людей.
Нам известно, сколь многим обязаны мы их мечтам,

Нам известно, что мы — порожденье их счастья и боли,
из которых веками слагалась история,
Что наш будущий образ они пронесли через ненависть,
распри и страх, через ужас и горе,
Через годы блужданий во мраке, когда день за днем
писали они земную историю,
И мы знаем, что им бы не выстоять, если бы не было в них,
в глубине их сердец, великой надежды на будущее,
Им бы просто не выжить, если б не эта мечта.

И теперь, когда наступила эпоха света,
Теперь, когда мы живем в непосредственной близости к свету
И свет наполняет наши тела,
Озаряет наши тела,
Дарит нашим телам ореол немеркнущей радости,
Теперь, когда мы живем рядом с этим потоком,
В череде неизменно сияющих дней,

Теперь, когда свет стал реален, доступен и ясен,
Теперь, когда мы достигли цели пути
И навеки покинули царство разлуки,
Царство разлуки с собой,
Чтоб окунуться в бессменную и изобильную радость
Новых законов,
Сегодня,
Впервые,
Мы можем вам рассказать
Про последние дни старого мира[1].

Часть первая. *Утраченное царство*

1

Первое июля 1998 года пришлось на среду. Таким образом, для Джерзински было вполне естественно, хоть и непривычно, упаковать свои дорожные пожитки во вторник вечером. Рефрижератор марки "Брандт", малость осев под тяжестью морозильных цилиндров с эмбрионами, вместе с ними принял в свое нутро бутылки шампанского; он, как правило, служил и для хранения обычных химических продуктов.

Четыре бутылки на пятнадцать термостатов — это относительно справедливо. Впрочем, как и все остальное: интересы, объединяющие их группу, были достаточно поверхностны, одно неосторожное слово, пренебрежительный взгляд, и компания, того и гляди, распадется, каждый побежит к своей машине. Сидели они в полуподвальной комнате с кондиционером, облицованной белой плиткой и украшенной календарем с пейзажами германских озер. Никто не предложил нащелкать фотографий. Молодой исследователь, глуповатый с виду бородач, прибыв-

1. Здесь и далее переводы стихов, за исключением отмеченных особо, И. Кузнецовой.

ший в начале года, через несколько минут смылся, сославшись на проблемы с гаражом. Скованность все заметнее овладевала сотрапезниками. Отпуска были на носу. Одних ждал семейный кров, другие займутся "зеленым туризмом". Разошлись быстро.

К половине восьмого все закончилось. На автомобильную стоянку Джерзински вышел в компании одной из коллег — длинноволосой брюнетки с очень белой кожей и тяжелой грудью. Она была немного старше его. Вероятно, ей предстояло стать его преемницей, возглавив исследовательскую группу. В основании большей части ее публикаций покоился ген DAF3 дрозофилы. Мужа у нее не было.

Остановившись возле своей "тойоты", он улыбнулся и протянул спутнице руку (произвести этот жест, сопроводив его улыбкой, он решил несколькими секундами ранее, так что успел мысленно подготовиться). Ладони сцепились, мягко потрясли друг дружку. Чуть позже он подумал, что этому рукопожатию не хватало теплоты; учитывая ситуацию, они могли бы обняться наподобие министров или каких-нибудь эстрадных певцов.

Покончив с прощальными приветствиями, он забрался в свой автомобиль и пять минут, которые показались ему долгими, сидел без движения. Отчего женщина не уезжает? Она там что, мастурбирует, слушая Брамса? Или, напротив, размышляет о своем продвижении, о новых обязанностях (радуется небось?). Наконец "гольф" специалистки по генетике выехал со стоянки. Он снова остался в одиночестве. Погода стояла великолепная, было все еще жарко. В эти первые летние недели все как будто замерло в сияющей неподвижности; однако долгота дня уже начала убывать, и Джерзински ощущал это.

В свою очередь заводя мотор, он подумал, что работает в престижном районе. Шестьдесят три процента здешних обитателей на вопрос "Ощущаете ли вы, живя в Палезо, преимущества привилегированного района?" отвечают "да". Это можно понять: дома здесь низкие, между ними газоны. Несколько универсамов с легкостью обеспечивают потребности населения. В отношении Палезо понятие *качественной жизни* едва ли показалось бы преувеличением.

Южная автомагистраль в направлении Парижа была пустынна. Впечатление такое, будто он попал в новозеландский научно-фантастический фильм, виденный в пору студенчества: последний человек на Земле после гибели всего живого. Что-то в атмосфере отдавало засушливым апокалипсисом.

На улице Фремикур Джерзински жил лет десять; он к ней привык, здесь было спокойно. В 1993 году он ощутил потребность в обществе чего-то живого, что по вечерам встречало бы его, приходящего домой. Его выбор пал на белого кенаря, существо пугливое. Кенарь пел, особенно по утрам, однако веселым не казался; да и может ли кенарь быть весел? Радость — чувство сильное и глубокое, эмоция чистого восторга, охватывающая сознание целиком; ее можно уподобить опьянению, зачарованности, экстазу. Однажды он выпустил птицу из клетки. В ужасе она накакала на канапе, потом стала бросаться на прутья клетки, ища входную дверцу. Месяц спустя он повторил попытку. На сей раз злосчастная тварь выпала из окна; худо-бедно самортизировав свое падение, птица сумела уцепиться за балкон дома напротив, пятью этажами ниже.

Мишелю пришлось дожидаться возвращения жилицы, питая страстную надежду, что у нее нет кошки. Как он выяснил, девушка была редактором в журнале "Двадцать лет"; она жила одна и домой приходила поздно. Кошки у нее не было.

Настала ночь; Мишель спас крошечное созданье, дрожавшее от холода и страха, прильнувшее к бетонной стенке. Потом он встречал ту редактрису еще несколько раз, в основном когда выносил мусор. Она кивала, вероятно желая показать, что узнала его; он, со своей стороны, тоже кивал. В конечном счете это происшествие позволило ему завязать добрососедские отношения, можно сказать, все обернулось к лучшему.

Из его окон был виден десяток домов, то есть добрых три сотни квартир. Когда по вечерам он возвращался к себе, птица обычно принималась насвистывать и щебетать; это продолжалось минут пять-десять, потом он менял ей корм, воду, подстилку. Однако в тот прощальный вечер его встретила тишина. Он подошел к клетке: кенарь был мертв. Его белая маленькая тушка, уже окоченевшая, лежала на боку на подстилке из гравия.

Он поужинал из пластикового корытца зубаткой с кервелем, купленной в универсаме "Лакомка", сопроводив ее весьма посредственным винцом "Вальдепеньяс". Труп птицы он, поколебавшись, положил в целлофановый пакет, засунул туда же как балласт пивную бутылку и швырнул все это в мусоропровод. А что еще делать? Мессу отслужить?

Где кончается этот мусоропровод, не слишком широкий, впрочем достаточный, чтобы пропустить тельце канарейки? Этого он никогда не знал. И все же во сне ему привиделись гигантские мусорные урны, полные кофейных фильтров, равиолей в соусе и отрезанных половых органов. Громадные, не меньше самой птицы, клювастые черви терзали ее тело. Они вырывали ей лапки, кромсали кишки, пожирали глаза. Он вскочил среди ночи, его трясло; было около половины первого. Проглотил три таблетки ксанакса. Так кончился первый вечер его свободы.

2

Четырнадцатого декабря 1900 года в сообщении Берлинской академии под заглавием "К теории закона распределения энергий в нормальном спектре" Макс Планк впервые ввел понятие "квант энергии", которому предстояло сыграть решающую роль в последующем развитии физики. Если Нильс Бор признан истинным создателем квантовой механики, то причиной этому являются не только его собственные открытия, но, главное, та исключительно творческая атмосфера интеллектуального кипения, свободного поиска и дружбы, которую он умел создавать вокруг себя. Институт физики в Копенгагене, основанный Бором в 1919 году, радушно открыл свои двери всем молодым исследователям, кого можно было назвать надеждой европейской науки.

Джерзински не удалось сколотить подобное сообщество. Внутри исследовательской группы, которой он руководил, царила всего лишь атмосфера присутственного места. Микробиологи, отнюдь не являясь поэтами своего дела, этакими Рембо микроскопа, каких любят вообра-

жать чувствительные профаны, по большей части суть честные технари, не отмеченные печатью гениальности: они читают "Нувель обсерватёр" и мечтают махнуть в отпуск в Гренландию. Исследования в области молекулярной биологии не предполагают никакого творческого горения, никакой изобретательности; по существу, это работа почти всегда рутинная, требующая не первоклассных, а всего лишь приличных интеллектуальных способностей. Люди получают докторские степени, защищают диссертации, в то время как полного набора экзаменов на бакалавра с лихвой хватило бы, чтобы управляться с компьютерами. "Чтобы додуматься до идеи генетического кода, — любил повторять Деплешен, заведующий биологическим отделом Национального совета по научным исследованиям, — чтобы открыть принцип синтеза протеинов, таки надо было малость попотеть, что да, то да. Впрочем, заметьте: первым, кто сунул нос в это дело, был Гамов, физик. Но что до расшифровки ДНК... пфф! Расшифровываешь, расшифровываешь. Создаешь молекулу, потом другую. Вводишь данные в компьютер, компьютер производит расчет составляющих ее цепочек. Посылаешь факс в Колорадо; они создают гены: B27, C33. Та же кухня. По временам удается вносить незначительные усовершенствования в оборудование, обычно этого достаточно, чтобы вам дали Нобелевскую премию. Все это халтура, детские игрушки".

Первого июля после полудня стояла удушающая жара; это был один из тех знойных дней, что плохо кончаются: к вечеру грянула гроза, разгоняя запрудившие город скопления полуголых тел. Окна рабочего кабинета Деплешена выходили на набережную Анатоля Франса. На другом берегу Сены по набережной Тюильри прохаживались на солнышке педерасты, беседуя попарно и группками, одалживая друг другу полотенца. Почти все они были в плавках. Их мускулы, увлажненные кремом для загара, сверкали в ярком свете, выпуклые зады лоснились. Не прекращая болтать, некоторые потирали свои половые органы, обтянутые нейлоном плавок, или запускали туда палец, открывая взгляду шерсть лобка и основание фаллоса. Деплешен пристроил поближе к застекленному проему окна бинокль. По слухам, он тоже был гомосексуалистом; на самом-то деле уже несколько лет он был по преимуществу хорошо воспитанным пьянчужкой. В подобный денек он раза два пытался помастурбировать, прильнув глазом к биноклю и уставившись на юнца, приспустившего плавки, чтобы выпущенный на вольный воздух член начал свое увлекательное восхождение. Но его собственный, плоский, сухой и морщинистый, сразу обвис; а потому упорствовать он не стал.

Джерзински явился точно к четырем. Деплешен сам просил его прийти. Он был заинтригован: случай-то курьезный. Разумеется, когда исследователь берет годичный отпуск, чтобы отправиться поработать в другой команде где-нибудь в Норвегии, Японии или даже в одной из тех мрачных стран, где в сорок лет сплошь и рядом кончают самоубийством, это дело обычное. Некоторые — такие случаи особо участились в "годы Миттерана", когда жажда наживы приобрела невиданные размеры, — вступали на рискованный путь, создавая коммерческие сообщества, чтобы извлечь прибыль из той или иной молекулы; впрочем, иные умудрялись за недолгий срок сколотить приличное состояние, низменным образом превратив в

статью дохода знания, полученные за годы бескорыстных исследований. Но то, как уходит в свободное плавание Джерзински, не имеющий ни планов, ни целей, ни малейшего разумного оправдания, выглядело непостижимым. В свои сорок он был главой исследовательской группы, под его началом работали пятнадцать человек; сам он подчинялся — и то сугубо теоретически — одному Деплешену. Его группа получала великолепные результаты, ее считали одним из лучших научных коллективов Европы. Короче говоря, чего ему не хватало?

Деплешен повысил голос, вопросил с нажимом:

— Что вы намерены делать?

С полминуты продолжалось молчание, потом Джерзински скупо обронил:

— Думать.

Так с места не сдвинешься. Стараясь изобразить шутливость, Деплешен подмигнул:

— Над планами личного характера? — Но вдруг, вглядевшись в серьезное, осунувшееся лицо, в печальные глаза того, кто сидел перед ним, испытал сокрушающий стыд. Личные планы, еще чего! Он сам пятнадцать лет назад отыскал Джерзински в университете в Орсэ. Его выбор оправдал себя как нельзя лучше: это четкий, пунктуальный, изобретательный, творческий ум; результаты были основательны, накапливались в большом количестве. Если Национальному совету по научным исследованиям удалось сохранить за собой почетное место в европейской молекулярной биологии, это в немалой степени произошло благодаря заслугам Джерзински. Условия их контракта выполнены, и с лихвой. — Разумеется, — заключил Деплешен, — за вами будет сохранен доступ к базам данных. Ваши коды доступа к результатам исследований на сервере и к центральному банку данных в Интернете не будут лимитированы каким-либо сроком. Если вам понадобится что-нибудь еще, я в вашем распоряжении.

Когда собеседник удалился, он снова подошел к окну. Он малость вспотел. Шоколадный паренек североафриканского типа на набережной напротив стягивал свои шорты. В области фундаментальной биологии оставались существенные проблемы. Биологи мыслили и действовали так, как если бы молекулы являлись разрозненными материальными элементами, объединяемыми исключительно посредством электромагнитного притяжения и отталкивания; никто из них — он был в этом уверен — слыхом не слыхал о парадоксе EPR, об экспериментах Аспекта; никто даже не взял на себя труда полюбопытствовать, какого прогресса достигла физика с начала столетия; их представления об атоме мало чем отличаются от тех, что были у Демокрита. Они накапливали сведения тупо и однообразно, с единственной целью их немедленного промышленного использования, нисколько не сознавая, что под концептуальный фундамент их деятельности давно подведены минные ходы. Джерзински и он сам, благодаря своему первоначальному физическому образованию, по всей вероятности, были единственными в Национальном совете, кто отдавал себе отчет в том, что, вплотную столкнувшись с атомистикой, современная биология основ жизни взлетит на воздух. Вот о каких вопросах размышлял Деплешен, глядя, как над Се-

ной спускается вечер. Он не мог себе представить путей, какими движется мысль Джерзински; он даже не чувствовал себя способным обсуждать с ним это. Ему подкатывало к шестидесяти, в интеллектуальном плане он себе казался перегоревшим дотла. Педерасты разошлись, набережная опустела. Ему больше не удавалось вызвать воспоминание о своей последней эрекции. Он ждал грозы.

3

Гроза разразилась около девяти вечера. Джерзински слушал шум дождя, потягивая маленькими глотками дешевый арманьяк. Ему только что исполнилось сорок: уж не стал ли он жертвой *кризиса сорокалетия?* Принимая во внимание улучшение условий жизни, сегодня люди сорока лет еще в полной форме, их физическое состояние великолепно; первые признаки, говорящие — как по внешнему виду, так и по реакции организма на нагрузки, — что вот он, порог, от которого сейчас начнется долгий путь вниз, к могиле, все чаще настигают человека ближе к сорока пяти, а то и пятидесяти годам. К тому же этот пресловутый *кризис сорокалетия* зачастую ассоциируется с феноменами сексуальными, с внезапным лихорадочным вожделением к телам очень юных девиц. В случае Джерзински подобные мотивы исключались полностью: член служил ему затем, чтобы помочиться, более ни для чего.

На следующее утро он встал около семи, взял в своей домашней библиотеке "Часть и целое", научную автобиографию Вернера Гейзенберга, и пешком отправился на Марсово поле. Рассвет был свеж и прозрачен. Этой книгой он обзавелся еще в десятилетнем возрасте. Усевшись под одним из платанов аллеи Виктора Кузена, он перечитал то место из первой главы, где Гейзенберг, описывая атмосферу времени своего становления, упоминает о первой встрече с теорией атома:

По всей вероятности, это, как мне думается, случилось весной 1920-го. Исход первой мировой войны посеял смятение и хаос среди молодежи наших краев. Старшее поколение, глубоко разочарованное поражением, на все махнуло рукой, а юношество сбивалось в группы, в большие и малые сообщества с целью отыскать новые пути или на худой конец новый компас, который помог бы сориентироваться, ведь прежние ценности потерпели крах. Так и вышло, что в один прекрасный весенний день я отправился на прогулку с компанией, состоявшей из одного-двух десятков моих товарищей. Если память мне не изменяет, дорога наша лежала через холмы, что тянутся грядой по западному берегу Штарнбергского озера; всякий раз, когда возникал просвет между рядами ярко-зеленых буков, озеро это виднелось внизу слева от нас и, видимо, простиралось до самого подножия гор, которые служили фоном пейзажа. Как ни странно, именно во время той прогулки у нас впервые зашла речь об атомной физике – разговор, которому было суждено оказать большое влияние на весь мой дальнейший жизненный путь.

Часам к одиннадцати жара стала усиливаться. Вернувшись к себе, Мишель завалился на диван, предварительно раздевшись догола. В по-

следовавшие за этим три недели его передвижения были сведены к минимуму. Он напоминал рыбу, которая высовывается временами из воды, чтобы глотнуть воздуха; на какие-то секунды перед ней мелькает райское видение — совсем иной, воздушный мир. Конечно, ей приходится тотчас возвращаться назад, в свою тинистую среду, где рыбы пожирают друг друга. Но были у нее краткие мгновения предчувствия другого мира, совершенного — нашего мира.

Вечером 15 июля он позвонил Брюно. Музыкальный фон в стиле jazz cool придавал голосу его сводного брата едва уловимую напыщенность. Брюно — он-то уж типичная жертва *кризиса сорокалетия.* Носит кожаный плащ, отпустил бороду. Чтобы показать, что видал виды, держится, будто персонаж второразрядного полицейского боевика: курит сигарки, наращивает мускулы. Впрочем, в отношении брата, считал Мишель, кризисом сорокалетия всего не объяснишь. Человек, подверженный этой напасти, жаждет еще пожить, пожить недолго, но полной жизнью. Продлить ее хотя бы чуть-чуть. А брату, судя по всему, все окончательно обрыдло, он просто больше не видит никакого толку в продолжении.

В тот же вечер Мишель отыскал фотографию, сделанную в начальной школе, в Шарни. Взглянул и заплакал. Сидя за партой, мальчик держит в руках раскрытый учебник. Он смотрит в объектив с улыбкой, полный радости и отваги; и этот ребенок — в голове не укладывается — он сам. Мальчик выполняет домашние задания, с доверчивой серьезностью слушает объяснения учителя. Он входит в этот мир, открывает его для себя, и мир не внушает ему страха; он готовится занять свое место в людском сообществе. Все это можно прочесть во взгляде малыша. На нем блуза с отложным воротничком.

Несколько дней Мишель не расставался с фотографией; он прислонил ее к лампе у своего изголовья. Тайна времени банальна — так он пытался уговаривать себя, — все это в порядке вещей: тускнеет блеск глаз, гаснет радость, истощается доверие. Растянувшись на своем диване марки "Bultex", он безуспешно старался приучить себя к недолговечности. На лбу мальчика виднелась маленькая круглая впадина — отметинка ветряной оспы; этот шрам пережил годы. В чем заключена истина? Комнату наполнял полуденный зной.

4

Мартену Секкальди, рожденному в 1882 году в глухой корсиканской деревушке, в безграмотной крестьянской семье, казалось, предстояло провести свой век пастухом и земледельцем, ему была уготована та же ограниченная сфера деятельности, что являлась уделом бесконечной череды сменявшихся поколений его предков. Образ жизни, о котором идет речь, в наших краях давно отошел в прошлое, так что его исчерпывающий анализ представлял бы лишь ограниченный интерес; разве что некоторые радикальные ревнители экологии подчас демонстрируют необъяснимую ностальгию по такому существованию, но я, чтобы не быть односторонним, тем не менее предлагаю дать его краткое суммарное описание: живешь на лоне природы, дышишь свежим воздухом,

возделываешь некий клочок земли, размер коего определяется сообразно строжайше установленному праву наследования; иной раз кабана подстрелишь; трахаешь кого придется направо и налево, в особенности свою жену, каковая рожает тебе *деток*; даешь последним воспитание, дабы они в свой черед заняли твое место в той же экосистеме; с годами начинаешь прихварывать, ну и все, баста.

Особый жребий Мартена Секкальди, по существу, отменно примечателен, ибо свидетельствует о той роли, какую сыграли интеграция французского общества и ускорение технологического прогресса в эпоху Третьей республики, обеспеченное непрестанными усилиями светской школы. Его преподаватель быстро сообразил, что имеет дело с учеником незаурядным, одаренным наклонностями к абстрактному мышлению и определенной изобретательностью, проявить каковые в своей исконной среде ему будет весьма затруднительно. Полностью сознавая, что его миссия не ограничивается лишь снабжением будущих граждан багажом элементарных знаний, так как равным образом ему подобает производить отбор тех, кому со временем предстоит стать для Республики частью ее элиты, он сумел убедить родителей Мартена, что призвание их сына может осуществиться исключительно за пределами Корсики. Итак, в 1894 году, получив право на стипендию, юноша поступил интерном в марсельский лицей Тьера, отлично описанный в воспоминаниях детства Марселя Паньоля, которым было суждено до последних дней Мартена Секкальди стать его излюбленным чтением благодаря великолепному в своей правдивости воссозданию основополагающих идеалов эпохи, воплощенных в жизненном пути одаренного молодого человека, выходца из низов. В 1902 году, полностью оправдав надежды своего первого учителя, он был принят в Высшую политехническую школу.

Девять лет спустя он получил назначение, определившее его дальнейший жизненный путь. Речь шла о создании действенной водопроводной сети, охватывающей всю систему алжирских территорий. Он занимался этим более двадцати пяти лет: производил расчеты кривизны акведуков и диаметра канализационных труб. В 1923 году он женился на Женевьеве Жюли, продавщице, чей род происходил из Лангедока, но последние два его поколения обосновались в Алжире. В 1928 году у них родилась дочь Жанин.

Повествование о жизни человеческой может быть сколь угодно длинным либо коротким. Метафизический или трагический выбор сводится в конечном счете к традиционно запечатленным на надгробном камне датам рождения и смерти. Он привлекает своей предельной краткостью. Но в случае Мартена Секкальди представляется уместным подвергнуть рассмотрению исторический и социальный аспект его судьбы, сосредоточившись не столько на личных особенностях данного индивида, сколько на эволюционных изменениях общества, характерным элементом которого он являлся. Эти характерные представители своего времени, с одной стороны увлекаемые ходом исторического развития, с другой — и сами охотно плывущие по течению, обычно имеют простые, счастливые биографии; подобное жизнеописание в его классическом варианте, как правило, умещается на одной-двух страницах. Что до Жанин Секкальди, она-то принадлежала к удручающей катего-

рии *предтеч*. В своем роде вполне приспособленные к образу жизни большинства современников, предтечи вместе с тем стремятся "быть выше", проповедуя новые либо пропагандируя еще мало распространенные способы существования; жизненный путь предтеч обыкновенно приходится описывать пространнее, тем паче что он часто куда ухабистее и запутанней. Однако же их роль сводится к ускорению исторических процессов, притом ускорению по большей части разрушительному — им никогда не дано придать событиям новое направление: эта миссия возлагается на *революционеров* или *пророков*.

Короче говоря, дщерь Мартена и Женевьевы Секкальди проявляла выдающиеся умственные способности, по меньшей мере равные отцовским, и сверх того демонстрировала весьма независимый нрав. Девственность свою она потеряла в возрасте тринадцати лет (факт чрезвычайный, принимая во внимание эпоху и среду), чтобы затем посвятить годы войны (в тех краях они были довольно мирными) хождениям на все главные балы, имевшие место в конце каждой недели сперва в Константине, потом в Алжире; все это не мешало ей триместр за триместром бесперебойно достигать впечатляющих успехов в школьной науке. Таким образом, в 1945 году покидая родителей, дабы приступить в Париже к изучению медицины, она была вооружена степенью бакалавра с отличием и уже немалым сексуальным опытом.

Жанин Секкальди, студентке медицинского факультета, выпало на долю жить в Париже почти что в "годы экзистенциализма", ей даже представился однажды случай оттанцевать в "Табу" be-bop с самим Жан-Полем Сартром. Не слишком восхищенная трудами этого философа, она, напротив, была поражена доходящим до патологии уродством их автора, так что случай этот последствий не имел. Сама-то она была очень хороша — ярко выраженный средиземноморский тип красоты — и пережила множество любовных приключений, прежде чем в 1952 году ей повстречался Серж Клеман, который в то время заканчивал курс хирургии.

"Описать вам моего старика? — годы спустя любил говорить Брюно. — Возьмите обезьяну, дайте ей мобильный телефон, и папашин портрет готов!" В те времена Серж Клеман, разумеется, не располагал мобильным телефоном; но он и впрямь отличался изрядной волосатостью. В общем-то он был совсем не красавец, зато от его персоны исходило мощное и незамысловатое мужское обаяние, которое должно было прельстить молоденькую студентку. К тому же у него были планы. Поездка в Соединенные Штаты убедила его, что косметология в будущем сулит честолюбивому хирургу заманчивые перспективы. Прогрессирующее распространение соблазнов свободного рынка, распад традиционного брака, вероятность скорого экономического подъема Западной Европы — все и вправду складывалось многообещающе, открывая исключительные возможности для этой области медицины, а у Сержа Клемана было то преимущество, что он одним из первых в Европе — а во Франции безусловно первым — смекнул что к чему; проблема, однако же, состояла в том, что ему не хватало средств, нужных для начального рывка. Мартен Секкальди, приятно пораженный предприимчивостью будущего зятя, согласился ссудить его деньгами, и первая клиника была открыта в 1953 году в Нейи. Успех, подхваченный женскими журнала-

ми, набиравшими в ту пору силу, был сногсшибательный, так что в 1955 году уже открылась вторая клиника, на каннских холмах.

Соединившись, супруги общими усилиями создали то, что в дальнейшем станут называть "современным браком", и если Жанин забеременела от своего мужа, то скорее по оплошности. Тем не менее она решила сохранить ребенка; материнство, по ее мнению, являлось одним из тех испытаний, которые женщина должна пережить; впрочем, период беременности оказался даже приятным, и в марте 1956-го на свет появился Брюно. Скучные заботы, каких требует малолетний ребенок, вскоре показались родителям несовместимыми с их идеалом личной свободы, и в 1958 году Брюно по обоюдному согласию был отправлен в Алжир, к деду и бабке по материнской линии. Жанин к тому времени вновь забеременела, но отцом на сей раз был Марк Джерзински.

Гонимый свирепой нищетой, едва ли не голодухой, Люсьен Джерзински, надеясь получить работу во Франции, в 1919 году покинул Катовицкий угольный бассейн, где был рожден два десятилетия тому назад. Он поступил рабочим на железную дорогу — сначала дорожным строителем, потом смотрителем путей — и взял в жены Мари Леру, дочь батрака, уроженца Бургундии, которая и сама служила в железнодорожном ведомстве. Он подарил ей четверых детей, прежде чем погибнуть в 1944 году при бомбардировке станции авиацией союзников.

Его третьему сыну Марку было четырнадцать, когда отца не стало. Это был умный, серьезный, немножко грустный мальчик. С легкой руки соседа он в 1946 году поступил учеником электрика на киностудию Пате в Жуанвиле. Он тотчас показал себя на редкость способным к этой работе: исходя из кратких инструкций, до прибытия главного оператора подготовил превосходную подсветку общего плана. Его очень ценил сам Анри Алькан. Решив в 1951 году войти в ORTF, Управление французского радиовещания и телевидения, этот прославленный кинооператор даже хотел сделать его своим ассистентом.

Когда Марк познакомился с Жанин — то есть в начале 1957-го, — он работал над телерепортажем, посвященным обитателям Сен-Тропе. Героиней репортажа была Брижит Бардо (фильм "И Бог создал женщину", вышедший в 1956-м, поистине дал старт мифу Бардо), но Марк в поисках материала распространял свой интерес также на некоторые артистические и литераторские кружки, особенно его привлекала та компания, которую впоследствии прозвали "бандой Саган". Этот мир, закрытый для Жанин несмотря на ее деньги, обворожил молодую женщину, и она, казалось, не на шутку увлеклась Марком. Она прониклась убеждением, что он создан из того теста, из которого получаются великие кинорежиссеры; впрочем, по всей вероятности, так оно и было. Работая с осветительной аппаратурой облегченного типа, он умел путем перестановки предметов создавать волнующие кадры в духе Эдварда Хоппера, реалистические, спокойные и в то же время дышащие полнейшей безнадежностью. Общаясь со знаменитостями, он скользил по ним равнодушным взглядом и, снимая Бардо или Саган, оказывал им столько же почтения, сколько мог бы проявить к ракам или кальмарам. Он ни с кем не говорил, ни к кому не выражал симпатии; он был поистине очарователен.

Жанин развелась с мужем в 1958-м, вскоре после того как отправила Брюно к своим родителям. Это был полюбовный развод, каждая из сторон взяла часть вины на себя. Серж великодушно уступил жене свою долю прав на каннскую клинику, одних доходов от которой хватало, чтобы обеспечить ей комфортабельное существование. Новая пара обосновалась на вилле в Сент-Максиме, но Марк ни в чем не изменил своим холостяцким привычкам. Она побуждала его приложить хоть какие-то усилия ради карьеры в кинематографе; он соглашался, но ничего не делал, просто ждал, когда подвернется новый сюжет для репортажа. Если она устраивала прием, он по большей части предпочитал заранее, прямо на кухне перекусить в одиночку, потом шел прогуляться по набережной. А возвращался перед самым уходом гостей, в свое оправдание ссылаясь на то, что пришлось срочно заканчивать монтаж. Рождение сына — это случилось в июне 1958-го — повергло его в видимое смятение. Несколько долгих минут он простоял, уставившись на ребенка, который был на него ошеломляюще похож: то же лицо с четкими чертами, те же выступающие скулы, те же большие зеленые глаза. Чуть погодя Жанин стала ему изменять. Он, вероятно, страдал, но утверждать это мудрено, поскольку, в сущности, он говорил чем дальше, тем меньше. Он строил маленькие алтари из гальки, из хвороста, из панцирей ракообразных. Потом их фотографировал с боковой подсветкой.

Репортаж о Сен-Тропе имел большой успех в определенных кругах, но на вопросы интервьюера из "Кайе дю синема" он отвечать отказался. Его акции еще больше повысились после краткой, весьма острой документальной ленты про группу "Привет, ребята!" и зарождение музыкального стиля йе-йе, которую он сделал весной 1959-го. Художественный кинематограф его совершенно не занимал; он дважды отвечал отказом на предложение поработать с Годаром. В ту пору Жанин завязала знакомство с заезжими американцами, которые временами появлялись на Лазурном берегу. В Соединенных Штатах, в Калифорнии, как раз возникало нечто радикально новое. В Изалене, неподалеку от Биг Сура, создавались коммуны на основе сексуальной свободы и применения психоделических наркотиков, что, как предполагалось, способствует прорыву в область подсознательного. Она стала любовницей Франческо ди Меолы, американца итальянского происхождения, водившего знакомство с Аленом Гинзбергом и Олдосом Хаксли, и вошла в число основателей Изаленской общины.

В январе 1960 года Марк отправился в Народный Китай готовить репортаж о строительстве коммунистического общества нового типа. В Сент-Максим он вернулся 23 июня, часа в три пополудни. Дом выглядел покинутым. Однако в салоне на ковре сидела по-турецки совершенно голая девчонка лет пятнадцати. В ответ на его расспросы она буркнула: "Gone to the beach"[1] , после чего снова впала в прострацию. В спальне Жанин, развалившись поперек кровати, храпел громадный, похоже, пьяный бородач. Марк навострил уши: ему послышался то ли плач, то ли стоны.

В комнате наверху царил ужасающий смрад; яростные лучи солнца, врываясь в окно, озаряли черно-белые квадраты мощенного плиткой

1. Пойдем на пляж (*англ.*).

пола. Его сын неуклюже ползал по этому полу, то и дело оскальзываясь в лужах мочи и кучах экскрементов. Он жмурился и протяжно скулил. Заметив, что в комнату кто-то вошел, малыш попытался спастись бегством. Отец взял его на руки; запуганное крошечное созданье дрожало в его объятиях.

Марк вышел из дому; в ближнем магазине он купил страховочное сиденье для младенца. Пробормотав короткое словцо в адрес Жанин, он забрался в машину, закрепил ребенка на сиденье и покатил в северном направлении. Неподалеку от Валанса он свернул к Центральному массиву. Время от времени, между двумя поворотами, он бросал взгляд на сына, дремлющего у него за спиной, и странное чувство овладевало им.

С того дня Мишель рос под присмотром своей бабушки, которая уединенно жила в Йонне, в крае, откуда была родом. Мать его вскорости отбыла в Калифорнию, чтобы поселиться в коммуне ди Меолы. Мишелю суждено было повидать ее снова, лишь когда ему сравнялось пятнадцать. Впрочем, ему и своего родителя довелось видеть совсем недолго. В 1964 году тот отправился готовить репортаж о Тибете, в ту пору оккупированном китайскими войсками. В письме к своей матери он сообщал, что здоров и находится под большим впечатлением манифестаций тибетских буддистов, которых Китай неистово пытается изничтожить; потом всякая связь прервалась. Протест, с которым Франция обратилась к китайскому правительству, ничего не дал, и хотя тела не нашли, год спустя Марк был официально объявлен пропавшим без вести.

5

На дворе лето 1968-го, Мишелю одиннадцатый год. С двухлетнего возраста он живет вдвоем со своей бабушкой. Живут они в Шарни, что в департаменте Йонна, недалеко от Луаре. По утрам он встает рано, чтобы приготовить для бабушки завтрак; он заготовил специальную шпаргалку, записал в нее, как долго нужно настаивать чай, сколько требуется тартинок и прочие подобные вещи.

Зачастую он не выходит из своей комнаты до самого полдника. Читает Жюля Верна, комиксы про собаку Пифа или про "Клуб пяти", но чаще погружается в многотомное собрание "Вся Вселенная". Там рассказывается о сопротивлении материалов, о разных видах облаков, о пчелиных танцах. Есть и кое-что про Тадж-Махал, дворец, в глубокой древности построенный одним царем в память умершей царицы, про смерть Сократа, про геометрию, созданную Евклидом более двух тысячелетий тому назад.

Послеобеденные часы он проводит в саду. Сидит в коротких штанишках, прислонившись спиной к стволу черешни, наслаждаясь упругой мягкостью травы. Греется на солнышке. Листья салата латука впивают солнечный жар; так же всасывают они и воду; он помнит, что на закате должен их полить. Он и здесь продолжает читать "Всю Вселенную" или какую-нибудь книжку из серии "Сто вопросов о..."; он впивает знания.

Подчас он отправляется на велике в поля. Со всей мочи жмет на педали, наполняя легкие ароматом вечности. Детская вечность коротка, но он того еще не ведает, а пейзаж проносится мимо.

В Шарни только и есть, что одна бакалейная лавка; однако по средам сюда заезжает грузовичок продавца мяса, а по пятницам — рыбного торговца; к субботнему полднику бабушка часто готовит треску под сливочным соусом. Мишель проводит в Шарни свое последнее лето, хотя сам пока не знает об этом. В начале года у бабушки был инсульт. Две ее дочери, живущие в парижском предместье, теперь подыскивают ей дом поближе к ним. Ей больше не под силу жить круглый год одной, ухаживать за своим садом.

С мальчишками-сверстниками Мишель играет редко, но отношения с ними у него неплохие. За ним признано право держаться несколько особняком; в школе он делает отменные успехи, учение ему дается без видимого усилия. По всем предметам он неизменно первый, и разумеется, бабушка этим горда. Но товарищи не злятся на него, не изводят. Во время письменных работ он безотказно позволяет им списывать. Ждет, не переворачивает страницу, пока его сосед не закончит. И сидит в последнем ряду, наперекор своим выдающимся успехам. Хрупко благополучие его царства.

6

Однажды летним днем — он в ту пору еще обитал в Йонне — Мишель удрал в луга со своей кузиной Брижит. Брижит была хорошенькой, в высшей степени милой девушкой шестнадцати лет, которой несколько лет спустя предстояло выйти замуж за ужасающего болвана. Дело происходило летом 1967-го. Она взяла его за руки и закружила, заставляя бежать вокруг нее; потом они рухнули в изнеможении на свежескошенную траву. Он прикорнул у ее горячей груди; юбчонку она носила коротенькую. Назавтра оба покрылись мелкими красными прыщами, тела их то и дело пожирал бешеный зуд. Thrombidium holosericum, в просторечии именуемый клещиком-краснотелкой, — весьма распространенный обитатель летних лугов. Диаметр его — около двух миллиметров. Он плотный, мясистый, очень выпуклый, ярко-красного цвета. Внедряясь своим хоботком в кожу млекопитающих, причиняет нестерпимое раздражение. Linguatulia rhinaria, или пятиустка, селится в носовой полости, лобных либо верхнечелюстных пазухах собак, а иногда и людей. Личинка овальна, с хвостиком в задней части; во рту у нее жвалы, предназначенные для перфорации. Две пары выступов (или отростков) снабжены длинными коготками. Взрослая особь бела, ланцетовидна, достигает длины от 18 до 85 миллиметров. Туловище у нее уплощенное, кольчатое, прозрачное, покрыто хитиновыми иголочками.

В декабре 1968-го бабушка переселилась в департамент Сена-и-Марна, поближе к дочерям. Поначалу жизнь Мишеля от этого почти не изменилась. Окрестности Креси-ан-Бри, расположенного не более чем в полусотне километров от Парижа, в ту пору были еще сельской местно-

стью. Красивый городок, сплошь из старинных домов, Коро написал здесь несколько своих полотен. Система каналов, подводящих сюда воды реки Гран-Морен, обеспечила Креси звание Брийской Венеции, во всяком случае так без зазрения совести величали его некоторые проспекты. Из здешних жителей мало кто ездит на работу в Париж. Большинство занято на маленьких местных предприятиях либо, того чаще, находит себе работу в Мо.

Два месяца спустя бабушка приобрела телевизор; тогда как раз на первом канале только что появилась реклама. В ночь на 21 июля 1969 года Мишель смог воочию наблюдать первые шаги человека на Луне. Семьсот миллионов телезрителей, рассеянных по поверхности планеты, присутствовали на этом спектакле одновременно с ним. Вероятно, те несколько часов, что продолжалась трансляция, можно назвать кульминационной точкой первого периода западной технологической мечты.

Прибыв в Креси-ан-Бри в разгар учебного года, он тем не менее легко адаптировался в местном общеобразовательном коллеже и в пятый класс перешел без затруднений. По четвергам он неизменно покупал "Пифа", который к тому времени обновился. В противоположность большинству читателей, он его покупал не ради полиграфических новшеств, а из-за самого сюжета, полного приключений. Наперекор пестрой смене эпох и декораций в этих историях на сцену выступали простые, глубокие нравственные ценности. Реньяр-викинг, Тедди Тед и Апач, "сын свирепых веков" Раган, Ходжа Насреддин, дурачивший визирей и халифов, — их всех сближала единая мораль. Мишель очень быстро это понял, и такое осознание должно было наложить на него неизгладимую печать. Впоследствии чтение Ницше не вызвало в нем ничего, кроме мимолетной досады, а знакомство с Кантом лишь послужило подтверждением того, что он уже знал. Законы чистой морали единственны и всеобъемлющи. С течением времени она не подвергается ни ущербу, ни обогащению. Не обусловленная никакими историческими, экономическими, социологическими или культурными факторами, она ровным счетом ни от чего не зависит. Ничем не предопределяемая, она предопределяет. Беспричинная, сама служит причиной. Иными словами, это — абсолют.

Мораль, наблюдаемая на практике, всегда являет собой представленную в различных пропорциях смесь чистой нравственности с другими составляющими более или менее темного, по большей части религиозного происхождения. Чем значительнее в этой смеси доля первозданной морали, тем продолжительнее и благополучнее может быть существование общества, избравшего ее своей опорой. В идеальном случае общество, организованное согласно универсальным законам нравственности, было бы способно просуществовать вплоть до конца света.

Мишеля восхищали все герои "Пифа", но его любимцем, конечно же, был Черный Волк, индеец-одиночка, благородное средоточие всех доблестей апачей, сиу и чейеннов. Черный Волк без конца странствовал по прериям, сопровождаемый своим конем Чинуком и волком Тупи. Он не только действовал, без колебаний бросаясь на помощь всем слабым и угнетенным, но и постоянно комментировал собственные поступки, причем опирался на трансцендентные этические категории, порой облекая их в поэтическую форму пословиц племени кри либо дакотов,

порой и того проще — ссылаясь на "закон прерий". Мишель даже годы спустя волей-неволей признавал его идеальным типом кантианского героя, неизменно действующего так, "словно бы его максимы давали ему право заседать в законодательном собрании вселенского королевства избранных".

Телевизор занимал его меньше. Однако он со стесненным сердцем смотрел еженедельные передачи из серии "Жизнь животных". Газели и лани, эти грациозные млекопитающие, проводили свои дни в страхе. Львы и пантеры пребывали в состоянии тупой апатии, прерываемой краткими вспышками свирепости. Они убивали, терзали, пожирали слабых, старых или больных зверей, а потом вновь погружались в бессмысленную сонливость, пробуждаемые от нее разве что нападениями паразитов, что грызли их изнутри. Между деревьев скользили змеи, цапая своими ядовитыми зубами птиц и млекопитающих, если только чей-нибудь хищный клюв внезапно не разрывал на части их собственное тело. Важный, глупый голос Клода Дарже сопровождал эти жестокие сцены комментариями, исполненными ничем не оправданного восторга. Мишеля трясло от отвращения, и в эти минуты он также ощущал, как растет в нем непререкаемая убежденность: в целом дикая природа, какова она есть, не что иное, как самая гнусная подлость; дикая природа в ее целостности не что иное, как оправдание тотального разрушения, всемирного геноцида, а предназначение человека на земле, может статься, в том и заключается, чтобы довести этот холокост до конца.

В апреле 1970-го "Пиф" вышел в свет с новым куншtюком, которому предстояло получить широкую известность и запомниться: то был так называемый "порошок жизни". К каждому номеру прилагался пакетик с икрой крошечных морских рачков Artemia salina. Эти организмы в продолжение нескольких тысячелетий пребывали в анабиозе. Процедура, необходимая для их оживления, была в меру сложна: следовало трое суток отстаивать воду, затем подогреть, всыпать туда содержимое пакетика, мягко взболтать. В последующие дни надлежало держать сосуд вблизи от источника света и тепла, регулярно добавляя туда воду должной температуры, тем самым компенсируя выпаривание; осторожно перемешивать жидкость, дабы насытить ее кислородом. Через несколько недель в бутылке кишела масса полупрозрачных рачков, сказать по правде, малость неаппетитных, но бесспорно живых. Не зная, что с ними дальше делать, Мишель кончил тем, что выплеснул все в Гран-Морен.

Их дом в Креси по всей длине был обсажен черешнями, сад был чуть поменьше, чем в Йонне. Мишель и здесь читал "Всю Вселенную" и "Сто вопросов о...". Когда мальчику исполнилось двенадцать, бабушка ко дню рождения подарила ему набор "Юный химик". Химия была куда заманчивее, чем механика или электричество: и таинственнее, и многообразней. Химикаты покоились в своих коробочках, различные по цвету, форме и фактуре, словно сущности, разлученные навек. Однако стоит лишь столкнуть их между собой, и начнется бурная реакция, молниеносно образующая совершенно новые соединения.

Июльским днем, в один из тех послеполуденных часов, когда он читал в саду, Мишель пришел к мысли, что химические основы жизни могли бы быть в корне иными. Ту же роль, какую в составе молекул жи-

вой плоти играют молекулы углерода, кислорода и азота, могли бы исполнять молекулы с той же валентностью, но более высоким атомным весом. На другой планете, при иных температурных условиях и силе тяготения, молекулы жизни могли бы содержать кремний, серу и фосфор или, скажем, германий, селен и мышьяк, а то еще олово, теллур и сурьму. Не было никого, с кем он бы мог как следует потолковать об этих вещах, и потому бабушка по его просьбе купила ему несколько книжек по биохимии.

7

Первое воспоминание Брюно относилось к его четырем годам; то было воспоминание об унижении. Он ходил тогда в детский сад в парке Лаперлье, в Алжире. Однажды осенним днем воспитательница объясняла мальчикам, как делать гирлянды из листьев. Маленькие девочки ждали, сидя на бугорке; печать тупой бабьей покорности уже проступала в их облике; почти на всех были белые платьица. Землю покрывал золотистый ковер листвы, по большей части каштанов и платанов. Его товарищи, один за другим заканчивая работу, подходили каждый к своей избраннице, чтобы обвить гирляндой ее шею. У него дело не двигалось, листья крошились в руках, все разваливалось. Как им объяснить, что он нуждается в любви? Как объяснить это без лиственной гирлянды? Он разрыдался от ярости; воспитательница не пришла к нему на помощь. Все было кончено, дети встали со своих мест, пошли прочь из парка. Вскорости тот детский сад закрылся.

Его дед и бабка занимали очень красивые апартаменты на бульваре Эдгара Кине. Дома буржуа в центре Алжира были построены в том же стиле, что и парижские здания эпохи Наполеона III. Квартиру пересекал двадцатиметровый коридор, ведущий в гостиную с балконом, откуда можно было смотреть на белый город сверху. Даже много лет спустя, став разочарованным сорокалетним брюзгой, Брюно порой как воочию видел эту картину: он сам, четырех лет от роду, что было сил жмет на педали трехколесного велосипеда, катя по темному коридору к открытой сияющей двери балкона. Вероятно, именно в те мгновения он познал отпущенный ему максимум земного счастья.

В 1961 году дедушка у́мер. Мысленно Брюно снова видит гроб красивого, глубокого черного цвета с серебряным крестом и деда в нем. Картина умиротворяющая, даже счастливая: дедушке, должно быть, хорошо в таком великолепном гробу. Позже ему придется узнать о существовании клещей и трупных личинок с именами второразрядных итальянских кинодив. И все-таки даже теперь образ дедушкина гроба встает перед его глазами как счастливое видение.

Еще он воочию представляет себе свою бабушку в день их приезда в Марсель, как она сидит на чемодане посреди выложенной плиткой кухни. По полу снуют тараканы. Вероятно, именно в тот день ее рассудок пошатнулся. Всего за несколько недель она пережила смерть мужа, зрелище его агонии, поспешный отъезд из Алжира, тягостные поиски жи-

лья в Марселе. Квартал, где они очутились, на северо-западе города, был грязен. Прежде она никогда не бывала во Франции. И дочь ее покинула, не приехала на погребение отца. Тут, наверное, крылась какая-то ошибка. Когда-то, кем-то совершенная ошибка.

Она оправилась и прожила еще пять лет. Обосновалась, купила мебель, поставила для Брюно кровать в столовой, записала его в начальную школу квартала. Каждый вечер приходила забирать его оттуда. Он стыдился этой маленькой старой женщины, дряхлой, высохшей, водившей его за ручку. У других были отцы и матери; дети разведенных родителей встречались в ту пору редко.

По ночам она снова и снова прокручивала в памяти этапы своей жизни, пришедшей к такому печальному концу. Потолок в квартире был низкий, летом стояла удушающая жара. Ей удавалось заснуть лишь перед самой зарей. Днем она бродила по квартире в стоптанных туфлях и, сама того не сознавая, вслух повторяла по пятьдесят раз подряд одни и те же фразы. У нее все не шел из головы поступок дочери. "Не приехать на похороны родного отца..." Она блуждала из комнаты в комнату, порой не выпуская из рук половую тряпку или кастрюлю, забыв, зачем их взяла. "Похороны родного отца... Похороны родного отца..." Ее туфли шаркали по плиточному полу. Брюно испуганно замирал, съежившись в своей кровати; он понимал, что все это добром не кончится. Иногда она принималась за свое с самого утра, еще в домашнем халате и бигудях. "Алжир — это Франция..."; потом начиналось шарканье. Она бродила по двум комнатам из угла в угол, ее взгляд застывал, устремленный в одну невидимую точку. "Франция... Франция..." — твердил ее голос, постепенно слабея.

Она все еще оставалась хорошей кулинаркой, это была ее последняя отрада. Для Брюно она готовила вкусную и обильную еду, которой можно было бы накормить десять человек. Перцы в масле, анчоусы, картофельный салат: иногда подавалось пять различных закусок прежде основного блюда — фаршированных кабачков, зайца с оливками, по временам кус-кус. Только кондитерские изделия ей не слишком удавались, но в дни, когда получала пенсию, она приносила коробки с нугой и миндальным печеньем из Экса, сливки с каштановой пудрой. Мало-помалу Брюно стал жирным, трусливым ребенком. Сама-то она почти ничего не ела. По воскресеньям она вставала попозже; он забирался к ней в постель, прижимался к ее тощему телу. Иногда он воображал, что встает ночью, берет нож и вонзает ей прямо в сердце; потом он видел самого себя на полу, всего в слезах, возле ее трупа, ему представлялось, что он и сам тут же умрет.

В конце 1966 года она получила письмо от дочери, узнавшей ее адрес от отца Брюно — они обменивались посланиями на каждое Рождество. Жанин не выразила особого сожаления о прошлом, вспомнив о нем лишь в одной фразе: "Я узнала о смерти папы и о твоем переезде". Между делом она сообщала, что покинула Калифорнию, вернулась на юг Франции и там поселилась; но адреса не дала.

Мартовским утром 1967 года, пытаясь приготовить кабачковые оладьи, старая женщина опрокинула сковороду с кипящим маслом. У нее хватило сил выйти из квартиры в коридор; ее стоны потревожили соседей. Когда Брюно возвратился вечером из школы, дома он застал мадам

Аузи, что жила этажом выше; она повела его прямиком в больницу. Ему позволили войти к бабушке на несколько минут; ее ожоги были скрыты под простынями. Она получила большую дозу морфина; тем не менее Брюно она узнала, взяла его руку в свои; потом мальчика увели. Ночью сердце остановилось.

Во второй раз Брюно пришлось столкнуться со смертью. И снова смысл происшедшего почти полностью ускользнул от него. Даже годы спустя, сдав контрольную работу по французскому языку или удачное сочинение на историческую тему, он говорил себе, что расскажет об этом бабушке. Конечно, он тут же вспоминал, что она умерла, но эта мысль, то пропадая, то возвращаясь, в сущности, не прерывала их диалога. Когда его допустили к участию в конкурсе на замещение должности лицейского преподавателя современной литературы, он долго обсуждал с нею свои заметки; впрочем, тогда он уже верил в ее присутствие только в минуты душевного помрачения. По такому случаю он купил две банки сливок с каштановой пудрой; то был их последний большой разговор. Выиграв конкурс и получив место преподавателя, он заметил, что больше не может выйти на контакт с нею; и тогда образ бабушки медленно растаял, скрылся за стеной.

На следующий день после похорон имела место странная сцена. Его отец и мать, которых он видел впервые, спорили о том, что они станут с ним делать. Это происходило в столовой их марсельской квартиры. Брюно слушал, сидя на кровати. Всегда любопытно послушать, как другие говорят о тебе, особенно если они, по-видимому, не осознают твоего присутствия. Так и самому недолго потерять уверенность в собственном существовании, здесь есть своя прелесть. В общем, казалось, будто все это не имеет к нему прямого касательства. А между тем этому разговору предстояло сыграть решающую роль в его жизни, и он множество раз будет вспоминать его, хотя так никогда и не сумеет почувствовать настоящее волнение. Он не сможет восстановить прямую, кровную связь между собой и двумя взрослыми людьми, что в тот день в столовой особенно поразили его своей высокорослостью и моложавой повадкой. В сентябре Брюно должен был пойти в шестой класс; было решено, что для него подыщут пансион и что отец будет брать его к себе в Париж на уик-энды. Мать постарается время от времени забирать его на каникулы. У Брюно возражений не было: эти двое не показались ему определенно враждебными. Настоящей жизнью, как ни крути, была для него жизнь с бабушкой.

8. Животное омега

Брюно наклоняется над раковиной умывальника. Сбрасывает пижамную курточку. Его белый маленький живот сморщился, прижатый к фаянсу раковины. Ему одиннадцать лет. Он хочет почистить зубы, как делает это каждый вечер. Он надеется, что его туалет обойдется без неприятностей. Тем не менее Вильмар тут как тут, приближается, пока еще один, и толкает Брюно в плечо. Он начинает отступать, дрожа от стра-

ха; он примерно знает, что сейчас будет. “Отстань...” — слабо бормочет он.

Подходит Пеле. Этот низкоросл, коренаст, чрезвычайно силен. Пеле с размаху влепляет Брюно пощечину, тот плачет. Потом они толкают его на пол, хватают за ноги и тащат волоком. Возле уборной они срывают с него пижамные штаны. Член у него маленький, еще детский, растительности совсем нет. Они вдвоем дергают его за волосы, заставляя открыть рот. Пеле тычет ему в лицо сортирной шваброй. Он чувствует вкус дерьма. Он вопит.

Подходит Брассер; ему четырнадцать, он старший из шестиклассников. Он достает свой член, который кажется Брюно огромным, толстым. Он становится над ним и писает ему на лицо. Вчера он заставил Брюно сосать ему член, а потом лизать его зад; но нынче вечером он не этого хочет. “Клеман, у тебя хер совсем голый, — говорит он, издеваясь, — надо его побрить, чтоб волосы лучше росли...” Другие по знаку своего вожака обмазывают член мальчика кремом для бритья. Брассер раскрывает лезвие бритвы, примеривается. От страха Брюно обкакивается.

Мартовской ночью 1968 года надзиратель обнаружил его, сжавшегося в комок, голого, обмазанного нечистотами, в сортире в дальнем конце двора. Распорядился, чтобы ему принесли пижаму, и отвел его к старшему надзирателю Коэну. Брюно окаменел от ужаса при одной мысли, что его заставят говорить, что придется назвать имя Брассера. Но Коэн, хоть его и подняли с постели среди ночи, принял мальчика ласково. Не в пример надзирателям, находившимся под его началом, он обращался к воспитанникам на “вы”. В его послужном списке это был третий, и притом не самый худший пансион; он знал, что жертвы почти всегда отказываются называть имена своих палачей. Все, что он мог сделать, это наложить взыскание на надзирателя, ответственного за порядок в дортуаре шестиклассников. Большинство этих ребят было брошено на произвол судьбы собственными родителями, и вся власть над ними была сосредоточена в его руках. После ухода Брюно он сварил себе кофе, перелистал список учащихся шестого класса. Он заподозрил Пеле и Брассера, но у него не было ни единой улики. Если удастся припереть их к стенке, он доведет дело до исключения. Он не питал ни малейших иллюзий относительно свойств человеческой природы, если она не подчинена контролю закона. Со времени своего прибытия в пансион в Мо он сумел внушить воспитанникам страх. Коэн знал, что без этого последнего бастиона законности, которую он здесь представлял, расправам над мальчиками вроде Брюно не будет никакого предела.

Оставленный в шестом классе на второй год, Брюно воспринял это с облегчением. Пеле, Брассер и Вильмар перешли в пятый и находились теперь в другом дортуаре. К несчастью, после министерских директив, вызванных событиями 68-го, было решено сократить число надзирателей пансионов, взамен учредив систему самодисциплины; такая мера отвечала духу времени, к тому же с ней сопрягалось такое преимущество, как сокращение расходов на выплату жалованья. Проникнуть из одного дортуара в другой стало проще; пятиклассники завели обычай не реже чем раз в неделю устраивать набеги на дортуар младших; к себе они воз-

вращались, прихватив одну, иногда две жертвы, и сеанс начинался. В конце декабря Жан-Мишель Кемпф, худенький пугливый мальчик, поступивший в пансион в начале года, чтобы избавиться от своих мучителей, выпрыгнул в окно. Падение могло оказаться смертельным, ему еще повезло, что отделался множественными переломами. Лодыжка была сильно повреждена, раздробленную кость едва восстановили. Было ясно, что мальчик останется калекой. Коэн учинил генеральный допрос, усиливший его подозрения; Пеле, несмотря на упорное запирательство, он исключил сроком на три дня. Практически все звериные сообщества основываются на системе подчинения в зависимости от соотношения сил их членов. Для этой системы характерна строгая иерархичность: самого сильного самца группы именуют "животное альфа", того, кто занимает второе место по силе, называют "животным бета", и так далее вплоть до "животного омега" — слабейшего в иерархии. Позиция в ней обыкновенно определяется посредством ритуала боя. Высокий ранг дает некоторые преимущества: право насыщаться первым, совокупляться с самками стаи. В то же время слабейшее из животных, как правило, имеет возможность уклоняться от схваток, принимая позу "покорности" (приседая, подставляя зад). Ситуация, в которой находился Брюно, была не столь благоприятной. Владычество на основании грубой силы, присущее всем животным сообществам, уже у шимпанзе (Pan troglodytes) сопровождается актами неоправданной жестокости в отношении слабейших. Эта тенденция достигает своего полного развития в примитивных людских сообществах и в обществах развитых среди детей и подростков. *Жалость*, или идентификация чужих страданий со своими собственными, возникает позже; далее эта самая жалость быстро систематизируется, преобразуясь в *нравственный закон.*

Воскресными вечерами, когда отец, как всегда, отвозил его на своем "мерседесе" назад в пансион, Брюно начинала бить дрожь при одном приближении к Нантей-ле-Мо. Отец Брюно поспевал обычно как раз к началу семичасовой трапезы. За стол садились восемь человек, лучшие места доставались тем, кто постарше. Они себе накладывали помногу, а потом плевали в тарелку, чтобы малыши не могли за ними доесть.

Каждое воскресенье Брюно думал, не поговорить ли с отцом открыто, но в конце концов приходил к заключению, что это невозможно. Отец полагал, что мальчик должен уметь за себя постоять. Серж Клеман в свои сорок два был человеком, что называется, преуспевающим. У него к этому времени были три косметологические клиники: одна в Нейи, вторая в Везинэ, третья неподалеку от Лозанны, в Швейцарии. Когда его бывшая жена собралась в Калифорнию, он сверх того получил место заведующего клиникой в Канне, откуда ему перечислялась половина дохода. Сам он давно не оперировал, но был, как обычно говорят, "хорошим управленцем". Он не слишком понимал, как ему вести себя с сыном. Вероятно, он желал ему добра, но при условии, что это не потребует от него слишком большой траты времени; он испытывал легкое чувство вины. В конце недели, когда Брюно приезжал к нему, он обычно воздерживался от встреч со своими любовницами. Он покупал в домовой кухне готовые блюда, они обедали с глазу на глаз; потом смотрели телевизор. В игры с сыном он играть не умел. Иногда Брюно вста-

вал ночью, пробирался к холодильнику. Он насыпал в чашку воздушную кукурузу, разбавлял молоком или свежими сливками, засыпал все это толстым слоем сахара. Потом принимался есть. Так он съедал несколько чашек, ел, пока тошно не станет. Его живот тяжелел. Было приятно.

9

В плане эволюции нравов 1970 год был отмечен быстрым распространением сбыта и потребления эротической продукции, наперекор все еще бдительной цензуре, которая пыталась вмешаться. Мюзикл "Волосы", призванный сделать достоянием широкой публики "сексуальную революцию" шестидесятых, имел большой успех. Гологрудые купальщицы быстро заполонили пляжи южного побережья. На протяжении нескольких месяцев число парижских секс-шопов выросло от трех до сорока пяти.

В сентябре Мишель пошел в четвертый класс и начал изучать немецкий в качестве второго из живых языков. Занятия немецким и стали причиной его знакомства с Аннабель...

Якоб Вилкенинг родился в Леувардене, в Западной Фрисландии; попав во Францию четырех лет от роду, он сохранил лишь весьма туманное понятие о своем голландском происхождении. В 1946 году он взял в жены сестру одного из своих ближайших друзей; ей было семнадцать, и она не знала других мужчин. Послужив какое-то время на заводе, выпускавшем микроскопы, он открыл собственное предприятие по изготовлению точных оптических приборов, работавшее преимущественно как субподрядчик вместе с Анженье и Пате. Японцы в то время не представляли опасности как конкуренты; Франция производила великолепные объективы, некоторые из них могли соперничать с изделиями Шнейдера и Цейса; его предприятие процветало. У супругов было двое сыновей, 48-го и 51-го года рождения; потом, много позже, в 1958-м, на свет появилась Аннабель.

Рожденная в счастливой семье (за двадцать пять лет своего брака ее родители ни разу всерьез не поссорились), Аннабель не сомневалась, что ее судьба будет такой же. Задумываться об этом она начала в то лето, что предшествовало их встрече с Мишелем. Где-то в мире жил юноша, которого она не знала, он тем более не знал ее, но он — тот, с кем ей суждено прожить всю жизнь. Она постарается сделать его счастливым, и он, он тоже сделает все возможное, чтобы дать ей счастье; но она не представляла себе, какой он, на кого может походить; это ее очень беспокоило.

Они стали заходить друг к другу, чтобы вместе готовить домашние задания по немецкому. Мишель жил на другой стороне улицы, примерно метрах в пятидесяти. Они чем дальше, тем чаще стали проводить вместе воскресенья и четверги; он являлся к ней сразу же после полудня. "Аннабель, твой жених идет", — объявлял ее братец, выглянув в сад. Она

краснела, но родители, те воздерживались от насмешек над ней. Мишель им очень нравился, и она догадывалась об этом.

Это был странный мальчик: он ничего не смыслил ни в футболе, ни в певцах из варьете. Одноклассники не испытывали к нему антипатии, он болтал со многими, но всегда держался на определенном расстоянии. До появления Аннабель никто из школьных товарищей ни разу не побывал у него дома. Он привык к одиноким мечтам и размышлениям. Мало-помалу привыкал он и к присутствию своей подружки. Часто они садились на велосипед и поднимались по склону Вуланжи; потом блуждали по лугам и лесам пешком, взбирались на холм, с которого открывался вид на долину реки Гран-Морен. Они бродили среди зарослей высокой травы, учась понимать друг друга.

10. Всему виной Каролина Иессайян

С начала того же 1970 года положение Брюно в пансионе немного улучшилось; он перешел в четвертый класс и считался отныне старшеклассником. Начиная с четвертого класса и вплоть до выпуска ученики переселялись в другое крыло здания, в дортуары, разделенные на боксы по четыре кровати в каждом. В глазах своих палачей он был уже полностью унижен, размолот в пыль; они мало-помалу переключались на новые жертвы. В том же году Брюно стал интересоваться девочками. Время от времени, не часто, мужской и женский пансионы устраивали совместные прогулки. По четвергам после обеда, если стояла хорошая погода, они отправлялись на некое подобие пляжа, что тянулся вдоль берегов Марны в окрестностях Мо. Там в одном кафе было полно столов для электрического бильярда и настольного футбола, однако главной местной достопримечательностью являлся питон в стеклянном аквариуме. Мальчишки развлекались, дразня животное: если постучать пальцем по стеклу, вибрация, передаваясь питону, приводила его в бешенство, он начинал бросаться на стенку, с силой бился о стекло, пока не падал в изнеможении. Однажды октябрьским днем, после полудня, Брюно разговорился с Патрицией Хохвайлер; девочка была сиротой и покидала пансион только во время каникул, когда уезжала к дяде в Эльзас. Тоненькая, светловолосая, она говорила очень быстро, и на ее подвижном лице порой проступала странная улыбка. Неделю спустя он получил жестокий удар, увидев ее сидящей раздвинув ноги на коленях Брассера; тот держал ее за талию и взасос целовал. Тем не менее Брюно не вывел из этого никаких кардинальных умозаключений. Если скоты, которые много лет терроризировали его, пользуются успехом у девочек, то просто потому, что только они и осмеливаются их кадрить. К тому же он заметил, что Пеле, Вильмар и даже Брассер избегают бить и унижать малышей, когда поблизости появляется девочка.

Начиная с четвертого класса воспитанники получали право записываться в клуб любителей кино. Сеансы проводились по четвергам, вечером в актовом зале мужского пансиона; там собирались и мальчики, и девочки. Однажды декабрьским вечером перед показом "Вампира Носферату" Брюно сел рядом с Каролиной Иессайян. Когда фильм подхо-

дил к концу, он, уже больше часа только о том и думавший, очень осторожно положил левую руку ей на коленку. Несколько восхитительных мгновений (секунд пять? или шесть? самое большее — десять) ничего не происходило. Она не шевелилась. Затем, ни слова не говоря, без резких движений, отстранила его руку. Позже, и притом весьма часто, давая себя пососать какой-нибудь потаскушке, Брюно волей-неволей вспоминал те несколько пугающе блаженных секунд; приходилось ему вспоминать и тот момент, когда Каролина Иессайян мягко оттолкнула его руку. В глубине души мальчика, за всеми его сексуальными вожделениями, таилось что-то бесконечно нежное, чистое. Им владело простодушное желание коснуться любящего тела, ощутить объятие любящих рук. Нежность превыше соблазна, потому-то утратить надежду так трудно.

Почему Брюно в тот вечер положил свою ладонь на коленку Каролины Иессайян, а не взял ее за локоть (на что она бы, по всей вероятности, согласилась, и с этого, может статься, начался бы между ними прекрасный роман, ведь она сама заговорила с ним, когда они стояли в очереди, ей хотелось, чтобы он сел рядом с ней, и она нарочно положила руку на подлокотник, разделявший их сиденья; на самом-то деле она давно приметила Брюно, он ей очень нравился, и она горячо надеялась, что в этот вечер он возьмет ее за руку)? Наверное, вся беда в том, что ляжка Каролины Иессайян была оголена, а он в простоте душевной не подумал, что это ничего не значило. По мере того как, взрослея, Брюно с отвращением припоминал переживания своих детских лет, сущность его жребия, освобождаясь от мелочей, представала перед ним в холодном свете непоправимой очевидности. В тот декабрьский вечер 1970 года Каролина Иессайян, без сомнения, могла бы исцелить его от горечи и унижений раннего детства; после же этого первого фиаско (ибо с тех пор как она мягко отвела его руку, он так никогда больше и не осмелился сказать ей еще хоть слово) все стало куда сложнее. А между тем Каролина Иессайян по своей всечеловеческой сути решительно ни в чем не была повинна. Напротив, эта армяночка с кротким взглядом ягненка и длинными черными курчавыми волосами, вследствие безвыходных семейных передряг заброшенная в мрачные стены женского пансиона при лицее в Мо, сама по себе являлась живым доводом в пользу рода человеческого. Если все надежды рухнули в безотрадную пустоту, причиной тому был пустяк, подробность, почти гротескная в своем ничтожестве. Тридцать лет спустя Брюно был совершенно убежден: если признать за анекдотическими деталями случившегося их подлинное значение, можно подвести следующий итог: всему виной была мини-юбка Каролины Иессайян.

Кладя руку ей на коленку, Брюно, по существу, не больше и не меньше как просил Каролину Иессайян выйти за него замуж. Первоначальная пора его отрочества пришлась на переходную эпоху. Если не считать немногих предтеч — кстати, его родители могли служить достаточно болезненным примером этой человеческой разновидности, — представители старшего поколения установили чрезвычайно крепкую связь между супружеством, сексуальными влечениями и любовью.

Идеологический конфликт, который подспудно зрел на всем протяжении 60-х, в начале 70-х вырвался наружу в таких изданиях, как “Двад-

цать лет" и "Мадемуазель нежного возраста", сосредоточившись вокруг центрального вопроса эпохи: "Что можно себе позволить до брака?" В ту же пору чувственно-гедонистические тенденции, идущие из США, получили мощное подкрепление со стороны органов прессы анархического направления: таковы первые номера "Актюэль" (октябрь 1970-го) и "Чарли-Эбдо" (ноябрь). Принципиально отрицая капитализм в смысле его политических перспектив, сии периодические издания в основном приветствовали индустрию развлечений: их коньком были разрушение основ иудео-христианской морали, апология молодости и личной свободы. Для Патриции Хохвайлер, для Каролины Иессайян все это было далеко не просто; любимые журналы отвечали на их вопросы невнятно, противоречиво. В более зрелые годы (уже получив степень бакалавра) девушка испытывает потребность в "более серьезном переживании" (позже немецкие журналы подберут для этого термин "big love"), тут уж основной вопрос будет звучать так: "Должна ли ты жить с Джереми?"

Для Аннабель все было по-другому. По вечерам, засыпая, она думала о Мишеле; ее радовало, что, проснувшись завтра, она снова его увидит. Когда во время школьных занятий случалось что-либо забавное или любопытное, она тотчас начинала предвкушать тот момент, когда сможет рассказать об этом ему. В те дни, когда они почему-либо не могли встретиться, она испытывала беспокойство и тоску. Во время летних каникул (у ее родителей был дом в Жиронде) она что ни день ему писала. Если она и не признавалась в том открыто, если ее письма не были пламенными и больше походили на послания, какие она могла бы писать брату-ровеснику, если чувство, наполнявшее жизнь этой девочки, скорее окутывало ее облаком нежности, чем опаляло всепожирающей страстью, то истина тем не менее постепенно открывалась ее сознанию, и она была такова: с первых шагов, не ища и даже, собственно, не желая того, она обрела *большую любовь*. Первый встречный оказался лучшим, другого ей было не нужно, даже речи об этом не могло быть. "Мадемуазель нежного возраста" гласила, что подобное возможно: забивать этим себе голову не стоит, в действительности такое почти никогда не встречается, однако в некоторых, чрезвычайно редких, едва ли не сказочных, но тем не менее бесспорно достоверных случаях это может происходить. И в этом самое большое счастье, какое доступно человеку на земле.

11

С тех времен у Мишеля сохранилась фотография, снятая во время пасхальных каникул 1971 года в саду родителей Аннабель; ее отец спрятал шоколадные пасхальные яйца под деревьями и на цветочных клумбах. На фотографии Аннабель изображена среди форситий; всецело поглощенная поисками, она с детской серьезностью раздвигает кусты. Черты ее лица начинают приобретать тонкость, уже можно догадаться, какой необыкновенной красавицей она станет. Ее грудь слегка об-

рисовывается под пуловером. То был последний раз, когда на Пасху у них были шоколадные яйца: год спустя они были уже слишком большими для подобных забав.

Годам к тринадцати под действием прогестерона и эстрадиола, выделяемых яичниками, на грудях и ягодицах девушки образуются жировые подушечки. Если все складывается наилучшим образом, эти части тела приобретают вид гармонических округлостей; тогда их созерцание рождает в мужчине порывы вожделения. У Аннабель было прелестное тело. Как у ее матери в этом возрасте. Но лицо у матери было лишь приятное, привлекательное, не более. Ничто не предвещало мучительной вспышки красоты Аннабель, от которой матери делалось не по себе. Не иначе как от отца, от голландской ветви семейства Аннабель достались большие голубые глаза, ослепительный водопад белокурых волос; но только небывалая морфогенетическая случайность могла создать ее лицо, эти черты, потрясающие в своей чистоте. Девушка, обделенная красотой, чувствует себя несчастной, она теряет надежду быть любимой. Разумеется, никто не насмехается над ней, не обходится с нею жестоко, но она словно невидимка — когда она проходит, ничей взгляд не провожает ее. Красота чрезвычайная, красота слишком сильно превосходящая обычную прелесть свежей, соблазнительной юности, производит впечатление сверхъестественности, в ней чудится неизбежное предвестие трагического жребия. Аннабель в свои пятнадцать лет стала одной из тех весьма редких девушек, при виде которых мужчины — все, без различия возраста и положения, — замирают, пораженные. Она быстро заметила, что при ее появлении где бы то ни было, хоть в кафе, хоть в лекционном зале, все замолкают, но прошли годы, прежде чем она полностью осознала причину этого молчания. В коллеже в Кресиан-Бри тот факт, что "она с Мишелем", был общепризнан; но, по правде говоря, и не будь этого, никто из парней все равно бы не посмел предпринять что-либо, чтобы сблизиться с ней. В жизни необычайно красивых девушек это одно из главных осложнений: только видавшие виды бабники, развязные и циничные, чувствуют себя с ними свободно; таким образом, сокровище их невинности обычно достается типам самого низкого пошиба, что и становится часто первой стадией непоправимого краха.

В сентябре 1972 года Мишель пошел во второй класс лицея в Мо. Аннабель была в третьем, ей предстояло пробыть в коллеже годом дольше. Из лицея он возвращался поездом, пересаживаясь в Эбли на "кукушку". До Креси он по обыкновению добирался в 18.33; Аннабель ждала его на вокзале. Они бродили вдвоем по улицам городка. Иногда — довольно редко — заходили в кафе. Теперь Аннабель знала, что не сегодня-завтра наступит день, когда Мишель захочет ее обнять, ласкать ее тело, преображение которого она ощущала. Она ждала этого момента без нетерпения, но и без страха: ее не покидало доверие.

Если основные свойства сексуального поведения врожденны, то механизм приведения их в действие во многом определяется обстоятельствами первых лет жизни, особенно это касается птиц и млекопитающих. Насущную потребность в предварительных тактильных контактах с соответствующими органами, по-видимому, испытывают собаки, кош-

ки, крысы, морские свинки и макаки-резусы (Macaca mulatta). У самца крысы отсутствие в детском возрасте контакта с матерью приводит к весьма серьезным извращениям в половом поведении, в частности к заторможенности в процессе ухаживания. Если бы от этого зависела его жизнь (кстати, в немалой степени она действительно зависела от этого), Мишель даже тогда не мог бы поцеловать Аннабель. Вечером, когда он с портфелем в руке выходил из "кукушки", она часто так радовалась при виде его, что буквально бросалась к нему на шею. Тогда они на несколько мгновений замирали в блаженном параличе и только после этого начинали разговор.

Брюно тоже учился в лицее Мо и тоже во втором классе, но в другом; ему было известно, что у его матери есть еще один сын от другого отца; ничего больше он не знал. Мать он видел очень редко. Два раза он во время каникул побывал на вилле, которую она занимала в Касси. Она принимала у себя много молодых людей, которые появлялись и исчезали. Странствующие юнцы. Из тех, кого расхожая пресса называла "хиппи". По существу, они не работали: пока жили у Жанин, она их содержала; свое имя она изменила, пожелав, чтобы ее называли Джейн. Итак, они жили на доходы клиники косметической хирургии, основанной ее бывшим мужем, то есть в конечном счете паразитировали на желании некоторых женщин, имеющих на то средства, бороться с неизбежным увяданием и врожденными недостатками наружности. Хиппи плескались в бухточках нагишом. Брюно отказывался снять плавки. Он казался сам себе белесым, мелкорослым, отталкивающим и жирным. Иногда его мать пускала кого-нибудь из парней к себе в постель. Ей было уже сорок пять, ее груди отощали и малость обвисли, но черты лица оставались великолепными. Брюно раза по три на дню одолевал соблазн. Округлости молодых женщин были так близки, доступны, подчас его отделяло от них расстояние меньше метра, однако Брюно как нельзя лучше понимал, что путь к ним ему заказан: другие парни были выше, крепче, их загар отливал бронзой. Годы спустя Брюно пришел к выводу, что круг мелких буржуа, мир департаментских служащих, чиновников невысокого ранга много терпимее, приветливее, в нем больше открытости, нежели в среде молодых маргиналов, каковую представляли в ту эпоху хиппи. Со времени своего первого пребывания у матери Брюно осознал, что хиппи никогда не примут его; он не был и не имел надежды стать привлекательным самцом. По ночам ему снились красивые голые груди. В ту же пору он начал зачитываться Кафкой. Поначалу он ощутил холод, потаенное оледенение души; несколько часов спустя после того как был дочитан "Процесс", он все еще чувствовал себя отяжелевшим, обессиленным. До него вдруг дошло, что этот замедленный, клейменный стыдом мир, где живые существа блуждают, сталкиваясь в космической пустоте, но никакая близость между ними во веки веков невозможна, в точности отражает мир его сознания. Холодный, тягучий. Если где-то существовало тепло, оно пряталось в единственном горячем месте — между ног у женщин; но этот источник тепла был недостижим.

Становилось все очевиднее, что дела Брюно плохи: друзей у него нет, девушки пугают его, и вся его юность — одно сплошное удручающее поражение. Осознав это, его отец ощутил, как на него наваливается все

возрастающее чувство вины. На Рождество 1972 года он настоял на встрече со своей бывшей женой, чтобы обсудить происходящее. В ходе переговоров обнаружилось, что сводный брат Брюно обучается в том же лицее, также во втором классе (только группа другая) и что они никогда между собой не встречались; это его больно задело, как отвратительный признак семейного распада, за который они оба были в ответе. Впервые проявив волю, он добился, чтобы Жанин возобновила общение со своим вторым сыном, попыталась исправить то, что еще может быть поправимо.

Жанин не питала особых иллюзий относительно чувств, какие может питать к ней бабушка Мишеля; однако все оказалось даже несколько хуже, чем она себе представляла. Не успела она припарковать свой "порше" перед особнячком в Креси-ан-Бри, как старуха вышла оттуда с хозяйственной сумкой в руке. "Помешать вам увидеться с ним я не могу, ведь он ваш сын, — заявила она резко. — Я отправляюсь за покупками, вернусь через два часа и хочу, чтобы к этому времени вас здесь не было". С тем и удалилась.

Мишель был у себя в комнате; она толкнула дверь и вошла. Собиралась обнять его, но едва протянула руку, как он отшатнулся на добрый метр. Подрастая, он начал приобретать поразительное сходство с отцом: те же тонкие светлые волосы, такое же резко очерченное лицо с выступающими скулами. Она привезла ему в подарок проигрыватель и несколько альбомов "Роллинг стоунз". Все это он взял, не сказав ни слова (пластинки переломал несколько дней спустя, но проигрыватель сохранил). Его комната была опрятна, на стенах ни одной афиши. Книга по математике лежала раскрытая на откидной доске секретера. "Что это?" — спросила она. "Дифференциальные уравнения", — сдержанно отвечал он. Она намеревалась поговорить о том, как ему живется, пригласить на каникулы; все это оказалось очевидным образом невозможно. Она ограничилась тем, что сообщила ему о скором визите брата; он выразил согласие. Часа не прошло, как она здесь, а молчание уже затягивалось, и тут из сада послышался голос Аннабель. Мишель бросился к окну, крикнул ей, чтобы поднималась. Жанин успела мельком глянуть на девушку, когда та входила в садовую калитку. "Она хорошенькая, твоя подружка..." — обронила она, слегка скривив губы. Это замечание Мишель встретил как удар хлыста: его лицо исказилось. Направляясь к своему "порше", Жанин столкнулась с Аннабель, глянула ей в глаза; во взгляде Жанин читалась ненависть.

По отношению к Брюно бабушка Мишеля не испытывала ни малейшей неприязни; на ее взгляд, чересчур общий, но в конечном счете верный, он тоже был жертвой этой противоестественной матери. Итак, Брюно взял за правило наносить Мишелю визиты по четвергам после обеда. Он садился на "кукушку" в Креси-ла-Шапель. Всякий раз, когда это было возможно (а возможность предоставлялась почти всегда), он усаживался напротив какой-нибудь одинокой юной пассажирки. Девушки по большей части сидели закинув ногу на ногу, или блузка была прозрачной, или что-нибудь еще... Располагался он, точнее говоря, не прямо напротив, скорее по диагонали, но подчас и на той же скамейке, метрах в двух. Он возбуждался уже при одном взгляде на длинные волосы, белокурые или

каштановые; выбирая себе место, бродя между рядами, он чувствовал, как под плавками оживает боль. Садясь, он тотчас же доставал из кармана носовой платок. Надо было лишь раскрыть папку для бумаг, пристроить ее к себе на колени, а там уж раз-два и готово. Иногда, если девушка раздвигала колени в тот самый момент, когда он извлекал свой член, у него не было даже надобности прикасаться к себе: он испускал фонтан, стоило ее трусикам мелькнуть перед глазами. Носовой платок был данью предосторожности, большей частью он извергал семя прямо на страницы своей папки: на уравнения второй степени, таблицы видов насекомых, данные по добыче угля в СССР. Девушка продолжала листать журнал.

Прошли годы, но Брюно по-прежнему пребывал в сомнении, не находя ответа на многие вопросы. То, что с ним происходило, было напрямую связано с боязливым толстым малышом, чьи фотографии он сохранил. Он, этот мальчик, напрямую был связан с терзаемым желанием взрослым мужчиной, которым он стал. Детство Брюно было мучительным, отрочество — жестоким; теперь ему сорок два, так что, если рассуждать объективно, до смерти еще далеко. Что ему осталось в жизни? Возможно, несколько фелляций, за которые, Брюно знал это, он будет платить все с большей готовностью. Жизнь, направленная к одной цели, оставляет мало места воспоминаниям. По мере того как его эрекция становилась все быстротечнее и труднее, Брюно впадал в безвольную, печальную расслабленность. Секс являлся главным смыслом его существования; теперь он понял, что изменить что-либо уже невозможно. В этом отношении Брюно был типичным представителем своей эпохи. В плане профессиональном его единственной — и весьма разумной — целью было внедриться в тот "обширный и не имеющий четко очерченных границ средний класс", что впоследствии описал Жискар д' Эстен. Но род людской горазд выстраивать иерархии: в человеке сильна потребность ощущать превосходство над себе подобными. Дания и Швеция, служившие для европейских демократий образцом в смысле достижения экономического равенства, давали вместе с тем и другой повод для подражания — пример *сексуальной свободы.* Во время одной лингвистической конференции, происходившей в июле 1972 года в маленьком баварском городке Траунштайне близ австрийской границы, некто Патрик Кастелли, молодой француз из его группы, на протяжении трех недель умудрился поиметь тридцать семь куколок. Брюно за то же время показал нулевой счет. Он до того дошел, что продемонстрировал продавщице супермаркета свой пенис — хорошо хоть, она расхохоталась и не стала подавать на него жалобу. Этот Патрик Кастелли, подобно ему, принадлежал к буржуазному семейству и хорошо успевал в учебе; по части имущественного положения их перспективы были равноценны. Большинство юношеских воспоминаний Брюно было в том же роде.

Теперь уже двадцать пять лет прошло с тех пор, как Брюно впервые узнал Мишеля. Брюно казалось, что за этот кошмарный срок сам он почти не изменился; гипотеза о постоянстве личностной сути, чьи основные свойства даны человеку раз и навсегда, была в его глазах самоочевидной истиной. И однако же обширные пласты его собственной исто-

рии уже безвозвратно утонули в потемках забвения. Месяцы, целые годы канули так, словно он и не прожил их. Но этого нельзя было сказать о последних двух годах его отрочества, столь богатых воспоминаниями, опытом становления. Память человеческой жизни, как много позже объяснял ему сводный брат, похожа на "консистентные истории" Гриффитса. То был майский вечер, они сидели в квартире Мишеля, пили кампари. Они редко вспоминали прошлое, по большей части их разговоры касались насущных политических либо социальных проблем; но в тот вечер они сделали это.

— Ты вспоминаешь различные моменты пережитого, — подытожил Мишель, — эти воспоминания предстают перед тобой в разных видах; к тебе возвращаются мысли, побуждения, лица. Иногда просто вспоминаешь имя, скажем, Патриция Хохвайлер, о которой ты только что упомянул, хотя сегодня ты бы не узнал ее при встрече. Иногда всплывает лицо, а не можешь даже припомнить, чье оно. В случае Каролины Иессайян все, что тебе известно о ней, с абсолютной точностью сконцентрировано в тех нескольких секундах, когда твоя ладонь лежала у нее на колене. Термин "консистентные истории" в 1984 году был введен Гриффитсом в научный оборот с целью установить связь между количественными измерениями в описаниях вероятностей. "История" по Гриффитсу строится исходя из некоей последовательности более или менее случайных измерений, имевших место в разное время. Каждое измерение удостоверяет факт наличия определенной физической величины, эвентуально отличной от результатов, получаемых при других измерениях, и для каждого определенного момента соотносимой с некой областью значений. Ты обладаешь представлением о своем "я". Это представление позволяет тебе построить некую гипотезу, а именно: история, которую ты в данный момент реконструируешь из собственных воспоминаний, есть *логически обоснованная* или консистентная история, оправданная в той мере, в какой ее изложение односоставно и не подразумевает чужих "голосов". В качестве изолированного индивида с не изменяемыми в течение определенного отрезка времени условиями существования, подчиняющегося определенной онтологической иерархии свойств и сущностей, ты с неизбежностью, можешь не сомневаться, подпадаешь под описание в терминах "гриффитсовской консистентной истории". Конечно, эта гипотеза изначально соотносится со сферой реальности, а не твоих мечтаний.

— Мне легче думать, что мое "я" иллюзорно, пусть даже это мучительная иллюзия, — мягко возразил Брюно; на это Мишель, ничего не знавший о буддизме, ответить не сумел.

Им было не просто говорить друг с другом, они и виделись-то не чаще чем дважды в год. Смолоду они порой затевали жаркие споры, но то время ушло безвозвратно. В сентябре 1972 года они вместе выбрали естественно-научную специализацию; затем в течение двух лет прошли курс математики и физики. В науках Мишель был на три головы выше своих однокорытников. Он уже начал понимать, что мир человеческих отношений обманчив, полон горечи и тревог. Математические уравнения давали ему светлую, живую радость. Блуждая в полумраке, он вдруг нащупывал выход: несколько формул, каких-нибудь дерзких факторизаций, и восходишь на новую ступень, к сияющей ясности. Первое из урав-

нений доказательства было самым волнующим, ведь на полпути истина еще сомнительна, едва мерцает вдали; последнее уравнение оказывалось самым радостным, самым ослепительным. Аннабель в том же году перешла во второй класс лицея в Мо. После занятий они часто встречались, все трое. Потом Брюно возвращался в интернат, Аннабель и Мишель направлялись в сторону вокзала. Ситуация приняла странный и печальный оборот. В начале 1974 года Мишель с головой погрузился в пространства Гилберта; потом он приобщался к теории измерений, открывал для себя интегралы Римана, Лебега и Стилтьеса. Брюно в это время читал Кафку и онанировал в "кукушке". Однажды майским днем в бассейне, который только что открылся в Шапель-сюр-Креси, он получил большое удовольствие, сдвинув край полотенца и продемонстрировав свой отросток двум девчонкам лет двенадцати; ему было особенно приятно видеть, как они подталкивают друг дружку локтями, и убедиться, что зрелище их заинтересовало; с одной из них, маленькой шатенкой в очках, он обменялся долгим взглядом. Слишком несчастный и ущемленный, чтобы всерьез задумываться о чужих психологических проблемах, Брюно тем не менее смекнул, что у сводного брата дела обстоят еще хуже, чем у него. Они часто втроем ходили в кафе; Мишель носил спортивные куртки на молнии и смешные шапочки, он не умел играть в настольный футбол, да и разговор поддерживал в основном Брюно. Мишель сидел без движения, говорил все реже и реже; поднимая глаза на Аннабель, он смотрел внимательно и бесстрастно. Аннабель не протестовала; для нее Мишель был чем-то вроде воплощения истин иного, лучшего мира. Примерно в ту же пору она прочитала "Крейцерову сонату" и некоторое время думала, что эта книга помогла ей понять его. Двадцать пять лет спустя Брюно казалось очевидным, что они тогда попали в положение совершенно ненормальное, шаткое и безнадежное; когда вглядываешься в прошлое, всегда возникает впечатление — может статься, ложное — некой предопределенности.

12. В стандартном режиме

> В эпохи революций те, кто с таким странным чванством присваивают себе дешевую заслугу возмутителей спокойствия, вызвавших у своих современников взрыв анархических страстей, не замечают, что своим прискорбным триумфом они в первую очередь обязаны стихийно сложившемуся положению вещей, обусловленному определенной совокупностью общественных явлений.
>
> Огюст Конт. *Курс позитивной философии. Лекция 48*

Середина семидесятых годов во Франции была отмечена скандальным успехом "Призрака рая", "Заводного апельсина" и "Штучек" — трех в высшей степени несхожих между собой фильмов, массовый спрос на которые тем не менее должен был послужить доказательством коммерческой перспективности "культуры молодых", по существу основанной на сексе и насилии, которой в течение последующих десятилетий предстояло завоевывать все более обширный рынок. Разбогатевшие трид-

цатилетние, юношество шестидесятых, со своей стороны получили полное удовлетворение своих запросов в "Эмманюели", вышедшей на экран в 1974-м, насыщенный картинами приятного времяпрепровождения, экзотическими пейзажами и фантазмами, единственный в своем роде на культурном фоне, еще остающемся иудео-христианским, этот фильм был манифестом вступления в цивилизацию развлечений.

В более общем смысле движение за свободу нравов в 1974 году достигло важных успехов. 20 марта в Париже открылся первый клуб "Витатоп", призванный сыграть новаторскую роль в области установления культа телесной физической мощи. 5 июля был принят закон о гражданском совершеннолетии в восемнадцать, 11-го того же месяца — закон о разводе по обоюдному желанию: статья о супружеской измене была изъята из уголовного кодекса. Наконец, 28 ноября под нажимом левых был утвержден закон Вейля, разрешающий аборт и большинством комментаторов в итоге бурных дебатов объявленный "историческим". И верно, христианская антропология, в странах Запада долгое время непререкаемая для большинства, придавала безмерное значение жизни любого человека с момента зачатия до смерти; это значение основывалось на том факте, что христиане верили в существование *души* внутри человеческого тела — души, бессмертной в своей основе, в грядущем предназначенной воссоединиться с Господом. Под влиянием прогресса биологии в девятнадцатом и двадцатом веках мало-помалу возникла антропология материалистическая, радикально отличная от предшествующей и куда более умеренная в своих нравственных требованиях. С одной стороны, зародышу, маленькому сгустку ткани, пребывающей в состоянии непрерывного деления и дифференциации клеток, статус индивидуального автономного существа может быть присвоен не иначе как при условиях некоего социального консенсуса (отсутствие генетического порока, приводящего к неполноценности, согласие родителей). С другой стороны, старик, будучи средоточием органов, подверженных длящемуся распаду, может реально осуществлять свое право на выживание лишь при условии достаточной согласованности своих органических функций — введение в качестве критерия понятия *человеческое достоинство*. Этические проблемы, возникшие в отношении двух крайних возрастов живущего (аборт вначале; потом, несколько десятилетий спустя, эвтаназия), должны отныне основываться на противоположности двух взглядов на мир, на таких непримиримых определяющих факторах, как две антропологии, крайне антагонистические по самой своей сути.

Никогда не провозглашаемый открыто, вопрос о *ценности* жизни человеческой тем не менее продолжал пробивать себе дорожку в умах; можно без малейшего сомнения утверждать, что отчасти именно он послужил причиной того общего депрессивного, едва ли не мазохистского умонастроения, которое распространилось в цивилизованных странах Запада за последние несколько десятилетий.

Для Брюно, которому только что исполнилось восемнадцать, лето 1974-го стало важнейшим и даже решающим жизненным этапом. Много лет спустя, когда он обратился за помощью к психиатру, ему приходилось многократно возвращаться к подробностям той поры, представляя их так или иначе, — психиатр, казалось, и в самом деле высоко оценивал важ-

ность этих рассказов. Каноническая версия, которую любил преподносить ему Брюно, была следующая:

— Это произошло ближе к концу июля месяца. Я на неделю поехал погостить к матери на Лазурный берег. Там вечно кто-нибудь жил проездом, народу было полно. В то лето она крутила любовь с канадцем — здоровенным желторотым типом с мордой настоящего дровосека. Утром накануне своего отъезда я проснулся очень рано. Солнце уже припекало. Я зашел к ним в комнату, они оба спали. Я поколебался секунду-другую, потом сдернул простыню. Мать пошевелилась, какое-то мгновение я ждал, что она откроет глаза; ее бедра были слегка раздвинуты. Я опустился на колени, наклонился к ней. Протянул руку, но коснуться ее не посмел. Я вышел наружу, чтобы вытрястись. Она вечно подбирала кошек, у нее их было много, все более или менее дикие. Я подошел к молодому черному коту, который грелся на камне. Земля вокруг дома была каменистая, сплошь белая галька, беспощадной белизны. Кот несколько раз поглядывал на меня, пока я мастурбировал, но он закрыл глаза прежде, чем из меня полилось. Тогда я нагнулся, поднял большой камень. Череп кота разлетелся на куски, мозг разбрызгался вокруг. Я забросал труп галькой, потом возвратился в дом; там еще никто не проснулся. В то утро мать отвезла меня к отцу, он жил километрах в пятидесяти. В машине она впервые заговорила со мной о ди Меоле. "Он тоже покинул Калифорнию четыре года назад, — сказала она, — и купил большое поместье близ Авиньона, на склонах Ванту. Летом к нему съезжается молодежь со всей Европы, а также из Северной Америки". Она думала, что я мог бы съездить туда летом, это, дескать, открыло бы передо мной новые горизонты. Учение ди Меолы ориентировано в основном на браминские традиции, но, по ее словам, чуждо фанатизма и нетерпимости. Оно равным образом принимает в расчет завоевания кибернетики, PNL и приемы дезомбирования, разработанные в Изалене. Его главная цель — освобождение личности, раскрытие ее глубинных творческих возможностей. "Мы используем не более десяти процентов наших нейронов!"

"К тому же, — прибавила Джейн (они в ту минуту проезжали через сосновый лес), — там ты смог бы пообщаться с молодежью, с твоими ровесниками. За то время, что ты у нас прожил, у всех сложилось впечатление, что у тебя трудности сексуального плана. Западный образ жизни, — продолжала она, — вносит путаницу и извращения во все, что касается секса. Во многих первобытных сообществах инициация происходила на пороге отрочества, естественным образом, под контролем взрослых членов племени". Тут она еще напомнила: "Я твоя мать". Но не пожелала присовокупить, что в 1969 году она сама инициировала Давида, сына ди Меолы. Давиду тогда было тринадцать. В первый вечер она перед ним разделась, дабы подбодрить его в процессе мастурбации. Во второй она пустила в ход руки и язык. И наконец на третий день ему было позволено в нее войти. Для Джейн это стало весьма приятным воспоминанием: член мальчика оказался крепким и при своей несгибаемости безгранично восприимчивым даже после нескольких извержений; нет сомнения, что именно с этого момента она окончательно переключилась на юнцов. "Однако же, — уточнила она, — инициация всегда происходила вне круга, связанного прямым родством". Брюно

вздрогнул и спросил себя, не проснулась ли она утром по-настоящему в тот миг, когда он смотрел на нее. Тем не менее в замечании его матери не содержалось ничего особенно удивительного: существует же табу на инцест у пепельных гусей и мандрилов, этот факт научно доказан. Автомобиль подкатил к Сент-Максиму.

— Заявившись к своему отцу, — продолжал Брюно, — я сразу понял, что чувствует он себя неважно. Тем летом он смог взять всего две недели отпуска. В ту пору у него, похоже, были проблемы с деньгами: дела впервые оборачивались худо. Позже он мне объяснил. Он проворонил внезапно возникший спрос на силиконовые груди. Счел это мимолетным капризом моды, который не выйдет за пределы американского рынка. Идиотизм чистой воды. Ведь не было случая, чтобы мода, пришедшая из Соединенных Штатов, не сумела несколькими годами позже затопить всю Западную Европу: такого не случалось. А один из его молодых компаньонов не упустил момента, он открыл собственное дело, стал изготавливать силиконовые бюсты и переманил у него большую часть клиентуры.

Ко времени этой исповеди отцу Брюно было семьдесят, и цирроз вскоре должен был прикончить его. "История повторяется, — хмуро ворчал он, заставляя льдинки позванивать в стакане. — Этот хренов Понсе (речь шла о том самом молодом предприимчивом хирурге, что двадцать лет назад стоял у истоков его разорения) только что отказался инвестировать работы по удлинению полового члена. Он называет это колбасной торговлей, у него и в мыслях нет, что в Европе вот-вот развернется рынок подобных товаров. Понсе! Кретин хренов. Такой же болван, как я в свое время. Эх, было бы мне сейчас тридцать, уж я бы удлинения членов не упустил!" Сообщив об этом, он по обыкновению впадал в унылое размышление, каковое заканчивалось дремотой. Разговор в таком возрасте малость буксует, не без того.

В июле 1974-го родитель Брюно переживал еще только первый этап своего краха. В послеобеденные часы он запирался у себя в комнате со стопкой романчиков Сан-Антонио и бутылкой бурбона. Оттуда он выбирался часам к семи, трясущимися руками готовил ужин. Не то чтобы он умышленно избегал разговоров с сыном, просто у него не получалось, ничего не выходило, и все тут. Часа через два молчание становилось не на шутку тягостным. Брюно стал после обеда уходить, отсутствовал до ночи, просто-напросто болтался по пляжу.

Продолжение истории занимало психиатра куда меньше, но сам Брюно эту часть своей биографии очень ценил и отнюдь не желал обходить молчанием. К тому же этот балбес здесь для того и торчит, чтобы слушать, работа у него такая, разве нет?

— Она была одинока, стало быть, — продолжал Брюно, — целыми днями на пляже, и все одна. Бедная девчушка из богатеньких, вроде меня. Толстуха, сказать по правде, невысокая копна с робким личиком, слишком белой кожей и в прыщах. На четвертый вечер, как раз накануне отъезда, я взял свою папку и уселся с ней рядом. Она лежала на животе, в раздельном купальнике, расстегнув лифчик. Насколько помнится, я не нашел ничего лучше как спросить: "Ты на каникулах?" Она подняла на меня глаза; конечно, вряд ли она могла рассчитывать на особую изыс-

канность обращения, однако к такой примитивности, вероятно, была не совсем готова. В конце концов мы познакомились, ее звали Анник. Она как раз собралась встать, и я гадал: попытается она застегнуть лифчик или, напротив, выпрямится, показав мне груди? Она выбрала нечто среднее: перевернулась на спину, придерживая лифчик на боках. В финальной позиции чашки бюстгальтера слегка съехали вбок и прикрывали ее лишь отчасти. Грудь у нее была и впрямь большая, уже и отвисала немножко, а во что она превратится с годами, и представлять не хотелось. Я тогда подумал, что храбрости ей не занимать. Протянул руку и стал подсовывать ладонь под бюстгальтер, все больше оголяя грудь. Она не шевелилась, но малость напряглась и глаза зажмурила. Я еще дальше продвинул руку. Соски у нее были твердыми. Эта минута осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни.

Потом все пошло сложнее. Я повел ее к себе, мы сразу поднялись ко мне в комнату. Я боялся, как бы она не попалась на глаза отцу; он-то, что ни говори, был человеком, имевшим всю свою жизнь дело с очень красивыми женщинами. Но он спал; в тот вечер он был пьян, сказать по правде, в стельку и глаза продрал не раньше десяти. И вот что забавно: она не позволила мне снять с нее трусики. “Я никогда этого не делала”, — заявила она; она вообще никогда ничего с мальчиками не имела, если уж начистоту. Но растрясти меня она взялась без малейшего смущения, даже с немалым воодушевлением; помню, она улыбалась. Потом я приблизил родилку к ее губам; она пососала чуток, но не так уж она была влюблена, чтобы продолжать. Я не настаивал, а уселся на нее верхом. Когда я зажал свой член промеж ее грудей, то почувствовал, что она по-настоящему счастлива, у нее вырвался легкий стон. Это меня страшно возбудило, я вскочил и стянул с нее трусики. На сей раз она не противилась, даже приподняла ноги, чтобы мне помочь. Эта девушка была и впрямь некрасива, но киска у нее была влекущая, ничуть не менее влекущая, чем у любой женщины. Она закрыла глаза. В то мгновение, когда я просунул ладони под ее ягодицы, она широко раздвинула колени. Это произвело на меня такое впечатление, что я тотчас извергся, даже не успел войти в нее. На ее лобковую шерстку попало немножко спермы. Я был ужасно удручен, но она сказала мне, что ничего, что вполне довольна.

У нас совсем не оставалось времени поговорить, было уже восемь, ей надо было сейчас же идти домой, к родителям. Она мне сказала, я толком и не понял к чему, что она единственная дочь. У нее был до того счастливый вид, она так гордилась, что не без причины опоздает к ужину, что я едва не разревелся. Мы долго целовались в саду перед домом. На следующее утро я уехал в Париж.

В заключение сего краткого повествования Брюно делал паузу. Врач, хмыкнув со скромным видом, обычно говорил: “Отлично”. В зависимости от времени он либо побуждал Брюно продолжать, либо ограничивался словами: “Так значит, на сегодня все?”, слегка повышая голос на последнем слоге, чтобы придать фразе вопросительную интонацию. И при этом на губах его появлялась пикантная легкая улыбка.

13

В то же лето 1974-го Аннабель позволила одному парню на дискотеке в Сен-Пале, поцеловать ее. Она только что прочла в "Стефани" материал о дружбе мальчиков и девочек. Обращаясь к вопросу о "друге детства", журнал развивал отменно мерзкую идею, что последний лишь чрезвычайно редко может быть превращен в "дружка"; его нормальное предназначение в том, чтобы стать приятелем, "верным товарищем"; он даже часто может служить поверенным тайн своей подружки и поддерживать ее в пору треволнений, причиняемых первыми опытами "флирта".

После того поцелуя Аннабель вопреки уверениям периодической печати в первые мгновения испытала прилив смертельной грусти. В груди поднялось что-то неведомое, мучительное. Она ушла с дискотеки, запретив парню следовать за ней. Когда она отключала противоугонное устройство своего мопеда, ее била легкая дрожь. В тот вечер на ней было ее самое красивое платье. Дом ее брата находился не более чем в километре; когда она туда добралась, было едва ли больше одиннадцати; в гостиной еще горел свет, и она заплакала, увидев освещенные окна. Таковы обстоятельства, при которых июльской ночью 1974 года Аннабель горестно и бесповоротно осознала факт своего *индивидуального бытия.* Первоначально открываясь животному в форме физической боли, индивидуальное бытие в полной мере познается членами людских сообществ не иначе как через посредство *лжи,* с которой оно может по ходу дела совпасть. До своих шестнадцати лет Аннабель не имела секретов от родителей; у нее не было — теперь-то она понимала, какой это являлось бесценной редкостью, — и тайн от Мишеля. В эту ночь Аннабель за какие-то несколько часов поняла, что жизнь человеческая не что иное, как непрерывная череда обманов. Тогда же пришло к ней сознание собственной красоты.

Если свое лето 1974-го Брюно вспоминал охотно и подробно, то насчет последовавшего за ним учебного года он был не столь словоохотлив; по правде говоря, те месяцы не оставили в его памяти ничего, кроме возрастающего чувства неловкости. Бесконечный, но по общей тональности довольно скверный отрезок времени. Он по-прежнему довольно часто встречался с Аннабель и Мишелем, в принципе они были очень близки; однако им скоро предстоял экзамен на бакалавра, и окончание учебного года неминуемо должно было разлучить их. Мишель изменился: он теперь слушал Джимми Хендрикса и энергично двигался в такт по ковру; намного позже, чем у прочих, в нем стали проявляться видимые признаки *созревания.* Они с Аннабель выглядели смущенными, им было уже не так просто взяться за руки. Короче, как это однажды специально для своего психиатра определил Брюно, "яйца там варились вкрутую".

После своего приключения с Анник, которое он был склонен приукрашивать в памяти (впрочем, предусмотрительно избегая возобновления этой истории), Брюно почувствовал себя малость поувереннее. Однако за этой первой победой отнюдь не последовали другие, и он

получил жестокий отпор, когда попытался поцеловать Сильвию, очень стильную очаровашку-брюнеточку из того же класса, где училась Аннабель. Тем не менее одна девушка захотела его, значит, у него могли быть и другие. Он начал испытывать к Мишелю некое смутное покровительственное чувство. Как-никак тот был его братом, притом младшим, ведь Брюно старше на два года. "Ты должен кое-что предпринять насчет Аннабель, — твердил он, — она только того и ждет, она в тебя влюблена, а это ведь самая красивая девочка в лицее". Мишель ерзал на стуле и отвечал: "Да". Проходили недели. Было видно, что он все колеблется на пороге вступления во взрослую жизнь. Если бы он поцеловал Аннабель, это, может статься, было бы для них обоих единственным средством избежать мучений такого перехода; но он этого не сознавал; он убаюкивал себя обманчивой иллюзией, будто тому, что есть, не будет конца. В апреле он вызвал возмущение преподавателей тем, что пренебрег записью на подготовительные курсы. Было тем не менее очевидно, что у него, как ни у кого другого, великолепные шансы поступить в высшее учебное заведение. До экзамена на бакалавра оставалось полтора месяца, а он, казалось, все больше впадал в невесомое состояние. Сквозь зарешеченные окна лекционного зала он взирал на облака, на деревья, что росли во дворе лицея, на других учеников; похоже, никакие дела человеческие больше не могли по-настоящему затронуть его.

Брюно, со своей стороны, решил записаться на филологический факультет: ему уже поднадоели ряды Тейлора-Маклорена, а главное, на литературном факультете были девицы, уйма девиц. У его отца это не вызвало никаких возражений. Как все старые распутники, он на склоне лет стал сентиментален и горько упрекал себя за то, что из эгоизма испортил жизнь сыну; впрочем, тут он был не столь уж не прав. На исходе 74-го ему пришлось продать дом в Сент-Максиме. Несколько месяцев спустя он приобрел для сына отличное жилье близ садов обсерватории: светлую, спокойную квартирку с окнами, не смотрящими в стену дома напротив. Придя туда с Брюно, он отнюдь не казался самому себе исключительно щедрым дарителем, скорее чувствовал, что пытается по мере возможности *загладить* причиненное зло; как бы то ни было, он сделал, по-видимому, хорошее дело. Обшарив квартиру взглядом, он малость приободрился. "Ты здесь сможешь принимать девочек!" — брякнул он, не подумав. Увидел лицо сына и тут же пожалел о своих словах.

Мишель в конце концов записался на физико-математическое отделение в Орсэ; его в особенности прельщала близость университетского городка: это был главный довод. Экзамены на бакалавра они оба сдали без всяких неожиданностей. В день объявления результатов Аннабель сопровождала их; ее лицо было строго, за последний год она очень повзрослела. Слегка похудевшая, с проступавшей на губах улыбкой, она, к несчастью, стала еще прекраснее. Брюно решил проявить инициативу: у него больше не было каникулярного приюта в Сент-Максиме, зато он мог, как советовала мать, отправиться в поместье ди Меолы; он предложил им обоим составить ему компанию. Они выехали туда месяц спустя, в конце июля.

14. Лето семьдесят пятого

Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали.

Осия, 5, 4

Человек, встретивший их на остановке автобуса в Карпантра, был вконец изнурен, болен. Сын итальянского анархиста, эмигрировавшего в США в двадцатых годах, Франческо ди Меола, вне всякого сомнения, *преуспел в жизни*, разумеется в финансовом плане. На исходе второй мировой войны этот молодой итальянец, подобно Сержу Клеману, сообразил, что мир радикальным образом изменился и деятельность, долгое время считавшаяся уделом элиты или маргиналов, вскоре приобретет основательный экономический смысл. В то время как родитель Брюно вкладывал все силы в косметическую хирургию, ди Меола вцепился в производство пластинок; конечно, некоторые заработали на этом много больше, чем он, однако и ему достался славный кусок пирога. К сорока годам у него, как у многих обитателей Калифорнии, возникло предощущение новой волны, куда более значительной, нежели простая прихоть моды, и призванной смести со своего пути всю западную цивилизацию; вот почему он в своей вилле в Биг Сур сумел пообщаться с Аланом Уотсом, Паулем Тиллихом, Карлосом Кастанедой, Абрахамом Маслоу и Карлом Роджерсом. Несколько позже ему даже выпала на долю привилегия познакомиться с Олдосом Хаксли, истинным родоначальником нового движения. Постаревший, почти слепой, Хаксли уделил ему лишь весьма скупую долю своего внимания; тем не менее этой встрече было суждено оставить в его памяти ярчайшее впечатление.

Причины, побудившие его в 1970 году покинуть Калифорнию, чтобы обзавестись поместьем в Верхнем Провансе, были не вполне ясны даже ему самому. Позже, чуть ли не перед самым концом, он дозрел до того, чтобы признаться себе, что был движим некоей смутной потребностью *умереть в Европе*, но в тот момент из всех своих побуждений он осознавал лишь наиболее поверхностные. Майские волнения 68-го вдохновили его, и когда движение хиппи начало угасать в Калифорнии, он сказал себе, что, вероятно, мог бы кое-что предпринять с европейской молодежью. Джейн ободряла его в этих замыслах. Французское юношество особенно зажато, его душит железный патерналистский ошейник голлизма; но, по ее утверждениям, хватит одной искры, чтобы все взорвалось. В течение нескольких лет величайшим наслаждением для Франческо было курить сигареты с марихуаной в компании совсем юных девушек, привлеченных духовной аурой движения хиппи, потом овладевать ими в аромате курений, среди символов буддийской мифологии. Девушки, что заявлялись в Биг Сур, были по большей части маленькими протестантскими дурочками; по меньшей мере каждая вторая из них оказывалась девственницей. К концу шестидесятых волна стала спадать. Тогда он сказал себе, что, пожалуй, пора вернуться в Европу; он и сам находил странной подобную формулировку, ведь когда он покинул Италию, ему едва сравнялось пять лет. Его отец вовсе не был революцион-

ным борцом, он был человеком культуры, эстетом, влюбленным в красоту слова. Вероятно, это должно было как-то повлиять на сына. В глубине души ди Меола всегда считал американцев несколько придурковатыми.

Он еще оставался очень красивым мужчиной, с точеным матовым лицом, с длинными седыми волосами, густыми и волнистыми; однако в недрах его организма клетки пустились беспорядочно размножаться, разрушая генетический код соседних клеток, выделяя токсины. Мнения врачей, с которыми он советовался, расходились по многим пунктам, за исключением одного, главного: он скоро умрет. Его рак был неоперабелен, он продолжал неотвратимо распространять свои метастазы. Большинство специалистов склонялось к тому, что угасание будет мирным и даже удастся с помощью некоторых медикаментов до самого конца избегать физических страданий; да и верно, до сих пор он не ощущал ничего, кроме сильной общей усталости. И все же он не мог примириться, ему не удавалось вообразить подобный исход. Хотя для современного западного человека, даже когда он в полном здравии, мысль о смерти является чем-то вроде *фонового шума*, заполняющего мозг по мере того, как постепенно исчезают планы и желания. С возрастом этот шум становится всепоглощающим; его можно сравнить с глухим гулом, порой его сопровождает скрежет. В другие эпохи основой внутреннего шума было ожидание царствия небесного; ныне это ожидание конца. Так-то вот.

Хаксли, о котором он не перестанет вспоминать, казался равнодушным к неизбежности собственной смерти; но, может быть, он просто отупел от наркотиков. Ди Меола читал, но ни Платон, ни "Бхагавадгита"[1] , не принесли ему ни малейшего умиротворения. Ему только недавно исполнилось шестьдесят, и однако он умирает, все симптомы об этом говорят, ошибка невозможна. Он даже начал терять интерес к сексу и лишь мимоходом, в какой-то рассеянности отметил красоту Аннабель. Что до юношей, то он их даже не заметил. Он давно жил в окружении молодежи и, вероятно, лишь по привычке проявил смутное любопытство при мысли о знакомстве с сыновьями Джейн; в глубине души ему, по всей видимости, было наплевать на них. Он их доставил в поместье, сказал им, что они могут где угодно расположиться и поставить свою палатку; ему хотелось прилечь и, лучше всего, никого не видеть. Физически он еще представлял собой великолепный тип проницательного и чувственного мужчины, в его взгляде поблескивала ирония, чуть ли не мудрость; некоторые особенно глупые девицы даже находили его лик просветленным и исполненным благости. Сам он в себе никакой благости не чувствовал, к тому же его не покидало ощущение, что он всего лишь посредственный комедиант: и как это он мог заморочить целый свет? В сущности, говорил он себе подчас с некоторой грустью, все это юношество, взыскующее новых духовных ценностей, сплошные недоумки.

1. Философская часть древнеиндийской эпической поэмы "Махабхарата".

В первые же мгновения, не успели они высадиться из джипа, Брюно понял, что совершил ошибку. Пологим с легкими ложбинками склоном поместье спускалось в южную сторону, кругом росли деревья, цветы. Водопад низвергался в озерцо спокойной зеленой воды; совсем рядом, растянувшись нагишом на плоском камне, сушилась на солнце женщина, в то время как другая намыливалась перед тем, как погрузиться в воду. Подле них, преклонив колени на рогожке, то ли дремал, то ли медитировал ражий бородатый субъект. Этот тоже был голый и очень загорелый; его длинные белобрысые космы впечатляюще разметались по темно-бронзовой коже; он смутно напоминал Криса Кристофферсона. Брюно чувствовал себя обескураженным. Возможно, еще есть время убраться отсюда, если сделать это без промедления. Он покосился на своих спутников: Аннабель с поразительным спокойствием начала разворачивать палатку; Мишель, присев на пенек, поигрывал завязкой рюкзака; вид у него был абсолютно отсутствующий.

В 1950 году у Франческо ди Меолы родился сын от итальянской второразрядной актрисы — ей так и не было суждено продвинуться дальше роли египетской рабыни в "Камо грядеши?", где она (то был пик ее карьеры) получила возможность произнести две реплики. Своего отпрыска они нарекли Давидом. В возрасте пятнадцати лет Давид возмечтал стать рок-звездой. Тут он был не одинок. Будучи богаче, чем директора компаний и банкиры, рок-звезды тем не менее сохраняли очарование бунтарей. Молодые, красивые, знаменитые, внушающие вожделение всем женщинам и зависть всем мужчинам, они составляли самую верхушку социальной иерархии. Со времен обожествления фараонов в Древнем Египте ничто в истории человечества не поддается сравнению с культом рок-звезд, обуявшим европейскую и американскую молодежь. По части физических данных у Давида имелось все, чтобы добиться своей цели: умопомрачительная красота, одновременно животная и дьявольская; черты лица мужественные, но вместе с тем на редкость правильные; длинные волосы, черные, очень густые и слегка волнистые; большие, глубокие синие глаза.

Благодаря отцовским связям Давиду удалось в семнадцать лет записать свою первую пластинку-сорокапятку; это был полный провал. Вышла она, надо сказать, в один год с "Sgt Peppers", "Days of Future Passed" и еще массой других. Джимми Хендрикс, группы "Роллинг стоунз" и "Дорз" были в самой раскрутке; Нил Янг уже начал записываться, и много надежд возлагали на Брайана Уилсона. В те годы приличному, но не слишком изобретательному контрабасисту ничто не светило. Давид упорствовал: четыре раза менял группы, пробовал то такие, то сякие игровые приемы; через три года после отъезда отца он тоже решил попытать счастья в Европе. С легкостью раздобыл себе ангажемент в одном клубе на Лазурном берегу. Красотки в его уборной каждый день исправно поджидали его — по этой части никаких проблем. Вот только издательские фирмы не проявляли ни малейшего любопытства к его музыкальным трюкам.

Когда Давид встретил Аннабель, в его постели уже побывали больше пятисот женщин; однако он не мог припомнить, чтобы кто-либо из них

достигал такого пластического совершенства. Аннабель со своей стороны тоже, как и все прочие, потянулась к нему. Она сопротивлялась несколько дней, уступила только через неделю после их приезда. Их — тех, кто танцевал, — было десятка три; дело происходило теплой звездной ночью перед задним фасадом дома. На Аннабель была белая юбка и коротенькая тенниска с изображением солнца на груди. В танце Давид прижимал ее к себе, а иногда принимался вертеть по всем канонам рока. Они танцевали без устали, уже больше часа, под барабанный ритм, то быстрый, то медленный. Брюно стоял неподвижно, прислонясь к дереву, настороженный, зоркий, с тяжестью на сердце. Порой на лужайке, в освещенном круге, появлялся Мишель, потом снова исчезал в темноте. Вдруг он возник совсем близко, метрах в пяти. Брюно видел, как Аннабель, оставив партнера, подошла к нему, слышал, как она спросила его: "Ты не танцуешь?"; ее лицо в этот момент было очень грустным. Мишель отверг приглашение жестом неимоверно медлительным, как если бы он был неким доисторическим существом, лишь недавно возвращенным к жизни. Секунд пять-десять Аннабель неподвижно стояла перед ним, потом отошла и присоединилась к компании. Давид взял ее за талию и крепко прижал к себе. Она обвила руками его плечи. Брюно вновь глянул на Мишеля. Ему показалось, что улыбка блуждала на его лице. Брюно потупился. А когда поднял глаза, Мишель уже скрылся. Аннабель была в объятиях Давида; их губы почти соприкасались.

Лежа в своей палатке, Мишель ждал рассвета. На исходе ночи разразилась сильнейшая гроза, и он удивился, заметив, что ему страшновато. Потом в небе затихло, полил дождь, неторопливый, монотонный. Капли с невнятным шумом падали на парусину в нескольких сантиметрах от его лица, но он был огражден от контакта с ними. Его охватило предчувствие, что вся его жизнь будет похожа на эти минуты. Ему суждено проходить сквозь человеческие эмоции, иногда они его близко коснутся, но другие познают счастье или отчаяние, а его это никогда по-настоящему не затронет, не настигнет. В тот вечер Аннабель, танцуя, несколько раз обращала к нему взгляд. Он хотел сдвинуться с места, но не мог; у него было очень отчетливое ощущение, будто он в ледяной воде. Он чувствовал себя отделенным от мира несколькими сантиметрами пустоты, создающими вокруг него то ли раковину, то ли панцирь.

15

На следующее утро палатка Мишеля опустела. Все его вещи исчезли, но он оставил записку — всего два слова: "НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ".

Спустя неделю уехал и Брюно. Садясь в поезд, он впервые подумал о том, что за все время пребывания здесь он не попробовал ни побаловаться наркотиками, ни, на худой конец, хоть с кем-нибудь поговорить.

В конце августа Аннабель заметила, что у нее запаздывают месячные. И сказала себе, что это даже к лучшему. Никаких проблем не было: отец Давида знал врача, поборника планирования семьи, работавшего в Марселе. Это был субъект лет тридцати, восторженный, с маленькими

рыжими усиками, звали его Лоран. Врач настаивал, чтобы она его так и называла: Лоран — просто по имени. Он показывал ей разные инструменты, объяснял механизмы выскабливания и отсасывания. С клиентками, которых воспринимал скорее как приятельниц, он стремился наладить диалог на равных. В своей деятельности он с самого начала держал сторону женщин, и, по его мнению, в этой борьбе ему еще предстояло совершить многое. Операция была назначена на следующий же день; расходы брала на себя Ассоциация планирования семьи.

К себе в номер Аннабель вернулась на грани нервного срыва. Завтра ей сделают аборт, еще одну ночь она проспит в отеле, потом возвратится домой; так она решила. Три недели подряд она каждую ночь пускала в палатку Давида. В первый раз ей было немножко больно, но потом она испытала удовольствие, большое удовольствие; она и не подозревала, что сексуальное наслаждение может быть таким острым. Однако же она не чувствовала к этому человеку ни малейшей привязанности; она знала, что он очень быстро найдет ей замену, и даже весьма вероятно, это уже случилось.

В тот же вечер, обедая в кругу друзей, Лоран с большим энтузиазмом вспоминал случай Аннабель. Ради таких девушек мы и боремся, сказал он; мы хотим не допустить, чтобы девочка от силы лет семнадцати ("и редкостной красоты", не мог не прибавить он) испортила себе жизнь из-за какого-то каникулярного приключения.

Аннабель ужасно боялась своего возвращения в Креси-ан-Бри, но, в сущности, ничего не произошло. Было четвертое сентября; родители похвалили ее загар. Они ей сообщили, что Мишель уехал, он обосновался в общежитии университета; было очевидно, что они ничего не заподозрили. Она отправилась к бабушке Мишеля. Старая дама выглядела утомленной, но приняла ее ласково и охотно дала адрес внука. Ей показалось немного странным, что Мишель вернулся домой раньше других, это правда; она была также удивлена, когда он перебрался в общежитие на месяц раньше начала занятий; но Мишель *всегда был* мальчиком с причудами.

Посреди вселенского естественного варварства человеческим существам иногда (впрочем, редко) удается создать местечки, озаренные светом любви. Этакие маленькие тихие пустырики, где царят взаимопонимание и любовь.

Две следующие недели Аннабель посвятила писанию письма к Мишелю. Это было трудно, ей пришлось то и дело черкать, несколько раз начинать сызнова. В законченном виде письмо заняло сорок страниц; впервые она написала настоящее *любовное послание.* Она отнесла его на почту 17 сентября, в день начала занятий в лицее. Потом стала ждать.

Факультет в Орсэ (Париж-XI) — единственный в парижском округе университетский филиал, организованный в подлинном духе американского "кампуса". Несколько зданий, рассеянных по парку, служат жильем для студентов первого-третьего курсов. Орсэ не только учебное заведение, но равным образом исследовательский центр очень высокого уровня, где ведутся работы в области физики элементарных частиц.

Мишель поселился в угловой комнате на пятом — последнем — этаже строения номер 233; он сразу почувствовал себя здесь очень хорошо. В комнате стояли узкая кровать, бюро, этажерки для книг. Окно выходило на лужайку, которая спускалась к реке; слегка наклонившись, можно было различить бетонную массу ускорителя элементарных частиц. В эту пору, за месяц до начала занятий, корпус был почти совсем безлюден; здесь оставалось только несколько студентов-африканцев, для которых главная проблема — разместиться загодя, еще в августе, когда все жилые здания пусты. Мишель обменивался парой слов с консьержкой. Днем он бродил по берегу реки. Он еще не подозревал, что проживет в этом корпусе больше восьми лет.

Однажды утром, часов в одиннадцать, он растянулся на траве среди равнодушных деревьев. Он сам удивлялся, что способен так страдать. Как нельзя более далекий от христианских категорий искупления и милосердия, чуждый понятий свободы и прощения, его взгляд на мир приобрел черты какой-то механистичности и беспощадности. Изначальные условия заданы, думал он, сеть первоначальных взаимодействий параметрирована, события должны развиваться в обреченно пустом пространстве; они необратимо детерминированы. То, что случилось, должно было случиться, иначе быть не могло. Никто не может считаться ответственным за это. Ночью Мишелю снились абстрактные, покрытые снегом дали; его тело, спеленутое бинтами, плыло под низким небом среди металлургических заводов. Днем он иногда сталкивался с одним из студентов, маленьким африканцем с серой кожей, уроженцем Мали; они кивали при встрече друг другу. Университетский ресторан был еще закрыт; он заходил в "Континент", супермаркет у Курсель-сюр-Иветт, покупал баночки консервированного тунца, потом возвращался к себе. Наступал вечер. Он прохаживался по пустынным коридорам.

В середине октября Аннабель написала ему второе письмо, оно было короче предыдущего. Тогда же она звонила Брюно, у которого тоже не было никаких новостей: он в точности знал только, что Мишель регулярно звонит бабушке, но, по всей вероятности, не приедет повидаться с ней раньше Рождества.

Ранним вечером в ноябре, возвратившись с аналитического семинара, Мишель нашел телеграмму в своем общежитском именном шкафчике. Телеграмма звучала так: "Позвони тете Мари-Терез. СРОЧНО". Вот уже два года он почти не встречался ни с тетушкой Мари-Терез, ни с кузиной Брижит. Он позвонил сразу. У его бабушки опять инсульт, она в больнице в Мо. Это серьезно, вероятно, даже очень серьезно. Аорта слаба, сердце может отказать.

Он пешком шагал через Мо, прошел мимо лицея; было часов десять. В эти минуты в аудитории Аннабель разбирала текст Эпикура — мыслителя светлого, умеренного в суждениях, вполне античного и, если начистоту, малость занудного. Небо было пасмурно, воды Марны грязны и бурны. Он без труда нашел больничный комплекс Святого Антония — ультрасовременное здание, все из стекла и металла, введенное в эксплуатацию с прошлого года. Тетя Мари-Терез и кузина Брижит ждали его на площадке восьмого этажа; лица у них были заплаканы. "Не знаю, надо

ли тебе смотреть на нее...” – сказала Мари-Терез. Он не отозвался. Все, что должен пережить, он переживет.

То была палата интенсивной терапии, его бабушка лежала там одна. Простыня утомительной белизны не скрывала ее рук и плеч; ему трудно было оторвать глаза от этой обнаженной плоти, морщинистой, белесой, ужасающе старой. Ее исколотые руки были прикручены ремнями к краям кровати. Из горла торчала трубка с желобками. Провода регистрирующих приборов змеились из-под простыни. Ее заставили снять ночную сорочку; не позволили поправить шиньон, как она делала каждое утро в течение многих лет. С этими длинными волосами, седыми и распатланными, она уже не вполне была его бабушкой; это было бедное смертное создание, очень юное и очень дряхлое одновременно, оставленное теперь на произвол медицины. Мишель взял ее руку. Одна только эта рука и оставалась для него сразу узнаваемой. Он ее часто брал за руку, еще совсем недавно, в прошлом году, в свои семнадцать. Глаз она не открыла, но, может быть, наперекор всему ощутила его прикосновение. Он не сжимал ей пальцы, просто держал ее ладонь в своих, как делал прежде; он горячо надеялся, что это прикосновение она почувствует.

У этой женщины было тяжелейшее детство, работа на ферме с семилетнего возраста в окружении насквозь пропитых полускотов. Юность ее была слишком короткой, чтобы оставить по себе светлые реальные воспоминания. После смерти мужа она работала на заводе, из последних сил поднимая своих четверых детей; в разгар зимы она ходила с ведрами во двор за водой, чтобы семья могла помыться. Едва выйдя на пенсию, уже перевалив на седьмой десяток, она согласилась вновь растить малыша – ребенка своего сына. И внук тоже ни в чем не знал недостатка: ни в чистой одежде, ни во вкусных обедах по воскресеньям, ни в ласке. Тем, что все это было в его жизни, он обязан ей. При мало-мальски исчерпывающем рассмотрении того, что представляет собою род человеческий, необходимо принимать в расчет и этот феномен. В истории реально существовали такие люди. Они трудились весь свой век, трудились очень тяжело, исключительно во имя долга и любви, в буквальном смысле отдавая ближним свою жизнь, движимые долгом и любовью, притом никоим образом не считая, что приносят себя в жертву; они, по сути, просто не видели иного способа прожить жизнь, кроме как даровать ее другим из побуждений долга и любви. Практически все подобные человеческие существа были женщинами.

Мишель пробыл в палате около четверти часа и все время держал бабушку за руку; потом явился интерн, сказал, что в ближайшее время его присутствие может помешать. С ней, вероятно, должны были что-то сделать – не операцию, нет, операция была невозможна. Но, может быть, речь шла о какой-нибудь процедуре, в конце концов еще не все потеряно.

Обратный путь они проделали без единого слова. Мари-Терез вела “рено-16” будто во сне. За едой тоже больше молчали, только время от времени всплывало какое-нибудь воспоминание. На стол подавала Мари-Терез, у нее была потребность в движении; иногда остановится, всплакнет немножко, потом снова отправляется к кухарке.

Аннабель присутствовала сначала при отправке машины "скорой помощи", потом при возвращении "рено". Около часу ночи она встала и оделась; родители уже спали; она пешком дошла до ограды дома Мишеля. В окнах горел свет. Вероятно, все были в гостиной, но шторы мешали разглядеть хоть что-нибудь. И тут зарядил мелкий дождик. Прошло минут десять. Аннабель знала, что может позвонить в дверь и увидеться с Мишелем. Точно так же она могла не предпринимать ничего. Она не слишком понимала, что переживает практический урок *свободы выбора*. В любом случае этот опыт был чрезвычайно жесток, и ей после тех десяти минут никогда не суждено будет стать вполне такой, как прежде. Годы спустя Мишелю предстоит обосновать краткую теорию человеческой свободы на базе аналогии с поведением сверхтекучего гелия. На атомном уровне можно полагать, что образ действий человека детерминирован — как в своей основе, так и в деталях — столь же жестко, как поведение любой другой естественной системы. Однако в некоторых, и притом крайне редких, обстоятельствах происходит то, что христиане именуют "чудом милосердия": появляется волна новой когерентности и распространяется в мозгу, возникает — на время либо окончательно — новый тип поведения, регулируемый принципиально иной системой источников гармонических колебаний; тогда мы наблюдаем то, что принято называть "актом свободной воли".

Ничего подобного в ту ночь не произошло, и Аннабель вернулась в отчий дом. Она чувствовала себя заметно постаревшей. Должно пройти лет двадцать пять, прежде чем ей будет дано снова увидеть Мишеля.

Телефон зазвонил где-то около трех; медицинская сестра казалась искренне удрученной. Они и впрямь сделали все возможное, но, в сущности, ничего сделать тут практически невозможно. Сердце было слишком изношено, вот и все. По крайней мере она, можно сказать, не страдала. Но теперь, к сожалению, все кончено.

Мишель направился в свою комнату, он двигался маленькими шажками, не более двадцати сантиметров. Брижит хотела было встать, но Мари-Терез жестом остановила ее. Прошло минуты две, потом из спальни послышалось что-то вроде то ли поскуливания, то ли рычания. Брижит бросилась туда. Мишель скорчился в ногах кровати. Его глаза почти вылезали из орбит. На лице не отражалось ничего похожего на скорбь или какое-либо иное человеческое чувство. Один лишь звериный низменный ужас.

Часть вторая. *Странные моменты*

1

Так называемый Край Перемен был создан в 1975 году группой бывших бунтарей шестьдесят восьмого (по правде говоря, в шестьдесят

восьмом ни один из них ничего сколько-нибудь заметного не совершил, но, можно сказать, в них чувствовался "душок" шестьдесят восьмого); они обосновались на обширной, поросшей соснами территории чуть южнее Шоле; эта земля принадлежала родителям одного из них. Их замысел, несущий на себе явственный отпечаток модных в начале семидесятых анархистских идеалов, заключался в том, чтобы осуществить конкретную утопию, то есть "здесь и сейчас" организовать некое пространство, где было бы возможно жить в согласии с принципами самоуправления, уважения к правам личности и подлинной демократии. Однако же Край не был новой общиной; цель была куда скромнее — создать место отдыха, иными словами, приют, где сторонники этой затеи имели бы случай объединяться в летние месяцы для конкретного проведения провозглашаемых идей в жизнь; речь также шла о создании благоприятных условий для совместной деятельности, творческого общения, и все это в духе гуманизма и народовластия; и наконец, если пользоваться терминологией основателей, речь шла о том, чтобы "со вкусом перепихнуться".

Брюно свернул с автотрассы у выезда из Шоле-Сюд и километров десять ехал по прибрежному шоссе. Вразумительного плана местности у него не было, и стояла страшная жара. Он увидел вывеску, как ему показалась, почти случайно. Разноцветные буквы на белом фоне возвещали: КРАЙ ПЕРЕМЕН; ниже на клееной фанерке меньшего размера было красными буквами каллиграфически выписано то, что, видимо, являлось здешним девизом: "*Свобода других продлевает мою до бесконечности*" (Михаил Бакунин). Справа дорога вела к морю; две девчонки тащили по ней пластиковую утку. Под теннисками у них, у поганок, ничего не было. Брюно смотрел им вслед, у него засвербило в родилке. "Тенниски мокрые, — уныло сказал он себе, — высохнут — липнуть уже не будут". Направлялись они, по-видимому, в береговой кемпинг.

Он припарковал свой 305-й и двинулся к маленькой дощатой конторе с вывеской ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Внутри сидела, поджав под себя ноги, женщина лет шестидесяти. Ее тощие морщинистые груди почти вываливались из выреза длинной хлопчатобумажной блузы; появление Брюно для нее было докукой. Ее доброжелательная улыбка выглядела несколько натянутой. "Добро пожаловать в Край", — произнесла она наконец. Потом улыбнулась снова, до ушей (уж не идиотка ли?). "У тебя есть бронь?" Брюно открыл чемодан из искусственной кожи, вытащил свои бумаги. "Прекрасно", — изрекла слабоумная, все еще по-дурацки скалясь.

Езда на автомобилях на территории кемпинга запрещалась; он решил уладить дела в два приема. Сперва подыскать место для палатки, потом забрать свои вещи. Как раз перед поездкой он приобрел палатку типа иглу в "Самаритене" (изготовлена в Народном Китае, двух-, трехместная, 449 франков).

Когда Брюно выбрался на лужайку, прежде всего в глаза ему бросилась пирамида. Двадцать метров в основании, столько же в высоту: объект безупречно равносторонний. Все стенки стеклянные, поделенные на прямоугольники сеткой рам из темной древесины. Некоторые из пря-

моугольников сверкали, отражая лучи заходящего солнца; сквозь другие можно было различить структуру внутреннего устройства: лестничные площадки, перегородки, также выполненные из темной древесины. Ансамбль в целом, согласно замыслу, должен был напоминать дерево, и это получалось довольно сносно — цилиндрическая конструкция, проходящая сквозь центр пирамиды, маскируя лестницу, изображала ствол. Из здания поодиночке и группами выходили люди; одни были голыми, другие одетыми. В закатном освещении, от которого посверкивала свежая трава, все напоминало научно-фантастический фильм. Понаблюдав эту сцену минуты две-три, Брюно взял свою палатку под мышку и предпринял восхождение на ближайший холм.

Владение состояло из нескольких лесистых холмов, земли, устланной иголками сосен, иногда попадались полянки; то тут, то там были разбросаны санблоки; возможности размещения оказались не безграничны. Брюно слегка вспотел, его пучило; по-видимому, трапезы в придорожных ресторанах были не в меру обильны. Все это мешало ясно мыслить, однако же он отдавал себе отчет, что выбор места может стать решающим фактором его успешного пребывания здесь.

В тот самый момент, когда ему в голову пришла эта мысль, он приметил веревку, натянутую между двумя деревьями. На ней досушивались девичьи штанишки, мягко колеблемые вечерним бризом. "Может быть, это неплохая идея, — сказал он себе, — между соседями в кемпинге завязывается знакомство, это даст возможность сдвинуться с мертвой точки". Он положил свою палатку на землю и принялся изучать инструкцию по монтажу. Французский перевод был ужасающ, английский — немногим лучше; с другими европейскими языками дело, должно быть, обстояло так же. Сволочные китаезы. Ну что может означать: "вывернуть полужесткое крепление, чтобы закрепить положение купола"?

С возрастающим отчаянием он уставился на схемы. Неожиданно справа от него появилось некое подобие squaw[1] ; женщина была одета в кожаную мини-юбку; в сумерках виднелась ее пышная тяжелая грудь. "Ты только что приехал? — вопросило видение. — Тебе нужно помочь натянуть палатку?" — "Я справлюсь, — просипел он придушенным голосом, — все в порядке, спасибо. Это очень мило", — прибавил он, и у него перехватило дыхание. Он почуял ловушку. И верно, несколько мгновений спустя из соседнего вигвама (Где они умудрились купить эту штуку? Сами смастерили?) донесся рев. Squaw ринулась туда и тотчас воротилась с двумя малолетними бутузáми, по одному на каждом бедре, и принялась мягко покачивать бедрами. Вопли усилились. Рысцой примчался самец squaw с членом наружу. Это был здоровенный бородатый детина лет пятидесяти с длинными седыми космами. Он взял одного из детенышей и стал его тетешкать; это было омерзительно. Брюно отошел на несколько метров; он взмок от жары. С подобными монстрами бессонная ночь ему обеспечена. Ясное дело, она их кормит грудью, эта корова; грудь, однако же, хороша.

Брюно отступил на несколько шагов по склону, стремясь незаметно удалиться от вигвама; однако ему не слишком-то хотелось оказаться вда-

1. Индеанки (*англ.*).

леке от маленьких штанишек. Это была деликатная штучка, прозрачная, вся в кружавчиках; невозможно вообразить, чтобы такие могли принадлежать squaw. Он отыскал местечко между палатками двух канадок (кузин? сестер? лицейских однокашниц?) и принялся за работу.

Когда он закончил, было уже почти совсем темно. При последних проблесках заката он спустился за своими пожитками. По дороге ему встретилось несколько человек: и пар, и одиночек. Одинокие женщины в большинстве лет сорока. То и дело попадались на глаза воззвания, прибитые к стволам деревьев: БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ; он подошел к одному из них. Под ним помещалась маленькая купель, доверху полная презервативами отечественного производства. Чуть ниже помещалась белая пластиковая урна для мусора. Он нажал на педаль, включил карманный фонарик: внутри оказались в основном банки из-под пива, но также и несколько использованных презервативов. "Это вселяет надежду, — сказал себе Брюно, — здесь, похоже, времени даром не теряют".

Возвращаться наверх было мучительно; чемоданы калечили руки, дыхание перехватывало; ему пришлось остановиться на полдороге. Какие-то люди болтались по кемпингу, лучи их карманных фонариков скрещивались во мраке. Поодаль, на прибрежной дороге, еще наблюдалось бойкое движение. В "Династии", что на Сен-Клеманском шоссе, ожидалось шоу голых бюстов, но у него уже не было сил туда идти — ни туда, ни куда-либо еще. Брюно еще с полчаса не двигался с места. "Я смотрю на огни фар, мелькающие за деревьями, — говорил он себе, — это и есть моя жизнь".

2. Тринадцать часов полета

Брюно проснулся с сильной головной болью и без особых иллюзий. О Крае он услышал от одной секретарши, вернувшейся с практики "Личное развитие — позитивная установка" по цене 5000 франков за сутки. Он попросил дать ему брошюру о летнем отдыхе, увидел, что по стилю она симпатична, тяготеет к культурной открытости с анархическим оттенком. К тому же его внимание привлекла статистическая справка внизу страницы: прошлым летом, в июле—августе, 63 процента обитателей Края составляли женщины. То есть чуть ли не две бабы на одного мужика; это был фактор решающий. Он сразу решил потратить одну неделю июля на то, чтобы посмотреть, каково это, тем паче что, когда он выбирал кемпинг, выяснилось, что Край обойдется дешевле, чем, к примеру, Клуб-мед и даже путевки в рамках студенческого туризма. Видимо, насчет типа женщин он угадал: бывшие левачки, подкисшие, не исключено, что с серопозитивной реакцией. Ну да ладно, две на одного — это его шанс; если пошустрить, он, кто знает, сможет вытащить и оба счастливых билетика.

Что касается секса, то этот год у него начался весьма недурно. Прибытие девочек из стран Востока привело к падению цен; теперь можно без проблем обеспечить себе релаксацию за 200 франков против 400

несколько месяцев тому назад. На беду, в апреле ему пришлось оплачивать основательный ремонт своего автомобиля после аварии, к тому же всю вину свалили на него. Банк начал прижимать его, пришлось себя ограничивать.

Он приподнялся на локте и налил себе первую порцию виски. "Свинг мэгезин", купленный на автостоянке близ Анжера, лежал открытый; красовавшийся там тип, не снявши носки, с видимым усилием нацеливался членом в объектив; звали его Жерве. "Не чета моему гвоздю, — вздохнул Брюно, — совсем не чета". Он натянул трусы и двинулся к санитарному блоку.

Более или менее покорившись неизбежности путаться со старыми потаскухами, он пережил жестокое потрясение, столкнувшись с девочками-подростками. Их было четыре, от пятнадцати до семнадцати, они стояли возле душевой, прямо напротив ряда умывальников. Две из них, в купальниках, ждали; две другие резвились, словно уклейки, щебеча и брызгаясь, повизгивая: эти были совершенно голые. Зрелище было неописуемо грациозным и эротичным, он такого не заслуживал. В трусах у него напряглось; он достал свой болт и прижался к стойке умывальника, одновременно тыкая в челюсть зубной щеткой. От усердия он поранил десну и вытащил изо рта окровавленную щетку. Меж тем головка члена раздулась, горела, охваченная ужасающим зудом; уже начинала формироваться капля.

Одна из девочек, хрупкая брюнетка, вышла из-под душа и схватила махровое полотенце; она удовлетворенно похлопала себя по юной груди. Рыжеволосая крошка сбросила трусики и нырнула под душ; шерсть ее киски была светло-золотистой. Брюно испустил легкий стон, у него кружилась голова. Он имеет право скинуть трусы, подойти к душевой, встать там в ожидании. Это его право — подождать своей очереди возле душа. Он представил себе, как онанирует перед ними; как произносит что-нибудь вроде: "Вода теплая?" Расстояние от одного душа до другого было сантиметров пятьдесят; если бы он принимал душ рядом с рыженькой, она бы, может быть, случайно задела его член. При такой мысли головокружение усилилось; он вцепился в фаянсовую раковину умывальника. В тот же миг две девицы с оглушительным хохотом выкатились вон через дверь справа. На них теперь были черные шорты, расшитые сверкающими полосками. Брюно сразу ослаб, затолкал свой штырь в трусы и сосредоточился на проблемах с зубами.

Позже, все еще не оправившись от шока после этой встречи, он спустился в столовую позавтракать. Он расположился особняком, ни с кем не затевал разговора; жуя свои витаминизированные злаковые кашки, он размышлял о вампиризме сексуального поиска, о его фаустианском аспекте. Все это абсолютная ложь — то, что толкуют о гомосексуализме, думал, например, Брюно. Большинство педерастов интересуются молодыми людьми от пятнадцати до двадцати пяти лет; за пределами этого возраста, по их мнению, существуют лишь старые дряблые задницы. Поглядите на парочку старых педиков! — мысленно восклицал Брюно. Всмотритесь в них повнимательней; иногда между ними есть симпатия, а то и взаимная привязанность; но разве они вожделеют друг к дружке? Да ни в коем случае! Стоит только какому-нибудь маленькому круглому

заду продефилировать мимо, и они рвут друг друга в клочья, как старые пантеры-климактерички, лишь бы прибрать к рукам тот кругленький задок. Вот о чем раздумывал Брюно.

И ведь во многих случаях, мыслил он далее, так называемые гомосексуалисты служат моделью для всего остального общества. Взять, к примеру, его самого: ему сорок два года; внушают ли ему желание женщины тех же лет? Никоим образом. Напротив, он чувствует, что за маленькой киской, спрятанной под мини-юбкой, все еще готов идти на край света. Ну ладно, пусть не на край, но по меньшей мере до Бангкока. Как-никак тринадцать часов полета.

3

К 1987 году в Крае стали появляться первые кружки полурелигиозной направленности. Разумеется, христианство оставалось вне игры; но инициаторы — люди, по существу, довольно терпимые — смогли примирить мистическую, в достаточной мере туманную экзотику с культом тела, который они рассудку вопреки продолжали проповедовать. Кабинеты сенситивного массажа или раскрепощения плотского начала, само собой, держались на плаву; но становилось все заметнее стремительное нарастание интереса к астрологии, египетским картам таро, медитации по поводу чакр[1], к особым энергиям. Имели место "встречи с ангелом"; кое-кто научился улавливать кристаллические вибрации. Сибирское шаманство впечатляюще проявило себя в 1991-м, когда вследствие удлиненного сеанса инициации около жаровен с освященными углями один из участников действа скончался от сердечной недостаточности. Тантрический культ, соединяющий сексуальные упражнения, туманную медитацию и глубокий эгоизм, имел особо выдающийся успех. За несколько месяцев Край — подобно многим другим подобным заведениям Франции и Западной Европы — в общем-то превратился в центр *New Age*[2], относительно модный, сохраняющий к тому же гедонистическую и анархическую специфику "в стиле семидесятых", что обеспечивало ему особое место на рынке.

После завтрака Брюно вернулся к себе в палатку, поколебался, не заняться ли онанизмом (воспоминание о девчонках еще не утратило остроты), но в конце концов решил воздержаться. Эти обалденные юные созданья, должно быть, являли собой потомство все тех же представительниц поколения 68-го года, чьи сплоченные группы в пределах кемпинга всюду попадались на глаза. Значит, некоторые из этих престарелых шлюх наперекор всему умудрились продолжить свой род. Сей факт навел Брюно на смутные, но малоприятные размышления. Резким движением он дернул молнию, на которую запиралась его палатка-иглу, небо

1. Чакра — в индуистской мифологии оружие в одной из четырех рук бога Вишну, обладающее сверхъестественной силой.
2. Новая эра (*англ.*). Название восходит к астрологической идее наступления в начале третьего тысячелетия эры Водолея, которая принесет на землю мир и спокойствие. Эта идея легла в основу движения *New Age*, призывающего к предельной терпимости и включающего в себя элементы как традиционных религий, так и оккультизма и эзотерики.

над ней синело. Белые облачка, словно брызги спермы, плыли над верхушками сосен; день будет погожим. Он заглянул в свою недельную программу и остановил внимание на пункте первом: "Креативность и релаксация". На утро ему предлагались на выбор: пантомима и психодрама, занятия акварелью, композиция. Насчет психодрамы — нет уж, спасибо, это уже устраивали в замке возле Шантийи, на уик-энд: пятидесятилетние аспирантки-социологини катались по гимнастическим матам, требуя плюшевых мишек у папаши; этого удовольствия лучше избежать. Акварель была соблазнительна, но придется выбираться под открытое небо, садиться на сосновые иголки, иметь дело с муравьями и всякими неудобствами. И все это, чтобы сотворить какую-нибудь мазню, стоит ли?

У ведущей в группе композиции были длинные черные волосы, крупный, обведенный кармином рот (того типа, что обычно называют "рот для минета"); на ней были спортивные брюки и блуза-хитон. Красивая женщина, высокий класс. "И тем не менее старая шлюха", — подумал Брюно, занимая первое попавшееся место в малочисленном кружке участников. Справа от него оказалась жирная седовласая тетка в очках с толстыми стеклами, с устрашающе землистым лицом; она шумно сопела. От нее несло вином, а ведь сейчас не позже чем половина одиннадцатого.

— Чтобы почтить нашу встречу, — приступила ведущая, — чтобы почтить Землю и пять направлений пути, мы начнем наше занятие с упражнения хатха-йоги, которое называется "поклонение солнцу". — Засим последовало словесное описание невообразимой позы; тут пьянчужка рядом с ним впервые рыгнула. — Ты утомилась, Жаклин, — заметила йогиня. — Не надо делать упражнение, если ты его не чувствуешь. Приляг. Немного позже к тебе присоединится вся группа.

И в самом деле пришлось лечь; между тем кармическая руководительница пустилась в слащавое, пустопорожнее словоблудие в духе Контрексевиля:

— Вы погружаетесь в дивную, чистую влагу. Эта влага омывает ваши члены, ваш живот. Вы благодарите мать Землю. Ощутите ваше желание. Возблагодарите самих себя за то, что это желание дано вам, — и т. д. и т. п.

Растянувшись на засаленном татами, Брюно чувствовал, как от раздражения у него стучат зубы; рядом с равномерными интервалами рыгала пьяная баба. Между двумя отрыжками она издавала протяжное "Гаааах!", призванное наглядно выразить достигнутое ею состояние непринужденности. Кармическая потаскуха продолжала свой скетч, взывая к земным силам, чьи излучения пронизывают чрево и половые органы. Пробежавшись по четырем стихиям, она, удовлетворенная собственным выступлением, заключила:

— Теперь вы достигли предела рациональной ментальности; вы установили контакт с вашими глубинными планами. Прошу вас: откройтесь навстречу безграничным пространствам творения.

"Пошла в задницу!" — мысленно выбранился разъяренный Брюно, с немалым трудом поднимаясь на ноги.

Далее имел место сеанс писáния, за коим последовали общее вводное слово и зачитывание текстов. На этом занятии была всего одна терпимая куколка: ладненькая рыжая крошка в джинсах и тенниске, кото-

рая отзывалась на имя Эмма и сотворила безукоризненно глупый стишок, где шла речь о лунных баранах. Впрочем, остальные тоже исходили восторгом и благодарностью по поводу обретенного контакта с матерью нашей Землей и отцом нашим Солнцем, все как один. Дошел черед до Брюно. Мрачным голосом он прочел свое краткое сочинение:

Таксисты — педерасты, черт их дери,
Не останавливаются, хоть умри!

— Это воспоминание, которое не оставляет тебя, — проронила йогиня. — Ты все еще переживаешь давнюю обиду, потому что не поднялся над своими темными энергиями. Твои глубинные планы отягощены, я ощущаю это. Мы можем помочь тебе, здесь и сейчас. Мы встанем и образуем круг.

Они поднялись на ноги и, взявшись за руки, расположились кольцом. Брюно волей-неволей взял за руку пьянчужку справа, а слева одного из тех гнусных бородачей, что похожи на Каванна[1] . Сосредоточенно, но вместе с тем и спокойно инструкторша йоги возгласила протяжное "Ом!". Ее крик не остался безответным: остальные тотчас принялись издавать это "Ом!", как будто всю свою жизнь только тем и занимались. Брюно предпринял отважную попытку включиться в гулкий ритм действа, как вдруг почувствовал, что теряет равновесие, заваливаясь вправо: пьянчужка, впав в транс, обвисла мешком. Он выпустил ее руку, но падения избежать не смог и бухнулся на колени подле этой старой паскуды, которая брыкалась, лежа на спине. Йогиня, на миг прервавшись, невозмутимо констатировала:

— Да, Жаклин, ты права: если чувствуешь, что хочешь лечь, так и надо сделать. — Эти двое, судя по всему, были хорошо знакомы.

Второй сеанс писáния прошел немного удачнее; вдохновившись утренним мимолетным видением, Брюно удалось создать следующее поэтическое творение:

Я в бассейне пипку
Выставил, как рыбку,
Чтобы загорела.
(Браво, пипка, смело!)

Бог явился мне
Наверху, в солярии,
С яблоком в руке
И с глазами карими.

А живет где он?
(Браво, мой пистон!)
Там, где все светила.
(Браво, мой торчило!)

1. Франсуа Каванна (р. 1923) — французский писатель, произведения которого насыщены откровенными эротическими сценами.

— Здесь много юмора, — отметила йогиня с легким упреком.

— Мистики, — встряла рыгающая тетка. — Это скорее не юмор, а бессодержательная мистика...

Что с ним станется? До каких пор он сможет выдерживать это? И стоит ли труда? Брюно всерьез задавался этим вопросом. Как только занятие кончилось, он устремился к своей палатке, даже не попытавшись завязать разговор с рыжей малюткой; ему было необходимо глотнуть перед завтраком виски. Невдалеке от своего привала он столкнулся с одной из тех девчонок, на которых глазел в душевой; грациозным жестом, от которого приподнялись ее груди, она отцепила с веревки кружевные трусики, накануне вывешенные сушиться. Он почувствовал, что готов взлететь на воздух и расплескаться по кемпингу шматами жира. Что, в сущности, изменилось со времен его собственного отрочества? У него были те же вожделения, то же сознание, что ему вряд ли удастся их удовлетворить. Мир, не уважающий ничего, кроме юности, мало-помалу *пожирает* человеческое существо. К завтраку он присмотрел себе одну католичку. Определить было не трудно, она носила на шее большой железный крест; к тому же у нее были припухшие нижние веки, что придает взгляду глубину и часто изобличает умонастроение глубоко католическое, если не склонность к мистицизму (иногда, сказать по правде, также и к алкоголизму). С длинными черными волосами, очень белой кожей, она была малость тощевата, но недурна. Напротив нее сидела белокурая с рыжиной девица швейцарско-калифорнийского типа, ростом по меньшей мере метр восемьдесят, с великолепным телом, по виду ужасающе здоровая. Это была руководительница тантрических занятий. На самом деле она была родом из Кретейя и звалась Брижит Мартен. В Калифорнии она поднарастила себе бюст и прошла посвящение в тайны восточной мистики, да к тому же сменила имя: возвратясь в Кретей, она в течение года вела тантрические занятия для всякого бездельного сброда под именем Шанти Мартен. Католичке она, по-видимому, внушала безмерное восхищение. Поначалу Брюно сумел подключиться к разговору, который вертелся вокруг диеты из натуральных продуктов, — у него имелись сведения насчет пшеничных проростков. Но дамы очень скоро переключились на религиозные темы, и тут ему было за ними не угнаться. Можно ли приравнять Иисуса к Кришне, и если нет, то к кому? Стоит ли отдать Рентентену предпочтение перед Расти? Католичка, хоть и будучи католичкой, папу не жаловала: Иоанн Павел II с его средневековой ментальностью тормозит духовное развитие Запада — таков был ее тезис.

— Верно, — согласился Брюно, — он такая лопушенция... — Малоупотребительное выражение подогрело интерес к нему со стороны обеих собеседниц. — А вот далай-лама умеет шевелить ушами, — грустно заключил он, приканчивая свой соевый бифштекс.

Католичка бодро вскочила на ноги, не притронувшись к кофе. Она не желала опаздывать на свои "Правила да-да" — занятия по самораскрытию личности.

— Ах да, "Да-да" — это класс! — с жаром вскричала швейцарка, в свою очередь вставая.

— Спасибо за беседу, — обронила католичка, с милой улыбкой обернувшись к нему.

Ну, он не так уж плохо выкрутился. "Разговаривать с этим бабьем, — думал Брюно, возвращаясь к себе в кемпинг, — все равно что отливать в писсуар, полный окурков; или еще как хезать в унитаз, забитый гигиеническими прокладками: они не пролезают в трубу, а потом от них воняет". Слово упруго пронизывает пространство, то пространство, что разделяет тела. Не пробившись к цели, лишенное отзыва, оно по-дурацки зависает в воздухе, такие слова начинают загнивать и смердят, это бесспорный факт. Служа для налаживания взаимосвязей, слово равным образом способно их разрушать.

Он расположился в шезлонге у бассейна. Девчонки глупо егозили, подзуживая парней, чтобы те столкнули их в воду. Солнце стояло в зените. Голые лоснящиеся тела сновали взад-вперед вокруг клочка голубой глади. Сам того не замечая, Брюно погрузился в чтение "Шести приятелей и человека в перчатке", по-видимому подлинного шедевра Поля Жака Бонзона, недавно переизданного в серии "Библиотека для юношества". Под почти нестерпимо палящим солнцем приятно было перенестись в лионские туманы, побыть в успокоительном обществе славного пса Капи.

Послеобеденная программа предоставляла ему выбор между сенситивным гештальт-массажем, рассвобождением голосовых связок и перерождением в горячей воде. Кстати, массаж по своему характеру был как нельзя более hot, горяченький. Представление о рассвобождении голоса он получил мимоходом, по пути на сеанс массажа. Всего там было около десятка пациентов; крайне возбужденные, они скакали туда-сюда под водительством тантристки, повизгивая, словно перепуганные индюки.

Массажные столики, покрытые банными полотенцами, стояли на вершине холма, образуя широкий круг. Участники были нагишом. Вступив в центр круга, ведущий — низенький, малость косоватый брюнет — принялся излагать краткую историю сенситивного гештальт-массажа: берущий свое начало в трудах Фрица Перлса о гештальт-массаже, или массаже по-калифорнийски, он постепенно вобрал в себя некоторые сенситивные достижения, став — по крайней мере, таково было мнение лектора — наиболее полноценной методикой массажа. Ему известно, что не все в Крае разделяют эту точку зрения, но вступать в полемику он не желает. Как бы то ни было — это он сообщил в заключение — массаж массажу рознь; в конечном счете даже можно сказать, что нет двух одинаковых массажей. Покончив с преамбулой, он приступил к демонстрации, уложив на стол одну из участниц.

— Ощутить затруднения своей партнерши... — поучал он, поглаживая ее плечи; его член покачивался в нескольких сантиметрах от белокурых волос девушки. — Гармонизировать, неустанно гармонизировать... — продолжал он, обливая маслом ее груди. — Уважать неприкосновенность телесной структуры... — Его руки соскользнули к ее животу, девушка зажмурилась и с видимым удовольствием раздвинула ляжки. — Вот, — заключил он, — теперь вы будете работать совместно. Действуйте, обретайте друг друга в пространстве; спешите сблизиться друг с другом.

Огорошенный предшествующей сценой, Брюно отреагировал с запозданием, а ведь тут-то и надо было ловить момент. Следовало невозмутимо приблизиться к вожделенной партнерше, с улыбкой остановить-

ся перед ней и спокойно спросить: "Хочешь потрудиться вместе со мной?" Остальные, по-видимому, знали, с какого конца спаржу едят, и за тридцать секунд порасхватали всех. Брюно растерянно огляделся и обнаружил, что остался один на один с мужчиной, коренастым, низеньким волосатым брюнетом с толстой колбасой. Он вовремя не сообразил, что здесь было всего пять девиц на семерых мужиков.

Благодарение Богу, этот второй не был похож на голубого. Явно взбешенный, тот, ни слова не говоря, улегся на живот, положил голову на скрещенные руки и ждал. "Ощутить затруднения... уважать неприкосновенность телесной структуры..." Брюно не пожалел масла, но дальше колен продвинуться не смог; этот тип лежал недвижимо, словно бревно. У него даже ягодицы поросли шерстью. Масло стало стекать, капая на банное полотенце, икры волосатого, наверное, уже пропитались им насквозь. Брюно поднял голову. Совсем рядом он увидел двух мужчин, они лежали на спине. Сосед справа подставлял для массажа свой торс, груди девушки мягко покачивались; ее киска располагалась на уровне его носа. Кассетник ведущего разливал в воздухе широкие волны музыкальной пены из синтезатора; небо сияло безукоризненной синевой. Вокруг Брюно, лоснясь от массажного масла, плавно вздымались озаренные солнцем члены. Все это было беспощадно *реальным*. Он был не в силах продолжать. В отдаленной точке круга ведущий расточал советы одной из пар. Брюно торопливо схватил свой рюкзак и пустился вниз по склону к воде. Вокруг бассейна был самый час пик. Нагие женщины, растянувшись на травке, болтали, читали или просто принимали солнечные ванны. Куда бы приткнуться? Перекинув полотенце через плечо, он принялся бродить по лужайке; в известном смысле он заблудился среди вульв. Он уже начал убеждать себя, что пора бы проявить решительность, когда увидел католичку, беседующую со смуглым крепким коротышкой, черноволосым и курчавым; его глаза смеялись. Брюно приветствовал ее неопределенным жестом узнавания — она этого не заметила — и растянулся рядом. Какой-то субъект мимоходом окликнул чернявого коротышку: "Привет, Карим!" Тот, не прерывая разговора, махнул рукой. Она слушала молча, раскинувшись на спине. Промеж ее тощих бедер была премиленькая штучка, приятно выпуклая, с черной, упоительно волнистой шерсткой. Продолжая болтать, Карим легонько поглаживал свои яички. Брюно прижался щекой к земле, сосредоточил внимание на лобковой поросли католички, находившейся в метре от него: то был мир нежностей. Он весь расслабился, отяжелел и заснул.

В послеобеденные часы руководящий комитет Края Перемен чаще всего устраивал *танцвечера*. Кстати, примечательно, что в подобном месте, где особое значение придается новациям в области духовности, такого рода выбор подтверждает незаменимость танцевальных вечеров как способа общения полов в некоммунистическом социуме. Как подчеркивал Фредерик Ледантек, первобытные общества тоже основывали свои празднества на танцах, другими словами — на впадении в транс. Итак, звуковая аппаратура и бар были расположены на центральной лужайке, и люди до поздней ночи дрыгали ногами под луной. Брюно это давало еще один шанс. По правде говоря, молоденькие девицы, которые имелись в кемпинге, на эти вечера забредали редко. Они предпо-

читали бегать на окрестные дискотеки (в "Бильбокэ", в "Династию", в "2001", случалось, и в "Пиратов"), там закатывали тематические вечера, где можно побеситься, с мужским стриптизом или поп-звездами из первой десятки. Одинокими в Крае оставались только два-три юнца с мелкими членами и сонным темпераментом. Они довольствовались тем, что торчали в своей палатке, вяло пощипывая струны расстроенной гитары, в то время как все прочие взирали на них с долей презрения. Брюно чувствовал, что он недалеко ушел от этих молокососов; но как бы то ни было, за отсутствием девчонок, угнаться за которыми в любом случае почти немыслимо, хорошо бы "воткнуть дротик в какой-нибудь жирный кусочек", если пользоваться терминологией читателя "Ньюлука", которого он встретил в кафетерии "Анжер-Нор". Движимый этой надеждой, он в одиннадцать вечера, натянув белые брюки и матросскую рубаху, спустился туда, откуда доносился самый сильный шум.

Окинув взглядом полукруг танцующих, он прежде всего заметил Карима. Тот, забросив католичку, сосредоточил свои усилия на обворожительной розенкрейцерской красавице. Они с мужем прибыли сюда после обеда, высокие, стройные, серьезные, на вид уроженцы Эльзаса. Устроились они в огромной замысловатой палатке, она была вся в навесах и заклепках, муж ставил ее часа четыре. Тогда же он насел на Брюно, расписывая ему потаенные красоты Розы и Креста. Глаза его горели за стеклами круглых маленьких очков; это был сущий фанатик. Брюно слушал вполуха. По утверждениям этого субъекта, движение розенкрейцеров зародилось в Германии, оно, само собой, было вдохновлено некими алхимическими трудами, однако равным образом его следовало увязать с рейнским мистицизмом. "Все это штучки педиков и нацистов на самом деле, — рассудил Брюно. — Засунь свой крест себе в задницу, милейший, — сонно думал Брюно, косясь на откляченный круп его красавицы жены, елозившей на коленях вокруг газовой плитки. — И розу отправь туда же", — мысленно заключил он, когда она выпрямилась, показав груди, и велела мужу пойти переодеть ребенка.

Как бы то ни было, сейчас она танцевала с Каримом. Диковинная из них вышла парочка: он на добрых полметра ниже, упитанный мужичок себе на уме, рядом с этой высоченной тевтонской кобылой. Танцуя, он улыбался и болтал без умолку, рискуя потерять из виду свою изначальную цель обольстителя; тем не менее дело, похоже, продвигалось: она тоже улыбалась, глядя на него с любопытством, почти очарованно; один раз она даже громко расхохоталась. На дальнем конце лужайки ее супруг растолковывал новому потенциальному адепту, откуда в 1530 году в земле Нижняя Саксония взялись розенкрейцеры. Его трехлетний белобрысый сынок, несносный сопливый задохлик, через равные промежутки времени принимался реветь, требуя, чтобы его отнесли в кроватку. Короче, и здесь приходилось быть свидетелем достоверного момента *реальной жизни*. Рядом с Брюно два щуплых типа, по виду священнослужители, комментировали действия сердцееда. "Он, понимаешь ли, горяч, — говорил один. — У него нет бумажек, чтобы ей заплатить, он не так красив, и с брюшком, и даже ростом ниже ее. Но он, паршивец, страстен, этим и берет". Другой с унылой миной подтверждал сказанное, перебирая пальцами воображаемые четки. Допивая свою апельсиновую водку, Брюно увидал, что Кариму удалось завлечь розенкрейцершу на

поросший травой склон. Одной рукой обнимая ее за шею, он, не прерывая разговора, осторожно просунул другую ей под юбку. "Вот ведь, даже ноги расставила, сучка нацистская", – подумал Брюно, отходя прочь от танцующих. Прежде чем выйти из освещенного круга, он мельком приметил, как католичка подставляла свой зад какому-то типу, похожему на инструктора по лыжному спорту, а тот лапал ее за ягодицы. Брюно оставалось лишь вернуться в палатку, где его ждала пачка равиолей.

В палатке он машинально, движимый лишь безнадежностью, проверил свой автоответчик. Там было послание. "Ты, наверное, уехал в отпуск, – прозвучал спокойный голос Мишеля. – Позвони мне, когда вернешься. Я тоже в отпуске, и надолго".

4

Он шел и шел, он достиг границы. Стая хищных птиц кружила в небе, тяготея к невидимому центру – к падали, должно быть. Мышцы его ног пружинисто играли, отзываясь на неровности дороги. Пелена желтеющей травы одевала холмы; в восточном направлении глазу открывалась бесконечная панорама. Со вчерашнего дня он ничего не ел; ему не было страшно.

Проснулся он совсем одетый, лежа поперек кровати. Перед входом в магазин единых цен разгружали грузовик с товарами. Было чуть больше семи часов утра.

Уже много лет Мишель вел жизнь в чистом виде интеллектуальную. Чувства, определяющие жизнь человеческую, не являлись объектом его внимания; он плохо в них разбирался. В наши дни можно организовать свое существование с безукоризненной четкостью; кассирши в супермаркете откликались на его скупое приветствие. За десять лет, проведенных им в стенах общежития, его обитатели многажды сменялись. Иногда образовывались парочки. Тогда он наблюдал за переездом: друзья съезжающихся перетаскивали по лестнице коробки и лампы. Все были молоды, смеялись. Иной раз (но не всегда) после очередного разрыва оба сожителя съезжали одновременно. Квартира освобождалась. Что из этого следует? Как интерпретировать происходящее? Тут мудрено прийти к какому-либо заключению.

Сам он хотел бы только любить, по крайней мере он не желал ничего иного. Ничего определенного. Жизнь, полагал Мишель, должна быть чем-то простым, чтобы ее можно было прожить как череду маленьких обрядов, исполнение которых бесконечно повторяется. Эти ритуалы подчас глуповаты, но на них тем не менее можно положиться. Жизнь без игры случая, без драм. Но человеческое существование было устроено не так. Иногда он выходил прогуляться, наблюдал за молодежью, смотрел на дома. Ему было ясно: никто больше не понимает, как надо жить. Тут он в конечном счете преувеличивал: некоторые все же выглядели собранными, увлеченными своим делом, отчего их жизнь, казалось, была преисполнена смысла. Так, поборники "Неусыпного дей-

ствия" считали важным проталкивание на телеэкраны кое-каких рекламных лент (осуждаемых кое-кем за порнографию), крупным планом представляющих съемки всевозможных гомосексуальных утех. Как правило, жизнь персонажей выглядела занимательной и динамичной, усеянной разного рода происшествиями. У них было множество сексуальных партнеров, они с ними совокуплялись во всяких засекреченных лавочках. Иногда презервативы слезали или лопались. Тогда они умирали от СПИДа, но и сама их кончина приобретала вид доблестный и достойный. Телевидение, чаще всего первая программа, имело обыкновение постоянно поучать насчет достоинства. В юности Мишель верил, что особое достоинство придают человеку страдания. Теперь приходилось признать: он заблуждался. Если что и придавало смертному дополнительное достоинство, то это само телевидение.

Несмотря на непреходящие невинные радости, доставляемые телевизором, он считал нужным выходить на люди. Хотя бы за покупками. Без точных ориентиров человек разбрасывается, из такого уже пользы не выжмешь.

Утром 9 июля (в день святой Амандины) он заметил, что тетради, папки и картотечные ящики уже выстроились на полках магазина единых цен. Начиналась кампания, которую называли в газетах "Начало учебного года без головной боли", что представлялось ему не вполне убедительным. Ведь что такое учение, накопление знаний, если не сплошная головная боль?

На следующий день он обнаружил в своем почтовом ящике осенне-зимний каталог фирмы "Три швейцарца". На упаковке из толстого картона не было указано никакого адреса; быть может, его засунул туда какой-нибудь коммивояжер. Как давний клиент дешевых магазинов с доставкой на дом, он привык к этим маленьким знакам внимания, свидетельствам взаимной приязни. Лето определенно на переломе, коммерческие стратеги уже ориентируются на осенний спрос; однако небо по-прежнему сияет, и, в сущности, на дворе еще только начало июля.

Мишель с юных лет читывал разного рода романы, где все вертелось вокруг темы абсурда, экзистенциального отчаяния, неизбывной пустоты бытия. Литература такого рода убедила его лишь отчасти. В ту пору он часто виделся с Брюно. Брюно мечтал стать писателем; он марал страницу за страницей и много мастурбировал; с его легкой руки Мишель открыл для себя Беккета. Вероятно, Беккет действительно был, что называется, великим писателем, однако Мишелю не удалось дочитать ни одной из его книг. Это было на исходе семидесятых; ему и Брюно было по двадцать лет, и они уже не чувствовали себя молодыми. Так все и пойдет дальше: они будут ощущать себя все более старыми и стыдиться этого. Эпохе удалось совершить в них невиданную трансформацию: утопить трагическое предчувствие смерти в обыденном и вялом ощущении старения. Два десятилетия спустя Брюно все еще по-настоящему не думал о смерти; он начал сомневаться, что когда-либо о ней задумается. Он до самого конца будет жаждать жизни, оставаясь по уши в ее проблемах, в борьбе с невзгодами и осложнениями конкретного существования и недугами дряхлеющего тела. Ему суждено до конца дней

добиваться хоть малой отсрочки, продления своего земного бытия. А главное, до конца дней он будет искать последнего сладкого мгновения, надеяться урвать себе последний лакомый кусочек. Хорошо проведенная фелляция, сколь бы ничтожна она ни была перед лицом вечности, доставляет реальное удовольствие; отрицать это было бы неразумно, думал Мишель, переворачивая посвященные тонкому белью ("Поясок на талии — чувственный силуэт!") страницы каталога.

Что касается Мишеля, то он занимался онанизмом мало; сексуальные фантазии, которые ему, молодому исследователю, могли внушить реальные молодые женщины (по большей части коммерческие представительницы больших фармацевтических лабораторий) посредством "Минителя", постепенно выцветали в его воображении. Теперь он мирно контролировал угасание собственной мужественности посредством легкого безобидного потряхивания, и тут ему для вдохновения с лихвой хватало его каталога "Три швейцарца", да иной раз сверх того премиленького CD-ROM за 79 франков. Брюно же, как он знал, наоборот, растрачивал свои зрелые годы, преследуя непостоянных Лолит с пухлыми грудками, круглыми ягодицами и зазывными устами; благодарение Богу, у Брюно было прочное положение государственного служащего. Не то чтобы он жил в мире абсурда; скорее в некой мелодраматической мешанине, среди винных паров и эротических грез. Мишель существовал в мире точном, исторически нестойком, но подчиненном общему ритму некоторых коммерческих церемониалов вроде лётных соревнований, Рождества, Нового года или выхода в свет двухгодичного каталога "Три швейцарца". Будь он гомосексуалистом, он мог бы принимать участие в "Спидафоне" или "Гей-прайде". Окажись он распутником, его приводил бы в восхищение "Эротический салон". Если бы он был поспортивнее, в эту самую минуту он бы следил за пиренейским этапом велогонок "Тур де Франс". Будучи потребителем без особых пристрастий, он тем не менее всякий раз с радостью переживал двухнедельные итальянские каникулы, не выходя из магазина единых цен. Все эти вещи были хорошо организованы, поистине гуманным образом; во всем этом он мог бы находить свою долю счастья; ничего лучше он не придумал бы, даже если бы захотел.

Утром 15 июля он вытащил из мусорной урны у подъезда проспект религиозного содержания. Разнородные житейские сюжеты сводились к одинаковому блаженному концу: встрече с воскресшим Христом. Его заинтересовал случай с одной молодой женщиной ("Изабель была в шоке, ведь она рисковала пропустить учебный год в университете"), хотя пришлось признать, что к его собственному опыту ближе история некоего Павла ("Для Павла, офицера чехословацкой армии, высшей точкой его военной карьеры стала должность командира противоракетной установки"). Он без труда мог применить к самому себе следующее замечание: "Будучи сведущим в технике специалистом, выпускником престижного учебного заведения, Павел мог бы быть доволен своим положением. Он же, несмотря на это, был несчастлив и пребывал в неустанном поиске смысла жизни".

Каталог "Три швейцарца", со своей стороны, казалось, давал читателю исторически более обоснованное представление о болезненной немощи европейцев. Подразумеваемая с первых же страниц мысль о близких коренных изменениях цивилизации на семнадцатой странице вызревала до окончательной формулировки; Мишель потратил несколько часов, размышляя над сообщением, содержавшимся в тех двух фразах, что подводили окончательный итог: "Оптимизм, великодушие, согласие, гармония — залог преображения мира. ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЖЕНСКИМ".

Брюно Мазюр в вечерних новостях возвестил, что американский зонд только что обнаружил на Марсе окаменевшие следы жизни. Речь шла о бактериальных формах, по-видимому о метановых археобактериях. Таким образом, на планете, близкой к Земле, было возможно возникновение макромолекулярных биоорганизмов, они могли выработаться из аморфных самовоспроизводящихся структур, образованных из примитивного ядра и малоизученной мембраны; потом этот процесс остановился, наверное, под воздействием климатических изменений: воспроизведение все более затруднялось, потом и вовсе прекратилось. История жизни на Марсе явила собой довольно скромный сюжет. Тем не менее (хотя Брюно Мазюр, похоже, не вполне сознавал это) сей маленький, немножко вялый рассказ о неудаче самым жестким образом противоречил всем мифическим и религиозным построениям, которыми обычно тешит себя человечество. Не было единственного, грандиозного акта творения; не было избранного народа, ни даже избранного пространства или планеты. Было лишь множество разбросанных там и сям по просторам Вселенной мелких, ненадежных и по большей части малоубедительных попыток. К тому же все это происходило ужасающе однообразно.

К моменту своего знакомства с Деплешеном, случившегося в 1982 году, Джерзински защитил первую диссертацию в университете в Орсэ. В своем новом качестве он должен был принять участие в блестящих опытах Алена Аспе, подтверждавших нерелевантность различий в поведении двух фотонов, испущенных одним и тем же атомом кальция; в этой команде он был самым молодым ученым...

Первый отчет об экспериментах Аспе появился в 48-м номере "Физикл ревью" под заголовком: "Экспериментальное подтверждение мысленного эксперимента Эйнштейна — Подольского — Розена: новое опровержение принципа неэквивалентности Белла". Джерзински был одним из соавторов статьи. Несколько дней спустя Деплешен явился к нему с визитом. Он, в ту пору сорокатрехлетний, руководил Институтом молекулярной биологии Национального научно-исследовательского центра в Жиф-сюр-Иветт. Чем дальше, тем отчетливее он сознавал, что в механизме генных мутаций от них ускользает нечто основополагающее и это нечто, по всей вероятности, связано с более глубокими феноменами, проявляющимися на атомном уровне.

Их первая встреча состоялась в комнате Мишеля, в университетском здании. Аскетическая унылость обстановки не удивила Деплешена: он ожидал чего-то в этом роде. Разговор затянулся до глубокой ночи. В тот первый вечер Деплешен был поражен широтой мысли и невозмутимо-

стью своего молодого собеседника. Он пригласил его на обед к себе домой, на улицу Эколь Политекник, в следующую субботу. Там же присутствовал один его коллега-биохимик, автор трудов по транскрипции РНК.

Когда Мишель вошел в апартаменты Деплешена, ему показалось, будто он попал в декорацию кинофильма. Мебель из светлого дерева, пол, выложенный терракотовой плиткой, афганские тканые ковры, репродукции Матисса... До сих пор он имел лишь смутное представление о жизни этой благополучной, культурной среды с ее тонким, уверенным вкусом; теперь ему было легко вообразить остальное: фамильное поместье в Бретани, возможно, сельский домик в Любероне. "Ну да, квинтеты Бартока и всякое такое", — мельком подумал он, принимаясь за первое блюдо. Обед был с шампанским, потом десерт — шарлотка с клубникой и малиной под великолепное розовое полусухое. Тут-то Деплешен и выложил ему свой план. Он сможет добиться создания договорного места в своем исследовательском объединении в Жифе; Мишелю надо будет создать себе сколько-нибудь лестную репутацию в кругах биохимиков, но сделать это надлежит побыстрее. В то же время Деплешен будет курировать подготовку его докторской диссертации, а сразу после защиты Мишель сможет получить подобающую штатную должность.

Мишель бросил взгляд на маленькую кхмерскую статуэтку, стоявшую в центре на каминной полке; выполненная весьма изящно, она изображала проповедующего Будду. Он откашлялся, прочищая горло; потом сказал, что принимает предложение.

Чрезвычайный прогресс, достигнутый за последующее десятилетие в области приборостроения и техники меток с помощью радиоактивных изотопов, позволил собрать значительное количество данных. Однако, как размышлял теперь Джерзински, в том, что касается теоретических вопросов, поднятых Деплешеном при их первой встрече, они не продвинулись ни на пядь.

Стояла глубокая ночь, когда марсианские бактерии снова возбудили его острое любопытство: он обнаружил в Интернете добрый десяток сообщений на сей счет, по большей части они исходили от американских университетов. Аденин, гуанин, тимин и цитозин обнаруживались там в нормальных пропорциях. Частью от нечего делать он заглянул на сайт Энн Арбор и нашел там сообщение о проблемах старения. Алисия Марсия-Коэльо обращала внимание читателей на потерю кодирующих сегментов в ДНК во время повторных репликаций фибропластов из тканей гладких мускулов; в этом тоже не было ничего удивительного. Он знал эту Алисию; более того, именно она десять лет тому назад лишила его невинности в Балтиморе, где был тогда конгресс генетиков, после ужина, сопровождаемого не в меру обильными возлияниями. Она была так пьяна, что не смогла даже помочь ему снять с нее лифчик. Это был утомительный и даже тягостный момент; она только что рассталась со своим мужем, о чем сообщила ему, пока он сражался с ее застежками. Потом все пошло как надо; он сам удивился тому, что сумел воткнуть свое орудие в вагину исследовательницы и даже эякулировать, не испытав ни малейшего удовольствия.

Подобно Брюно, многие курортники, посещавшие Край Перемен, были сорокалетними; как и он, большинство из них работали в социальной сфере либо в области просвещения и по своему статусу являлись должностными лицами, материально вполне обеспеченными. Практически все они могли быть причислены к левым, и опять-таки практически все вели одинокую жизнь, по большей части вследствие развода. Короче, для данного места Брюно был фигурой довольно типичной, и через несколько дней он осознал, что начинает чувствовать себя чуть лучше, чем обычно, вернее, не настолько скверно. Мистически настроенные тетки, во время утреннего завтрака совершенно нестерпимые, к тому часу, когда подавали аперитив, превращались в женщин, вовлеченных в безнадежное соперничество с конкурентками помоложе. И вот под вечер в среду он свел знакомство с Катрин, пятидесятилетней отставной феминисткой, принадлежащей к разряду "темных лошадок". Брюнетка с матовой кожей, она лет в двадцать была, наверное, весьма привлекательной. Груди у нее все еще держались на должной высоте, как он отметил в бассейне, но зад ожирел вконец. Она зациклилась на египетской символике, солнечных картах таро и т. п. Брюно спустил штаны в то время, когда она распространялась о боге Анубисе; он чувствовал, что по части эрекции она придираться не станет, так что между ними, может быть, зародится дружба. К несчастью, никакой эрекции вообще не получилось. У нее на бедрах были жировые складки, и ног она не раздвинула; расстались они довольно холодно.

Около трех ночи Брюно внезапно проснулся, вышел из палатки; его прошиб пот. Кемпинг мирно дремал; было полнолуние; слышались монотонные песнопения лягушек. Он решил подождать завтрака на берегу пруда. Перед самым рассветом слегка продрог. Утренние занятия начинались часов в десять. В четверть одиннадцатого он направился к пирамиде. Поколебался перед дверью, где шел сеанс писбния, но раздумал и спустился этажом ниже. Секунд двадцать разбирал программку занятий акварелью, затем поднялся на несколько ступеней вверх. Лестница состояла из прямых маршей с врезанными в них на середине пролета короткими изогнутыми сегментами со ступенями трапециевидной формы; на стыках прямой и изогнутой частей располагалась ступень, превышавшая по ширине все остальные. Именно на нее он и сел. Прислонился спиной к стене. Ему было хорошо.

Редкие минуты счастья, выпадавшие Брюно в лицейские годы, он именно так и проводил: после начала занятий усаживался на ступеньку лестницы между этажами, спокойно прислонялся к стене на равном расстоянии между двумя площадками и ждал, то прикрывая, то широко распахивая глаза. Конечно, кто-нибудь мог появиться; тогда ему придется встать, забрать свой ранец и быстрым шагом направиться в класс, где уже идет урок. Но зачастую никто не появлялся, все было так мирно. И мало-помалу, тихонько, словно украдкой, легкими короткими шажками

по ступеням, выложенным серой плиткой (он тогда еще ни истории не знал, ни в физике не разбирался), его душа начинала возноситься к истинной радости.

Теперь, само собой, обстоятельства были иными: он по собственному выбору оказался здесь, принял участие в жизни центра отдыха. Этажом выше занимались писаниной, этажом ниже — малевали акварелью; под ними, вероятно, работают массажисты либо проводятся курсы холотропного дыхания; еще ниже, по всей видимости, организовалась группа африканских танцев. Человеческие существа жили, дышали, старались получить удовольствие либо улучшить свои личные возможности. Это происходило повсюду. На всех этажах человеческие индивиды продвигались или тщились продвинуться в социальном, сексуальном, профессиональном или космическом отношении. Если воспользоваться наиболее употребительным выражением, все они "работали над собой". Сам же он мало-помалу начинал погружаться в спячку; он ничего больше не просил, ничего уже не искал, ни в чем не принимал никакого участия; медленно, постепенно его дух восходил к царству небытия, к чистому экстазу не-присутствия в мире. Впервые с тех пор, как ему было тринадцать, Брюно чувствовал себя почти счастливым.

Не укажете ли основные места продажи сладостей?

Он возвратился в свою палатку и проспал три часа. Проснувшись, он снова был в полной форме, и его распирало. Сексуальная фрустрация у мужчины порождает беспокойство, которое проявляется в сильном напряжении, сосредоточенном на уровне желудка; кажется, будто сперма раздувается в нижней части живота, как спрут, чьи щупальца дотягиваются до груди. Сам орган болезнен, все время горит, из него слегка сочится. Он не мастурбировал с самого воскресенья; вероятно, это было ошибкой. Последний западный миф гласит, что надо заниматься сексом, что это вполне возможно — заниматься сексом. Он натянул плавки, сунул в дорожную сумку презервативы, сопроводив этот жест отрывистым смешком. Годами он постоянно таскал презервативы при себе, и никогда ему не было от них никакого толку: как-никак у шлюх-то они имелись всегда.

На пляже было полным-полно верзил в шортах и почти голых девиц, это вселяло большие надежды. Он купил пакет чипсов и стал бродить среди отдыхающих, пока не остановил свой выбор на девушке лет двадцати с роскошной грудью — округлой, высокой, крепкой, с большими светло-коричневыми кружками у сосков. "Добрый день, — произнес он и сделал паузу; лицо красотки сморщилось в гримасе озабоченности. — Добрый день, — повторил он, — не могли бы вы указать мне основные места продажи сладостей?" — "Чего?" — буркнула она, приподнимаясь на локте. Тут Брюно заметил, что на голове у нее наушники; он пошел своей дорогой, помахивая рукой при ходьбе, этакий Питер Фальк из сериала "Коломбо". Упорствовать нет смысла: подобная "двухступенчатая" затея слишком сложна для исполнения.

Кружным путем двигаясь в сторону моря, он старался сохранить в памяти девицыны дыньки. Внезапно прямо перед ним из волн вышли три девчонки; он дал бы им не более четырнадцати лет. Приметив, где лежат их полотенца, он разостлал свое в нескольких метрах; они не обратили на него ни малейшего внимания. Он быстро сбросил тенниску, прикрыл ею бедра, повернулся на бок и вытащил свой член. Девчонки, двигаясь с бесподобной согласованностью, разом спустили свои лифчики, чтобы дать грудям позагорать. Брюно, не успев даже притронуться к себе, бурно разрешился прямо в тенниску. Он издал слабый стон и опрокинулся навзничь. Дело было сделано.

Примитивные ритуалы за аперитивом

Аперитив в Крае Перемен обычно принимали под музыку, за весь день это был самый сближающий момент. В тот вечер три молодца били в тамтамы, а десятков пять курортников топтались на площадке, размахивая во все стороны руками. На самом деле предполагалось, что это танец урожая, который отрабатывался на нескольких занятиях африканского танца; по традиции через несколько часов кое-кто из танцоров начинал испытывать — либо притворяться, будто испытывает, — состояние транса. В буквальном, то есть устаревшем, смысле транс свидетельствует о сильнейшей тревоге, ужасе перед лицом неминуемой опасности. "Я предпочитаю оставлять ключ под дверью, чем снова пережить подобный транс" (Эмиль Золя). Брюно предложил католичке стаканчик шарантского пино.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Софи, — отвечала она.

— Ты не танцуешь? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Африканские танцы не в моем вкусе, это слишком...

Что "слишком"? Он понимал ее замешательство. Слишком примитивно? Видимо, нет. Слишком ритмично? Это уже замечание на грани расизма. Решительно ничего нельзя сказать против этих дурацких африканских танцев. Бедная Софи, она старалась выразиться как лучше. У нее красивое лицо, черные волосы, голубые глаза, очень белая кожа. Грудь у нее, наверное, маленькая, зато весьма чувствительная. Она, должно быть, бретонка.

— Ты из Бретани? — спросил он.

— Да, из Сен-Бриёка! — радостно отозвалась она и прибавила: — Но я обожаю бразильские танцы... — видимо, с целью оправдаться за свою неспособность оценить танцы Африки.

Чтобы вывести Брюно из себя, ничего более не требовалось. Его приводила в бешенство эта идиотская пробразильская мания. Почему Бразилия? Судя по всему, что он о ней слышал, это дерьмовая страна, населенная фанатичными кретинами, балдеющими от футбола и автогонок. Насилие, нищета и коррупция достигают там предельного развития. Если есть на свете мерзкое, выдающееся по своей гнусности место, это определенно Бразилия.

— Софи! — вскричал Брюно вдохновенно, — я бы мог отправиться в отпуск в Бразилию. Я бы мотался среди фавелл. В бронированном микроавтобусе. Я бы любовался желторотыми убийцами лет восьми, мечтающими стать главарями банды, и малолетними шлюшками, в тринадцать лет умирающими от СПИДа. Так я проводил бы утро, а после обеда шел бы на пляж в компании разбогатевших торговцев наркотой и сутенеров. Среди этой привольной бесшабашной жизни я бы позабыл меланхолию западного человека. Софи, ты права: вернувшись, я наведу справки в агентстве "Новые границы".

Некоторое время Софи разглядывала его, лицо ее стало задумчивым, между бровей наметилась складка.

— Ты, наверное, много страдал, — наконец проговорила она печально.

— Софи, — опять воскликнул Брюно, — знаешь, что сказал Ницше о Шекспире? Что этот человек должен был много выстрадать, чтобы почувствовать такую потребность разыгрывать шута. Мне Шекспир всегда казался дутой величиной, но шут он и впрямь редкостный... — Он осекся, с удивлением заметив, что и вправду начинает испытывать боль. Женщины иногда бывают такими милыми; на агрессивность они отвечают пониманием, на цинизм — мягкостью. Какой мужчина стал бы вести себя так? — Софи, мне хочется лизнуть твою киску, — пробормотал он с чувством; но на сей раз она его не поняла. Она повернулась к инструктору по лыжам, который мял ей задницу три дня назад, и завела разговор с ним.

Брюно, сбитый с толку, на несколько мгновений остолбенел, потом зашагал через лужайку назад к автостоянке. Центр Леклерк в Шоле был открыт до десяти вечера. Болтаясь между прилавков, он размышлял, что, если верить Аристотелю, женщины маленького роста принадлежат к биологическому виду, отличному от прочих представителей рода людского. "В маленьком мужчине я еще вижу мужчину, — писал философ, — но маленькая женщина, как мне кажется, относится к новой разновидности существ". Как объяснить это странное утверждение, столь резко противоречащее обычному для Стагирита здравому смыслу? Он купил виски, пачку равиолей и бисквиты с имбирем. Когда он возвращался, уже стемнело. Проходя мимо джакузи, он различил шепот, придушенный смех. Он остановился со своей сумкой фирмы Леклерка в руках, глянул сквозь ветви. Там, кажется, были две или три парочки; явственно слышался легкий плеск пульсирующей воды. Луна выплыла из-за облаков. В то же мгновение подошла еще одна пара, принялась раздеваться. Шушуканье возобновилось. Брюно поставил наземь свою полиэтиленовую сумку, достал член и принялся онанировать. Эякуляция наступила очень быстро, как только женщина вошла в теплую воду. Уже наступил вечер пятницы, надо будет продлить свое пребывание здесь на неделю. Он перестроится, найдет себе девушку, станет общаться с людьми.

6

В ночь с пятницы на субботу он плохо спал, его мучили дурные сны. Он видел себя в обличье молодого кабанчика с пухлым и гладким телом.

Вместе со своими собратьями-свиньями он был увлекаем течением в громадный темный тоннель, извилистый, с покрытыми ржавчиной стенами. Поток воды, несущий его, был не особенно мощным, порой ему удавалось упереться ногами в дно; потом набегала волна посильнее, и его опять сносило на несколько метров вниз по течению. Время от времени он различал смутно белеющее тело кого-нибудь из своих товарищей, которого беспощадно засасывало в глубину. Они боролись в потемках, в тишине, нарушаемой лишь отрывистым скрежетом, с которым их копытца задевали металлические стены. Уносимый куда-то вниз, он вместе с тем все явственнее улавливал доносящийся из глубины тоннеля глухой шум механизмов. Постепенно до его сознания дошло, что поток тащит их к турбинам с гигантскими режущими лопастями.

Потом его отрубленная голова валялась на лужайке, расположенной несколькими метрами выше жерла тоннеля. Его череп был раскроен надвое, сверху вниз; однако та его часть, что осталась нетронутой, лежа среди травы, еще сохраняла рассудок. Он понимал, что муравьи будут постепенно забираться все глубже в обнажившуюся мозговую ткань, чтобы пожирать нейроны; тогда он бесповоротно погрузится в бессознательность. Его единственный глаз на миг обратился к горизонту. Травянистая равнина, казалось, уходила в бесконечность. Огромные зубчатые колеса вращались вспять под небом цвета платины. Возможно, он присутствовал при конце времен; по крайней мере, тот мир, что был ему знаком, достиг своего конца.

За завтраком он познакомился с бретонцем лет около семидесяти, который вел кружок акварели. Его звали Поль Ледантек, он приходился братом нынешнему директору Края и принадлежал к числу первых его основателей. В своей индейской куртке, с длинной седой бородой и трискелем на перевязи он как нельзя больше напоминал симпатичного доисторического хиппи. Перейдя пятидесятипятилетний рубеж, старый пень стал вести умиротворенное существование. Он поднимался с рассветом, бродил среди холмов, наблюдал за птицами. Потом среди людской суеты усаживался перед пиалой кофе с кальвадосом и свертывал сигаретку. Кружок акварели начинал свою работу не раньше десяти, так что времени поболтать у него было предостаточно.

— Будучи старым завсегдатаем здешних мест, — Брюно хихикнул, дабы наладить хоть видимость взаимопонимания, — ты должен помнить первоначальные годы Края, освобождение пола, эпоху семидесятых...

— Освобождение моей задницы! — буркнул пращур. — Девки, готовые служить подстилками в групповухе, были всегда. И всегда были парни, которые трясли своими макаронинами. Что было, то и есть, приятель.

— Однако же, — настаивал Брюно, — мне говорили, что СПИД изменил положение...

— Верно, — согласился акварелист, прокашливаясь, — для мужчин прежде дело обстояло попроще. Иной раз, бывало, все тебе открыто, что рты, что промеж ног, иди себе напрямик, и представляться не надо. Но это лишь когда устраивалась настоящая групповуха, к тому же производилась первоначальная селекция: обычно приходили парами. Я не раз видел: баба заголится, сидит, вся аж соком истекает, лучше не надо, а целый вечер проводит, сама себя динамя, никто и не подойдет, не всунет ей, так-то, дружище.

— Короче, — заметил Брюно в раздумье, — никакого сексуального коммунизма никогда не было, была просто расширенная система соблазна.

— Это да, — подтвердил старый хрен, — насчет соблазна, он-то всегда был.

Все это отнюдь не вдохновляло. Тем не менее подошла суббота, будет новый заезд. Брюно решил расслабиться, принимать вещи такими, как они есть, по рок-н-рольному, благодаря чему день проходил без неприятностей и даже, если начистоту, без малейших происшествий. Около одиннадцати вечера он прохаживался около джакузи. Над ласково журчащей водой поднимался легкий парок, пронизанный сиянием полной луны. Брюно приблизился в молчании. Бассейн был три метра в диаметре. У противоположного края развлекалась парочка; кажется, женщина сидела на мужчине верхом. "Имею право", — подумал Брюно, обозлясь. Он быстро скинул одежду, погрузился в джакузи. По контрасту с прохладой ночного воздуха теплая вода была упоительна. Над бассейном сквозь сплетенные ветви сосен посверкивали звезды; он малость расслабился. Парочка не обратила на него никакого внимания; девица по-прежнему скакала верхом, да еще стонать принялась. Черт ее лица он разглядеть не смог. Мужчина тоже принялся шумно сопеть. Движения девушки ускорились; на мгновение она откинулась назад, луна резко озарила ее груди; лицо скрывала темная масса волос. Потом она прильнула к партнеру, обхватив его руками; он задышал еще сильнее, издал продолжительное рычание и умолк.

Минуты две они не меняли положения, затем мужчина поднялся и вышел из бассейна. Прежде чем одеться, он сдернул со своего члена презерватив. Брюно с удивлением заметил, что женщина не шевелится. Шаги мужчины удалялись, опять воцарилась тишина. Она вытянула ноги в воде. Брюно поступил так же. Его стопа, задев ее киску, легла ей на бедро. С легким всплеском она оттолкнулась от края бассейна и оказалась рядом. Теперь облака скрывали луну; женщина была в полуметре от него, но разглядеть лицо он все еще не мог. Одну руку она положила ему на бедро, другой обвила его плечи. Брюно прильнул к ней, уткнувшись лицом ей в грудь; бюст у нее был маленький и крепкий. Отдавшись ее объятиям, он отдалился от края, чувствуя, как она увлекает его к центру бассейна. Потом она стала медленно поворачиваться. Мышцы его шеи внезапно ослабли, голова стала очень тяжелой. Стоило опустить ее на несколько сантиметров ниже, и шум воды, сверху едва слышный, превратился в мощный рокот подводной турбины. Звезды мягко вращались прямо над его лицом. Он расслабился в ее руках, его член, встав, вынырнул из воды. Она легонько поглаживала его тело, ласка ее рук была едва ощутима, он испытывал полнейшее умиротворение. Длинные волосы девушки щекотали ему живот, потом ее язык коснулся кончика его члена. Он затрепетал всем телом от счастья. Она сомкнула губы и медленно, очень медленно взяла его в рот. Он зажмурился, дрожь экстаза пронизала его. Подводный рокот был бесконечно отраден. Когда губы женщины добрались до основания его члена, он стал ощущать движения ее горла. Волны блаженства, пробегавшие по его телу, стали мощнее, и в то же время он чувствовал, как его баюкает подводное течение; мгновенный жар охватил его. Стенки ее горла мягко сжались, и вся его

энергия разом сосредоточилась в члене. Оргазм исторг у него вопль; никогда в жизни он не испытывал подобного наслаждения.

7. Разговор в трейлере

Трейлер Кристианы находился метрах в пятидесяти от его палатки. Войдя, она включила свет, достала бутылку вина, наполнила два стакана. Хрупкая, ниже Брюно ростом, она наверняка когда-то была очень красива; но тонкое лицо ее увяло, мелкие красные прожилки испещрили кожу. Только волосы, черные, шелковистые, сохраняли все свое великолепие. Взгляд ее голубых глаз был мягок, немного грустен. Ей было, наверное, лет сорок.

— По временам на меня накатывает, тогда я путаюсь с целым светом, — сказала она. — Правда, для проникновения я всегда требую, чтобы был презерватив.

Она смочила губы, отпила глоток. Брюно смотрел на нее; она ничего не надела снизу, лишь натянула серую бумажную фуфайку. Выпуклость ее венерина холма была очаровательна, только большие губы слегка отвисли.

— Я бы хотел сделать так, чтобы ты тоже кончила, — сказал он.

— Не торопи события. Допей свой стакан. Можешь выспаться здесь, места хватит. — Она указала на двуспальную кровать.

Они потолковали о стоимости стоянки трейлера. Кемпинг для Кристианы не подходил, у нее были проблемы с позвоночником.

— И довольно серьезные, — сказала она. — Большинство мужчин предпочитает минет, — сказала она еще. — Проникновение их утомляет, им больно напрягаться. А когда берешь в рот, они становятся как малые дети. У меня впечатление, что феминизм их не на шутку задевает, куда сильнее, чем они в этом признаются.

— Есть вещи и похуже феминизма, — сумрачно обронил Брюно. Он наполовину опустошил свой стакан, прежде чем решился продолжить: — Ты давно знаешь Край?

— Практически с самого начала. Я перестала приезжать, когда была замужем, а теперь возвращаюсь сюда каждый год недели на две, на три. Поначалу это было местечко скорее альтернативное, приют новых левых; теперь оно для поборников *New Age*, не такая уж это перемена. В семидесятых уже возник интерес к восточной мистике; джакузи и массажи здесь сохранились и поныне. Здесь приятно, но немного печально; и насилия здесь гораздо меньше, чем вокруг. Религиозная атмосфера немного скрадывает грубость приставаний. А все-таки есть женщины, которые и здесь страдают. У мужчин, стареющих в одиночестве, куда меньше причин жаловаться, чем у женщин, попавших в такое же положение. Мужчины пьют скверное вино, засыпают, у них разит изо рта, потом, проспавшись, они все начинают сызнова. И довольно быстро умирают. Женщины принимают транквилизаторы, занимаются йогой, ходят к психологам; они доживают до глубокой старости и тяжко страдают. Выставляют на продажу ослабевшие, обезображенные тела, сами это сознают и терзаются. И все же продолжают в том же духе, так как не в

силах отказаться от надежды быть любимыми. Они до самого конца остаются жертвами этой иллюзии. Женщина и после определенного возраста всегда может переспать с мужиком, но возможности быть любимой у нее никогда уже не будет. Таковы мужчины, вот и все.

— Кристиана, — мягко возразил Брюно, — ты преувеличиваешь... К примеру, сейчас мне очень хочется доставить тебе удовольствие.

— Верю. Мне кажется, ты скорее всего славный малый. Эгоист и симпатяга.

Она сбросила фуфайку, растянулась поперек кровати, подложила себе под ягодицы подушку и раздвинула бедра. Брюно сначала довольно долго вылизывал ее лобок, потом быстрыми мелкими движениями языка стал возбуждать клитор. Кристиана глубоко вздохнула.

— Запусти палец, — шепнула она.

Брюно повиновался, затем повернулся так, чтобы, не переставая лизать Кристиану, одновременно ласкать ее грудь. Почувствовав, как твердеют соски, он поднял голову.

— Продолжай, прошу тебя, — взмолилась она.

Он передвинулся поудобнее, чтобы шея не затекла, и стал ласкать клитор пальцем. У Кристианы вырвался стон. На какую-то долю секунды в памяти мелькнула тощая, сморщенная вульва его матери; это видение тотчас исчезло, он продолжал все быстрее тереть клитор и дружеским языком щедро вылизывать губы. Живот ее покраснел, дыхание становилось все громче. Она кончила умиротворенно, с продолжительным содроганием. Он замер в неподвижности, прильнув лицом к ее мокрой вульве, воздев руки; и почувствовал, как пальцы Кристианы ласково сжали его запястья.

— Спасибо, — сказала она. Потом встала, натянула фуфайку и снова наполнила стаканы.

— Это было по-настоящему хорошо, тогда, в джакузи, — сказал Брюно. — Мы не произнесли ни слова; в тот момент, когда я ощутил твои губы, я еще не различал черт твоего лица. Ни грана соблазна, это было что-то очень чистое.

— Все основывается на корпускулах Краузе... — Кристиана усмехнулась. — Меня можно извинить, я ведь преподаватель естественных наук. — Она отпила глоток вина. — Основание клитора, головка и желобок полового члена выстланы корпускулами Краузе, они очень богаты нервными окончаниями. Когда их ласкают, в мозгу происходит мощный выброс эндорфинов. Итак, клиторы и головки половых членов покрыты корпускулами Краузе — их количество у всех приблизительно одинаково, в этом смысле равенство полное; но есть кое-что другое, ты сам это прекрасно знаешь. Я была без ума от своего мужа. Я ласкала, я лизала его член и делала это благоговейно; я любила ощущать, как он входит в меня. Я была горда тем, что вызываю у него эрекцию, у меня есть фотография его вставшего члена, я всегда ее храню в сумочке: для меня это вроде священного изображения, моей величайшей радостью было доставлять удовольствие ему. В конце концов он меня бросил ради более молодой. Я только что вполне убедилась, что мои гениталии не внушают тебе истинного влечения; это уже отчасти гениталии старухи. В зрелом возрасте повышение побочных связей между коллагенами, фрагментация эластина в ходе митозов постепенно приводят к потере кре-

пости и гибкости тканей. В двадцать лет у меня была прекрасная вульва; ныне я вполне отдаю себе отчет, что большие и малые губы несколько отвисли.

Брюно осушил свой стакан; ему было абсолютно нечего ей возразить. Чуть погодя они улеглись. Он обвил рукой талию Кристианы. Они заснули.

8

Брюно проснулся первым. Далеко в вышине, в древесных кронах пела птица. Кристиана во сне сбросила одеяло. У нее были прехорошенькие ягодицы, все еще округлые, весьма волнующие. Ему вспомнилась фраза из "Русалочки", у него была дома старая сорокапятка с "Матросской песенкой" в исполнении ансамбля "Братец Жак". Русалочка вынесла все испытания, отказалась от своего голоса, от родины, от красивого русалочьего хвоста, и все из любви к принцу, в надежде стать настоящей женщиной. Глубокой ночью выброшенная бурей на прибрежный песок, она выпивает волшебный эликсир. Ей кажется, будто ее разрубают надвое, боль так невыносима, что она теряет сознание. Следуют несколько музыкальных аккордов в совершенно ином духе, словно бы открывающие взгляду новую картину; затем чтица произносит ту фразу, что так живо тронула Брюно: "Когда она проснулась, солнышко сверкало, и перед ней стоял прекрасный принц".

Он вновь припомнил вчерашний разговор с Кристианой и сказал себе, что, может быть, сумеет полюбить ее слегка отвисшие, но сладкие губы. Как всегда по утрам, что вообще свойственно большинству мужчин, ему приспичило. В неярком свете ранней зари лицо Кристианы, утопающее в густой массе черных спутанных волос, казалось очень бледным. Она лишь чуть приоткрыла глаза, когда он вошел в нее. Ноги она раздвинула, хотя, похоже, немного удивилась. Он задвигался в ней, но заметил, что с каждой секундой становится все более вялым. Это вызвало в нем глубокую печаль, смешанную с беспокойством и стыдом.

— Ты предпочитаешь, чтобы я надел презерватив? — спросил он.

— Да, пожалуйста. Они в пакете, рядом, на туалетном столике.

Он разорвал упаковку; это были изделия фирмы "Техника". Естественно, что агрегат, едва оказавшись в резине, совершенно размяк.

— Мне жаль, — буркнул он, — мне правда жаль.

— Ничего, — сказала она мягко, — иди, приляг.

Положительно, СПИД был истинным благодеянием для мужчин этого поколения. Иногда достаточно вынуть колпачок, чтобы их орудие тотчас расслабилось.

— Никогда не смогу к этому приспособиться...

Совершив эту маленькую церемонию, защищающую их мужественность в принципиальном смысле, они могут снова улечься в постель, привалиться к телу своей жены и мирно почивать.

После завтрака они спустились с холма, прошлись мимо пирамиды. На берегу пруда не было ни души. Они растянулись на залитой солнцем

лужайке; Кристиана стянула с него шорты и принялась его ублажать. Действовала она очень мягко, поразительно чувственно. Позже, когда с ее легкой руки они вошли в тайное сообщество "пар свободного поведения", Брюно пришлось отдать себе отчет в том, насколько это редкостное качество. Большинство женщин из этой среды действовали грубо, без малейших нюансов. Они слишком крепко сжимали, с тупым жаром трясли член, вероятно желая походить на актрис из порнофильмов. На экране это, может быть, и зрелищно, но осязательный результат так себе, если не мучителен. Кристиана же, напротив, прибегала к методу легких касаний, постоянно увлажняла свои пальцы, ласкала чувствительные зоны. Женщина в свободной индейской блузе проследовала мимо них и уселась на берегу. Брюно сделал глубокий вздох, удержался от извержения. Кристиана улыбнулась ему; солнце начинало жарко пригревать. Он понял, что вторая неделя в Крае обещает быть очень приятной. Возможно даже, что они не расстанутся, будут стареть вместе. По временам она будет дарить ему краткий миг физического блаженства, они вдвоем переживут пору угасания страстей. Так пройдет несколько лет; потом всему придет конец, они постареют, для них комедия плотской любви будет окончена.

Пока Кристиана принимала душ, Брюно изучал инструкцию "омолаживающего крема на основе микрокапсул", который он накануне приобрел в универсаме Леклерка. В то время как реклама на упаковке подчеркивала новизну средства, более подробный текст вкладыша особо упирал на три пункта: фильтрацию вредоносных составляющих солнечного света, выделение активных увлажнителей на протяжении целого дня и нейтрализацию свободных радикалов. Его чтение было прервано на полпути приходом Катрин, экс-феминистки, зацикленной на египетских гадальных картах. Она не делала секрета из того, что возвращается с занятий кружка по развитию личности "Ваше дельце вытанцуется".

Речь идет о выявлении своих наклонностей с помощью серии символических игр; эти игры мало-помалу позволяют выпустить на волю "внутреннего героя", скрытого в каждом из участников. В ходе первого дня занятий обнаружилось, что Катрин немножко колдунья, но вместе с тем и немножко львица; сие открытие, само собой разумеется, должно было ориентировать ее на ответственный пост в сфере торговли.

— Гм-м-м, — пробурчал Брюно.

В этот момент вернулáсь Кристиана, одежда которой состояла из полотенца, обернутого вокруг талии. Катрин осеклась, не сумела скрыть раздражение. Она сослалась на начало занятий кружка "Медитации дзен и аргентинского танго" и поспешно ретировалась.

— А я-то думала, ты занимаешься в группе "Тантра и бухгалтерский учет", — бросила ей вслед Кристиана.

— Ты с ней знакома?

— Ну да, эту дуреху я знаю уже лет двадцать. Она здесь тоже с самого начала, по существу со дня основания Края.

Она тряхнула своей гривой, тюрбаном намотала полотенце на голову. Вышли они вместе. Брюно вдруг захотелось взять ее за руку. Он так и сделал.

— Я всегда терпеть не могла феминисток, — снова заговорила Кристина, когда они были на полдороге вверх по склону. — Эти шлюхи беспрерывно болтают о мытье посуды и разделении обязанностей, они буквально одержимы мытьем посуды. Иной раз им случается проронить словцо-другое насчет кухни или пылесосов, но грязная посуда неизменно остается главнейшим предметом их разговоров. За несколько лет им удается превратить мужиков из своего окружения в бессильных брюзжащих невротиков. Тогда — следствие абсолютно неизбежное — они начинают испытывать ностальгию по мужественности. В конечном счете они посылают к черту своих дружков, предпочитая, чтобы их самих нанизал на таран какой-нибудь латиноамериканский мачо. Меня всегда поражала склонность интеллектуалок к проходимцам, грубым скотам и болванам. Короче, они успевают потрахаться с двумя-тремя, иным, самым аппетитным, перепадает и больше, потом заставляют кого-нибудь заделать им пупса и принимаются готовить домашнее повидло по фирменным рецептам от Мари-Клер. Я такой сценарий наблюдала десятки раз.

— Это старо как мир, — примирительно заметил Брюно.

Вторую половину дня они провели у бассейна. Напротив, по другую его сторону, стайка девчонок прыгала на месте, отнимая друг у дружки плейер.

— Миленькие, правда? — заметила Кристиана. — Вон та блондинка с маленьким бюстом настоящая красотка. — Потом она растянулась на банном полотенце. — Передай-ка мне крем.

Кристиана не принимала участия ни в одном из кружков. Даже испытывала некоторое отвращение к этой, как она выражалась, шизофренической активности.

— Возможно, я жестковата, — говорила она еще, — но знаю я этих выкормышей шестьдесят восьмого года, перешагнувших рубеж сорокалетия, практически я сама одна из них. Они старятся в одиночестве, их влагалища почти мертвы. Потолкуй с ними пять минут, и ты увидишь, что они вовсе не верят в эти россказни о чакрах, кристаллах, светоносных вибрациях. Хотя стараются во все это поверить, иногда им это удается на пару часов, пока длится занятие группы. Они ощущают ангельское присутствие, внутренний цветок, что раскрывается у них в животе, и все такое; потом занятие кончается, и они опять видят, что одиноки, постарели, подурнели. Они страдают нервическими припадками, ревут. Не замечал? Особенно после занятий дзен. По правде говоря, у них нет выбора, ведь помимо всего прочего их донимают проблемы с деньгами. Они чуть ли не все прошли курс психоанализа, это выпотрошило их кошельки до самого дна. Мантра и таро — жуткая чушь, но это хоть подешевле, чем психоаналитики.

— Ну да, еще и стоматологи... — невнятно проворчал Брюно. Он пристроил голову между ее раскинутых бедер, чувствуя, что так и уснет.

Когда настала ночь, они направились к джакузи. Он попросил ее его не возбуждать. Вернувшись в трейлер, они занялись любовью. Он было потянулся к презервативам, но Кристиана сказала: “Оставь”. Войдя в нее, он почувствовал, что она счастлива. Одно из самых удивительных свойств плотской любви — то ощущение близости, которое она вызыва-

ет, если к желанию примешивается хоть малая толика взаимной симпатии. С первых же минут от "вы" переходишь к "ты", и кажется, будто любовница, даже встреченная только вчера, имеет право на такую степень откровенности, до какой ты бы не дошел ни с одним человеческим существом. Так и Брюно в ту ночь поведал Кристиане нечто такое, о чем никому никогда не рассказывал, даже Мишелю, а уж своему психиатру и подавно. Он говорил ей о своем детстве, о смерти бабушки и унижениях, пережитых в пансионе для мальчиков. Он описал ей свое отрочество, мастурбации в электричке в двух шагах от девочек; он ей рассказал о летних месяцах в доме отца. Кристиана слушала, поглаживая его волосы.

Они провели вместе неделю и накануне отъезда Брюно пообедали в ресторане даров моря в Сен-Жорж-де-Дидонн. Воздух был горяч и неподвижен, пламя свечей, озарявших их столик, почти не вздрагивало. Сверху их взгляду открывалось обширное устье Жиронды, вдали виднелся мыс Грав.

— Когда я вижу, как луна сияет над морем, — сказал Брюно, — я с непривычной ясностью осознаю, что нам нечего, абсолютно нечего делать в этом мире.

— Тебе в самом деле необходимо ехать?

— Да, я должен провести две недели с сыном. По существу, мне следовало уехать на прошлой неделе, больше задерживаться нельзя. Послезавтра его мать улетает самолетом; у нее уже все рассчитано.

— Сколько лет твоему сыну?

— Двенадцать.

Кристиана помолчала задумчиво, отхлебнула глоток мюскаде. На ней было длинное платье, она сделала макияж и казалась молодой девушкой. Сквозь кружева корсажа угадывалась грудь; пламя свечей искорками отсвечивало в глазах.

— Я думаю, что немножко влюбилась, — произнесла она. Брюно ждал в полнейшей неподвижности, не решаясь пошевельнуться. — Я живу в Нуайоне, — продолжала она, — вдвоем с сыном. У нас все было более или менее хорошо, пока ему не исполнилось тринадцать. Не знаю, возможно, ему не хватало отца... Хотя и не уверена, вправду ли детям нужен отец. Он-то не нуждался в своем сыне, уж это наверняка. Поначалу он иногда брал его с собой, водил в кино или в "Макдональдс". Потом это стало случаться все реже и реже, а когда он переехал со своей новой подружкой на юг, совсем прекратилось. Я его вырастила почти что одна, мне, вероятно, не хватало авторитета. Вот уже два года как он начал пропадать из дома, завелись дурные знакомства. Это многих удивляет, но Нуайон город неспокойный. Много черных и арабов, Национальный фронт на последних выборах получил сорок процентов. Я живу в доме на окраине, у почтового ящика выломана дверца, ничего не могу оставить в подвале. Мне часто бывает страшно, иногда слышится стрельба. Вернувшись из лицея, запираюсь у себя, никогда не выхожу из дому по вечерам. Сын возвращается домой поздно, а часто совсем не приходит. Я ничего не смею ему сказать; боюсь, как бы он меня не ударил.

— Нуайон далеко от Парижа?

Она усмехнулась.

— Вовсе нет, это в департаменте Уаза, километров восемьдесят, не больше... — Она умолкла и опять улыбнулась; ее лицо в эту минуту светилось нежностью и надеждой. — Я любила жизнь, — сказала она. — Любила жизнь и от природы была чувственной и страстной, всегда обожала заниматься любовью. Что-то обернулось не так; я не совсем понимаю что, но что-то в моей жизни не заладилось.

Брюно уже сложил палатку, загрузил багаж в автомобиль; свою последнюю ночь он провел в трейлере. Утром попытался войти в Кристиану, но на этот раз спасовал, он чувствовал себя взвинченным и расстроенным. "Кончай прямо на меня", — сказала она. Она размазала сперму по своему лицу и груди. Когда он выходил за дверь, она попросила: "Приезжай повидаться со мной". Он обещал. Было это в субботу, 1 августа.

9

Вопреки обыкновению, Брюно сейчас избегал больших магистралей. Не доезжая Партене, он сделал краткую остановку. У него была потребность подумать; да, но, в сущности, о чем? Он остановил машину среди мирного, скучного ландшафта, возле канала с почти недвижной водой. Прибрежные кустарники то ли росли, то ли гнили, трудно сказать. Тишину нарушало смутное жужжание, оно доносилось из воздуха, должно быть полного насекомых. Он прилег на поросший травой берег, пригляделся к слабому, чуть заметному движению воды: она медленно текла на юг. Лягушек не было видно — ни одной.

В октябре 1975-го, перед самым поступлением на факультет, когда Брюно обосновался в квартирке, купленной для него отцом, у него возникло ощущение, что начинается новая жизнь. Разочароваться пришлось очень скоро. Конечно, девушки там были, даже много девушек, но все они выглядели уже занятыми или по крайней мере не проявляли желания завязать с ним отношения. С целью установить контакты он таскался на все воскресные дополнительные занятия, на все лекции и вскоре таким образом вышел в первые ученики. Он видел девушек в кафетерии, слышал их болтовню: они приходили и уходили, встречались с приятелями, приглашали друг друга на вечеринки. Брюно начал много есть. Вскоре он установил для себя продовольственный маршрут — вниз по бульвару Сен-Мишель. Для начала он покупал хот-дог в лавочке на перекрестке с улицей Гей-Люссака; потом чуть дальше съедал пиццу или, реже, сандвич по-гречески. В "Макдональдсе", что на пересечении с бульваром Сен-Жермен, он проглатывал несколько чизбургеров, запивая кока-колой и молочно-банановым коктейлем; затем, спотыкаясь, плелся по улице Ла-Арп, чтобы закончить пиршество в тунисских кондитерских. По дороге домой он останавливался перед кинотеатром "Латен", предлагавшим два порнофильма за один сеанс. Иной раз он по получасу топтался перед входом, притворяясь, будто изучает схему автобусных маршрутов, в надежде — неизменно тщетной — увидеть входящую пару или одинокую женщину. Однако чаще всего он не находил попутчиков. Оказавшись в зале, он сразу чувствовал себя лучше, билетерша была безупречна в своей скромной сдержанности. Мужчины рас-

полагались поодаль друг от друга, между ними всегда оставалась дистанция в несколько свободных мест. Он спокойно онанировал, смотря "Похотливых медсестер", "Путешествуешь автостопом — не носи трусиков", "Профессионалку с раздвинутыми ногами", "Сосалок" и множество тому подобных фильмов. Единственное, что его смущало, — момент, когда наступала пора выйти из кинотеатра прямехонько на бульвар Сен-Мишель, где он распрекрасно мог нос к носу столкнуться с кем-нибудь из факультетских однокашниц. Обычно он выжидал, чтобы какой-нибудь тип поднялся с места, и следовал за ним по пятам: пойти на порнофильм за компанию с приятелем казалось ему менее постыдным. Домой он возвращался обычно около полуночи, на сон грядущий читал Руссо или Шатобриана.

Раз или два в неделю Брюно принимал решение изменить жизнь самым радикальным образом. Вот как это происходило. Для начала он раздевался — совсем, догола — и вставал перед зеркалом: было необходимо дойти до предела самоуничижения, досконально разглядеть всю мерзость своего раздутого брюха, отвислых щек, ягодиц, уже тронутых дряблостью. Потом он выключал все лампы. Сдвигал ноги, скрещивал руки на груди, слегка наклонял для пущего самоуглубления голову. Тут он делал медленный, глубокий вдох, надувая до крайности свой гадский живот; затем выдох, тоже очень медленный, и при этом он мысленно вел счет. Все цифры были важны, его сосредоточенность не должна была ослабеть ни на миг; но наивысшее значение имели четыре, восемь и, разумеется, шестнадцать — последняя цифра. Когда, выдохнув изо всех сил, он выпрямится, произнеся финальное "шестнадцать!", он станет совершенно другим человеком, наконец-то готовым жить, броситься в круговорот бытия. Он больше не будет знать ни страха, ни стыда; начнет нормально питаться, нормально вести себя с девушками. "Сегодня первый день твоей новой жизни".

Этот маленький церемониал ничего не мог поделать с его робостью, но иногда оказывал некоторое воздействие на его булимию; случалось, проходило двое суток, прежде чем он снова впадал в обжорство. Неудачу он объяснял недостатком собранности, потом, очень скоро, опять начинал верить в успех. Он был еще молод.

Однажды вечером, выходя из кондитерской "Сласти Южного Туниса", он столкнулся с Анник. Он не видел ее со времени их краткой встречи летом 1974-го. Она еще больше подурнела, теперь она была почти что жирной. Квадратные очки в черной оправе с толстыми стеклами уменьшали ее и без того маленькие карие глазки, подчеркивали нездоровую белизну кожи. Они вместе пили кофе, причем оба испытали минуты довольно заметного смущения. Она тоже была студенткой, изучала в Сорбонне литературу; ее комнатка с окнами на бульвар Сен-Мишель находилась совсем рядом. Уходя, она оставила ему номер своего телефона.

В последующие недели он несколько раз заходил к ней. Она отказывалась раздеваться, собственная наружность слишком ее унижала; зато в первый вечер она предложила Брюно сделать ему минет. О своих физических недостатках она не говорила, сослалась на то, что не приняла таблетки. "Я предпочитаю это, право же, поверь..." Она никуда не ходила, все вечера просиживала дома. Готовила себе настойки, стара-

лась соблюдать режим; но ничто не помогало. Брюно несколько раз пробовал стащить с нее панталоны; она сжималась в клубок, ни слова не говоря, яростно отталкивала его. Он в конце концов уступал, вытаскивал свой член. Она сосала его торопливо, немножко слишком сильно; он эякулировал ей в рот. Иногда они разговаривали об учебе, но недолго; обычно он довольно скоро уходил. Честно говоря, она была так некрасива, что ему было бы трудно представить себя рядом с ней на улице, в ресторане, в очереди у кинотеатра. Он нажирался в кондитерской до тошноты, потом поднимался к ней, давал себя пососать и удалялся. Наверное, так оно и лучше.

В вечер смерти Анник погода стояла очень теплая. Был еще только конец марта, но вечер выдался совсем весенний. В своей привычной кондитерской Брюно купил длинный рожок, начиненный миндалем, потом спустился к набережной Сены. Звук громкоговорителя с речного трамвая сотрясал воздух, отдаваясь эхом от стен Нотр-Дама. Он дожевал липкий, обмазанный медом рожок, потом, в который раз, почувствовал острое отвращение к самому себе. А может быть, неплохая идея, сказал он себе, опробовать свой метод здесь, в самом сердце Парижа, в центре мира, среди людей. Он зажмурил глаза, сдвинул каблуки, скрестил на груди руки. Войдя в состояние абсолютной сосредоточенности, стал медленно, решительно считать. Произнеся заветное "шестнадцать!", он энергично выпрямился. Речной трамвайчик пропал из виду, набережная была пустынна. Воздух все еще оставался довольно теплым.

Перед домом Анник теснилась маленькая толпа, двое полицейских сдерживали ее. Он приблизился. Изувеченное тело девушки лежало на земле, нелепо скорчившись. Ее раздробленные руки, будто щупальца, охватывали голову, лужа крови окружала то, что осталось от ее лица; вероятно, перед падением она последним рефлекторным жестом самозащиты поднесла руки к лицу. "Прыгнула с восьмого этажа. Мгновенная смерть", — со странным удовольствием сказала женщина, стоявшая рядом с ним. Подкатила машина "Скорой помощи", из нее вышли двое мужчин с носилками. В то мгновение, когда они поднимали ее, он увидел расколотый череп и отвел глаза. "Скорая помощь" укатила под вой сирен. Так кончилась первая любовь Брюно.

Лето 1976-го было, может статься, самой жестокой порой его жизни; ему только что исполнилось двадцать лет. Жара стояла несусветная, даже ночи не приносили с собой ни малейшей свежести; в этом смысле лето 76-го должно остаться в памяти потомков. Девушки ходили в коротких прозрачных платьях, от пота ткань липла к телу. Он бродил целыми днями сам не свой от желания. Вставал по ночам, пешком обходил Париж, задерживаясь на террасах кафе, подкарауливая их у входа на дискотеки. Танцевать он не умел. Возбуждение не утихало ни на мгновенье. Ему казалось, что промеж ног у него кусок мяса, истекающий влагой, гниющий, пожираемый червями. Несколько раз он пробовал заговаривать с девушками на улице, но в ответ слышал только унизительные насмешки. По ночам он смотрел на себя в зеркало. Его потные, прилипшие к голове волосы начинали редеть со лба; под рубашкой прорисовывались складки живота. Он стал посещать секс-шопы и пип-шоу, но не

добился ничего, кроме обострения своих мук. Тут в первый раз он прибег к услугам проститутки.

Неуловимый и решающий поворот, сделал вывод Брюно, вот что произошло в западном обществе в 1974–1975 годах. Он все еще лежал на травянистом откосе над каналом; свернутая и засунутая под голову полотняная куртка заменяла ему подушку. Он вырвал пучок травы, ощутил ее влажную шероховатость. В те самые годы, когда он безуспешно пытался приноровиться к жизни, западные общества вступили на какой-то темный путь. В то лето 76-го было уже очевидно, что все это добром не кончится. Физическое насилие, самое крайнее проявление индивидуальности, вслед за вожделением снова вступит на Западе в свои права.

10. Джулиан и Олдос

> Когда возникает надобность преобразовать или обновить основополагающую доктрину, обреченные поколения, в среде которых происходит такая трансформация, в основном остаются чужды, а зачастую становятся и прямо враждебны ей.
>
> Огюст Конт. *Призыв к консерваторам*

Около полудня Брюно вновь сел в машину, добрался до центра Партене. Поразмыслив, он решил выбраться на автотрассу. Позвонил из телефонной кабинки брату – тот мгновенно поднял трубку. Он вернулся в Париж, он охотно увидится с Мишелем сегодня же вечером. Завтра это будет невозможно, у него встреча с сыном. Но нынче вечером он свободен, ему это представляется важным. Мишель не проявил особых эмоций. "Если хочешь", – произнес он после долгого молчания. Как большинство людей, он находил крайне неприятной тенденцию общества к раздробленности, которую так бойко описывают социологи и комментаторы. Подобно большинству, он считал желательным сохранять некоторые семейные узы, пусть и обрекая себя ради этого на легкую скуку. Так он годами принуждал себя проводить Рождество у тетушки Мари-Терез, которая вместе со своим симпатичным, почти глухим мужем старилась в особнячке в Ренси. Его дядюшка всегда голосовал за коммунистов и отказывался ходить к полуночной мессе, что всякий раз становилось поводом для "сшибки". Попивая настойку из корений горечавки, Мишель слушал, как старик рассуждает об освобождении трудящихся, время от времени бурча в ответ какую-нибудь банальность. Потом приходили другие, в том числе его кузина Брижит. Он любил Брижит, ему хотелось, чтобы она была счастлива; но с ее мужем, порядочным болваном, это представлялось трудно достижимым. Он служил у Байера врачом по вызову и обманывал жену при всяком удобном случае; поскольку он был красивым мужчиной и много ездил, возможностей было хоть отбавляй. Лицо Брижит с каждым годом все более тускнело.

В 1990 году Мишель отказался от этого ежегодного визита; у него теперь остался только Брюно. Семейные узы сохраняются несколько лет, иногда и десятилетий, на самом деле они много долговечней всех прочих; но потом в конце концов они тоже сходят на нет.

Брюно приехал около девяти вечера, он уже немного выпил и жаждал поговорить на отвлеченные темы.

— Меня всегда поражала, — начал он, еще не успев даже присесть, — чрезвычайная точность предсказаний, сделанных Олдосом Хаксли в романе "О дивный новый мир". Как подумаешь, что эта книга была написана в 1932-м, — просто невероятно. С тех пор западное общество непрестанно стремилось приблизиться к этому образцу. Все более совершенные методы контроля за рождаемостью рано или поздно приведут к тому, что она раз и навсегда потеряет связь с сексуальностью, а род человеческий будет воспроизводиться в лаборатории при условии генетической надежности и полной безопасности. Как следствие — исчезновение родственных связей, понятий отцовства и материнства. Благодаря прогрессу фармакологии — устранение различий между разными возрастами. В мире, описанном Хаксли, в шестьдесят лет человек так же активен, имеет ту же наружность, те же самые желания, что двадцатилетний. Потом, когда он более не способен противостоять старости, его ждет добровольное исчезновение посредством эвтаназии; все очень скромно, очень быстро, без драм. Общество, изображенное в книге "О дивный новый мир", — это счастливое общество, где нет места трагедиям и эмоциональным крайностям. Всеобщая сексуальная свобода, больше никаких препон наслаждению, расцвету желаний. Случаются краткие моменты уныния, печали и сомнения; но все это легко исцелить медикаментозным путем, химия добилась существенного прогресса в области антидепрессантов и анксиолитиков. "Сому ам — и нету драм". Это точь-в-точь такой мир, о котором мы сегодня мечтаем, мир, в каком мы, нынешние, хотели бы жить.

— Я прекрасно знаю, — продолжал Брюно, взмахом руки как бы отметая замечание, которого Мишель не делал, — знаю, что обычно мир Хаксли объявляют тоталитарным кошмаром, пытаясь выдать эту книгу за разоблачение; это просто чистейшее лицемерие. По всем пунктам — генетический контроль, свобода пола, борьба со старостью, цивилизация развлечений — "О дивный новый мир" рисует нам рай, в точности такой, достичь которого мы пытаемся, пока что безуспешно. Есть только один фактор, несколько противоречащий нашей системе ценностей, — это разделение общества на касты, по своей генетической природе предназначенные для разных работ. Однако это безусловно единственный пункт, в котором Хаксли оказался плохим пророком; это равным образом единственный пункт, который становится почти бесполезным по мере развития механизации и роботизации. Олдос Хаксли, вне всякого сомнения, плохой писатель, его фразы тяжеловесны и лишены изящества, его персонажи невыразительны и ходульны. Но ему присуще одно — притом основополагающее — интуитивное прозрение, что эволюция людских сообществ в продолжение нескольких веков направлялась и в дальнейшем во все большей степени будет направляться научным и технологическим прогрессом. Ему могло при всем том не хватать тонкости, психологизма, чувства стиля; все это легко перевешивается его исходным преимуществом — интуицией. Он первым из писателей, включая сюда и научных фантастов, понял, что, не считая физики, главным двигателем этого процесса теперь станет биология.

Брюно осекся; он только теперь заметил, что его брат слегка похудел, выглядит усталым, озабоченным, да, пожалуй, и несколько рассеянным. И в самом деле, вот уже несколько дней Мишель пренебрегал своими занятиями. Не в пример прошлым годам, перед магазином единых цен топталось много нищих и продавцов газет; а ведь лето в разгаре, это пора, когда бедность становится менее гнетущей. "А если война?" — спрашивал себя Мишель, наблюдая сквозь оконное стекло медлительные перемещения клошаров. Брюно снова налил себе стакан вина; он начал ощущать, что проголодался, и был несколько удивлен, когда брат устало ответил ему:

— Хаксли принадлежал к большому семейству английских биологов. Его дед дружил с Дарвином, он много писал в защиту теории эволюции. Его отец и его брат Джулиан также были биологами с именем. Это все представители английской традиции, интеллектуалы-прагматики, либералы и скептики. В отличие от французской эпохи Просвещения. Их открытия основываются на наблюдении, на экспериментальных методиках. Все свои юные годы Хаксли провел, общаясь с экономистами, юристами, но главное, с учеными, которые гостили в доме его отца. Среди писателей своего поколения он, несомненно, был единственным, кто мог предсказать грядущие успехи биологии. Но все это произошло бы куда быстрее, если бы не нацизм. Нацистская идеология способствовала дискредитации теорий евгеники и улучшения породы; потребовалось несколько десятилетий, чтобы к этому вернуться. — Мишель встал, принес из своей библиотеки том под названием "То, что я смею думать". — Эту книгу написал Джулиан Хаксли, старший брат Олдоса; она была опубликована в 1931-м, за год до "Дивного нового мира". Здесь мы находим все те мысли о генетическом контроле и улучшении породы, в том числе человеческой, которые его брат использует в своем романе. Все это здесь представлено, и вполне недвусмысленно, в качестве желанной цели, к которой надлежит стремиться.

Мишель сел, вытер пот со лба. Он продолжал:

— После войны, в 1946 году, Джулиан Хаксли был назначен генеральным директором ЮНЕСКО, созданного как раз в то время. Его брат опубликовал "Возвращение в прекрасный новый мир", в котором старался представить свою первую книгу как обличение, как сатиру. Несколькими годами позже Олдос Хаксли стал идейным вдохновителем большей части экспериментов хиппи. Он всегда был сторонником полной сексуальной свободы, играл роль первооткрывателя в применении психоделических наркотиков. Его знали все основатели Изалена, они были знакомы с ним и находились под его влиянием. Впоследствии движение *New Age* мало-помалу полностью взяло на вооружения все идеи изаленского направления. По существу, Олдос Хаксли один из наиболее влиятельных мыслителей столетия.

Они отправились перекусить в ресторан на углу улицы, предлагавший двойную порцию фондю по-китайски за 270 франков. Мишель уже три дня не выходил из дому.

— Я сегодня не ел, — заметил он с легким удивлением; в руке он держал книгу. — Хаксли опубликовал "Остров" в 1962-м, это его последняя книга, — продолжал он, ковыряя липкий рис. — Действие происходит на райском

тропическом острове — растительность и ландшафты, вероятно, навеяны Шри-Ланкой. На этом острове, в стороне от больших торговых путей XX века, развивается своеобразная цивилизация, весьма продвинутая в плане технологий и одновременно уважающая природу: мирная, полностью освобожденная от наследственных неврозов и иудео-христианских запретов. Нагота там естественна; любовь и вожделение проявляются открыто. Эта книга, посредственная, но легкая для восприятия, имела огромное влияние на хиппи, а через них и на адептов *New Age*. Если приглядеться, гармоническое сообщество, изображенное в "Острове", имеет много общего с тем, что описано в романе "О дивный новый мир". На деле сам Хаксли, вероятно пребывающий в состоянии маразма, похоже, не осознавал этого сходства, однако общество, что представлено в "Острове", так же близко "Дивному новому миру", как анархическое сообщество хиппи сродни обществу буржуазного либерализма или скорее его шведскому социал-демократическому варианту.

Он умолк, окунул креветку в соус пикан, отложил в сторону свои палочки.

— Олдос Хаксли, подобно своему брату, был оптимистом, — произнес он наконец с гримасой едва ли не отвращения. — Метафизическая мутация, породившая материализм и современную науку, имела два великих условия: рационализм и индивидуализм. Ошибка Хаксли в том, что он плохо рассчитал соотношение сил между этими двумя условиями. Недооценил возрастание индивидуализма в результате более интенсивного осознания смерти. Индивидуализм породил свободу, ощущение собственного "я", потребность выделиться и возвыситься над другими. В том рациональном обществе, что описано в романе "О дивный новый мир", борьба может быть смягчена. Экономическое соревнование, метафора захвата жизненного пространства, теряет смысл в богатом обществе, где все экономические колебания под контролем. Соревнование в области секса, окольным путем олицетворяющее зарождение победы над временем, утрачивает смысл в обществе, где в полной мере осуществлен распад системы сексуального самовоспроизводства; но Хаксли забывает принять в расчет индивидуализм. Он не сумел понять, что секс, будучи отделен от функции размножения, существует не столько как источник удовольствия, сколько как принцип самоутверждения: это то же самое, что страсть к обогащению. Почему шведской социал-демократической модели никогда не удавалось возобладать над либеральной? Почему она даже никогда не была испробована в области сексуальных проблем? Потому что метафизическая мутация, производимая современной наукой, влечет за собой индивидуализм, тщеславие, ненависть и желание. В противоположность наслаждению желание по самой своей сути есть источник страдания, злобы и беды. Все философы — не только буддисты, не только христиане, но все, кто заслуживает имени философов, — знали об этом и этому учили. Выход, предлагаемый утопистами от Платона до Хаксли, в том числе и Фурье, состоит в погашении желания и страданий посредством организации незамедлительного удовлетворения. Общество рекламно-эротическое, в котором живем мы, напротив, стремится к организации желания, к его разрастанию в неслыханных масштабах, удерживая его удовлетворение в пределах интимной сферы. Чтобы такое общество функционировало, чтобы со-

ревнование не прекращалось, необходимо приумножать желание, нужно, чтобы оно, распространяясь, пожирало человеческую жизнь.

Изнуренный, он утер со лба пот. К еде он больше не притронулся.

— Существуют коррективы, маленькие гуманистические поправки, — мягко возразил Брюно. — В конце концов, есть вещи, позволяющие забывать о смерти. В "Дивном новом мире" речь идет об анксиолитиках и антидепрессантах; в "Острове" все дело скорее упирается в медитацию, психоделические наркотики, кое-какие туманные элементы индуизма. Практически современные люди пытаются создать маленький коктейль из обоих этих способов.

— Джулиан Хаксли в книге "То, что я смею думать", тоже обращается к вопросам религии, он посвящает им всю вторую часть, — с возрастающим омерзением заметил Мишель. — Он полностью сознает, что научный прогресс и материализм подорвали основы всех традиционных религий; равным образом он понимает и то, что никакое общество существовать без религии не может. На протяжении более сотни страниц он пытается заложить фундамент такой религии, которая могла бы согласоваться с современным состоянием науки. Нельзя сказать, что результаты его усилий так уж убедительны; не скажешь также, чтобы развитие нашего общества особенно продвинулось в этом смысле. В действительности все надежды на синтез сводятся на нет очевидностью смерти материи, тщеславием и жестокостью, распространение которых неостановимо. В порядке компенсации, — странновато усмехнувшись, заключил он, — нам тем не менее остается любовь.

11

После визита Брюно Мишель провалялся в кровати ровным счетом две недели. А и впрямь, спрашивал он себя, как общество может существовать без религии? Ведь это представляется затруднительным, даже если говорить об отдельном индивидууме. Несколько дней подряд он разглядывал батарею, расположенную слева от кровати. Во время отопительного сезона ее ребра заполняет горячая вода, это полезное, ловко придуманное сооружение; но все-таки сколько времени западное общество сможет обходиться без какой бы то ни было религии? Когда он был ребенком, ему нравилось поливать растения в огороде. У него сохранилась маленькая прямоугольная черно-белая фотокарточка, он там с лейкой в руках, под присмотром своей бабушки; ему, наверное, лет шесть. Позже он полюбил ходить за покупками. На сдачу от хлеба ему позволялось купить немного карамели. Потом он отправлялся на ферму за молоком; он нес в вытянутой руке, покачивая, как ведерко, алюминиевый солдатский котелок с теплым еще молоком, и ему было немножко жутко, когда приходилось возвращаться уже в потемках по ухабистой дороге, окаймленной колючим кустарником. Теперь любой поход в супермаркет был для него сущей мукой. Однако ассортимент менялся, то и дело возникали новые типы быстрозамороженных продуктов для холостяков. Недавно в мясном отделе своего универсама он — в первый раз в жизни — увидел бифштекс из страуса.

Чтобы обеспечить воспроизводство, две нити спирали ДНК расходятся и к каждой присоединяются дополнительные нуклеотиды. Этот момент деления опасен, тут-то и могут вмешаться неконтролируемые мутации, по большей части пагубные. Голодовка стимулирует работу интеллекта — это действительный факт, и на исходе первой недели Мишель интуитивно догадался, что безупречное воспроизводство невозможно, пока молекула ДНК имеет форму спирали. Для обеспечения лишенной изъянов репликации бесконечного числа поколений клеток, вероятно, было бы необходимо придать генетической информации более компактную форму, наподобие, к примеру, тора или кольца Мёбиуса.

Ребенком он не мог примириться с естественным разрушением всех вещей, их поломкой, изнашиванием. Так, он хранил многие годы, бесконечно чинил, обматывал скотчем расколовшуюся надвое маленькую линейку из белой пластмассы. Из-за дополнительных утолщений после обматывания линейка утратила прямизну, по ней стало невозможно провести ровную линию, она уже не могла служить линейкой. И все же он ее берег. Она снова ломалась, он опять ее чинил, наматывал скотч еще толще и клал упорно в ранец.

Одним из свойств гения Джерзински, как напишет годы спустя Фредерик Хюбчеяк, было то, что он сумел пойти дальше своего первого озарения, согласно которому воспроизводство половым путем несет в себе самом источник вредоносных мутаций. На протяжении тысячелетий, подчеркивает Хюбчеяк, все культуры человечества несли на себе более или менее отчетливый отпечаток интуитивного осознания неразрывной связи между сексом и смертью; для исследователя, только что подтвердившего эту связь посредством неопровержимых доказательств из области молекулярной биологии, было бы естественно остановиться на этом, посчитать, что его цель достигнута. Однако Джерзински почувствовал, что должен выйти за пределы проблемы воспроизводства половым путем, чтобы рассмотреть топологические условия клеточного деления во всей их совокупности.

С первого же года своего учения в начальной школе в Шарни Мишель был поражен жестокостью в мальчишеской среде. Правда, то были крестьянские дети, то есть маленькие звереныши, еще недалеко ушедшие от дикой природы. Но поистине можно было изумляться той естественной, инстинктивной радости, с которой они протыкали лягушек иглами циркулей или перьями ручек; фиолетовые чернила затекали под кожу несчастного создания, медленно погибавшего от удушья. Они собирались в кружок, с горящими глазами следили за этой агонией. Их другой излюбленной забавой было отрезать ножницами рожки улиток. Рожки у улитки единственный чувствительный орган; на конце у них маленькие глазки. Лишенная рожек, улитка становится всего лишь вялым, страдающим и не способным сориентироваться кусочком плоти. Мишель быстро сообразил, что в его интересах установить дистанцию между собой и этими малолетними зверенышами; напротив, бояться девочек, созданий более кротких, у него было мало оснований. Эту первую догадку о законах мира сего затем подкрепила "Жизнь животных" — телепередача, которая шла каждую пятницу по вечерам. Среди всей

гнусной подлости, непрерывного душегубства, составляющего животную природу, единственным проблеском преданности и самопожертвования представлялась материнская любовь или же нечто такое, что от инстинкта защиты постепенно, незаметно ведет к тому же материнскому чувству. Так, самка кальмара, крошечное трогательное созданье двадцати сантиметров в длину, без колебаний нападает на пловца, если он приблизится к отложенным ею яичкам.

Тридцать лет спустя ему придется еще раз прийти к тому же заключению: решительно женщины лучше мужчин. Они ласковее, более способны к любви, сочувствию, нежности; меньше склонны к насилию, эгоизму, самоутверждению, жестокости. К тому же они благоразумнее, умнее и трудолюбивее.

По существу, спрашивал себя Мишель, следя, как солнце, просвечивая сквозь занавески, плывет к закату, для чего нужны мужчины? Возможно, что в стародавние времена, когда медведей было много, мужественность могла играть особую и незаменимую роль; но вот уж несколько столетий надобность в мужчинах, видимо, почти совсем отпала. Иногда они, разгоняя тоску, затевают партии в теннис, что является наименьшим злом; но также случается, что они находят полезным "двигать историю вперед", то есть убежденно разжигают революции и войны. Помимо бессмысленных страданий, которые они несут, войны и революции разрушают то лучшее, что было в прошлом, всякий раз требуя себе чистого места, чтобы строить все заново. Вне равномерного постепенного хода развития человеческая эволюция приобретает вид хаотический, разрушительный, неупорядоченный и буйный. Во всем этом исключительно и напрямую виноваты мужчины с их любовью к игре и риску, их непомерным тщеславием, их безответственностью, их врожденной тягой к насилию. Мир, состоящий из женщин, был бы во всех отношениях бесконечно предпочтительнее; он бы эволюционировал медленнее, зато непрерывно, без откатов назад и погибельных срывов он продвигался бы ко всеобщему счастью.

Утром 15 августа он встал, вышел из дому, тайно надеясь, что улицы безлюдны; так оно почти и было. Он сделал несколько заметок, к которым ему придется вернуться лет десять спустя, когда наступит время готовить к печати свою важнейшую работу "Пролегомены к безукоризненной репликации".

А Брюно в то же самое время привез сына к своей бывшей жене. Он чувствовал себя измученным и подавленным. Анна возвращалась из экспедиции по программе "Новые границы" не то на остров Пасхи, не то в Бенин, он в точности не помнил; она, вероятно, нашла себе подруг, обменялась адресами — они еще повидаются раза два-три, пока не надоест; но с мужчинами она не встречалась — у Брюно возникло впечатление, что она полностью отказалась от всего, что связано с мужчинами. Анна отвела его в сторонку на пару минут, ей хотелось знать, "как все прошло". Он ответил: "Хорошо", приняв тот спокойный, самоуверенный тон, который импонирует женщинам; однако прибавил не без самоиронии: "Однако Виктор много смотрел телевизор". Без сигареты во рту он чувствовал себя не в своей тарелке: с тех пор как сама бросила курить, Анна не выносила, чтобы при ней курили. Квартира была об-

ставлена со вкусом. Он знал, что в момент ухода испытает сожаление, лишний раз будет спрашивать себя, почему все так устроено, как этого избежать. Торопливо поцелует Виктора, потом отправится восвояси. Вот и все: тем и кончится отпуск, проведенный с сыном.

По существу, эти две недели были мученьем. Растянувшись на своем матраце, поставив бутылку бурбона на расстояние вытянутой руки, Брюно слушал звуки, производимые его сыном в соседней комнате: как тот, пописав, спускает воду, как щелкает пульт дистанционного управления. Сам того не зная, он точь-в-точь как его сводный брат в это же время — и также часами — тупо разглядывал трубы парового отопления. Виктор лежал в гостиной на диван-кровати; он смотрел телевизор по пятнадцать часов в сутки. По утрам, когда Брюно просыпался, уже был включен канал M6, показывающий мультики. Чтобы громкий звук никому не мешал, Виктор надевал шлемофон. Он не был грубияном, не старался доставлять неприятности; но ему и его отцу абсолютно нечего было сказать друг другу. Два раза в день Брюно разогревал готовые блюда; они ели, сидя друг перед другом, практически не говоря ни слова.

Как они до такого дошли? Виктору совсем недавно исполнилось тринадцать. Всего несколько лет назад он рисовал и показывал свои рисунки отцу. Он перерисовывал персонажей комиксов Марвела: там были Фаталис, Фантастикус, Фараон будущего, он их изображал в самых небывалых ситуациях. Иногда они играли в "Тысячу вех" или отправлялись воскресным утром в Луврский музей. Ко дню рождения Брюно Виктор — ему тогда было десять — огромными разноцветными буквами вывел на мелованном листке: ПАПА Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Теперь с этим было покончено. И Брюно знал, что в дальнейшем дело обернется еще хуже: от взаимного равнодушия они перейдут к ненависти. Самое позднее через два года начнутся пробные попытки сына гулять с девочками-сверстницами; к этим пятнадцатилетним девчонкам и он сам, Брюно, будет вожделеть. Приближалась пора соперничества, состояния, естественного для мужчин. Они были подобны зверям, бьющимся в одной клетке, имя которой время.

Возвращаясь к себе, Брюно купил у арабского бакалейщика две бутылки анисового ликера; потом, прежде чем надраться до полусмерти, позвонил брату, чтобы договориться назавтра о встрече. Когда он явился к Мишелю, тот после своего голодного периода переживал внезапный приступ зверского аппетита, ломоть за ломтем пожирал итальянскую колбасу, заглатывал вино большими стаканами. "Накладывай себе, наливай", — невнятно бурчал он. Брюно казалось, что тот его почти не слушает. Это было похоже на разговор с психиатром, а то и с глухой стеной. Тем не менее он рассказывал:

— Несколько лет подряд мой сын тянулся ко мне, он хотел от меня любви; я хандрил, был недоволен своей жизнью, и я его отталкивал — в ожидании лучших времен. Я тогда не понимал, как быстро пройдут эти годы. Ребенок от семи лет до двенадцати — чудесное созданье, милое, разумное, открытое. Он живет в полной гармонии с разумом, и живет радостно. Он сам полон любви, и его удовлетворяет та любовь, которую другие готовы дать ему. Потом все портится. Все меняется к худшему, и непоправимо.

Мишель проглотил два последних ломтя колбасы, снова налил себе стакан вина. Его руки тряслись. Брюно продолжал:

— Трудно вообразить существо более глупое, агрессивное, более несносное и злобное, чем подросток, особенно если он окружен огольцами того же возраста. Подросток — это монстр и одновременно болван, его конформизм почти невероятен; подросток являет собой продукт внезапной и вредоносной (притом непредвиденной, если исходить из характера ребенка) кристаллизации всего самого худшего, что есть в мужчине. Как после этого сомневаться в том, что сексуальность есть абсолютное зло? И как только люди умудряются выносить необходимость жить под одной крышей с подростком? Мой тезис состоит в том, что это им удается лишь потому, что их собственная жизнь абсолютно пуста; однако и моя жизнь пуста, но мне это не удается. Как бы то ни было, все врут, причем доходят в своем вранье до гротеска. Разводятся, но остаются добрыми друзьями. Берут сына к себе на каждый второй уик-энд — это же гадость. Полнейшая, совершеннейшая гадость. На самом деле мужчины никогда не интересуются своими детьми, никогда не чувствуют к ним любви, да мужчины обычно и не способны испытывать любовь, это чувство им абсолютно чуждо. Что им знакомо, так это желание, половое влечение, доходящее до скотства, и соперничество между самцами; потом, много позже, уже состоя в браке, они иной раз могут испытывать к своей супруге некоторую признательность — за то, что та подарила им детей, ловко ведет домашнее хозяйство, показала себя хорошей кухаркой и хорошей любовницей; тогда мужчине доставляет удовольствие спать с ней в одной постели. Это, возможно, не то, чего желают женщины, вероятно, здесь имеет место недоразумение, но это все же чувство, которое может быть сильным — и даже если мужчины испытывают возбуждение, впрочем непродолжительное, хлопая время от времени по какому-нибудь маленькому задку, они уже буквально жить не могут без своей жены, и если, на беду, ее не станет, они начинают пить и быстро умирают, по большей части в течение нескольких месяцев. Что до детей, то раньше они были нужны, чтобы стать наследниками состояния, общественных и фамильных традиций. Разумеется, это касалось прежде всего родовитых семейств, но то же можно сказать и о коммерсантах, крестьянах, ремесленниках — по сути, обо всех классах общества. Сегодня все это несущественно: я живу на жалованье, у меня нет состояния, мне нечего оставить в наследство сыну. У меня нет и ремесла, которому я мог бы его обучить, я даже не знаю, чем он сможет в будущем заниматься; правила, по которым я жил, для него ценности не имеют, ему предстоит обретаться в другом мире. Принять идеологию бесконечных перемен — значит признать, что жизнь человека жестко замыкается в пределах его индивидуального бытия, а прошлые и будущие поколения в его глазах ничего не значат. Так мы теперь и живем, и сегодня мужчине нет никакого смысла заводить ребенка. Для женщин все иначе, ведь они продолжают испытывать потребность в существе, которое можно любить, — это не нужно и никогда не было нужно мужчинам. Было бы заблуждением предполагать, что у мужчин тоже есть склонность нянчиться с детьми, играть с ними, ласкать. Можно сколько угодно утверждать противоположное, все равно это останется ложью. Как только разведешься, разорвешь семейные узы, все отношения с детьми те-

ряют смысл. Ребенок — это ловушка, которая захлопывается, враг, которого ты обязан содержать и который тебя переживет.

Мишель встал, пошел на кухню, чтобы налить себе стакан воды. В воздухе перед его глазами вращались разноцветные круги, он почувствовал позыв к тошноте. Прежде всего ему было необходимо справиться с дрожанием рук. Брюно прав, отцовская любовь — ложь, фикция. Ложь полезна, подумал он, если она позволяет преобразить действительность; но если преображение не удалось, тогда остается только ложь, горечь и стыд.

Он вернулся в комнату. Брюно съежился в кресле; даже будь он мертв, он не смог бы сидеть неподвижнее. Многоэтажки погружались в ночь; после очередного удушающе знойного дня температура становилась терпимее. Мишель вдруг заметил опустевшую клетку, в которой несколько лет прожил его кенарь; надо ее выбросить, заводить новую птицу он не собирался. Мимоходом вспомнилась соседка из дома напротив, редактриса "Двадцати лет"; он не видел ее несколько месяцев, вероятно, она переехала. Он постарался сосредоточить внимание на своих руках, отметил, что дрожь немного унялась. Брюно по-прежнему не двигался; молчание длилось еще несколько минут.

12

— Анну я встретил в 1981-м, — вздохнув, продолжал Брюно. — Она была не так уж красива, но мне надоело парить лысого в одиночку. Что в ней было недурно, так это большая грудь. Я толстые груди всегда любил... — Он опять испустил продолжительный вздох. — Моя протестантская грудастенькая коровка-производительница! — к величайшему изумлению Мишеля, его глаза промокли от слез. — Потом груди у нее отвисли, и наш брак тоже дал трещину. Я прохезал ее жизнь, пустил на ветер. Вот чего я никогда не смогу забыть: я прохезал жизнь этой женщины. У тебя вино осталось?

Мишель отправился на кухню за бутылкой. Все это было немного из ряду вон; он знал, что Брюно ходил к психиатру, а потом бросил это. Ведь, по сути, всегда ищешь способа облегчить свои страдания. Поскольку мука исповеди кажется менее тяжкой, человек высказывается; потом он замолкает, сдается, остается в одиночестве. Если Брюно вновь почувствовал потребность обратиться к своей жизненной катастрофе, это, быть может, означает, что у него появилась надежда, возможность новой попытки; вероятно, это добрый знак.

— Не то чтобы она была безобразна, — продолжал Брюно, — но лицо у нее было так себе, без особой тонкости. В ней никогда не было того изящества, того сияния, что порой озаряет лица молодых девушек. Со своими толстоватыми ногами она и помыслить не могла о том, чтобы носить мини-юбки; но я ее научил носить совсем короткие блузочки и ходить без лифчика; это очень возбуждает, когда большая грудь выглядывает из-под блузки. Ее это немного смущало, но в конце концов она согласилась; она ничего не смыслила в эротике, в белье, у нее не было никакого опыта. Впрочем, что я тебе рассказываю, ты ведь, по-моему, ее знал?

— Я был на твоей свадьбе....

— Да, верно, — согласился Брюно растерянно. — Помнится, меня тогда удивило, что ты приехал. Я думал, что ты больше не желаешь иметь со мной ничего общего.

— Я больше не желал иметь с тобой ничего общего.

Мишель в эту минуту снова призадумался, спрашивая себя, что в самом деле могло побудить его явиться на эту унылую церемонию. Ему вспомнился храм в Нейи, зал с почти голыми стенами, угнетающе суровый, более чем наполовину заполненный толпой соблюдавших внешнюю скромность богачей: отец новобрачной занимался финансами.

— Они были тогда левыми, — сказал Брюно (впрочем, по тем временам левыми были все!). — Они находили совершенно нормальным, что я сошелся с их дочерью до брака: мы поженились, потому что она забеременела, — в конце концов, это дело обычное.

Мишелю вспомнилась проповедь пастора, его голос гулко отдавался в холодной пустоте зала: он толковал о Христе как истинном Человеке и истинном Боге, о новом союзе, который он заключил в Вечности со своим народом... впрочем, было трудно уразуметь, о чем, в сущности, шла речь. Так протекло минут сорок пять, Мишель впал в состояние, близкое к дремоте, но вдруг пробудился, уловив следующую формулировку: "Пусть благословит вас Господь Бог Израиля, он, который пожалел двух одиноких детей". Поначалу, с трудом приходя в себя, он подумал: "Неужто они все — евреи?" Ему понадобилась целая минута размышлений, чтобы сообразить, что, по существу, речь идет о "том же самом" Боге. Ловко связав одно с другим, пастор продолжал с нарастающей убедительностью: "Любить свою жену — то же, что любить себя самого. Никто никогда не питал ненависти к собственной плоти, напротив, каждый питает ее, заботится о ней, как Христос о Церкви; ведь все мы члены единого тела, плоть от плоти и кровь от крови ее. Вот почему мужчина покинет отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и станут двое плотью единой. Тайна сия велика, я утверждаю это, и подобна связи между Христом и Церковью". Вот уж, как говорится, в самую точку: "станут двое плотью единой". Некоторое время поразмышляв над этой перспективой, Мишель глянул на Анну: спокойная, сосредоточенная, она, похоже, задерживала дыхание; от этого она сделалась почти красивой. Видимо, вдохновившись положением из Святого Павла, пастор продолжал с возрастающей страстью: "Господи, воззри милостиво на служанку Твою: готовясь соединиться с супругом, она уповает на Твое благословение. Помоги ей всегда пребывать во Христе супругой верной и целомудренной, и да последует она неизменно примеру святых жен: да будет мила своему мужу, как Рахиль, разумна, как Ревекка, верна, как Сарра. Да останется привержена закону и заповедям Господним, едина со своим супругом, да избегнет она всех дурных связей, да заслужит уважение своей скромностью и почтение — своей чистотой, да вразумит ее Господь. Пусть ее чрево будет плодовито, пусть они оба увидят и детей своих, и детей своих детей, до третьего и четвертого колена. Пусть доживут они до счастливой старости и среди избранных познают покой в царствии небесном. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь". Мишель, расталкивая толпу, двинулся к алтарю, навле-

кая на себя со всех сторон встревоженные взгляды. Он остановился в четвертом ряду, и тут произошел обмен кольцами. Пастор взял новобрачных за руки, склонил голову с выражением впечатляющей сосредоточенности; абсолютная тишина воцарилась в стенах храма. Потом он вскинул голову и громким голосом, страстным и одновременно безнадежным, с невероятной силой выразительности мощно возопил: "Да не расторгнет человек того, что соединил Господь!"

Немного погодя Мишель приблизился к пастору, который прибирал на место свою утварь. "Меня очень заинтересовало то, что вы только что говорили..." Служитель Господень учтиво улыбнулся. Тогда он заговорил об опытах Аспе и парадоксе взаимодействий элементарных частиц: когда две частицы соединяются, они образуют нерасторжимое единство, "по-моему, это совершенно то же самое, что ваш сюжет про единую плоть". Улыбка пастора малость перекосилась. "Я хочу сказать, — продолжал Мишель, вдохновляясь, — в онтологическом плане можно ввести в гилбертово пространство новый вектор единого состояния. Вам понятно, что я имею в виду?" — "Конечно, само собой, — процедил служитель Божий, озираясь. — Извините, — резко бросил он и повернулся к отцу новобрачной. Они долго жали друг другу руки, обнимались. "Очень красивое богослужение, великолепное", — с чувством произнес финансист.

— Ты не остался на праздничный ужин, — напомнил Брюно. — Мне там было не совсем ловко, я никого не знал, но тем не менее это была моя свадьба. Мой отец прибыл с большим опозданием, но все-таки появился: он был плохо выбрит, галстук съехал набок, ни дать ни взять видавший виды одряхлевший распутник. Я убежден, что родители Анны предпочли бы другого зятя, но что поделаешь, к тому же они, как левые буржуа-протестанты, наперекор всему питали некоторое почтение к людям образованным. И потом, я — агреже, а у нее только и было, что право преподавать в средней школе. Но самое ужасное, что ее малышка сестра была очень хорошенькой. Она очень походила на старшую, и грудь у нее тоже не подкачала, но лицо было другое, просто класс. Сразу не определишь, в чем разница... Скорее всего, дело в соразмерности черт, в деталях. Трудно сказать...

Он еще раз вздохнул, наполнил свой стакан.

— Свое первое место я получил в восемьдесят четвертом, в лицее Карно, в Дижоне, это было начало учебного года. Анна на седьмом месяце. Мы оба преподаватели, культурная супружеская пара, все условия для нормальной жизни. Мы сняли квартиру на улице Ваннери, в двух шагах от лицея. "Наши цены не сравнить с парижскими, — сказала девица из агентства. — Жизнь у нас тоже парижской не чета, но вы увидите, как здесь весело летом, много туристов, а во время фестиваля барочной музыки полно молодежи". Барочная музыка?..

Я сразу понял, что проклят. Что жизнь "не чета парижской", на это мне было чихать, в Париже я был постоянно несчастен. Просто-напросто я желал всех женщин, кроме собственной жены. В Дижоне, как в любом провинциальном городе, множество красоток, это еще тяжелее, чем в Париже. Мода в ту пору становилась с каждым годом все более сексуальной. Это было нестерпимо, все эти девчонки со своими ужимочками, коротенькими юбчонками, игривыми смешками. Я видел их целыми

днями на занятиях, видел в полдень в "Пенальти" — баре по соседству с лицеем. Они болтали с парнями, а я отправлялся завтракать со своей женой. По субботам я снова их видел: во второй половине дня на торговых улицах — они покупали шмотки и пластинки. Я был с Анной, она разглядывала детскую одежду, ее беременность проходила гладко, и она была немыслимо счастлива. Много спала, ела все, что захочется; любовью мы больше не занимались, но, кажется, она этого даже не осознавала. Во время сеансов подготовки к родам она подружилась с другими беременными, легко сходилась с людьми, выглядела общительной и симпатичной, это была женщина из тех, кому жизнь в радость. Когда я узнал, что ожидается мальчик, я испытал жестокое потрясение. Все сразу оборачивалось плохо, мне, видно, на роду написано переживать худшее. Я бы должен ликовать, мне было всего двадцать восемь, но я уже чувствовал себя мертвецом.

Виктор родился в декабре; я помню его крещение в церкви Сен-Мишель, это была мука мученическая. "Крещеные становятся живыми камнями для построения здания духовного, для святого служения Господу", — вещал священник. Виктор лежал в платьице из белых кружев, весь красный, сморщенный. Крещение оказалось коллективным, как в раннехристианских церквах, там был добрый десяток семейств. "Крещение приводит в лоно Церкви, — говорил священник, — мы все члены тела Христова". Анна держала мальчика на руках, он весил четыре кило. Был очень спокоен, совсем не кричал. "Разве отныне, — вопрошал патер, — мы не так же близки друг другу, как члены единого тела?" Родители стали переглядываться, похоже, с некоторым сомнением. После этого священник в три приема полил голову моего сына святой водой; затем он помазал ее елеем. Это ароматное масло, освященное епископом, символизирует дар Духа Святого, пояснил священник. Он обращен непосредственно к сему младенцу. "Виктор, — провозгласил святой отец, — теперь ты стал христианином. Через это помазание Духа Святого ты приобщился ко Христу. Отныне ты разделяешь его пророческую, священническую, царственную миссию". Все это меня так проняло, что я записался в группу "Вера и жизнь", которая собиралась каждую среду. Туда заходила одна молоденькая кореянка, очень красивая, мне сразу захотелось ее трахнуть. Это было не просто, она знала, что я женат. Однажды в субботу Анна пригласила всю группу к нам в гости, кореянка сидела на канапе, на ней была короткая юбка, и я весь вечер пялился на ее ноги, однако никто ничего не заподозрил.

В феврале Анна вместе с Виктором отправилась на каникулы к своим родителям; я остался в Дижоне один. И предпринял новую попытку сделаться истинным католиком; валялся на своем матраце "Эпеда" и, потягивая анисовый ликер, читал "Мистерию о святых праведниках". Он очень хорош, этот Пеги[1], просто блистателен, но и он под конец вогнал меня в полнейшее уныние. Все эти истории греха, отпущения грехов, Господь, который радуется покаянию грешника больше, чем тысяче праведников... а я-то хотел быть грешником, да не мог. Мне казалось, что у меня украли молодость. Все, чего я желал, это давать моло-

1. Шарль Пеги (1873—1914) французский поэт, прозаик, публицист, автор ряда религиозных поэм. Выступал за христианство вне официальной церкви. Погиб в сражении на Марне.

деньким шлюшкам с мясистыми губами пососать мой хвост. На дискотеках было много губастых потаскушек, и я за время отсутствия Анны несколько раз захаживал в "Slow Rock" и в "Ад"; но они уходили с другими, не со мной, сосали не мой, а чужие хвосты; и черт возьми, я просто не мог больше этого выносить...

Внезапно Брюно умолк. Подождав несколько минут, Мишель встал, открыл застекленную дверь и вышел на балкон подышать ночным воздухом. Почти забыв о присутствии брата, Мишель облокотился о перила, окинул взглядом дома. Уже настала ночь, почти во всех окнах свет был потушен. Это была ночь с воскресенья на понедельник, 15 августа. Он вернулся к Брюно, сел рядом; их колени почти соприкасались... Первая реакция фрустрированного животного обычно состоит в том, чтобы приложить еще больше сил, пытаясь достигнуть своей цели. К примеру, голодная курица (Gallus domesticus), которой проволочная ограда мешает добраться до корма, будет предпринимать все более лихорадочные попытки протиснуться сквозь эту ограду. Однако мало-помалу это поведение сменится другим, по видимости бессмысленным. Так и голуби (Columba livia), когда не могут получить желанную пищу, нервически клюют землю, даже если она не содержит ничего съедобного. Они не только предаются этому безрассудному занятию, но зачастую принимаются чистить свои перышки; подобное совершенно неуместное поведение характерно для ситуаций, предполагающих фрустрацию или конфликт, — это называют "замещающей активностью". В начале 1986-го, вскоре после того как достиг своего тридцатилетия, Брюно стал писать.

13

"Никакая метафизическая мутация, — годы спустя напишет Джерзински, — не совершается без совокупности малых мутаций, которые предвещают, подготавливают и облегчают ее, в качестве исторических случайностей часто проходя незамеченными. Лично я рассматриваю себя как одну из таких малых мутаций".

Имея дело с европейской публикой, Джерзински при жизни не встречал понимания. Мысль, развивающаяся при отсутствии реального собеседника, как подчеркивает Хюбчеяк в своем предисловии к "Клифденским заметкам", порой способна выскользнуть из сетей идеосинкразии и психоза; однако не было примера, чтобы она в своем выражении могла избрать доводы формально неопровержимые. К этому можно добавить, что Джерзински было суждено до самого конца считать себя прежде всего ученым; его вклад в развитие человечества, как ему казалось, состоял именно в его трудах по биофизике, выполненных в духе полного соответствия вполне классическим критериям неопровержимости и самодостаточности доказательств. Философские элементы, содержащиеся в его последних записях, в его собственных глазах представляли собой лишь случайные пропозиции, даже несколько безумные, основанные не столько на логике, сколько на побуждениях чисто личных.

Его слегка клонило в сон; луна плыла над спящим городом. Он знал: достаточно одного его слова, и Брюно встанет, наденет куртку, скроется в кабине лифта; а поймать такси на Ламотт-Пике можно всегда. Рассматривая текущие обстоятельства собственной жизни, мы без конца колеблемся между верой в случайность и очевидностью того факта, что все предопределено. Однако когда речь идет о прошлом, сомнения быть не может: нам кажется бесспорным, что все обернулось так, как по существу только и должно было произойти. Эту иллюзию восприятия Джерзински уже в немалой степени преодолел; нет сомнения, что именно по этой причине он не произнес простых, привычных слов, которые оборвали бы исповедь этого хнычущего, погибающего существа, связанного с ним половинчатой общностью происхождения, существа, которое, развалившись на канапе, давным-давно вышло за все установленные правилами приличия рамки человеческой беседы. Он не испытывал ни сочувствия, ни уважения, и все же им руководило слабое, подсознательное, непобедимое ощущение: в изворотливых, исполненных ложного пафоса речах Брюно на сей раз проглянет какое-то сообщение; если дать ему договорить, в его словах — впервые — обозначится определенное намерение. Он встал, пошел в туалет, заперся. Очень осторожно, не производя ни малейшего шума, сблевал. Потом, ополоснув лицо, вернулся в гостиную.

— Ты не гуманен, — кротко сказал Брюно, поднимая на него глаза. — Я с самого начала это почувствовал, когда увидел, как ты обошелся с Аннабель. И все же ты собеседник, которого мне послала судьба. Я полагаю, ты не был удивлен, когда в свое время получил мои записки об Иоанне Павле Втором.

— Все цивилизации, — печально отозвался Мишель, — все цивилизации были вынуждены сталкиваться с необходимостью оправдания родительской жертвенности. Учитывая исторические обстоятельства, у тебя не было выбора.

— Но я действительно восхищался Иоанном Павлом Вторым! — запротестовал Брюно. — Я помню, это было в 1986-м. В ту же пору, когда создавались "Канал-плюс" и M6, когда стали выпускать "Глоб", открывались "Харчевни сердечности". Иоанн Павел Второй был абсолютно одинок, он единственный понимал смысл того, что творится на Западе. Я был изумлен, когда дижонская группа "Вера и жизнь" приняла мои заметки в штыки; они критиковали позицию Папы в отношении абортов, презервативов, всех этих глупостей. Ну да по правде говоря, я тоже не предпринимал особых усилий, чтобы их понять. Помнится, собрания происходили поочередно в домах разных супружеских пар, подавали всякие винегреты, салаты, пирог. Я весь вечер по-дурацки скалился, покачивал головой и глушил вино; я совсем не слушал того, что там говорилось. Анна, наоборот, была крайне воодушевлена, она записалась в группу борьбы с неграмотностью. В те вечера я подсыпал снотворного в детский рожок Виктора, а потом вытряхивал себя при посредничестве "Розового минителя"; но мне никогда не удавалось с кем-нибудь встретиться.

В апреле, ко дню рождения Анны, я ей купил расшитый серебром корсет с подвязками. Она вначале запротестовала, потом согласилась надеть его. Пока она пыталась застегнуть эти боевые доспехи, я выдул

остаток шампанского. Потом услышал ее голос, слабый и немного дрожащий: "Я готова..." Вернувшись в спальню, я тотчас осознал, до чего все отвратительно. Ее ягодицы, прижатые подвязками, отвисли; грудь была испорчена кормлением. Требовались удаление жира, инъекции силикона, полная перестройка... она бы на это никогда не пошла. Зажмурившись, я сунул палец к ней в трусики; я был совсем как ватный. В это мгновение Виктор в соседней комнате яростно завопил — знаешь, этот продолжительный рев, резкий, нестерпимый. Она накинула купальный халат и бросилась туда. Когда она вернулась, я напрямик попросил ее пососать. Сосала она плохо, я чувствовал ее зубы; но я закрыл глаза и наглядно представил себе рот одной из девушек моего второго класса, она была из Ганы. Воображая ее розовый, чуть шероховатый язык, я сумел разрядиться в рот жены. У меня не было намерения заводить других детей. На следующий день я сочинил свой текст о семье, тот, что был опубликован.

— Он у меня сохранился, — вставил Мишель. Он встал, отыскал на книжных полках нужный журнал. Брюно с легким удивлением полистал его, нашел страницу.

Еще существуют, в какой-то мере, на свете семьи
(Искры веры среди безбожья,
Искры нежности среди толстокожья),
Непонятно,
Откуда идет их свеченье.

Мы живем под ярмом ежедневной работы в каких-то
загадочных учрежденьях,
И один только путь остается у нас, чтобы как-то себя сохранить,
чтобы жизнь несмотря ни на что состоялась, — это секс.
(Да и то лишь для тех, для кого секс доступен,
Для кого он возможен.)

Брак и верность супругу отрезают сегодня для нас
единственный доступ к существованию,
Ведь не в офисе и не в учительской обретаем мы силу,
которая требует музыки, игр, ликования,
И мы ищем свое назначенье, судьбу, на дорогах любви,
с каждым годом все более трудных,
Тщетно ищем, кому предложить свое тело, все менее свежее,
менее крепкое и уже не такое послушное,
И исчезаем
Во тьме печали,
Дойдя до предела отчаянья.

Мы идем одиноким путем туда, где сгущается мрак,
Без детей и без женщин,
Входим в озеро
В сердце ночи
(И вода на телах наших старых так холодна!).

Сразу после написания этого текста Брюно впал в нечто вроде этиловой комы. Два часа спустя он очнулся, разбуженный воплями сына. Между двумя и четырьмя годами дети человеческие все более приближаются к осознанию собственного "я", что порождает в них припадки эгоцентрической мегаломании. Отныне цель ребенка — превратить свое социальное окружение (обычно состоящее из его родителей) в послушных рабов, покорных малейшим перепадам его настроения; его эгоизм уже не ведает пределов; таково условие индивидуального существования. Брюно встал с паласа гостиной; вопли усилились, выдавая бешеную ярость. Он раздавил пару таблеток лексомила в ложку конфитюра, направился в комнату Виктора. Дитя обкакалось. Где болтается Анна? Ее сеансы обучения негров грамоте с каждым разом заканчиваются все позже. Он схватил испачканный подгузник, швырнул на пол; распространилась жуткая вонь. Ребенок без затруднений проглотил сладкую смесь и напряженно застыл, будто убитый наповал. Брюно надел куртку и двинулся к "Мэдисону", ночному бару на улице Шодронри. С помощью голубой карточки заплатил три тысячи франков за бутылку "Дом Периньон", которую распил в компании очень красивой блондинки; в одной из верхних комнат девушка долго теребила его штырь, время от времени ловко оттягивая кульминацию. Ее звали Элен, она была местной уроженкой и училась на менеджера по туризму; ей было девятнадцать. В то мгновение, когда он проник в нее, она изнутри сильно сдавила его член, — он пережил не менее трех минут полного блаженства. Уходя, Брюно поцеловал ее в губы и настоял на том, чтобы она взяла деньги — у него еще завалялось триста франков наличными.

На следующей неделе он решился показать свои тексты одному из коллег — пятидесятилетнему преподавателю литературы, марксисту, очень утонченному типу, имевшему репутацию гомосексуалиста. Фажарди был приятно удивлен. "Влияние Клоделя... или, может быть, скорее Пеги, верлибров Пеги... Но это безусловно оригинально, такого теперь больше не встретишь". Насчет того, какие демарши следует предпринять, у него не было ни малейших сомнений: "Бесконечность" — вот где сегодня создается литература. Ваши тексты нужно послать Соллерсу". Несколько удивленный, Брюно просил повторить ему эту фамилию, отметил, что она похожа на марку дивана, потом отправил свои тексты. Через три недели позвонил в издательство "Деноэль" — к его немалому изумлению, Соллерс откликнулся, предложил встречу. В среду у него не было занятий, за день легче легкого смотаться туда и обратно. В поезде он попытался углубиться в чтение "Странного одиночества", довольно быстро оставил эту затею, однако успел прочесть несколько страниц "Женщин" — особенно пассажи относительно зада. Встретились они в кафе на Университетской улице. Издатель явился с десятиминутным опозданием, помахивая мундштуком, вероятно непременным атрибутом его известности.

— Вы живете в провинции? Это плохо. Надо незамедлительно перебираться в Париж. У вас талант.

Он объявил Брюно, что тексты об Иоанне Павле II будут опубликованы в ближайшем номере "Бесконечности". Это озадачило Брюно; он не знал, что у Соллерса в самом разгаре его "период католической контрреформации", и пустился расточать хвалы Папе.

— Пеги, я от него тащусь! — пылко вскричал издатель. — И Сад! Сад! Главное, читайте Сада!..

— Мой текст насчет семьи...

— Да, это тоже очень хорошо. Вы реакционер, вот и отлично. Все великие писатели реакционеры. Бальзак, Флобер, Достоевский: вон сколько реакционеров. Но и трахаться тоже надо, а? Групповушка нужна. Это важно.

Соллерс покинул Брюно минут через пять, оставив его в состоянии легкого нарциссического опьянения. По дороге домой он мало-помалу успокоился. Филипп Соллерс, наверное, известный писатель; однако если почитать "Женщин", становится очевидно, что ему не удается потрахать никого, кроме старых шлюх из культурной среды; красотки, видимо, предпочитают певцов. А если так, чего ради публиковать в дерьмовом журнале дурацкие стишки?

— Когда "Бесконечность" в очередной раз вышла в свет, — рассказывал Брюно, — я все же купил пять номеров. К счастью, заметок об Иоанне Павле Втором они печатать не стали. — Он вздохнул. — На самом-то деле это был плохой текст... У тебя вина не осталось?

— Всего одна бутылка. — Мишель прошел на кухню, достал из коробки со "Старым папским" седьмую и последнюю бутылку; он начинал испытывать настоящее изнеможение. — Тебе, кажется, завтра на работу? — спросил он.

Брюно не отзывался. Он сосредоточенно разглядывал что-то на паркете; но разглядывать там было нечего — разве что несколько комочков грязи. Тем не менее когда звякнула пробка, он оживился, протянул свой стакан. Пил он медленно, мелкими глотками; теперь его взгляд был рассеян, блуждал где-то на уровне батареи отопления; казалось, он совершенно не расположен продолжать разговор. Поколебавшись, Мишель включил телевизор. Там шла передача на зоологическую тему, о кроликах. Он вырубил звук. На самом деле, возможно, речь шла о зайцах — Мишель их путал. Он был удивлен, когда рядом снова раздался голос Брюно:

— Я пытаюсь вспомнить, сколько времени прожил в Дижоне. Четыре года? Пять лет? Стоит только войти в рабочий ритм, и все годы становятся похожими один на другой. События, которые нам приходится переживать, имеют медицинскую природу — ну и еще дети, они растут. Виктор подрос; он называл меня "папа".

Внезапно Брюно разрыдался. Скорчившись на канапе, он сотрясался от плача, всхлипывал. Мишель посмотрел на часы, было начало пятого. На экране дикий кот держал в зубах мертвого зайца.

Брюно достал из кармана бумажную салфетку, промокнул глаза. Слезы продолжали литься. Он думал о своем сыне. Бедный маленький Виктор, он перерисовывал картинки из "Стрэндж", он любил отца. А Брюно подарил ему так мало счастливых минут, так мало любви — а теперь мальчику идет четырнадцатый год, пора счастья для него миновала.

— Анна хотела бы иметь еще детей, по существу жизнь матери семейства ей подходила наилучшим образом. Но я подбивал ее обратиться в парижский округ в поисках места. Конечно, отказаться она не посмела: профессиональная деятельность — залог расцвета женщины, так в наше время все считают или притворяются, что считают; а она прежде всего стремилась думать так же, как все. Я прекрасно отдавал себе отчет, что, по сути,

смысл нашего возвращения в Париж в том, чтобы развестись без шума. В провинции наперекор всему люди видятся, общаются; мне не хотелось, чтобы мой развод вызвал комментарии, хотя бы и мирные, одобрительные. Летом 89-го мы ездили отдыхать в Марокко в "Клаб-мед", это был последний отпуск, проведенный вместе. Я помню дурацкие аперитивы и часы на пляже, высматривание красоток; Анна болтала с другими матерями семейств. Когда она переворачивалась на живот, было заметно, что у нее целлюлит; когда ложилась на спину, бросались в глаза красные полоски на коже. Арабы были неприятны, держались агрессивно, солнце пекло слишком жарко. Для мастурбирования не стоило вылезать из дома: можно было легко подхватить рак кожи. А вот Виктор хорошо использовал свое пребывание там, он много развлекался в "Мини-клабе"... — Голос Брюно вновь сорвался. — Я был скотиной и знал, что был скотиной. Нормально, чтобы родители приносили себя в жертву, это естественный путь. А я не мог примириться с тем, что моя молодость подошла к концу; перенести мысль, что мой сын будет расти, станет юношей вместо меня, что, может быть, ему его жизнь удастся, тогда как я свою загубил. Я жаждал снова стать обособленной личностью.

— Монадой, — мягко произнес Мишель.

Брюно не отозвался, допил свой стакан.

— Бутылка пуста... — заметил он с легким замешательством. Он встал, надел куртку. Мишель проводил его до двери. — Я люблю своего сына, — еще прибавил Брюно. — Если с ним случится несчастье, какая-нибудь беда, я этого не перенесу. Я люблю этого ребенка больше всего на свете. И все же я никогда не мог примириться с его существованием.

Мишель понимающе кивнул. Брюно направился к лифту.

Мишель возвратился к своему бюро, набросал на листке бумаги: "Отметить кое-что по поводу крови"; потом он прилег, чувствуя потребность подумать, но почти тотчас уснул. Несколько дней спустя он нашел тот листок, аккуратно приписал пониже предыдущей строки: "Голос крови" — и минут десять стоял озадаченный.

14

Утром 1 сентября Брюно ждал Кристиану на Северном вокзале. Из Нуайона она доехала автобусом до Амьена, потом прямым поездом до Парижа. День был прекрасный; ее поезд прибыл в 11.37. На ней было длинное платье в мелких цветочках, с кружевными манжетами. Он сжал ее в объятиях. Их сердца бились с невиданной силой.

Они позавтракали в индийском ресторане, потом отправились к Брюно, чтобы заняться любовью. Он натер воском паркет, расставил вазы с цветами; простыни были чисты и хорошо пахли. Ему удалось надолго войти в нее, дождаться момента ее оргазма; солнечный луч пробивался в щель между занавесками, играл в ее черных волосах — в них поблескивали седые волоски. Она испытала оргазм первой, и сразу же, через мгновение, ее влагалище стало резко, конвульсивно сжиматься; тотчас же он излился в нее. И сразу прикорнул, съежился в ее руках; оба заснули.

Когда они проснулись, солнце в прогале между многоэтажками садилось; было около семи часов. Брюно откупорил бутылку белого вина. Он никому никогда не рассказывал о годах, что прошли после его возвращения из Дижона; теперь он сделает это.

– В 1989-м, в начале учебного года, Анна получила место преподавателя в лицее Кондорсе. Мы сняли квартиру на улице Родье, маленькую, темноватую, из трех комнат. Виктор ходил в подготовительный класс, теперь в дневные часы я был свободен. Тогда-то я и стал ходить к шлюхам. В квартале было много салонов тайского массажа – "Новый Бангкок", "Золотой лотос", "Маи Лин"; девушки были любезны, улыбчивы, все проходило отлично. В ту же пору начались мои консультации у психиатра; я уж и не помню в точности, кажется, он был с бородой, но возможно, я его путаю с персонажем фильма. Я принялся описывать ему свое отрочество, много распространялся о массажных салонах; я чувствовал, что он меня презирает, и мне это доставляло удовольствие. В январе я его сменил. Новый был добряк, он вел прием неподалеку от Страсбур-Сен-Дени, так что на обратном пути можно было завернуть в пип-шоу. Звали его доктор Азуле, у него в приемной всегда имелись номера "Пари-матч": в общем-то, у меня сложилось впечатление, что это хороший специалист. Мой случай его не слишком заинтересовал, но я на него обиды не держу – ведь все это и впрямь ужасно банально, я был типичным стареющим мудаком, фрустрированным и утратившим вкус к своей жене. В тот же период его пригласили как эксперта на судебный процесс группы молодых сатанистов, которые расчленили и сожрали слабоумную – такое, что ни говори, эффектнее. В конце каждого сеанса он советовал мне заняться спортом, это у него был прямо пунктик – он и сам уже начал отращивать брюшко. В конечном счете его сеансы были забавны, хотя несколько унылы; единственная тема, при которой он слегка оживлялся, – мои отношения с родителями. В начале февраля я получил возможность рассказать ему на сей счет по-настоящему забавный анекдот. Это случилось в зале ожидания "Маи Лин"; входя, я заметил сидящего в сторонке субъекта, чье лицо мне кого-то смутно напомнило – очень смутно, впечатление было абсолютно туманное. Потом его вызвали, вскоре наступила и моя очередь. Массажные кабинки отделялись друг от друга полиэтиленовыми занавесками, кабинок было всего две, так что я поневоле оказался рядом с тем типом. В то мгновение, когда девушка своей намыленной грудью принялась поглаживать мне низ живота, меня осенило: человек в соседней кабинке, заказавший сеанс "тела с телом", – мой отец. Он постарел и походил теперь на настоящего пенсионера, но это был он, вне всякого сомнения он. В то же мгновение я услышал, как он излился, уловив слабый звук, с каким опорожняется мошонка. В свою очередь излившись, я несколько минут помедлил с одеванием; мне не хотелось столкнуться с ним на выходе. Однако я в тот же день рассказал психиатру об этом случае, и вернувшись домой, позвонил старику. Казалось, он удивился, и, судя по тону, радостно удивился, услышав мой голос. Он и впрямь вышел на пенсию, перепродав свою долю в каннской клинике. За последние годы мой родитель потерял немало денег, но еще держался, прочие были в

куда более жалком положении. Мы договорились повидаться в ближайшие дни; сделать это незамедлительно не получалось.

В начале марта мне позвонили из академической инспекции. Какая-то преподавательница ушла в декретный отпуск ранее, чем предполагалось, ее место освобождалось вплоть до завершения учебного года, речь шла о лицее в Мо. Я немного колебался, у меня, как-никак, сохранились прескверные воспоминания об этом городишке; сомнения одолевали меня часа три, пока я не понял, что на воспоминания мне чихать. Вероятно, это и есть старость: эмоциональные реакции притупляются, в тебе остается мало злобы и мало радости; интересуешься в основном функционированием собственных органов, их ненадежной сбалансированностью. Выйдя из поезда, затем пересекая город, я больше всего был поражен его небольшими размерами, уродством и безликостью. В детстве, воскресными вечерами возвращаясь в Мо, я чувствовал, что попадаю в огромный ад. На самом деле ад был совсем маленький, напрочь лишенный какой-либо выразительности. Дома, улицы... все это не вызывало у меня никаких воспоминаний; лицей и тот был модернизирован. Я посетил интернат, теперь преображенный в музей местной истории. В этих самых залах меня били и унижали, в меня плевали, писали мне в лицо, совали мою голову в унитаз с дерьмом. И все же я не испытал никакого волнения, разве что легкую грусть — самого общего порядка. "Даже Господь не властен сделать небывшим то, что было", — утверждает где-то уже не помню какой писатель-католик; но судя по тому, что осталось от моего детства в Мо, это не такая уж трудная задача.

Несколько часов подряд я блуждал по городу, забрел даже в Пляжный бар. Вспоминал Каролину Иессайян, Патрицию Хохвайлер, но, говоря по правде, я их никогда не забывал; ничто на этих улицах особенно не обостряло эти воспоминания. Мне встречалось много молодежи, приезжих — в особенности черных, их стало куда больше, чем в пору моего отрочества, только это и было по-настоящему ново. Затем я отправился в лицей, знакомиться. Директора позабавило, что я один из бывших здешних учеников, он собрался было отыскать мое личное дело, но я заговорил о другом, мне удалось его отвлечь. Мне дали три класса: второй, первый "А" и первый "В". Я сразу смекнул, что всего тяжелее будет с первым "А": там было трое парней и три десятка девиц. Тридцать шестнадцатилетних девчонок. Блондинок, брюнеток, рыжих. Француженки, арабки, азиатки... все аппетитные, все желанные. И они спали с парнями, это было видно, спали, меняли их, напропалую прожигали свою юность; я каждый день проходил мимо автомата, торгующего презервативами, они брали их при мне, не стесняясь.

Все началось с того, что я принялся внушать себе, будто у меня, может статься, есть шанс. Здесь должно быть много дочек из разведенных семей, я сумею высмотреть такую, что ищет образ отца. Это может сработать, я чувствовал: может. Но отцу положено быть мужественным, уверенным, плечистым. Я отпустил бороду и записался в гимнастический клуб. Затея с бородой была не слишком удачной, она выросла жиденькая и придавала мне несколько странноватый вид, а ля Сальман Рушди; зато мои мускулы отреагировали хорошо: за несколько недель я по всем правилам развил дельтовидные и грудные мышцы. Но возникла еще одна, новая проблема — мой член. Теперь это может показаться диким, но в семидесятых никого

особо не интересовали размеры мужского орудия; в свои отроческие годы я имел все мыслимые комплексы по поводу собственного тела, все, кроме этого. Не знаю, кто первым поднял эту тему, вероятно гомики; впрочем, равным образом интерес к ней проявляют и американские полицейские романы; у Сартра, напротив, она совершенно отсутствует. Как бы там ни было, в душевой гимнастического клуба я осознал, что морковка у меня совсем маленькая. Дома проверил: если прижать конец сантиметра к основанию члена, получается 12, а если очень постараться — от силы 13 или 14 сантиметров. Я открыл новый источник терзаний, и тут уж ничего нельзя было поделать, это был непоправимый, решающий недостаток. Именно с этого момента я возненавидел негров. Впрочем, в моем лицее их оказалось не много, по большей части они учились в лицее Пьера де Кубертена, том самом, где небезызвестный Дефранс устраивал свои философские стриптизы и упражнялся в пресмыкательстве перед молодежью. В моих классах чернокожий был всего один, в первом "А", ражий детина по имени Бен. Он вечно разгуливал в каскетке и шортах; я уверен, что штырь у него был громадный. Натурально, все девицы так и расстилались перед этим бабуином; а я, который пытался заставить их изучать Малларме, не представлял для них никакого интереса. Так вот какой финал судьба уготовала европейской цивилизации, с горечью говорил я себе: мы снова простираемся ниц перед толстыми фаллосами, вроде как у этого павиана вида hamadryas. Я взял обыкновение являться на занятия без трусов. Негр гулял именно с той, которую я бы выбрал для себя, — хрупкой, с очень светлыми волосами, детским личиком и хорошенькими, как яблочки, грудками. Они приходили на занятия, держась за руки. Во время классных письменных работ я всегда оставлял окна закрытыми; девочкам было жарко, они стаскивали свои свитера, их футболки липли к груди; я мастурбировал, прячась за письменным столом. Еще помню день, когда я им поручил разбор фразы из романа "У Германтов":

"Чистота крови, к которой из поколения в поколение не примешивалось ничего, что не принадлежало бы величайшим, знатнейшим родам Франции, лишило этих людей даже тени того, что мы называем "манерностью", придав им самую безукоризненную простоту".

Я поглядел на Бена: он скреб в затылке, чесал себе яйца, разминал жевательную резинку. Что он тут способен понять, обезьяна? Впрочем, и все остальные, что они могут в этом понять? Я и сам-то начинаю теряться в догадках, что *на самом деле* хотел сказать Пруст. Эти его десятки страниц про чистоту крови, про благородство гения по сравнению с благородством знатности, про особенности среды выдающихся профессоров медицины... все это казалось мне сущим поносом. По видимости, мы теперь живем в упрощенном мире. Герцогиня Германтская имела куда меньше "капусты", чем Сноуп Даджи Дог, у последнего "капусты" меньше, чем у Билла Гейтса, зато девок он пялит куда больше. Два параметра, не более того. Конечно, можно бы задумать написание прустианского романа для денежных мешков, где бы известность противопоставлялась богатству, или вывести на сцену противоборство между знаменитостью, работающей на широкую публику, и знаменитостью для более узкого круга, для happy few, немногих счастливцев, но все это не представляло бы никакого интереса. Известность в области науки и культуры не более чем посредственный эрзац подлинной славы, славы, тира-

жируемой mass-media; и эта последняя вкупе с индустрией развлечений выкачивает более значительные денежные массы, нежели любой другой вид человеческой деятельности. Что такое банкир, министр, директор предприятия в сравнении с киноактером или рок-звездой? С финансовой, сексуальной и любой другой точки зрения не более чем ноль. Стратегия исключительности, так тонко описанная Прустом, по нынешним временам утратила всякий смысл. Если рассматривать человека как животное иерархическое, как строителя иерархий, то между обществом XVIII века и нашим не больше общего, чем между Малым Трианоном и радиовышкой. Пруст оставался европейцем до мозга костей, одним из последних европейцев, наряду с Томасом Манном; то, что он писал, уже не имеет никакой связи с какой бы то ни было реальностью. Разумеется, фраза насчет герцогини Германтской остается великолепной. И тем не менее все это теперь уже малость наводит тоску; и я кончил тем, что обратился к Бодлеру. Тревога, смерть, стыд, хмель, ностальгия, загубленное детство... все это сплошь бесспорные сюжеты, основательные темы. Однако же странно это выглядело. Весна, зной, все эти возбуждающие куколки — и я, декламирующий:

Остынь, моя Печаль, сдержи больной порыв.
Ты Вечера ждала. Он сходит понемногу
И, тенью тихою столицу осенив,
Одним дарует мир, другим несет тревогу.

В тот миг, когда толпа развратная идет
Вкушать раскаянье под плетью наслажденья,
Пускай, моя Печаль, рука твоя ведет
Меня в задумчивый приют уединенья[1].

Я выдержал паузу. Стихотворение их взволновало, я это чувствовал, весь класс затаил дыхание. Это был последний урок; через полчаса мне опять идти на поезд, потом возвращаться к своей жене. Вдруг из глубины зала раздался голос Бена: "Ого, старик! Да у тебя смерть в башке засела!" Он сказал это громко, но, по правде говоря, это была не дерзость, в его голосе слышалось даже что-то вроде восхищения. Я так толком и не понял, обращался ли он к Бодлеру или ко мне; по сути, в качестве "комментария к тексту" это было не так уж плохо. Тем не менее я должен был это пресечь. Я просто сказал: "Выйдите вон". Он не двинулся с места. Я подождал тридцать секунд; я вспотел от страха; я чувствовал, что близится момент, когда не смогу выдавить из себя ни звука; тем не менее я нашел в себе силы повторить: "Выйдите вон". Он поднялся, очень медленно собрал свои вещи и двинулся ко мне. Во всех силовых конфликтах есть благословенный момент, та волшебная секунда, когда воля и агрессия обоих противников уравновешивают друг друга. Бен остановился передо мной, он был на целую голову выше, я думал, он влепит мне затрещину, но нет, он в конце концов просто направился к двери. Я одержал победу. Маленькую победу: назавтра он снова пришел на занятия. Похоже, он что-то понял, однажды встретившись со мной

1. *Ш. Бодлер.* Раздумье. Из цикла "Сплин и Идеал". (Перевод С. Андреевского.)

глазами, так как начал лапать свою подружку прямо на уроках. Он задирал ей юбку, совал руку как можно дальше, мял ее ляжки; потом поглядывал на меня с улыбкой, весьма наглой. Я хотел эту куколку до бешенства. Весь уик-энд я сочинял расистский памфлет, пребывая в состоянии почти непрестанной эрекции; в понедельник я позвонил в "Бесконечность". На сей раз Соллерс принял меня в своем кабинете. Он был игрив, лукав, будто на телеэкране, даже и того лучше. "Вы самый настоящий расист, это чувствуется, это держит, это отлично. Бах-бах!" С весьма изящной ужимкой он выхватил одну из страниц, отметил пассаж на полях: "Мы завидуем неграм, мы ими восхищаемся, потому что жаждем по их примеру снова стать животными, животными, одаренными большим членом и крошечным мозгом рептилии, подчиненным потребностям их члена". Он шаловливо потряс листком: "Это круто, это смело, это очень щеголевато. У вас талант. Кое-что кое-где, правда, поверхностно, — мне, к примеру, не слишком по душе подзаголовок: "Расистом не рождаются, им становятся". Второстепенности, оговорки — это всегда немножко... Гм..." Лицо его омрачилось, но он сделал пируэт мундштуком и вновь заулыбался. Настоящий клоун, просто милашка. "Почти не чувствуется влияний, и потом, ничего сверх меры шокирующего. К примеру, вы не антисемит!" Он вытаскивает на свет другой пассаж: "Одни евреи избавлены от сожалений, что они не негры, ибо с давних времен они избрали путь разума, стыда и чувства вины. Ничто в западной культуре не может ни сравниться, ни хотя бы приблизиться к тем высотам, каких евреи достигли, побуждаемые сознанием виновности и стыдом; именно потому негры питают к ним особую ненависть". С блаженным видом он плюхнулся обратно в кресло, закинув руки за голову; на мгновение мне показалось, что сейчас он положит ноги на письменный стол, но этого не случилось. И опять наклонился вперед, ему не сиделось на месте. "Ну-с? Что будем делать?" — "Не знаю, но вы могли бы опубликовать мой текст". — "О-ля-ля! — он расхохотался, как будто я отпустил забавную шутку. — Напечатать такое в "Бесконечности"? Но, дружочек мой, вы не отдаете себе отчета... У нас теперь, знаете ли, не времена Селина. Есть такие темы, о которых уже нельзя писать что вздумается... подобный текст мог бы навлечь на меня серьезные неприятности. Думаете, у меня мало неприятностей? Если я служу в издательстве "Галлимар", так, по-вашему, мне можно делать все, что в голову взбредет? За мной, знаете, послеживают. Так и ждут промаха. Нет-нет, это было бы затруднительно. А что у вас еще припасено?"

Он, похоже, был непритворно удивлен, что я не принес ему другого текста. Мне было досадно, что я его разочаровал, я бы с величайшей охотой был "его дружочком", и чтобы он водил меня на танцы, поил виски в Пон-Руаяле. Выйдя на улицу, я пережил момент крайнего отчаяния. По бульвару Сен-Жермен проходили женщины, стояла предвечерняя жара, и я понял, что мне никогда не стать писателем; осознал я также и то, что мне на это насрать. Но как же тогда быть? Секс уже стоил мне доброй половины жалованья, просто непостижимо, что Анна до сих пор ни о чем не догадалась. Я мог бы вступить в Национальный фронт, но чего ради жевать кислую капусту в компании недоносков? Как бы то ни было, среди правых мало толку искать женщин, они если и есть, то путаются с десантниками. Мой текст был полной бессмыслицей, и я

швырнул его в первую попавшуюся урну. Мне следовало сохранять свою позицию "левого гуманиста", это мой единственный выигрышный шанс, в глубине души я был уверен в этом. Я уселся на террасе "Эскориала". Разболевшийся пенис был воспален, раздут. Я заказал два пива, затем отправился домой пешком. Переходя Сену, вспомнил Аджилу. Это была арабка из моего второго класса, очень хорошенькая, очень тоненькая. Прилежная ученица, по возрасту на год опережавшая своих одноклассников. У нее было кроткое, умное лицо, в глазах никакой насмешки; ей очень хотелось успевать в учебе, это сразу было видно. Зачастую такие девушки живут в окружении скотов и убийц, им довольно, чтобы их немножечко приласкали. В течение двух следующих недель я часто заговаривал с ней, вызывал к доске. Она не избегала моих взглядов, у меня сложилось впечатление, что она не находит это странным. Следовало поспешить, ведь уже начался июнь. Когда она возвращалась на свое место, я смотрел на ее маленький зад, туго обтянутый джинсами. Она мне так нравилась, что я стал подцеплять проституток. Я воображал, как мой член погружается в мягкую волну ее длинных черных волос; я даже мастурбировал на одном из классных сочинений.

В пятницу 11 июня она пришла в коротенькой черной юбке; занятия кончались в шесть. Она сидела в первом ряду. В ту минуту, когда она скрестила ноги под столом, я был на волосок от обморока. Она сидела рядом с толстой блондинкой, которая выбежала из класса сразу после звонка. Я встал, положил руку на ее блокнот. Она осталась сидеть, было похоже, что она не спешит. Все ученики вышли, в зале воцарилась тишина. У меня в руке был ее блокнот, я даже сумел прочитать некоторые слова: "Remember... ад..." Я сел рядом, положил папку на стол, но заговорить с ней не мог. Мы так и просидели молча не меньше минуты. Несколько раз я погружался взглядом в глубину ее больших черных глаз, но не переставал одновременно улавливать малейшее ее движение, едва заметный трепет ее груди. Она сидела вполоборота ко мне, ее ноги были раздвинуты. Я не помню, как сделал этот жест, наверное, он был полубессознательным. В следующее мгновение я почувствовал, что моя левая ладонь лежит на ее колене, в глазах помутилось, я вспомнил Каролину Иессайян, и молния стыда обожгла меня. Та же ошибка, абсолютно та же ошибка, повторенная через двадцать лет! Как Каролина Иессайян два десятилетия тому назад, она несколько мгновений оставалась неподвижной, слегка покраснела. Потом очень мягко отвела мою руку, однако не встала, не сделала попытки уйти. Сквозь забранное решеткой окно я видел девушку, которая торопливо шла через двор, в направлении гаража. Правой рукой я расстегнул молнию своих брюк. Она вытаращила глаза, уставившись на мой член. Ее глаза излучали жаркий трепет, я мог бы извергнуться под воздействием одного лишь ее взгляда, и в то же время я сознавал: нужно, чтобы она сделала хоть малое встречное движение, тогда мы стали бы сообщниками. Моя правая рука потянулась было к ее руке, но у меня не хватило сил довершить задуманное. Вместо этого я схватил свой член и с умоляющим видом протянул его ей. Она покатилась со смеху; мне кажется, я тоже засмеялся — и стал мастурбировать. Я продолжал смеяться и наяривать, пока она собирала свои тетрадки и книжки и потом, когда она встала, чтобы уйти. В дверях она обернулась, чтобы взглянуть на меня еще раз; я излился и

ничего больше не видел. Только ясно услышал стук захлопнувшейся двери, звук ее удаляющихся шагов. Я был словно оглушен ударом огромного гонга. И все же с вокзала мне удалось позвонить Азуле. Я совсем не помню, как поездом возвращался домой, как ехал в метро; он принял меня в восемь часов. Меня била дрожь, я не мог с ней совладать, он тотчас сделал мне укол успокоительного.

Три ночи я провел в больнице Святой Анны, потом меня перевели в психиатрическую клинику министерства национального просвещения, в Верьер-ле-Бюиссон. Азуле был заметно обеспокоен; пресса в том году начала много писать о педофилии, все будто сговорились "делать упор на педофилию". Скорей всего из ненависти к старикам, от враждебности и отвращения к старости это становилось прямо-таки национальной идеей. Девочке было пятнадцать, я был ее учителем, злоупотребил своей властью; к тому же она была арабкой. Короче, идеальное досье для увольнения с последующим линчеванием. Через две недели я стал понемногу успокаиваться; подошло окончание учебного года, и Аджила, видимо, не заговорила. Мое личное дело приобретало более традиционный характер. Преподаватель, страдающий депрессией, с некоторой склонностью к суициду, нуждающийся в том, чтобы подлечить свою психику...

В клинике я провел немногим больше полугода; мой отец несколько раз заходил навещать меня, вид у него был с каждым разом все более благожелательный и утомленный. Я был так напичкан транквилизаторами, что более не испытывал никаких сексуальных вожделений; но медсестры время от времени брались за меня. Я прижимался к ним, замирал на одну-две минуты, потом снова ложился. Это приносило мне такое облегчение, что главный психиатр рекомендовал не пренебрегать подобными методами, если они не видят к тому непреодолимых препятствий. Он подозревал, что Азуле сказал ему не все, но у него было много куда более серьезных пациентов, шизофреников и опасных безумцев, у него не нашлось достаточно времени, чтобы заниматься мной; он считал, что у меня есть свой лечащий врач, и это главное.

О преподавании, по-видимому, больше не могло быть речи, но в начале 1991-го министерство национального просвещения пристроило меня на место в Комиссии по программам французского языка. Я потерял почасовую оплату учителя и школьные каникулы, но мое жалованье не уменьшилось. Немного погодя я развелся с Анной. Что касается средств на содержание и очередности общения с сыном, мы сошлись на вполне традиционном решении — практически адвокаты не оставляют вам права выбора, существует нечто вроде типового контракта. На судебном заседании мы проходили в числе первых, судья скороговоркой зачитал текст, и вся церемония развода заняла меньше четверти часа. Мы вместе спустились по лестнице Дворца правосудия, было чуть позже полудня. Начинался март месяц, мне только что исполнилось тридцать пять лет; я знал, что первая половина моей жизни миновала.

Брюно замолчал. Уже была глубокая ночь; ни он, ни Кристиана так и не оделись. Он поднял на нее глаза. И тут она сделала удивительную вещь: придвинулась к нему, обвила рукой его шею и поцеловала в обе щеки.

— В последующие годы все шло по-прежнему, — мягко продолжал Брюно. — Я сделал пересадку волос на голове, она прошла хорошо, хирург был другом моего отца. Гимнастического клуба я тоже не бросал. Когда подходил отпуск, я обращался в "Новые границы", или опять в "Клаб-мед", или в объединение учительских профсоюзов. У меня было несколько интрижек, в конечном счете очень мало; женщины моих лет по большей части уже не слишком-то хотят трахаться. Они, конечно, утверждают обратное, верно и то, что иногда им бы хотелось снова испытать эмоции, страсти, желание; но этого я был не способен у них вызвать. Прежде я никогда не встречал таких женщин, как ты. Даже не надеялся, что такая женщина может существовать.

— Тут нужно... — выговорила она чуть дрогнувшим голосом, — нужно немного великодушия, надо, чтобы кто-нибудь начал первым. Если бы я была на месте той арабки, не знаю, как бы я реагировала. Но в тебе уже тогда наверняка было что-то трогательное, я в этом уверена. Думаю, во всяком случае мне так кажется, что я бы согласилась доставить тебе удовольствие. — Она прилегла, опустила голову промеж ляжек Брюно, несколько раз лизнула кончик его члена. — Я бы охотно что-нибудь съела... — вдруг сказала она. — Уже два часа ночи, но в Париже это, наверное, возможно?

— Конечно.

— Я могу тебя приголубить сейчас же, или ты предпочитаешь, чтобы я приласкала твой штырек в такси?

— Нет, сейчас.

15. Гипотеза Макмиллана

Они взяли такси, доехали до Центрального рынка, пообедали в ресторане быстрого обслуживания, открытом всю ночь. На входе Брюно заказал рольмопс — селедку в винном соусе. Он сказал себе, что теперь ему все доступно; но тут же понял, что такая самонадеянность чрезмерна. Возможности его воображения по-прежнему богаты, это так: он может себя вообразить хоть крысой-пасюком, хоть солонкой, хоть энергетическим полем; между тем в действительности его тело остается вовлеченным в процесс медлительного распада; с телом Кристианы дело обстоит так же. Наперекор ночам, что приходят и уходят, индивидуальное сознание до конца пребудет в их разобщенных телах. Рольмопсы ровным счетом ничего не могут с этим поделать; но и от окуня с укропом не стоит ждать разрешения проблемы. Кристиана хранила молчание, рассеянное и, пожалуй, загадочное. Они отведали вместе домашних монбельярских колбасок и квашеной капусты по-королевски. Пребывая в приятно расслабленном состоянии мужчины, только что пережившего сладкий оргазм в объятиях не безразличной ему женщины, Брюно мельком припомнил свои профессиональные заботы, смысл коих можно было сформулировать следующим образом: какую роль сыграл Поль Валери в формировании мировоззрения представителей французской науки? Покончив с квашеной капустой и заказав мюнстер, он почувствовал искушение ответить: "Никакой".

— Я ни на что не гожусь, — смиренно признался он. — Я не способен растить свиней. Не имею ни малейшего понятия о производстве колбас, вилок и мобильных телефонов. Я не в состоянии изготовить ни одного из тех окружающих меня предметов, которые я использую или пожираю; мне даже не дано постигнуть процесс их изготовления. Если бы завтра производство остановилось, а все специалисты, инженеры и техники, разом куда-то подевались, я бы не сумел и самой малости сделать, чтобы заново пустить что-нибудь в ход. Оказавшись вне экономико-индустриального комплекса, я не смог бы даже обеспечить собственное выживание: я бы не знал, где добыть еду, во что одеться, как уберечься от непогоды; мои личные технические познания намного уступают тем, какими располагал неандерталец. Находясь в полной зависимости от общества, которое окружает меня, я сам со своей стороны почти что бесполезен для него; все, что я умею, это порождать сомнительные комментарии по поводу устаревших культурных объектов. Тем не менее я получаю жалованье, которое существенно выше среднего. Большинство людей моего круга находится в том же положении. В сущности, единственный полезный человек, которого я знаю, это мой брат.

— Что же он сделал такого из ряда вон выходящего?

Брюно подумал, в поисках достаточно впечатляющего ответа поворошил кусок сыра, лежавший у него на тарелке.

— Он создавал новых коров. Впрочем, это лишь пример, но я помню, что на основании его трудов стало возможным получить новую, генетически модифицированную генерацию коров, дающих молоко улучшенного качества, повышенной питательности. Он изменил мир. А я ничего не сделал, ничего не изменил; я не принес в мир абсолютно ничего нового.

— Ты не причинял зла...

Лицо Кристианы омрачилось, она быстро осушила свой бокал. В июле 1976 года она провела две недели в поместье ди Меолы на склонах Ванту, том самом, куда годом раньше приезжал Брюно с Аннабель и Мишелем. Когда она рассказала Брюно о том лете, они оба были восхищены совпадением; но тотчас ее охватило мучительное сожаление. Она подумала: если бы они встретились в 76-м, когда ему было двадцать лет, а ей шестнадцать, вся их жизнь могла бы пойти совсем по-другому. То был первый признак, по которому она догадалась, что начинает влюбляться по-настоящему.

— В сущности, — заметила Кристиана, — в этом совпадении нет ничего удивительного. Мои болваны-родители принадлежали к тому же анархическому слою, что-то вроде битников пятидесятых, которые таскались к твоей матери. Возможно даже, что они были знакомы, но у меня нет никакого желания об этом узнать. Я презираю этих людей, могу сказать даже, что ненавижу их. Они носители зла, они творят зло, уж я-то знаю, о чем говорю. Прекрасно помню то лето 76-го. Ди Меола умер через две недели после моего приезда; у него был далеко зашедший рак, кажется, его уже ничто по-настоящему не интересовало. Тем не менее он попытался меня завлечь, я в ту пору была недурна собой, но он не настаивал, думаю, он уже начинал испытывать физические страдания. Двадцать лет он ломал комедию, разыгрывая из себя мудрого наставника, посвященного в тайны духа и т. п., все чтобы девок трахать. Надо признать, что роль свою он выдержал до конца. Через две недели после

моего прибытия он принял яд, какую-то очень мягкую отраву, которая делает свое дело за несколько часов; потом он позвал всех посетителей, гостивших в поместье, уделив каждому по несколько минут, нечто в жанре "смерть Сократа". К тому же он говорил о Платоне, а еще об упанишадах, Лао Цзы, в общем, сущий цирк. Также много разглагольствовал об Олдосе Хаксли, напомнил, что знал его, описал их разговор; возможно, тут он малость приврал; но как бы то ни было, он, Меола, умирал. Когда подошла моя очередь, я была довольно сильно взволнована, но он меня просто-напросто попросил расстегнуть блузку. Смотрел на мою грудь, потом попытался что-то сказать, но я мало что поняла, ему уже было больно говорить. Внезапно выпрямился на своем кресле, протянул руки к моей груди. Я не противилась. На мгновение он ткнулся мне в грудь лицом, потом снова упал в кресло. Руки у него сильно дрожали. Движением головы велел мне уходить. В его глазах я не увидела никакой одухотворенности, ничего похожего на мудрость — в этом взгляде был один только страх.

Он скончался на закате. Просил, чтобы погребальный костер развели на вершине холма. Все собирали хворост, потом началась церемония. Давид сам зажег погребальный костер своего отца, глаза у него както странно сверкали. Я ничего о нем не знала, только то, что он рок-музыкант; с ним были всякие подозрительные типы, американские мотоциклисты, покрытые татуировкой, все в коже. Я там была с подругой, и когда наступила ночь, мы почувствовали себя не слишком уверенно.

Несколько исполнителей с тамтамами расположились перед костром и медленно, в строгом ритме заиграли. Присутствующие стали танцевать, огонь сильно разгорелся, и они, как обычно, принялись сбрасывать с себя одежду. По правилам, чтобы совершить подобную кремацию, нужны ладан и сандаловое дерево. В погребальный костер ди Меолы вместо этого бросили сухие ветки, смешав их, вероятно, с местными травами — розмарином, тмином, садовым чабёром; так что через полчаса запах стал ни дать ни взять как от шашлыка. Такое замечание отпустил приятель Давида — толстяк в кожаном жилете, щербатый, с длинными грязными космами. Другой, похожий на хиппи, добавил, что у многих первобытных племен съедение почившего вождя было чрезвычайно почитаемым ритуалом. Щербатый замотал головой и заржал; Давид подошел к этим двоим и заспорил с ними, при свете пламени его тело было поистине великолепно — думаю, он занимался культуризмом. Я смекнула, что стычка грозит перерасти в серьезную потасовку, и поспешила отправиться спать.

Немного погодя разразилась гроза. Не знаю почему, но я встала, вернулась к костру. Там еще было человек тридцать, они танцевали под дождем совершенно голые. Один грубо схватил меня за плечи, подтащил к огню, заставляя посмотреть на то, что осталось от тела. Я увидела череп с пустыми глазницами. Плоть, не полностью истребленная огнем, наполовину смешалась с пеплом, получился как бы небольшой ком грязи. Я стала кричать, этот тип отпустил меня, и мне удалось унести ноги. Назавтра мы с подругой уехали. Я больше никогда ничего не слышала об этих людях.

— И статьи в "Пари-матч" не читала?

— Нет... — Кристиана недоуменно пожала плечами.

Брюно прервал разговор и, прежде чем продолжить его, потребовал два кофе. За долгие годы он выработал для себя концепцию жизни грубую и циничную, типично мужскую. Мир — замкнутое пространство, кишащее живыми тварями; все их движение ограничено жестким, наглухо запертым кольцом горизонта, вполне ощутимым, но недоступным: это кольцо — законы морали. Но сказано все же, что у любви свой закон, и она ему подчиняется. Кристиана не отрывала от него внимательного, нежного взгляда; глаза у нее были немного усталые.

— Эта история до такой степени омерзительна, — начал Брюно неохотно, — что я был удивлен, как это журналисты раньше о ней не заговорили. Короче, случилось это пять лет назад, судебный процесс состоялся в Лос-Анджелесе, для Европы секты сатанистов были еще в новинку. Давид ди Меола — я сразу вспомнил это имя — был одним из двенадцати обвиняемых; он же был одним из тех двоих, что сумели ускользнуть от полиции. Если верить статье, он, по всей вероятности, бежал в Бразилию. Обвинения, выдвинутые против него, были убийственны. В его поместье обнаружили добрую сотню видеокассет с картинами пыток и убийств, все они были заботливо систематизированы и снабжены этикетками; на некоторых он появляется без маски. На кассете, которая была продемонстрирована при слушании дела, была заснята сцена кошмарной расправы над старой женщиной, Мэри Макналлаган, и ее крошечной внучкой. Ди Меола на глазах бабушки острыми клещами оторвал у младенца руки и ноги; потом пальцами вырвал у старой женщины один глаз и мастурбировал в кровавую глазницу; в то же время он подключил дистанционно управляемую видеокамеру перед самым ее лицом. Она сидела скорчившись; металлический ошейник, привинченный к стене, надежно удерживал ее; все это происходило в помещении, похожем на гараж. В последнем кадре фильма она валялась в собственных экскрементах; кассета была рассчитана как минимум на сорок пять минут, но только полицейские просмотрели ее всю, присяжные через десять минут попросили прекратить демонстрацию.

Статья в "Матч" в основном воспроизводила интервью Дэниэла Макмиллана, прокурора штата Калифорния, опубликованное в "Ньюсуик". По его словам, речь идет не только о суде над группой людей: судить надо общество в целом, ибо это преступление кажется ему характерным симптомом разложения общественного сознания и морали, постигшего американское общество начиная с конца пятидесятых. Судья неоднократно призывал его оставаться в рамках рассматриваемых фактов; проводимые им параллели с делом Мэнсона[1] он считал неуместными, тем паче что из всех обвиняемых лишь в отношении ди Меолы могла быть установлена некая туманная связь с движением битников или хиппи.

Год спустя Макмиллан опубликовал книгу "From Lust to Murder: a Generation"[2], довольно скверно переведенную на французский под названием "Поколение убийц". Эта книга меня удивила: я ожидал обычных

1. Чарльз Мэнсон — глава "семьи хиппи", проживавшей на ранчо близ Лос-Анджелеса, промышлявшей наркотиками и совершившей в 60-е годы ряд кровавых ритуальных убийств. Среди жертв Чарльза Мэнсона — жена Романа Поланского голливудская киноактриса Шарон Тейт, зверски убитая на своей вилле вместе с приехавшими к ней гостями.
2. "От вожделения к убийству. Поколение" (*англ.*).

разглагольствований в духе религиозного фундаментализма о возвращении Антихриста и надобности опять ввести в средней школе обязательные молитвы. На деле это оказалась точная, хорошо документированная книга, с подробным анализом многочисленных судебных дел; Макмиллан проявляет особый интерес к случаю Давида, он пересказывает его биографию, проведя с этой целью серьезное расследование.

В сентябре 1976-го, сразу после кончины отца, Давид продал поместье и тридцать гектаров земли, чтобы приобрести в Париже кусок земли со старыми домами; он сохранил для себя большую квартиру на улице Висконти, а все прочее перестроил, приспособив для сдачи внаем. Просторные апартаменты были разгорожены, комнаты для прислуги тоже пошли в ход, присоединены к другим: он приказал устроить там кухни и душевые. Когда все было готово, он оказался владельцем двух десятков маленьких квартирок, которые вполне могли обеспечить ему приличный доход. Он все еще не мог отказаться от идеи преуспеть на поприще рока и надеялся, что в Париже ему повезет больше; но ему уже исполнилось двадцать шесть лет. Прежде чем отправиться попытать счастья в студиях звукозаписи, он решил убавить себе два года. Сделать это было очень легко: достаточно, когда спросят, ответить: "Двадцать четыре". Естественно, проверять никто не станет. Брайан Джонс поступил таким образом задолго до него. Судя по свидетельствам, добытым Макмилланом, однажды вечером на приеме в Канне Давид столкнулся с Миком Джаггером; он отскочил метра на два, будто наступил на гадюку. Мик Джаггер *уже был* величайшей в мире звездой; богатый, осыпаемый почестями, циничный, он воплощал в себе то, о чем мечтал Давид. Однажды перед Миком Джаггером возникла проблема власти, необходимо было утвердить свое "эго" в группе; соперником оказался именно Брайан Джонс. Все благополучно разрешилось — там очень кстати оказался бассейн... Конечно, это была неофициальная версия, но Давид *знал,* что Мик Джаггер столкнул Брайана Джонса в бассейн; Давид легко представлял себе, как он сделал это. Вот так, начав с убийства, Мик Джаггер, по убеждению Давида, стал лидером величайшей в мире рок-группы. Все, что есть в мире великого, зиждится на убийстве — Давид был уверен в этом, и сейчас, в конце 76-го, чувствовал, что вполне готов столкнуть в подвернувшиеся бассейны столько народу, сколько потребуется; однако в последующие годы ему только и удалось, что в качестве второго контрабасиста принять участие в записи нескольких дисков. Зато женщинам он по-прежнему очень нравился. Его эротические притязания росли, он взял за правило ложиться сразу с двумя девушками, желательно — блондинкой и брюнеткой. Большинство из них соглашались, ведь он и впрямь был очень красив — в этаком мощном, мужественном стиле, чуть ли не зверь. Он кичился своим длинным, толстым фаллосом, своими яйцами, большими и волосатыми. Совокупление мало-помалу утрачивало интерес в его глазах, но он с неизменным удовольствием смотрел, как девушки опускаются на колени, чтобы пососать его член.

В начале 1981 года он узнал от одного заезжего калифорнийца, что происходит подбор групп для записи CD heavy metal в честь Чарльза Мэнсона. Он решил еще разок попытать счастья. Распродал все свои квартирки, стоимость которых со временем возросла чуть ли не вчетверо, и пере-

брался в Лос-Анджелес. Теперь ему был тридцать один год, официально — двадцать девять; уже многовато. Он задумал, прежде чем предстать перед американскими продюсерами, скостить себе еще три года. Судя по физической форме, ему вполне можно было дать двадцать шесть.

Дело затягивалось, Мэнсон из недр своей исправительной тюрьмы требовал непомерных прав. Давид занялся бегом трусцой и начал посещать кружки сатанистов. Секты, проповедующие культ Сатаны, всегда отдавали предпочтение Калифорнии, начиная с "Первой Церкви Сатаны", основанной Антоном Ла Вейем в 1966 году в Лос-Анджелесе, и общества "Церковь Страшного Суда", возникшего1967-м в Сан-Франциско (Хейт-Эшбери). Эти группировки еще существовали, и Давид вступил в контакт с ними; они довольствовались ритуальными оргиями, иногда принося в жертву какое-нибудь животное, только и всего; однако при их посредничестве он получил доступ в кружки куда более закрытые и страшные. В частности, он сошелся с Джоном ди Джорно, хирургом, организовавшим "аборты-трапезы". После операции зародыша перемалывали, растирали, смешивали с тестом и пекли хлеб, чтобы затем разделить его между участниками. Давид быстро сообразил, что наиболее продвинутые сатанисты в Сатану совсем не верят. Они, как и он, были абсолютными материалистами и вскоре отказались от всего этого по сути кичевого церемониала с пятиконечными звездами, свечами, длинными черными одеяниями; такой декорум, служил в основном для того, чтобы помочь начинающим преодолеть моральные запреты. В 1983 году он был допущен к первому ритуальному убийству.

К тому времени Давид уже почти отказался от мысли стать рок-звездой, хотя при появлении на MTV Мика Джаггера его сердце порой мучительно сжималось. К тому же проект "Посвящение Чарльзу Мэнсону" провалился, и пусть его признавали двадцативосьмилетним, но на самом-то деле ему было на пять лет больше, и он начинал чувствовать, что действительно слишком стар. Его жажда власти и всемогущества вылилась в манию величия, он возомнил себя Наполеоном. Его восхищал этот человек, который выжег Европу огнем и залил кровью, который погубил сотни тысяч, не имея даже такого оправдания, как идеология, вера, на худой конец убежденность. В противоположность Гитлеру или Сталину Наполеон не верил ни во что, кроме самого себя, он самым решительным образом отделил собственную личность от остального мира, рассматривал других только как орудие, служащее его властительной воле. Раздумывая о своих итальянских корнях, Давид воображал себе кровную связь, сближающую его с этим диктатором, который, прохаживаясь на заре по полям битв, глядя на тысячи тел, искалеченных, со вспоротыми животами, мог небрежно заметить: "Пустяки... одна парижская ночь восполнит все".

Месяц за месяцем Давид и другие участники группы все глубже погрязали в ужасах и зверствах. Иногда, запечатлевая свои кровавые забавы на пленке, они снимали маски; один из участников был продюсером в индустрии видео, он имел доступ к изготовлению копий. Хорошее "кино с душком" можно было продать за баснословные деньги, что-нибудь около двадцати тысяч долларов за копию. Однажды вечером, будучи приглашен на очередную оргию к приятелю-адвокату, Давид узнал один из своих фильмов на экране телевизора в спальне. На этой кассете, сделанной месяц тому

назад, он распиливал мужской половой член механической пилой. Пользуясь своей редкой привлекательностью, он заманил в спальню девочку лет двенадцати, подружку хозяйской дочери, и принудил ее встать на колени перед его креслом. Девочка немного побрыкалась, потом начала его сосать. На экране он приближает пилу к низу живота мужчины лет сорока, легонько задевая ею его бедра, а тот, намертво связанный, со скрещенными руками, вопит от ужаса. Давид излился в девочкин рот в тот самый момент, когда лезвие пилы рассекло член; он схватил девочку за волосы, грубо вывернул ей шею и заставил долго смотреть на кадр, где — крупным планом — писал кровью обрубок.

Вот к чему сводились улики, собранные против Давида. Полиция случайно перехватила одну из копий пыточного видеофильма, но Давид, по всей вероятности, был предупрежден; как бы то ни было, он успел вовремя скрыться. Здесь-то Дэниэл Макмиллан и переходил к главной мысли. В своей книге он со всей определенностью утверждал, что так называемые сатанисты не верят ни в Бога, ни в Дьявола, ни в какую бы то ни было иную сверхъестественную силу; кощунство вводилось в их церемониал не иначе как второстепенная приправа, вкус к которой большинство из них вскорости утрачивало. В действительности они, подобно их учителю маркизу де Саду, были абсолютными материалистами, своего рода гурманами, ищущими наслаждения во все более резких нервных встрясках. По Дэниэлу Макмиллану, прогрессирующий распад моральных ценностей в течение шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых, потом и девяностых годов является процессом закономерным и неотвратимым. Когда сексуальные наслаждения приедаются, естественно, что индивид, свободный от ограничений традиционной морали, обращается к более разнообразным усладам жестокости; два столетия назад Саду уже довелось пройти аналогичный путь. В этом отношении серийные убийцы девяностых — прямые потомки хиппи шестидесятых; их общими предками можно признать венских акционистов пятидесятых. Такие венские акционисты, как Нич, Мюэль или Шварцкоглер, в качестве перформанса прилюдно учиняли расправы над животными; в присутствии кретинских сборищ они вырывали, раздирали на куски их органы и внутренности, они погружали руки в их плоть и кровь, доводя до последнего предела страдания безвинных существ, между тем как статист запечатлевал эту резню на фото- или кинопленке, дабы выставить полученные материалы в художественной галерее. Подобная дионисийская жажда высвобождения звериного, злого начала, пробужденная венскими акционистами, будет проявляться в ходе последующих десятилетий. Согласно Дэниэлу Макмиллану, этот поворот, постигший западную цивилизацию после 1945-го, есть не что иное, как возврат к культу грубой силы, отречение от вековых норм, что в течение веков создавались во имя морали и права. Венских акционистов, битников, хиппи и серийных убийц сближает то, что все они абсолютные анархисты, они проповедуют безоглядное утверждение прав личности в противоположность социальным нормам, всему тому лицемерию, к которому, по их мнению, и сводятся мораль, чувство, справедливость и сострадание. В этом смысле Чарльз Мэнсон вовсе не чудовищное извращение духовного опыта хиппи, но логическое завершение его;

Давид ди Меола только продолжил, осуществил на практике идеи освобождения личности, которые провозглашал его отец. Макмиллан принадлежал к партии консерваторов, и некоторые его выпады против личной свободы вызвали скрежет зубовный в недрах его собственной партии; однако его книга сыграла большую роль. В ореоле авторской славы он с головой ушел в политическую борьбу и был избран в Палату общин.

Брюно примолк. Свой кофе он давно уже допил, часы показывали четыре утра, и в зале не видно было ни одного венского акциониста. В ту пору Герман Нич гнил в австрийской тюрьме, куда был заключен за изнасилование малолетнего. Этому человеку уже перевалило за шестьдесят, можно было уповать на скорую кончину; таким образом, один из источников мирового зла пересыхал. Нервничать по этому поводу не было никакого резона. Все вокруг дышало покоем, одинокий служитель блуждал между столиков. Сейчас они оставались здесь единственными клиентами, но ресторан был открыт двадцать четыре часа в сутки, о том говорила вывеска при входе, то же повторялось на обложке меню, таково было обязательство, предусмотренное контрактом. "Они и похезать не сходят, эти гомики", — машинально пробормотал Брюно. Человеческая жизнь в нашем современном обществе подвержена неизбежным кризисам, особенно в области личных проблем. Следовательно, в центре большой европейской столицы непременно должно быть как минимум одно заведение, открытое для посещения всю ночь. Он заказал малиновое желе и два стакана вишневой водки. Кристиана внимательно выслушала его рассказ; в ее молчании было что-то болезненное. Теперь они должны были вернуться к простым радостям.

16. Об эстетике добровольности

> С первыми лучами зари юные девы приходят срывать розы. Ветер всепроникновения веет над долами, над столицами, питает воображение самых вдохновенных поэтов, срывает охранительные покровы с колыбелей и лавры, венчающие головы юнцов, выдувает верования в бессмертие из мозгов старцев.
>
> Лотреамон. *Стихотворения, II*

Большинство тех, с кем Брюно за время своей жизни доводилось встречаться, было занято исключительно погоней за удовольствиями — разумеется, здесь в понятие удовольствия необходимо включить и услады самолюбования, столь тесно связанные с почтением или восхищением окружающих. Таким образом, в ход могла быть пущена та или иная стратегия, определяющая особенности людских судеб.

Тем не менее Брюно признавал, что из этого правила приходится сделать одно исключение — для его сводного брата: с ним, казалось, не вяжется даже само понятие удовольствия; но, сказать по правде, про

Мишеля и не поймешь, задевает его хоть что-нибудь или нет. Равномерное прямолинейное движение при отсутствии трения и без приложения какой-либо внешней силы продолжается до бесконечности. Организованная, рациональная, с точки зрения социологии медиально расположенная по отношению к высшим категориям, жизнь его сводного брата до сих пор, по-видимому, протекала без трения. Хотя, может, в замкнутом мирке исследователей-микробиологов и разворачиваются потаенные, ужасные противоборства самолюбий; последнее, впрочем, представлялось Брюно сомнительным.

— У тебя очень мрачный взгляд на жизнь, — сказала Кристиана, прерывая молчание, которое становилось все тягостнее.

— Ницшеанский, — уточнил Брюно. И, подумав, счел нужным прибавить: — Я, скорее всего, ницшеанец низшего разбора. Прочту-ка тебе одно стихотворение. — Он извлек из кармана записную книжку и продекламировал:

Каждый тянет эту жвачку, сколько можно? —
Насчет вечного возврата и так далее,
А я ем клубничное мороженое
В ресторане "Заратустра" под азалией.

Они опять помолчали, потом она сказала:

— Я знаю, что нужно сделать. Давай съездим на мыс Агд, устроим групповушку в нудистском секторе. Там есть медсестры-голландки, немки из чиновничьей среды, все очень корректно, буржуазно, в северной манере или в духе Бенилюкса. Почему бы не потрахаться в компании люксембургских копов?

— У меня отпуск кончается.

— И у меня тоже, занятия начнутся во вторник; но я еще нуждаюсь в отдыхе. Довольно с меня преподавания, дети такие болваны. И тебе тоже нужно отдохнуть, ты нуждаешься в оргазмах в кругу самых разнообразных женщин. Это возможно. Знаю, ты в это не веришь, но я тебе ручаюсь: возможно. У меня есть приятель-врач, он нам выправит справку о болезни.

На вокзал Агда они прибыли в понедельник утром, взяли такси и поехали в нудистский сектор. У Кристианы почти не было багажа: ей не хватило времени, чтобы заехать в Нуайон.

— Надо бы мне послать сколько-нибудь бабок сыну, — сказала она. — Он меня презирает, но мне еще несколько лет придется волей-неволей его терпеть. Я всерьез опасаюсь, как бы он совсем не одичал. Он якшается со странными типами: с мусульманами, с нацистами... Если бы он разбился на мотоцикле, мне было бы больно, но, думаю, я бы испытала облегчение.

Уже наступил сентябрь, и они легко нашли себе жилье. Нудистский гостиничный комплекс мыса Агд, состоящий из пяти зданий, построенных в семидесятых и в начале восьмидесятых годов, в общей сложности вмещал десять тысяч спальных мест — мировой рекорд. Их номер, площадью в 22 кв. м, состоял из гостиной, где имелся диван-кровать,

кухоньки, спаленки с расположенными друг против друга одноместными кушетками, а также из душевой, санузла и террасы. Все это было рассчитано максимум на четверых — чаще всего то была семья с двумя детьми. Они с первой минуты почувствовали, что им здесь очень понравится. Терраса выходила на запад, смотрела на причал прогулочных катеров и позволяла пить аперитив, наслаждаясь последними лучами заходящего солнца.

Если бы даже там не было трех коммерческих центров, мини-гольфа и пункта проката велосипедов, и тогда край отдыха нудистов на мысе Агд был бы самым соблазнительным для курортников благодаря простейшим пляжным и сексуальным утехам. В конечном счете это место являет собой некое особое социологическое образование, тем более удивительное, что в основе его лежит не заранее разработанный проект, а простое совпадение личных инициатив. По крайней мере именно так выразился Брюно во вступительной части статьи под названием "Дюны Марсейянского пляжа: об эстетике добровольности", где он подводил итоги своих двухнедельных курортных впечатлений. Статья эта была справедливо отвергнута журналом "Эспри".

"Что с первого взгляда поражает на мысе Агд, — отмечает Брюно, — это сосуществование самых банальных служб, аналогичных тем, какие встретишь на любом европейском курорте, с коммерческими предприятиями, недвусмысленно ориентированными на секс и распутство. Странно, к примеру, видеть булочную или продовольственный магазинчик самообслуживания рядом с магазином одежды, предлагающим исключительно прозрачные крошечные юбочки, белье из латекса и платья, скроенные так, чтобы грудь и ягодицы оставались открытыми. Удивительно также наблюдать, как женщины и супружеские пары, с детьми или без оных, фланируют среди торговых рядов и приценяются к товарам подобного рода. Наконец, как не подивиться при виде того, как книготорговые фирмы, помимо обычного ассортимента газет и журналов, предлагают в своих киосках особо широкий выбор всякого рода брошюр с предложениями "приятного досуга" и порнографических буклетов, а также всевозможных эротических приспособлений, причем ни у кого из потребителей все это не вызывает ни малейшего смущения.

Центры коллективного отдыха обычно распространяются по определенной оси, от "семейных" (таковы "Мини-клаб" и "Кид'с-клаб" с их приборами для нагревания детских бутылочек и столами для пеленания) до "молодежных" (с лыжами, серфингом, буйными вечеринками для полуночников — "до 12 лет не рекомендуется"). Нудистский центр мыса Агд, где такое значение придается сексуальным досугам, избавленным от обычно сопровождающего их контекста "обольщения", далеко выходит за пределы подобной дихотомии..."

На второй день Кристиана и Брюно свели на пляже знакомство с Руди и Ханналорой, парой, которая смогла помочь им лучше понять суть социологической деятельности центра. Руди был инженером центра спутникового управления, его главной обязанностью был контроль геостационарной позиции телекоммуникационного спутника типа "Астра"; Ханналора работала в крупном гамбургском книжном магазине. За де-

сять последних лет привыкшие отдыхать на мысе Агд, они в этом году предпочли оставить своих двоих детей-подростков на попечении родителей Ханналоры, чтобы уехать на недельку вдвоем. В тот же вечер пообедали вчетвером в рыбном ресторане, где подавали великолепную пряную похлебку буйабес. Потом отправились к немцам в номер. Брюно и Руди по очереди протыкали Ханналору, в то время как она лизала Кристианину промежность; затем женщины поменялись местами. После этого Ханналора незамедлительно сделала Брюно минет. У нее было очень красивое тело, пышное, но крепкое, она явно поддерживала себя в форме спортивными упражнениями. К тому же сосала она весьма чувственно; крайне возбужденный этой ситуацией, Брюно, к несчастью, извергся слишком быстро. Руди, как более искушенному, удалось воздерживаться от эякуляции в течение двадцати минут, пока Ханналора и Кристиана сообща сосали его, дружески сталкиваясь языками на головке члена. В заключение вечера Ханналора угостила всех стаканом вишневой водки...

Одеваться никто из четверых не стал. Брюно, ликуя, обнаружил, что у него опять эрекция, меньше чем через час после того, как он излился в уста Ханналоры; он объявил об этом в выражениях, полных наивного восторга. От души растроганная, Кристиана принялась обхаживать его болт под умиленными взглядами новых друзей. Под конец Ханналора присела на корточки между его ляжек и стала посасывать его член, который Кристиана продолжала ласкать. Руди, впав в легкое ошеломление, машинально повторял: "Gut, gut..." Расстались они полупьяные, но в превосходном расположении духа. Брюно пустился в воспоминания о "Клубе пяти", обнаружив сходство между Кристианой и Клод, чей образ с детства сложился в его сознании; по его мнению, не хватало только верного пса Даго.

Назавтра после полудня они вместе отправились на пляж. Погода стояла ясная и для сентября очень жаркая. "Как приятно, — думал Брюно, — идти вчетвером, голыми, по самой кромке воды. Приятно сознавать, что нет никаких сложностей и раздоров, сексуальные проблемы уже решены; приятна уверенность, что каждый в меру своих возможностей старается доставить другим удовольствие".

Нудистский пляж мыса Агд тянулся на три километра, берег полого спускался к воде, это даже малым детям давало возможность купаться без всякого риска. Впрочем, большая часть берега была зарезервирована для семейных купаний, а также для спортивных игр (серфинга, бадминтона, запускания змея). Есть молчаливо признанное правило, объяснил Руди, что парочки, ищущие распутства, встречаются друг с другом на восточной оконечности пляжа. Дюны, подпертые изгородями, образовывали там чуть возвышающуюся над всем гряду. Если подняться на ее вершину, с одной стороны открывается вид на пляж, полого спускающийся к морю, с другой — на более пересеченную местность, где дюны перемежаются плоскими полянами, там и сям поросшими купами каменных дубов. Друзья расположились под самой песчаной грядой, со стороны пляжа. Вокруг на тесном пространстве скопилось две сотни парочек. Кое-где среди них виднелись одинокие мужчины; некоторые мери-

ли шагами песчаную гряду, попеременно озирая открывающиеся взгляду картины.

"В продолжение двух недель нашего там пребывания мы проводили на этом пляже все послеполуденные часы, — писал Брюно в своей статье. — Разумеется, человек смертен, и можно, предвидя свой конец, взирать суровым взглядом на людские радости. Но по мере того как отбрасываешь такую экстремистскую позицию, понимаешь, что дюны Марсейянского пляжа являют собой — и я намерен это доказать — место, соответствующее гуманистическим идеям, предполагающее максимальное удовлетворение желаний каждого без причинения кому бы то ни было нестерпимых моральных страданий. Сексуальное наслаждение (наиболее острое из тех, что доступны человеческому существу) основывается в решающей степени на осязательных ощущениях, в особенности на систематическом возбуждении особых эпидермических зон, устланных корпускулами Краузе, каковые связаны с нейронами, способными вызвать в гипоталамусе мощный выброс эндорфинов. На эту простую систему в коре головного мозга современного человека благодаря смене окультуренных поколений наложилась обогащенная ментальная структура, побуждающая к "фантазмам" и (что особенно характерно для женщин) к "любви". Дюны Марсейянского пляжа — по крайней мере, такова моя гипотеза — не следует рассматривать как место неразумного раздувания фантазмов, но, напротив, как приют восстановления равновесия сексуальных целей, как географическое подспорье попытки вернуться к норме, притом исключительно на *добровольной* основе. Говоря конкретно, каждая из пар, собравшихся на пространстве суши, ограниченном песчаной грядой и кромкой воды, может взять на себя инициативу публичной сексуальной ласки; нередко женщина принимается мануально либо орально возбуждать своего спутника, но столь же часто мужчина платит ей той же монетой. Соседние пары с особым вниманием наблюдают за этими ласками, подходят поближе, чтобы лучше видеть, мало-помалу и сами начинают подражать им. Так, от первоначальной пары, по пляжу быстро распространяется волна невероятно возбуждающих ласк и сексуальных излишеств. Исступление растет, многие пары сближаются, чтобы отдаться групповым утехам; однако, что важно отметить, всякое сближение происходит при условии предварительного согласия партнера, чаще всего выраженного с полной ясностью. Когда женщина хочет уклониться от нежеланной ласки, она дает это понять весьма определенно, просто качает головой — такой знак тотчас побуждает мужчину к церемонным, едва ли не смешным извинениям.

Величайшая корректность мужского контингента участников проявляется еще более поразительно в случаях, когда какая-нибудь парочка забредет в глубь территории, за гряду дюн. По существу, эта зона обычно находится в распоряжении шумных сборищ, участники каковых в большинстве своем мужчины. Первоначальный толчок и здесь исходит от пары, которая начинает предаваться интимным ласкам — чаще всего оральному сексу. Тотчас оба партнера оказываются окружены десятком, а то и двумя десятками мужчин. Сидя, стоя или присев на корточки, последние мастурбируют, не спуская глаз с происходящей перед ними сцены. Иногда дело на том и кончается, а толпа зрителей мало-помалу расходится. Бывает и так, что женщина делает рукой знак, говорящий,

что она желает помастурбировать, пососать какого-нибудь другого мужчину либо совокупиться с ним. Тогда они без особой торопливости сменяют друг друга. Если она пожелает прекратить, ей и для этого бывает довольно одного жеста. Никто не обменивается ни единым словом; явственно слышно, как ветер посвистывает в дюнах, ворошит заросли трав. Порой ветер стихает; тогда тишина становится абсолютной, и ни один звук, кроме шороха семяизвержений, не нарушает ее.

Речь здесь идет отнюдь не о том, чтобы изображать нудистский пансионат на мысе Агд в идиллических тонах, словно какой-нибудь фурьеристский фаланстер. Нет, здесь, как и в любом другом месте, женщину с юным, стройным телом, мужчину, особенно привлекательного и мужественного, осаждают самыми лестными авансами. А ожиревший, стареющий, неуклюжий индивид, как везде, осужден на мастурбацию, с той разницей, что к этому занятию, в других общественных местах всеми осуждаемому, здесь относятся с любезной благожелательностью. Помимо всего прочего, поразительно, что достаточно разнообразные сексуальные проявления, куда более возбуждающие, нежели все, что способен продемонстрировать какой бы то ни было порнофильм, здесь обходятся без малейшего насилия, не омрачаясь даже легкой тенью грубости. Обращаясь к введенному мною понятию "социал-демократической сексуальности", я со своей стороны склонен усматривать во всем необычный способ применения той дисциплины и уважения к условиям любого договора, которые позволили немцам, с интервалом в одно поколение пройдя через две чудовищно смертоносные мировые войны, восстановить лежащую в руинах страну, создав мощную, способную к широкому экспорту экономику. В этом плане было бы любопытно узнать, что сказали бы выходцы из таких стран, как Япония и Корея, где в особой чести культурные ценности такого рода, доведись им столкнуться с социологической практикой мыса Агд. Подобная манера поведения, уважительная и лояльная, обеспечивая каждому, кто выполняет условия контракта, многочисленные моменты мирного достижения оргазма, в любом случае оказывается неотразимо убедительной, ибо ее преимущества без затруднений — а также и без каких-либо специальных разъяснений — усваиваются представителями всякого рода меньшинств, проживающих в пансионате (дуболомами из "лангедокского фронта", арабскими правонарушителями, итальяшками из Римини)".

Брюно на исходе первой недели пребывания в пансионате на этом прервал свою статью. То, что ему еще оставалось высказать, было куда более нежно, тонко и неопределенно. Проводя послеполуденные часы на пляже, они взяли обыкновение часов в семь пить аперитив. Он любил кампари, Кристиана чаще отдавала предпочтение белому мартини. Он смотрел, как лучи солнца скользят по слою свежей штукатурки — розоватому снаружи и белому изнутри. Ему доставляло удовольствие следить, как Кристиана нагишом бродит по комнате, то оливки принесет, то кубики льда. Чувство, что он испытывал, было странным, очень странным: легче дышалось, можно было несколько минут подряд ни о чем не думать, и ему уже не было так страшно. Однажды под вечер, на восьмые сутки, он сказал Кристиане: "Мне кажется, я счастлив". Она резко остановилась, сжимая пальцами формочку для льда, и глубоко, прерывисто

вздохнула. Он продолжал: "Я хочу жить с тобой. Думаю, с меня довольно, я слишком долго был несчастен, сыт по горло. Еще немного, и начнутся хвори, инвалидность, а там и смерть. Но, я думаю, вместе мы сможем быть счастливыми, до самого конца. Во всяком случае, хочется попробовать. Мне кажется, я тебя люблю".

Кристиана заплакала. Позже, сидя в "Нептуне" над блюдом даров моря, они попытались рассмотреть вопрос с практической точки зрения. Она сможет приезжать каждый уик-энд, это проще простого, однако поменять место работы, добиться перевода в Париж ей будет очень трудно. Учитывая необходимость выплачивать алименты, жалованья Брюно на двоих не хватит. И потом, был еще сын Кристианы — тоже фактор, вынуждающий набраться терпения. Но все-таки это было возможно. Впервые за столько лет желаемое казалось достижимым.

На следующий день Брюно написал Мишелю короткое взволнованное письмо. Он объявлял, что счастлив, и сожалел, что им никогда не удавалось в полной мере понять друг друга. Он ему желал по мере возможности, в той или иной форме, тоже обрести свое счастье. И подписался: "Твой брат Брюно".

17

Письмо застало Мишеля в остром приступе концептуального бессилия...

Тем не менее Мишель был убежден, что необходимость в новой концептуальной базе назрела. Каждый вечер, прежде чем отключить свой переносной компьютер, он запускал через Интернет запрос о доступе к результатам экспериментов, опубликованным в течение дня. На следующее утро он знакомился с ними, убеждался, что исследовательские центры во всех концах света безнадежно пребывают в ослеплении, погрязая в бессмысленном эмпиризме. Ни один результат не давал возможности прийти к какому-либо заключению, ни даже сформулировать самомалейшую теоретическую гипотезу. Как известно, индивидуальное сознание внезапно, без видимой причины, возникло в животном мире; это, вне всякого сомнения, произошло задолго до появления речи. Дарвинисты в своем бессознательном тяготении к идее конечной цели имели обыкновение выдвигать на первый план предположительные преимущества естественного отбора, связывая это с развитием языка, что, как всегда, ничего не объясняло, это была ни дать ни взять симпатичная мифологическая конструкция; но антропогенный принцип в данном случае утрачивает всякую убедительность. Мир дал нам глаза, способные видеть его, и разум, способный его постигать; да, и что из этого следует? К пониманию феномена это ничего не добавляет. Самосознание, отсутствующее у нематод, вполне очевидно наблюдается у простейших ящериц, таких, как Lacerta agilis; здесь весьма вероятно предположить наличие центральной нервной системы и кое-чего помимо нее. Это нечто остается абсолютно таинственным; появление сознания, по-видимому, не могло быть связано с какими-либо анатомическими, биохимическими либо клеточными данными; это обескураживало.

Что бы сделал Хайзенберг? Что предпринял бы Нильс Бор? Отстраниться, подумать; побродить за городом, послушать музыку. Новое не создается посредством простой интерполяции старого; данные прибавляются к данным, как пригоршни песка, по самой своей природе определяясь концептуальными рамками, ограничивающими поле эксперимента; ныне более, чем когда-либо, необходим новый угол зрения.

Дни, знойные и быстротечные, проходили грустно. В ночь на 15 сентября Мишелю приснился непривычно счастливый сон. С ним рядом была маленькая девочка, она носилась по лесу, окруженная бабочками и цветами (проснувшись, он догадался, что этот образ, снова возникший три десятилетия спустя, вел свое происхождение от "Принца Сапфира", сериала, который он смотрел по воскресеньям после полудня в доме своей бабушки и который так безошибочно находил путь к его сердцу). Через мгновение он шагал один по огромному холмистому лугу, среди высокой травы. Он не различал горизонта, казалось, этим травянистым холмам под бледно-серым, красиво светящимся небом конца нет. Тем не менее он двигался вперед без колебания и спешки; он знал, что на глубине нескольких метров у него под ногами течет подземная река и что безошибочный инстинкт ведет его вдоль ее русла. Вокруг волновались под ветром высокие травы.

Проснулся он веселый, полный энергии, каким не чувствовал себя ни разу со дня своего увольнения, уже более двух месяцев. Вышел из дому, повернул на улицу Эмиля Золя, зашагал под липами. Он был один, но от этого не страдал. На углу улицы Антрепренер он остановился. Магазин "Золя-колор" открылся, продавщицы-азиатки расположились за своими кассами; было около девяти часов утра. Небо в прогале между многоэтажками Богренель сияло до странности ярко; во всем этом была безысходность. Может быть, ему бы стоило пообщаться со своей соседкой напротив, девушкой из "Двадцати лет". Она служит в неспециализированном журнале, разбирается в общественных делах, вероятно, ей знакомы механизмы налаживания контактов с внешним миром; да и психологические факторы ей тоже, верно, не чужды; надо полагать, эта девушка могла бы его многому научить. Быстрым шагом, чуть не переходя на рысь, он устремился обратно, рванул по лестнице на этаж, где находилась квартира соседки. Долго звонил, трижды повторив попытку. Никто не отозвался. Растерянный, он повернул назад, домой; а подойдя к лифту, призадумался. Что это с ним? Может, у него депрессия и в этом все дело? Вот уже несколько лет как в квартале появились и все множатся листовки, призывающие к бдительности и борьбе против Национального фронта. Безмерное равнодушие, которое он проявлял как к сторонникам, так и к противникам оного, уже само по себе можно было бы счесть тревожным симптомом. Традиционная "ясность сознания депрессивных больных", которая, судя по описаниям, часто принимает форму предельной незаинтересованности в отношении людских забот, прежде всего проявляется в недостатке интереса к вопросам, и впрямь не слишком его заслуживающим. Таким образом, строго говоря, можно вообразить себе любовную депрессию, тогда как депрессия патриотическая, если начистоту, представляется совершенно немыслимой.

Возвратясь к себе на кухню, он подумал о том, что, по сути, естественная для демократического сознания вера в обусловленность человеческих поступков разумом и свободой выбора, особенно же в такую обусловленность политических предпочтений индивида, надо полагать, явилась следствием смешения понятий свободы и непредсказуемости.

Занявшись поиском фотокопии недавних публикаций, он сообразил, что у него уже больше недели руки не доходили заглянуть в почтовый ящик. Как всегда, там в основном была реклама. В связи со спуском на воду судна "Коста Романтика" фирма "TMR" претендует на то, чтобы стать родоначальницей новой институционной нормы в области организации шикарных морских круизов. Этот корабль описывают как "настоящий плавучий рай". Вот как могли бы — ему стоит только пожелать — пройти первые мгновения его круиза: "Сначала вы попадаете в огромный, полный солнечного света зал под гигантским стеклянным куполом. В лифтах кругового обзора вы поднимаетесь на верхнюю палубу. Там, через громадное окно в носовой части, вы сможете созерцать море, *словно на гигантском экране*". Он отложил проспект в сторону, пообещав себе изучить его доскональнее. Мерить шагами верхнюю палубу, глазеть сквозь стеклянные стены на море, неделями плыть под все тем же однообразным небом... почему бы и нет? За это время Западная Европа может рухнуть под бомбами. Они пристанут к берегу, гладкие, загорелые, и их встретит другой континент.

Время от времени надо бы жить, и можно делать это весело, по-умному, не теряя чувства ответственности. В последнем своем выпуске "Свежие новости от сети магазинов единых цен" более, чем когда-либо, делали акцент на понятии гражданской инициативы. Автор редакционной статьи яростно опровергал общепринятую мысль, что гастрономические услады несовместимы с хорошей физической формой. "Главное соблюдать баланс во всем, лучше начать сегодня же", — без зазрения совести утверждал издатель. За этой первой задиристой (читай: ангажированной) страницей следовали развлекательные материалы, просветительские игры, разное "хочу все знать". Так, Мишель получил возможность позабавиться, высчитав, сколько калорий он потребляет за сутки. За эти последние месяцы он не подметал, не гладил, не плавал, и в теннис не играл, и любовью не занимался; три единственных занятия, за которые он, по совести, мог держать ответ, были следующие: лежание, сидение и спанье. После всех расчетов оказалось, что его потребности доходят до 1750 килокалорий в день. Судя по письму Брюно, он-то, похоже, много плавает и занимается любовью. Мишель сделал пересчет с этими новыми данными: вышло, что у брата суточный расход энергии достигает 2700 килокалорий.

Было и второе письмо, его прислали из мэрии Креси-ан-Бри. Вследствие работ по расширению автостанции необходимо внести изменения в план муниципального кладбища и перенести несколько могил, в том числе могилу его бабушки. Согласно правилам при перезахоронении останков должен присутствовать кто-либо из членов семьи. Он мог бы встретиться с представителем похоронного бюро между половиной одиннадцатого и двенадцатью.

18. После долгой разлуки

В Креси-ла-Шапель "кукушку" заменил пригородный поезд. И сама деревня сильно изменилась. Он остановился на вокзальной площади, удивленно озираясь. Супермаркет "Казино" перебрался на авеню генерала Леклерка, на выезде из Креси. Вокруг него повсюду выросли ларьки, новые дома.

Как объяснил ему служащий мэрии, все это началось с открытия Евродиснейленда, особенно с тех пор, как продлили линию скоростного метро до Марн-ла-Валле. Многие парижане пожелали поселиться здесь; цены на землю без малого утроились, последние земледельцы распродали свои фермы. Теперь здесь есть гимназия, прекрасно оборудованный гимнастический зал, два бассейна. Имеются проблемы с преступностью, но не больше, чем в других местах.

Направляясь в сторону кладбища, проходя мимо старых домов и не затронутых переменами каналов, он, однако же, почувствовал щемящую грусть, которую всегда испытываешь, возвращаясь в места, где провел детство. Перейдя окружное шоссе, он оказался перед мельницей. Скамья, на которой они с Аннабель любили сидеть после окончания школьных занятий, все еще была здесь. Большие рыбы плыли в темной воде против течения. Солнце неожиданно появилось в просвете между двумя тучами.

У кладбищенских ворот Мишеля ждал человек. "Вы, наверное..." — "Да". Как по-современному называют могильщика? Он держал в руке лопату и большой черный пластиковый мешок для мусора. Мишель пошел за ним. "Вы не обязаны смотреть", — пробурчал тот, направляясь к открытой могиле.

Смерть трудно поддается пониманию, человеческое существо только через силу смиряется с необходимостью прямо взглянуть ей в лицо. Двадцать лет назад Мишель видел труп своей бабушки, в последний раз он поцеловал ее. Тем не менее в первую минуту он был ошеломлен тем, что представилось его взгляду в разверстой яме. Его бабушка была погребена в гробу; однако в свежеразрытой земле он не мог разглядеть ничего, кроме древесных щепочек, гнилой доски и уж совсем непонятных белых кусочков. Когда до него дошло, что́ перед ним, он поспешно отвернулся, заставляя себя смотреть в противоположную сторону; но было поздно. Он успел увидеть череп, замаранный грязью, с пустыми глазницами, с которого свисали клочья седых волос, разрозненные позвонки, смешанные с землей. Он понял.

Человек начал запихивать останки в пластиковый мешок, поглядывая на стоящего рядом ошарашенного Мишеля. "Всегда одно и то же, — пробурчал он. — Надо ж им смотреть, никак удержаться не могут. Гроб — не такая штука, чтобы двадцать лет выдержать!" Пока он переваливал содержимое мешка в его новое вместилище, Мишель стоял неподалеку, в нескольких шагах. Покончив со своей работой, человек распрямился, подошел к нему. "Все в порядке?" Мишель кивнул. "Могильную плиту передвинут завтра. Вы должны расписаться в ведомости".

Значит, вот оно как. Двадцать лет спустя остаются косточки, перемешанные с землей, и масса седых волос, невероятно *густых* и живых. Он снова увидел свою бабушку, как она вышивала, сидя перед телевизором, как шла на кухню. Так вот к чему все сводится. Проходя мимо "Бара спортсменов", он заметил, что его бьет дрожь. Он вошел, заказал анисовый ликер. Усевшись за столик и оглядевшись, заметил, что внутреннее убранство очень отличается от того, какое помнилось ему. Появились американский бильярд, видеоигры, телевизор, подключенный к каналу MTV, транслирующему клипы. Обложка "Ньюлука" в манере рекламного щита воспевала кошмарные видения Зары Уайтс и гигантскую австралийскую белую акулу. Мало-помалу он погрузился в легкую дремоту.

Аннабель первой узнала его. Она только что купила сигареты и уже направлялась к выходу, когда заметила его, съежившегося на сиденье. Она поколебалась секунды две-три, потом подошла. Он поднял глаза.

— Какой сюрприз, — произнесла она мягко; потом присела напротив, на обитую молескином скамейку.

Она почти не изменилась. Ее лицо осталось невообразимо ясным и чистым, волосы — сияюще светлыми; было невозможно поверить, что ей сорок лет, ей никто не дал бы больше двадцати семи — двадцати восьми.

В Креси она попала по причинам, которые были сродни его собственным.

— Неделю назад умер мой отец, — сказала она. — Рак кишечника. Это тянулось долго, изнуряюще — и в кошмарных муках. Я задержалась ненадолго, чтобы помочь маме. Иначе я бы здесь не оказалась: я, как и ты, живу в Париже.

Мишель потупился; настало недолгое молчание. За соседним столиком двое молодых людей рассуждали о карате.

— Я года три назад в аэропорту случайно встретила Брюно. Он мне рассказал, что ты стал ученым, крупным исследователем, признанным в своей области. Он также сказал мне, что ты не женат. Мои успехи не столь блестящи: я работаю в муниципальной библиотеке. Замуж тоже не вышла. Я часто думала о тебе. Я тебя возненавидела, когда ты не ответил на мои письма. С тех пор прошло двадцать три года, но я все еще иногда вспоминаю об этом.

Она пошла проводить его до вокзала. Наступил вечер, было уже без малого шесть. Они остановились на мосту через Гран-Морен. Здесь росли влаголюбивые деревья — ивы, каштаны; вода была зелена и спокойна. Коро любил этот пейзаж, он несколько раз его писал. Старик, неподвижно стоящий посреди своего сада, напоминал пугало.

— Теперь мы на том же мосту, — сказала Аннабель. — И на равном расстоянии от смерти.

Перед самым отходом поезда она взошла на ступеньку, чтобы поцеловать его в щеку.

— Мы увидимся, — сказал он.

Она ответила:

— Да.

В следующую субботу она пригласила его на обед. Жила она в маленькой квартирке на улице Лежандр. Пространство было тщательно распланировано, однако обстановке не хватало теплоты — стены и потолок были обиты темным деревом, словно в корабельной каюте.

— Я живу здесь восемь лет, — сказала она. — Переехала, когда выдержала конкурс на должность библиотекаря. До того работала на TF1, в службе совместного производства. Мне там опротивело, не люблю эту среду. Потеряла на этом две трети жалованья, но так лучше. Я работаю в муниципальной библиотеке XVII округа, в детской секции.

Она приготовила сиччу, блюдо из баранины и индийской чечевицы. За едой Мишель говорил мало. Расспрашивал Аннабель о ее семье. Ее старший брат унаследовал предприятие отца. Он женат, имеет троих детей — мальчика и двух девочек. К несчастью, дела идут плохо, конкуренция в области производства точных оптических приборов стала очень жесткой, они уже два раза были на грани банкротства; в поисках утоления своих печалей он налегает на анисовый ликер и голосует за Ле Пена. Ее младший брат занят в службе маркетинга "Лореаль"; недавно получил назначение в Соединенные Штаты — начальником маркетинговой службы, работающей на Северную Америку; видятся они редко. Он разведен, детей нет. Две несходные судьбы, впрочем почти что в равной степени симптоматичные.

— Моя жизнь не была счастливой, — сказала Аннабель. — Вероятно, я придавала слишком большое значение любви. Я слишком легко сходилась, мужчины, добившись своей цели, бросали меня, и я страдала от этого. Мужчины вступают в любовную связь не оттого, что влюбляются, а оттого, что испытывают желание; мне потребовались годы, чтобы осознать эту банальную истину. Вокруг меня все так живут, я сформировалась в развращенной среде; но мне не доставляет никакого удовольствия кого-то дразнить, соблазнять. Да и сама сексуальная жизнь мне в конце концов осточертела; не могу больше выносить торжествующих ухмылок в ту минуту, когда я снимаю платье, тупых рож в момент оргазма, но главное — их хамства после того, как акт свершится. В конце концов, это мучительно, когда к тебе относятся как к животному, переходящему из рук в руки, даже если ты считаешься лакомым кусочком, я ведь была эстетически безупречна, и они чванились, водя меня по ресторанам. Только один раз я, как мне показалось, пережила нечто серьезное, я тогда поселилась вместе с одним типом. Он был актером, в его физиономии было что-то очень интересное, но пробиться ему не удавалось — сказать по правде, я оплачивала почти все квартирные счета. Мы прожили вместе два года, потом я забеременела. Он просил меня сделать аборт. Я сделала, но, выходя из больницы, поняла, что всему конец. Я ушла от него в тот же вечер, на какое-то время переселилась в отель. Мне уже сравнялось тридцать, это был мой второй аборт, и я была сыта этим по горло. Шел 1988 год, все начинали понимать опасность СПИДа, а я... я воспринимала это как освобождение. Я спала с десятками мужчин, и ни один не стоил того, чтобы о нем вспомнить. Теперь считается, что в жизни есть первоначальная беззаботная пора, а потом тебя настигает призрак смерти. Все мужчины, которых я знала, панически боялись постареть, они без конца думали о своем возрасте. Одержимость возрастом начинается очень рано — я встречала ее у двадцатипятилетних. Я

решила остановиться, выйти из игры. Веду жизнь спокойную и безрадостную. По вечерам читаю, готовлю себе настойки, завариваю кофе или чай. Все уик-энды провожу у родных, много занимаюсь племянником и племянницами. Правда, иногда я испытываю потребность в мужчине, мне бывает страшно по ночам, я с трудом засыпаю. Конечно, у меня есть транквилизаторы, есть снотворные; но это не всегда помогает. В сущности, мне бы хотелось, чтобы жизнь прошла как можно скорее.

Мишель продолжал молчать; он не был удивлен. У большинства женщин бурная юность, мужчины и секс их ужасно занимают; потом они мало-помалу устают, им уже не слишком хочется раздвигать ляжки, подставлять зад; они ищут нежной привязанности, которой не находят, страсти, которой и сами уже не могут испытывать; тогда для них начинаются тяжелые времена.

Диван-кровать, когда его разложили, занял чуть ли не все свободное место.

– Это первый случай, когда он понадобился, – сказала она.

Они легли рядом, обнялись.

– Я уже давно не использую противозачаточных средств, и у меня нет презервативов. А у тебя?

– Нет... – вопрос вызвал у него усмешку.

– Хочешь, чтобы я взяла в рот?

Он подумал с минуту, в конце концов ответил: “Да”. Это было приятно, но наслаждение оказалось не особенно острым (в сущности, он никогда и не знал его; это сексуальное наслаждение, у иных столь интенсивное, для других остается умеренным, а то и незначительным; может, здесь вопрос воспитания, нейронного соединения, кто знает?). Минет его скорее растрогал: то был символ взаимного обретения после долгой разлуки, возрождения их общей поломанной судьбы. Зато потом было чудесно обнять Аннабель, обхватить ее руками, когда она повернулась на другой бок и задремала. Тело ее было гибким и нежным, теплым и удивительно гладким; у нее были широкие бедра, очень тонкая талия, маленькая крепкая грудь. Он просунул ногу между ее колен, положил одну ладонь ей на грудь, другую на живот; погружаясь в это нежное тепло, он почувствовал, будто возвращается к началу времен. И почти тотчас заснул.

Сперва он увидел человека. В виде части пространства, облеченного одеждой; открыто было только лицо. Посреди лица сверкали глаза; их выражение с трудом поддавалось истолкованию. Перед ним было зеркало. При первом взгляде в зеркало человек почувствовал, что сорвался в пустоту. Однако он удержался, теперь он сидел и рассматривал свое отражение как вещь в себе, как мыслеобраз, независимый от него, но могущий быть переданным другим; через минуту между ними установилось относительное безразличие. Но стоило ему отвернуться на несколько секунд, и все началось сызнова; ему пришлось опять с мучительным усилием, какого требует адаптация глаз к очень близко расположенному объекту, разрушать это чувство самоидентификации со своим изображением. Перемежающийся невроз, связанный с отношением к собственному “я”, – человек был еще далек от исцеления.

Потом он увидел белую стену, внутри которой формировались характеры. Мало-помалу они приобретали объем, образуя на стене движущиеся барельефы, пронизанные тошнотворной пульсацией. Вдруг проступило слово МИР; потом слово ВОЙНА; потом опять МИР. Потом явление разом исчезло; поверхность стены вновь разгладилась. Накатила волна, насытив атмосферу влагой; солнце было желто и громадно. Он увидел место, где формируется корень времени. Этот корень ветвился, разрастаясь, пронизывая Вселенную своими отростками — ближе к центру они были шишковатыми штопорами, на концах становились липкими и влажными. Эти штопоры сжимают, скручивают, склеивают части пространства.

Он увидел мозг мертвого человека, часть пространства, вмещающую пространство.

В последнем видении ему представился ментальный агрегат Вселенной и его противоположность. Он увидел ментальный конфликт, который структурировал пространство, и его исчезновение. Пространство явилось ему в виде очень тонкой линии, разделяющей две сферы. В первой — бытие и отделение, во второй — небытие и уничтожение индивидуальности. Спокойно, без колебаний он отвернулся от первой сферы и шагнул во вторую.

Вырвавшись из сонного наваждения, он сел на кровати. Рядом с ним ровно дышала Аннабель. У нее был кубической формы будильник "Сони", он показывал 03:37. Удастся ли ему заснуть снова? Надо, чтобы удалось. Он достал таблетку ксанакса.

На следующее утро она сварила ему кофе; сама она попила чаю с гренками. День был прекрасный, но уже несколько прохладный. Она смотрела на его голое тело, странно юношеское в своей непреходящей хрупкости. Им было по сорок лет, но как же трудно в это поверить. Однако она уже не могла завести детей, не рискуя при этом довольно серьезными генетическими поломками; и его мужская сила уже в большой степени шла на спад. В плане вселенского замысла они являлись парой стареющих индивидов, чья генетическая ценность незначительна. Она жила как все; нюхала кокаин, участвовала в групповом сексе, проводила ночи в шикарных отелях. Оказавшись благодаря своей красоте в эпицентре того движения к свободе нравов, что было характерно для эпохи ее юности, она пострадала особенно сильно — ей было суждено отдать этому свою жизнь почти без остатка. Он же, в силу безразличия к подобным вещам, оказался на периферии всего, в том числе и самой жизни человеческой, если его и зацепило, то лишь поверхностно; он ограничился тем, что был постоянным клиентом магазина единых цен, расположенного в его квартале, и состоял в команде исследователей-микробиологов. Их прошлое, столь различное, почти не оставило видимого следа на их живших врозь телах; но жизнь как таковая подспудно вершила свою разрушительную работу, постепенно затрудняя процессы репликации в их органах и клетках. Разумные млекопитающие, способные любить, они созерцали друг друга в ярком сиянии осеннего утра.

— Я знаю, слишком поздно, — сказала она. — И все-таки я бы хотела попробовать. У меня все еще хранится школьный проездной билет за 74—75-й, последний учебный год, когда мы вместе ходили в лицей. Мне плакать хо-

чется каждый раз, как посмотрю на него. Не понимаю, как все могло до такой степени изгадиться. Мне с этим никогда не примириться.

19

Было ясно, что в гуще самоубийственного бытия западного мира им не остается никакого шанса. И все же они продолжали видеться раз или два в неделю. Аннабель посоветовалась с гинекологом и опять начала принимать таблетки. Ему удавалось проникать в нее, но больше всего он любил засыпать рядом с ней, чувствовать близость ее живой плоти. Однажды ночью ему приснился парк аттракционов в Руане, на правом берегу Сены. Большое, почти пустое колесо обозрения вращалось в мертвенно-бледном небе, нависавшем над силуэтами грузных незадачливых лодочек, над металлическими, изъеденными ржавчиной структурами. Он брел среди складских построек, выкрашенных в тусклые и вместе с тем кричащие цвета; ледяной ветер хлестал его по лицу дождевыми струями. В ту самую минуту, когда он достиг выхода с территории складов, на него напали одетые в кожу юнцы с бритвами. Прежде чем наброситься на него, они несколько минут следили за ним. У него кровоточили глаза, он знал, что навсегда останется слепым, и правая рука у него была наполовину отсечена: тем не менее он, наперекор боли и кровотечению, знал и то, что Аннабель его не покинет, ее любовь навеки будет ему защитой.

На праздник Всех святых они вместе поехали в Сулак, на дачу брата Аннабель. В первое утро после приезда отправились вдвоем на пляж. Он почувствовал усталость, присел на скамейку, а она пошла дальше. Морской простор грохотал, катя к берегу туманные, серебристо-серые валы. Разбиваясь о песчаные мели, волны рождали на горизонте влажный, красиво искрящийся на солнце туман. Силуэт Аннабель, почти неразличимой в длинной светлой блузе, скользил на фоне водной глади. Престарелая немецкая овчарка слонялась между белыми пластиковыми столиками пляжного кафе; ее тоже было трудно различить, она как бы растворялась в туманном воздухе, полном солнца и брызг.

К обеду Аннабель попросила, чтобы им поджарили синеротого окуня; общество, в котором они жили, приохотило обоих к некоторым излишествам сверх просто удовлетворения потребности в еде; итак, они могли попытаться жить, но, по существу, им уже не слишком-то хотелось этого. Он испытывал сочувствие к ней, к тем громадным запасам любви, которая, как он догадывался, трепетала в глубине ее существа, искалеченного жизнью; он ей сострадал, и это, вероятно, было единственное человеческое чувство, еще способное проникнуть в его сознание. В остальном же все его тело заполоняла леденящая сдержанность; любить по-настоящему он больше не мог.

По возвращении в Париж им выпадали веселые мгновения, подобные тем, что показывают в рекламе духов (сбежать вдвоем по ступенькам Монмартрской лестницы или, допустим, застыть, обнявшись, на мосту Искусств, под внезапными вспышками прожекторов с речных трамвайчиков, делающих разворот). Познали они и воскресные послеобеден-

ные стычки, почти ссоры, и молчаливые мгновения, когда тело скорчивается под простыней, — эти разрушительные паузы безмолвия и скуки. Квартирка Аннабель была темновата, с четырех дня уже приходилось включать свет. Иногда они грустили, но главное, оба были серьезны. Они знали — и тот и другая, — что переживают свою последнюю истинно человеческую связь, и сознание это вносило в каждый им отпущенный миг нечто душераздирающее. Они испытывали друг к другу большое уважение и безмерную жалость. И все же в иные дни по неожиданной, волшебной милости им были дарованы минуты, пронизанные свежим воздухом и щедрым, бодрящим солнцем; однако куда чаще они чувствовали, как серая пелена накрывает и их самих, и землю, по которой они ступают, и во всем им виделось предвестие конца.

20

Брюно с Кристианой тоже вернулись домой. Поутру, отправляясь на службу, он подумал о том незнакомом враче, что сделал им такой небывалый подарок: две недели ничем не оправданного отпуска якобы по болезни. Он направился в свою контору на улице Гренель. Поднявшись к себе на этаж, вдруг сообразил, какой у него загорелый, поздоровевший вид и насколько подобная ситуация комично выглядит, но тут же почувствовал, что ему на это плевать. Его коллеги со своими аналитическими семинарами, воспитание подростков в духе гуманности, вхождение в мир других культур... все это больше не имело в его глазах ни малейшего значения. Кристиана сосала ему член и ухаживала за ним, когда он болел; только Кристиана имела значение. В ту же самую минуту он осознал, что никогда больше не увидит сына.

Патрис, сын Кристианы, устроил в квартире ужасающий бардак: раздавленные кусочки пиццы, коробки из-под колы, пол, усеянный окурками, местами обожженный. Она с минуту поколебалась, не отправиться ли в гостиницу; потом решила сделать уборку, навести порядок. Нуайон был грязным городишком, неинтересным и опасным; она привыкла каждый уик-энд сбегать в Париж. Почти каждую субботу они ходили в заведения для парочек типа "2+2", "Крис и Ману", "Свечки". Их первому вечеру в "Крисе и Ману" суждено было оставить у Брюно живейшие воспоминания. Рядом с танцплощадкой располагалось несколько залов, залитых диковинным сиреневым светом; кровати были расставлены почти вплотную, бок о бок. Повсюду вокруг них трахались, предавались ласкам, лизали друг друга пары. Женщины в большинстве были обнажены, на некоторых оставалась блузка или тенниска, а иные ограничивались тем, что задирали юбку. В самом большом зале было десятка два парочек; почти никто не разговаривал; слышались только гул вентилятора да шумное дыхание женщин, близких к оргазму. Он уселся на кровать совсем рядом с крупной тяжелогрудой брюнеткой, которая предоставляла лизать себя субъекту лет пятидесяти, не снявшему рубашки и галстука. Кристиана расстегнула ему брюки и принялась массировать его штырь, с интересом поглядывая вокруг. Подошел мужчина, сунул руку ей под юбку. Она расстегнула застежку, юбка соскользнула на палас; под

ней ничего не было. Мужчина опустился на колени и стал ласкать ее, пока она занималась Брюно. Рядом, на соседней кровати, все громче и громче стонала брюнетка. Другая пара подошла и села сбоку от них; на женщине, рыжеволосой крошке лет двадцати, была мини-юбка из черной искусственной кожи. Она глянула на Кристиану; Кристиана улыбнулась, задрала тенниску, чтобы показать ей свои груди. Та подобрала юбку, показался лобок, густо заросший такой же рыжей шерсткой. Кристиана взяла ее руку и притянула к члену Брюно. Женщина принялась оглаживать его, в то время как Кристиана опять пустила в ход язык. Через несколько секунд, потрясенный необоримо сладостным содроганием, он извергся ей в лицо. "Я не хотел, — сказал он. — Прости". Она обняла его, прижалась, и он ощутил вкус своей спермы на ее щеках. "Это ничего, — сказала она нежно, — это совсем не важно". Чуть погодя спросила: "Хочешь, уйдем?" Он грустно кивнул; от его возбуждения и следа не осталось. Они торопливо оделись и сразу же ушли.

В следующие недели ему удавалось контролировать себя несколько лучше, и это было началом славной, счастливой поры. Его жизнь приобрела смысл, который сводился к уик-эндам, проводимым с Кристианой. В медицинском разделе каталога Национальной ассоциации производителей он отыскал книгу, написанную американским сексологом, который намеревался с помощью серии упражнений, расположенных в порядке возрастания трудности, обучить мужчин управлять своей эякуляцией. В основном речь шла об укреплении малой дугообразной мышцы, расположенной под яичками, лобково-копчикового мускула. Посредством резкого сокращения этого мускула, сопровождаемого глубоким вздохом, в принципе возможно перед самым оргазмом избегнуть эякуляции. Брюно приступил к упражнениям; цель стоила того, чтобы постараться. Посещая известные заведения, он всякий раз поражался, видя, как мужчины, иногда намного старше его, трахают нескольких женщин поочередно, дают им динамить себя и сосать, отнюдь не теряя своей упругости. Смущало его и то, что пришлось констатировать: хвосты у большинства и длинней и толще его собственного. Кристиана твердила ему, что это не важно, для нее это не имеет никакого значения. Он ей верил, ведь она была в него влюблена; однако ему тем не менее казалось, что большинство женщин, предававшихся утехам в этих местах, испытывали легкую досаду, стоило ему извлечь свой член. Они никогда не делали никаких замечаний, все были отменно любезны, там царила дружеская, вежливая атмосфера; но их взгляды были недвусмысленны, и ему мало-помалу открылось, что в сексуальном плане он тоже не совсем на высоте. Однако он испытывал моменты огромного, пламенного наслаждения на грани обморока, исторгавшие у него настоящие вопли; но это не могло служить доказательством мужской силы, а говорило скорее о тонкости, чувствительности его органов. Впрочем, в ласках он был весьма хорош, Кристиана говорила ему это, и он знал, что так и есть: ему почти всегда удавалось довести женщину до оргазма. Около середины декабря он заметил, что Кристиана слегка похудела, а лицо ее покрылось красными пятнами. Боль в спине все не унимается, сказала она, ей пришлось увеличить дозы лекарств; худоба и пятна — всего лишь побочное следствие приема медикаментов. Она быстро пе-

ременила тему разговора; он почувствовал, что ей не по себе, и несколько забеспокоился. Вне всякого сомнения, она способна солгать, чтобы не тревожить его: она была такой милой, такой нежной. Обычно субботними вечерами она хлопотала на кухне, готовя очень вкусные обеды; потом они отправлялись в заведение. Она носила юбки с разрезом, короткие прозрачные блузочки, чулки с подвязками. Это были волшебные вечера, он никогда и не мечтал пережить такое. Подчас, когда Кристиана отдавалась после бурных ласк, сердце у нее заходилось, начинало бешено колотиться, она делала глубокий прерывистый вздох, и Брюно становилось страшно. Тогда они замирали; она свертывалась в его объятиях калачиком, обнимала его, гладила по голове и плечам,

21

Разумеется, и здесь тоже все было безысходно. Мужчины и женщины, посещающие заведения для парочек, быстро отказываются от поисков наслаждения (что требует тонкости, чувствительности, неторопливости) во имя фантазма сексуальной активности, по сути довольно холодной, напрямую скалькированной со сцен группового секса в "модных" порно, распространяемых по "Каналь-плюс". В знак почтения к Карлу Марксу, заложившему в фундамент своего учения, словно смертоносную энтелехию[1], загадочное понятие *сознательно направляемого падения нормы прибыли*, соблазнительно было бы постулировать в основе той системы либертианства, под знамя которой недавно вступили Брюно и Кристиана, существование определенным образом направленного падения нормы удовольствия; но это было бы слишком общо и неточно. Культурные, антропологические и прочие феномены, желание и наслаждение в конечном счете почти ничего не объясняют в вопросах секса; будучи далеко не решающими факторами, они сами, напротив, в социологическом отношении насквозь детерминированы. В моногамной, то есть романтической, любовной системе эти вопросы могут быть разрешены лишь через посредство любимого существа, в принципе единственного. В либеральном же обществе, где жили Брюно и Кристиана, сексуальная модель, предлагаемая официальной культурой (рекламой, журналами, общественными организациями и здравоохранением), была моделью *авантюрной*: внутри такой системы желание и наслаждение предстают как результат процесса "соблазнения", выдвигающего на первый план новизну, страсть и личную изобретательность (качества, требуемые и от служащего в пределах его профессиональной деятельности). Умаление интеллектуальных и нравственных критериев соблазна за счет выпячивания чисто физических признаков мало-помалу подводило посетителей заведений для парочек к "садовской" системе, которую можно было бы определить как фантазм официальной культуры. В лоне такой системы половые члены неизменно жестки и громадны, груди насыщены силиконом, вагины слюнявы и очищены от волос. Читательницы "Соединения" или "Горячего видео", посети-

1. Движущая сила, активное начало (*греч.*).

тельницы заведений для парочек преследовали на этих сходках простую цель — напороться на множество больших членов. Обычно следующий этап их наслаждений определялся клубами МЧ (то есть Мужского Члена). Наслаждение — дело привычки, как, вероятно, сказал бы Паскаль, если бы интересовался вещами подобного рода.

Со своим тринадцатисантиметровым членом и редкими эрекциями (он никогда, не считая ранней юности, не мог держаться по-настоящему долго, да и латентные периоды между двумя эякуляциями с той поры существенно удлинились: конечно, ведь он был уже не столь молод) Брюно, в сущности, был совсем не к месту в заведениях подобного сорта. И все же он был счастлив, получая в свое распоряжение больше кисок и ртов, чем он когда-либо смел мечтать; он чувствовал, что обязан этим Кристиане. Самыми сладкими по-прежнему оставались те моменты, когда она ласкала других женщин; ее случайные подруги всегда выражали восхищение проворством ее языка, ловкостью, с которой пальцы нащупывали и возбуждали их клиторы; к несчастью, когда они решались воздать тем же, разочарование обычно оказывалось неизбежным. Одержимые неистовым ритмом актрис групповых порнофильмов, они трясли его член так грубо, будто то был рычаг из бесчувственной материи, причем делали это со смешными ужимками игроков на корнет-а-пистоне (вездесущность музыки техно в ущерб ритмам более утонченной чувственности, без сомнения, также повлияла на тот крайне механистический стиль, в каком они исполняли свою повинность). Он извергался быстро и без настоящего удовольствия; для него вечер тем и завершался. Они оставались еще на полчаса-час; Кристиана отдавалась по цепочке, изо всех сил, пытаясь, как правило безуспешно, взбодрить этим его мужественность. Просыпаясь утром, они вновь занимались любовью; ночные картины возвращались к нему, полусонному, в более приятном обличье; тогда для них наступали моменты невыразимой нежности.

В сущности, идеально было бы пригласить к себе домой несколько избранных пар, провести вечер вместе за приятельской болтовней, сопровождаемой ласками. Они наверняка так и сделают — подспудно Брюно был убежден в этом; надо бы ему также возобновить упражнения по укреплению мышцы, предлагаемые американским сексологом. Его история с Кристианой была важна и серьезна, никакое иное событие его жизни не доставило ему столько радости. По крайней мере, так он думал подчас, глядя, как она одевается или хлопочет на кухне. Однако когда во время рабочей недели она была вдали от него, им куда чаще овладевало предчувствие, что все это дурной фарс, последняя гнусная шутка, которую подстроила ему жизнь. Беда всего страшнее настигает нас, когда нам покажется, что возможность счастья реальна и вполне достижима.

Катастрофа разразилась в феврале, когда они были у "Криса и Ману". Растянувшись на матраце в центральной комнате, примостив голову на подушки, Брюно предоставил Кристиане сосать его; он держал ее за руку. Она стояла перед ним на коленях, раздвинув ноги, открыв зад мужчинам, которые, подходя к ней, натягивали презервативы и по очереди ею овладевали. Их прошло уже пятеро, а она ни на одного даже не взглянула; прикрыв, словно в полусне, глаза, она водила языком по члену Брюно, продвигаясь сантиметр за сантиметром. Внезапно она коротко, резко вскрикнула. Тип позади нее, стриженый верзила, продолжал

добросовестно трахать ее, мощно двигая бедрами; взгляд его был пуст и несколько рассеян. "Стойте! Прекратите!" — выдохнул Брюно; ему казалось, будто он кричит, но голос ему изменил, он издал лишь слабый взвизг. Он вскочил и грубо отпихнул типа, который обескураженно застыл с торчащим членом и болтающимися руками. Кристиана свалилась на бок; страдание исказило ее лицо. "Ты не можешь двинуться?" — спросил он. Она молча кивнула головой; он кинулся в бар, потребовал телефон. Команда "Скорой" прибыла через десять минут. Все участники уже были одеты; в полном молчании они смотрели, как медбратья поднимают Кристиану, кладут на носилки. Брюно вошел в машину "Скорой помощи", сел рядом с ней; они были в двух шагах от Центральной больницы. Он прождал несколько часов в коридоре с покрытым линолеумом полом, потом вышел дежурный интерн, сказал ему: она уснула, ее жизнь вне опасности.

Днем в воскресенье ей сделали пункцию костного мозга; Брюно пришел к семи. Уже стемнело, над Сеной моросил холодный мелкий дождь. Кристиана сидела в кровати, опираясь спиной на гору подушек. Увидев его, она улыбнулась. Диагноз был однозначен: некроз копчикового отдела позвоночника в неизлечимой стадии. Последние несколько месяцев она этого ждала, все могло произойти с минуты на минуту; лекарства позволяли замедлить процесс, но отнюдь не остановить его. Теперь болезнь больше не будет прогрессировать, новых осложнений можно не опасаться; но ее ноги парализованы, и это необратимо.

Из больницы ее выписали десять дней спустя; Брюно ждал ее там. Кристиане полагалась отныне пенсия по инвалидности, она уже никогда не сможет работать; она даже имеет право на бесплатную помощь домработницы. Она покатила ему навстречу свое кресло. Двигалась она еще неуклюже — требовалось приналечь, а руки у нее были слабоваты в предплечье. Он поцеловал ее в щеки, потом в губы. "Теперь, — сказал он, — ты сможешь переехать ко мне. В Париж". Она подняла голову, поглядела ему в глаза; он не смог выдержать ее взгляда. "Ты уверен? — мягко спросила она. — Уверен, что это именно то, чего ты хочешь?" Он не ответил; по крайней мере, помедлил с ответом. Молчание длилось полминуты, потом она прибавила: "Ты не обязан. У тебя не так много времени, чтобы жить; ты не обязан провести это время, нянчась с калекой". Установки современного сознания больше не согласуются с нашей смертной юдолью. Никогда, ни в одну эпоху, ни в одной цивилизации никто так долго, так постоянно не думал о своем возрасте; сейчас в уме каждого ясна простая перспектива будущего: придет час, когда сумма физических радостей, которые ему уготованы в жизни, станет меньше, чем сумма ожидающих его страданий (в общем, человек знает, что счетчик работает — и крутится он в одну сторону). Такое рациональное взвешивание радостей и страданий, которым каждому рано или поздно приходится заняться, начиная с известного возраста неизбежно ведет к мысли о суициде. Кстати, забавно отметить, что Делёз и Дебор, два уважаемых интеллектуала конца века, оба покончили с собой без определенной причины, исключительно потому, что ни тот ни другой не мог примириться с перспективой собственной физической деградации. Эти самоубийства никого не удивили, не вызвали никаких комментариев; сегод-

ня суицид людей в возрасте, ставший отнюдь не редким явлением, чем дальше, тем больше представляется нам поступком вполне логичным. Равным образом можно отметить как симптоматическую деталь реакцию публики на риск террористического покушения: чуть ли не во всех без исключения случаях люди предпочитают быть убитыми на месте, нежели покалеченными или даже просто изуродованными. Разумеется, отчасти дело в том, что некоторым просто поднадоела эта жизнь; но главное, ничто, включая самое смерть, не ужасает их так, как жизнь в ослабевшем теле.

Он свернул возле Лашапель-ан-Серваль. Проще всего было бы врезаться в дерево, проезжая через Компьеньский лес. Те несколько секунд в больнице, что он колебался, оказались роковыми. Бедная Кристиана... К тому же он помедлил еще несколько дней, прежде чем ей позвонить; он знал, что она в своей дешевой квартире один на один с сыном, он представлял ее в кресле на колесах, рядом с телефоном. Он совсем не обязан нянчиться с калекой, так она сказала, и он знал, что она умирала без ожесточения. Покореженное кресло на колесах нашли подле почтовых ящиков, в конце последнего лестничного пролета. У нее было распухшее лицо и сломанная шея. Брюно фигурировал в рубрике "кого известить в случае несчастья"; она приняла решение, когда ее положили в больницу.

Комплекс погребальных услуг располагался чуть на отшибе от Нуайона, на дороге, ведущей к Шони, повернуть надо было после Бабёфа. Двое служащих в голубой рабочей форме ждали его в белом строении, натопленном слишком жарко, со множеством батарей — помещение немного смахивало на лекционный зал технического лицея. В окнах виднелись низкие — в модерновом стиле — дома полуэлитарного жилого квартала. Гроб, еще открытый, стоял на раскладном столе. Брюно подошел, увидел тело Кристианы и почувствовал, что падает навзничь; его голова с силой ударилась об пол. Служители бережно подняли его. "Поплачьте! Надо поплакать!" — настойчиво уговаривал его старший из них. Он покачал головой; он знал, что не получится. Тело Кристианы не сможет больше двигаться, не сможет ни дышать, ни говорить. Тело Кристианы больше не сможет любить, никакая судьба уже невозможна для этого тела, и в этом повинен только он. На сей раз все карты сданы, игра сыграна до конца, последняя партия состоялась и закончилась окончательным проигрышем. Он тоже не был способен к любви, так же, как его родители. В состоянии странного онемения чувств, как будто зависнув в нескольких сантиметрах над землей, он глядел, как служители при помощи гайковерта укрепляют крышку. Он проследовал за ними до "стены молчания" — серой бетонной стены высотой в три метра, где рядами, друг над другом располагались погребальные ячейки; около половины из них были пусты. Старший служитель, заглянув в какой-то список, направился к ячейке номер 632; его коллега вез следом гроб на двухколесной тележке. Погода была сырой, промозглой, даже дождь начал моросить. Ячейка номер 632 находилась ни высоко, ни низко — на высоте метр пятьдесят или около того. Гибким, деловитым движением, занявшим всего пару секунд, служители подняли гроб и вдвинули в ячейку. С помощью пневматического пистолета они распылили в полости немного сверхбыстро застывающего бетона; потом служитель дал

Брюно расписаться в реестре. "Вы можете, — прибавил он, уходя, — помолиться здесь за упокой, если пожелаете".

Назад Брюно ехал по шоссе A1 и около одиннадцати уже добрался до столичной окраины. Он взял день отгула, так как не предполагал, что церемония окажется настолько короткой. Он проехал через Шатийонские ворота и, поискав, где бы припарковаться, выбрал улицу Альбера Сореля, остановясь прямо напротив дома своей бывшей жены. Ждать пришлось недолго: минут через десять показался его сын — он с ранцем за спиной свернул с улицы Эрнеста Рейе. Он выглядел озабоченным и на ходу говорил сам с собой. О чем он может думать? Анна предупреждала, что этот мальчик — скорее одиночка; вместо того чтобы завтракать в коллеже вместе с однокашниками, он предпочитает вернуться домой и разогреть еду, которую она ему оставляет перед уходом. Страдал ли он из-за отсутствия отца? Вероятно, да, но он ничего об этом не говорил. Дети терпимо относятся к миру, созданному для них взрослыми; они стараются как можно лучше приспособиться к нему; потом чаще всего они в свой черед воссоздают такой же мир. Виктор подошел к двери, набрал код; он был всего в нескольких метрах от машины, но его не заметил. Брюно взялся за ручку дверцы, выпрямился на сиденье. Дверь дома закрылась за мальчиком; Брюно несколько секунд оставался в неподвижности, потом грузно обмяк на сиденье. Что он мог сказать своему сыну, какой завет передать ему? Ничего. У него ничего не было. Он знал, что его жизнь кончена, но не понимал этого конца. Все оставалось мрачным, мучительным и невнятным.

Он тронулся с места и покатил по Южному шоссе, затем повернул в направлении Воаллана. Психиатрическая клиника министерства образования находилась неподалеку от Верьер-ле-Бюиссона, у самой опушки Верьерского леса; он хорошо помнил больничный парк. Он остановил машину на улице Виктора Консидерана и пешком преодолел те несколько метров, что отделяли его от ограды. Узнал дежурного фельдшера. И сказал: "Я вернулся".

22. Конечная станция — Саорж

> Рекламные службы, слишком сосредоточенные на соблазнах молодежного рынка, часто заблуждаются, следуя стратегическим принципам, где обидная снисходительность соперничает с фарсом и насмешкой. Чтобы сгладить этот дефицит слуха, присущий обществу нашего типа, необходимо добиться, чтобы каждый сотрудник нашей армии продавцов стал "послом" в мире старших.
>
> Корин Межи. *Истинное лицо старших*

Может быть, все это и должно было так кончиться; возможно, не существовало ни каких-либо иных средств, ни другого исхода. Может

быть, надо было распутать все то, что перемешалось, завершить то, что наметилось. Итак, Джерзински должен был оказаться в этом месте, именуемом Саорж, на 44°° северной широты и 7°30' восточной долготы, в этом месте, расположенном чуть выше 500 метров над уровнем моря. В Ницце он остановился в "Виндзоре", полулюксовом отеле с довольно мерзкой обстановкой, номера которого были оборудованы посредственным художником-декоратором Филиппом Переном. На следующее утро он сел в поезд, идущий из Ниццы в Танд, известный своими красотами. Поезд миновал предместье Ниццы с его кварталами арабской бедноты, с афишами "Розового минителя" и 60-процентным голосованием за Национальный фронт. Оставив позади станцию Пейон-Сен-Текль, он вошел в тоннель; по выходе его из тоннеля Джерзински увидел справа по движению поезда фантастические очертания как бы висящей в воздухе деревни Пейон. Перед ним проплывало то, что называют "окрестностями Ниццы"; люди приезжают из Чикаго и Денвера, чтобы взглянуть на красоты этого края. Потом они низверглись в ущелья Руайя. Джерзински вышел на остановке Фантон-Саорж и прошагал около получаса. Ему пришлось пройти пешком сквозь тоннель; машины здесь не ходили.

Согласно "Путеводителю странника", купленному Брюно в аэропорту Орли, расположенная над долиной деревня Саорж, с ее высокими домами, которые ступенями поднимаются по склону к головокружительной вершине, оставляет впечатление "чего-то тибетского"; возможно, так оно и было. Во всяком случае, Жанин, его мать, поменявшая себе имя на Джейн, пожелала умереть именно здесь, после того как провела больше пяти лет в Гоа, в западной части Индии.

— Скорее всего, она просто решила переселиться сюда, помирать она, конечно, не собиралась, — уточнил Брюно. — Похоже, старая потаскуха перешла в ислам — через суфийский мистицизм, это чепуха того же рода. Обосновалась там с бандой последователей, они заняли брошенный дом на отшибе от деревни. Из-за того, что газеты о них больше не пишут, все вообразили, будто хиппи и вся эта шваль исчезли. А они, напротив, становятся все многочисленнее, с ростом безработицы их количество тоже заметно возросло, можно сказать даже, что они кишат. Я провел собственное маленькое расследование... — Он понизил голос. — Хитрость в том, что они теперь называют себя "неодеревенщиками", но, по существу, они ничего не делают, довольствуясь муниципальными пособиями и так называемой дотацией на земледелие в условиях гор.

Он с лукавым видом покачал головой, одним глотком осушил свой стакан и потребовал еще. Встречу с Мишелем он назначил в единственном деревенском кафе "У Жилу". Со своими грязными почтовыми открытками, фотографиями форелей в рамочках и афишей "Саоржской пышки" (комитет директоров которой включал не менее четырнадцати членов), кафе являло собой заведение, где царил девиз "Охота-Рыбалка-Природа-Традиция", в противоположность злачным местечкам в стиле "Нью-Вудстока"[1] , который Брюно яростно поносил. Он бережно

1. В 1969 году, в США, в Вудстоке, состоялся первый фестиваль поп-музыки, собравший большое количество народа и ставший важной вехой в развитии молодежного движения.

извлек из папки листовку под заглавием СОЛИДАРНОСТЬ С ГИБНУЩИМИ АГНЦАМИ.

— Я это набросал сегодня ночью, — низким голосом выдавил он. — Я вчера вечером говорил со скотоводами. Их терпение кончилось, они в бешенстве, их овец буквально истребляют. Это все из-за экологов и Меркантурского национального парка. Они опять ввезли туда волков, полчища волков. Волки пожирают овец!.. — Его голос вдруг взмыл вверх, он разразился рыданиями. В послании к Мишелю Брюно сообщил, что опять живет в психиатрической клинике Верьер-ле-Бюиссон, где, вероятно, обосновался окончательно. Стало быть, они отпустили его.

— Значит, наша мать умирает... — прервал Мишель, стараясь отвлечь его.

— Это точно! И на мысе Агд то же самое, они там, кажется, запретили публике вторгаться в зону дюн. Решение было принято под давлением Общества защиты побережья, которое полностью в руках экологов. Люди не делали ничего плохого, устраивали невинные групповушки, но, видите ли, это беспокоило крачек. Крачки — это такая разновидность воробьев. В задницу воробьев! — возбудился Брюно. — Они хотят помешать нам трахаться и есть овечий сыр, это же сущие нацисты. Социалисты тоже сообщники. Они против овец, потому что овцы правые, в то время как волки — левые; однако волки похожи на немецких овчарок, те — правые экстремисты. Кому довериться? — Он мрачно покачал головой. — В каком отеле ты поселился в Ницце? — внезапно спросил он.

— В "Виндзоре".

— Почему в "Виндзоре"? — Брюно начал нервничать. — У тебя что, появился вкус к роскоши? Что на тебя нашло? Лично я, — он говорил рублеными фразами, с возрастающим жаром, — остаюсь верен отелям компании "Меркурий"! Ты хоть взял на себя труд навести справки? Известно ли тебе, что в "Бухте Ангелов", отеле "Меркурия", есть сезонная система регрессивных тарифов? В мертвый сезон комната стоит 330 франков! Двухзвездочная цена! При комфорте трехзвездочного, с видом на Английский бульвар и круглосуточным обслуживанием! — Теперь Брюно уже почти орал. Несмотря на несколько экстравагантное поведение клиента, хозяин заведения "У Жилу" ("Это его, что ли, зовут Жилу? Похоже на то") навострил уши. Истории о деньгах и соотношении между качеством и ценой всегда интересует многих, это примечательная особенность людей определенного склада.

— А, вот и Дюкон! — вдруг вскричал Брюно игривым тоном, совершенно переменившись и указывая на молодого человека, который только что вошел в кафе. Ему было, наверное, года двадцать два. Юноша был одет в полевую военную форму и гринписовскую майку, имел матовый цвет лица и черные волосы, заплетенные в мелкие косички, короче, все по "антильской" моде.

— Привет, Дюкон! — задорно выкрикнул Брюно. — Познакомься с моим братом. Пойдем повидаем старушку?

Тот ответил молчаливым кивком; решил, видно, по какой-то ему одному ведомой причине на провокации не поддаваться.

Выведя их за пределы селения, дорога стала подниматься по отлогому склону горы в сторону итальянской границы. Они оставили позади высокий холм и вышли на очень широкую долину среди лесистых склонов; отсюда до границы оставалось не более десятка километров. На востоке виднелись снежные вершины. Ландшафт, абсолютно безлюдный, оставлял впечатление покоя и простора.

— Врач приходил снова, — сообщил Черный Хиппи. — Она нетранспортабельна, да и все равно ничего уже невозможно сделать. Закон природы, — с серьезным видом заключил он.

— Слыхал? — Брюно издевательски оскалился. — Слышишь, что он несет, этот шут гороховый? "Природа"! У них это слово с языка не сходит. Теперь, когда она заболела, им не терпится, чтобы она поскорее сдохла, как зверь в своей норе. Это моя мать, Дюкон! — провозгласил он напыщенно. — А заметил ты, какой в ней шик? — продолжал он. — Другие, они такие же, даже хуже. От них совсем обделаешься.

— Здесь очень милый пейзаж... — рассеянно отозвался Мишель.

Дом был просторный, низкий, из грубого камня, крытый плитняком; он стоял у ручья. Прежде чем войти, Мишель вытащил из кармана фотоаппарат "Canon Prima Mini" (втягивающийся объектив с переменным фокусным расстоянием 38—105 мм, 1290 франков по каталогу Национальной закупочной ассоциации). Он огляделся вокруг, долго наводил на резкость, прежде чем щелкнуть; потом присоединился к остальным.

Не считая Черного Хиппи, в главной комнате находилось белобрысое невзрачное существо, которое вязало пончо, сидя у камина, и было, вероятно, голландского происхождения, а также еще один хиппи, постарше, с длинными седыми волосами и столь же седой бороденкой, с тонким лицом умной козы. "Она там", — сказал Черный Хиппи; он отодвинул кусок ткани, прибитый к стене вместо двери, и провел их в смежную комнату.

Мишель не без интереса разглядывал смугловатое иссохшее созданье, лежащее вмявшись в кровать и смотревшее, как они входят в комнату. Кроме всего прочего, это был не более чем второй и, судя по всему, последний раз в его жизни, когда он видел свою мать. С первого взгляда его потрясла ее крайняя худоба. Цвет лица сильно потемнел, стал землистым, она дышала с трудом, было видно, что дошла до последней черты; скулы выперли, нос казался крючковатым, и все же глаза сверкали в потемках, громадные и светлые. Он на цыпочках приблизился к распростертому телу.

— Не трудись, — сказал Брюно, — она уже не может говорить.

Возможно, говорить она больше и не могла, однако было видно, что она в сознании. Узнала ли она его? Скорее всего нет. Похоже, она перепутала Мишеля с его отцом; это было вполне возможно; он знал, что невероятно похож на отца, когда тот был в его возрасте. Вопреки всему некоторые люди, хочется нам этого или нет, играют кардинальную роль в нашей судьбе, давая ей совершенно иной поворот; они как бы делят нашу жизнь надвое. И для Жанин, превратившейся в Джейн, все, что с ней было, делилось на до и после Марка Джерзински. По существу, до встречи с ним она была всего лишь богатой распутной буржуазкой; после же этой встречи ей было суждено стать чем-то совсем другим — вари-

ант куда более катастрофический. Впрочем, "встреча" — не более чем расхожее выражение; потому что в действительности никакой встречи и не было. Они совокупились, зачали, и это было все. Тайну, что скрывалась в глубине сознания Марка Джерзински, она так и не сумела постичь; ей не удалось даже приблизиться к разгадке. Вспомнила ли она об этом в час, когда ее жалкая жизнь подошла к концу? Это было бы не столь уж невероятно.

Брюно тяжело плюхнулся на стул подле ее кровати.

— Ты всего лишь старая шлюха, — сообщил он назидательным тоном. — Ты заслуживаешь того, чтобы околеть.

Мишель уселся напротив него, в изголовье кровати, и закурил сигарету.

— Ты хотела, чтобы тебя кремировали? — вдохновенно продолжил Брюно. — В добрый час, ты будешь сожжена. Я положу то, что от тебя останется, в горшочек и каждое утро, проснувшись, буду писать на твой прах. — Он удовлетворенно тряхнул головой.

Из охрипшего горла Джейн вырвался какой-то звук. В это мгновение снова появился Черный Хиппи.

— Не угодно ли чего-нибудь выпить? — предложил он ледяным тоном.

— Несомненно, приятель! — заорал Брюно. — Что за вопрос? А ну, пошевеливай-ка задницей, Дюкон!

Молодой человек вышел и вернулся с бутылкой виски и двумя стаканами. Брюно налил себе до краев, разом проглотил добрую половину.

— Извините его, он взволнован, — чуть слышно шепнул Мишель.

— Вот-вот, — подхватил его сводный брат. — Предоставь нас нашей скорби, Дюкон. — Он опустошил свой стакан, прищелкнул языком, налил снова. — Эти педики, они стоят на страже, это в их интересах, — заметил он. — Она им завещала все, что имела, но они прекрасно знают, что дети имеют неотчуждаемые права на наследство. Пожелай мы оспорить завещание, дельце для нас было бы беспроигрышное.

Мишель промолчал, ему не хотелось обсуждать этот вопрос. Последовало довольно долгое молчание. В соседней комнате тоже никто не произносил ни звука; было слышно только резкое, слабеющее дыхание умирающей.

— Она хотела остаться молодой, вот и все, — сказал Мишель усталым, примирительным тоном. — Ее тянуло общаться с молодежью, а главное — не видеть своих детей, которые напоминали бы ей, что она принадлежит к старшему поколению. Это вполне объяснимо, да и понять нетрудно. А теперь мне бы хотелось уйти. Ты думаешь, она скоро умрет?

Брюно пожал плечами: мол, а я почем знаю? Мишель встал и вышел в другую комнату; Седой Хиппи был теперь один, он занимался тем, что скреб экологически чистую морковку. Мишель попробовал его расспросить, узнать, что в точности сказал доктор; но старый маргинал смог предоставить лишь туманную, беспредметную информацию.

— Это была лучезарная женщина, — подчеркнул он, сжимая в руке морковь. — Мы считаем, что она готова к смерти, ибо она достигла достаточно высокого уровня духовного самоосуществления.

Что он хотел этим сказать? Вдаваться в подробности было бесполезно. Мишель повернулся к нему спиной и снова присоединился к Брюно.

— Эти болваны хиппи, — буркнул он, усаживаясь, — все еще пребывают в убеждении, будто религия есть индивидуальное состояние, основанное на медитации, духовных исканиях и тому подобном. Они не способны осознать, что это, напротив, в чистом виде общественная категория, которая базируется на установлениях, ритуалах, церемониях. Согласно Огюсту Конту, роль религии состоит исключительно в том, чтобы привести род людской к состоянию полного единения.

— Сам ты Огюст Конт! — в ярости оборвал его Брюно. — С той минуты, когда перестаешь веровать в жизнь вечную, никакая религия более не существует. И если общество невозможно без религии, как ты, похоже, считаешь, то и общество тоже более не существует. Ты мне напоминаешь тех социологов, которые воображают, будто культ молодости зародился в пятидесятые годы, достиг своего апогея на протяжении восьмидесятых и так далее. А в действительности человека всегда пугала смерть, он никогда не мог смотреть без ужаса на перспективы собственного исчезновения и даже просто старения. Совершенно очевидно, что из всех земных благ молодость — самое драгоценное; а ныне мы больше не верим в блага земные. Если бы Христос не воскрес, как чистосердечно признается святой Павел, наша вера была бы тщетой. Христос не воскрес, он проиграл свою битву со смертью. Я написал сценарий райского фильма на тему нового Иерусалима. Действие происходит на острове, населенном исключительно голыми женщинами и маленькими собачками. Мужчины вследствие биологической катастрофы исчезли, так же, как почти весь животный мир. Время на острове остановилось, климат мягкий и ровный, деревья круглый год плодоносят. Женщины вечно свежи и в самом расцвете, собачки вечно резвы и игривы. Пока женщины купаются и ласкают друг друга, собачки шалят и скачут вокруг. Это собачки всех окрасов и пород: там есть пудели, фокстерьеры, брюссельские грифоны, китайские голые собачки, йоркширские терьеры, курчавые болонки, мопсы и коротконогие гончие. Единственный большой пес — лабрадор, мудрый и кроткий, — играет при них роль советника. От существовавших некогда мужчин не осталось никакого следа, кроме единственной видеокассеты с подбором телевизионных выступлений Эдуара Балладюра; сия кассета производит успокоительное действие на некоторых женщин, а также на большинство собак. Имеется также кассета "Жизнь животных" с ведущим Клодом Дарже; ее никогда не смотрят, но она служит для памяти, как свидетельство варварства предшествующих эпох.

— Значит, они тебе разрешают писать, — мягко сказал Мишель. Его это не удивило. Большинство психиатров благодушно взирают на писанину своих пациентов. Не то чтобы они ей приписывали какое-либо терапевтическое воздействие, но это, по их мнению, какое ни на есть занятие, оно все же лучше, чем распарывать себе запястье бритвой.

— И все же на этом острове случаются маленькие драмы, — взволнованным голосом продолжал Брюно. — Например, в один прекрасный день какой-нибудь отчаянный песик заплывает слишком далеко в море. К счастью, его хозяйка замечает, что он попал в трудное положение, прыгает в лодку, гребет что было сил и успевает вовремя выудить его из воды. Бедный маленький песик нахлебался воды, он без сознания, можно подумать, что он умирает, но хозяйка делает ему искусственное ды-

хание, ей удается его оживить, и все кончается очень хорошо, песик снова весел.

Он внезапно осекся. Теперь вид у него сделался торжественный, чуть ли не экстатический. Мишель посмотрел на часы, потом огляделся вокруг. Его мать больше не издавала ни звука. Было около полудня; в комнате царил удивительный покой. Он поднялся, вышел в соседнюю комнату. Седой Хиппи испарился, бросив морковь недочищенной. Мишель налил себе пива, подошел к окну. За ним на километры раскинулись поросшие пихтами горные склоны. Вдали, среди снежных вершин, синело и мерцало озеро. Теплый воздух был напоен запахами; стоял прекрасный весенний день.

Трудно определить, сколько времени он простоял так, пока сознание его, оторвавшись от тела, мирно витало меж вершин. Его возвратил к действительности звук, который он поначалу принял за вой. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы привести в порядок свое слуховое восприятие, потом он торопливо устремился в другую комнату. Брюно, все еще сидящий в изножии кровати, пел во всю глотку:

Явились все, столпились здесь,
Едва услышав эту весть,
Что умирает маммаааа...

Безрассудство; безрассудство, легкомыслие и шутовство — это свойственно роду людскому. Брюно встал и еще громче затянул следующий куплет:

Явились все, столпились здесь,
И даже дальняя родня,
И даже Джорджо, сын-беглец,
В семье паршивая овцаааа...[1]

В тишине, наступившей после этой демонстрации вокального искусства, было ясно слышно жужжание мухи, пролетевшей через комнату, чтобы опуститься на лицо Джейн. Диптеры отличаются наличием одной пары перепончатых крыльев на втором сегменте торакса, пары равнотяжек (служащих для уравновешивания полета), размещенных на третьем сегменте торакса, и ротового отверстия, кусающего или сосущего. В тот момент, когда муха села на глазное яблоко, Мишелю пришло на ум некое предположение. Он подошел к Джейн, но не прикасался к ней.

— Полагаю, что она мертва, — сказал он, присмотревшись.

Врач без колебаний подтвердил этот диагноз. Он явился в сопровождении муниципального служащего, и тут начались проблемы.

— Куда вам желательно доставить тело? Может быть, в фамильный склеп?

У Мишеля не было на этот счет никаких идей, он чувствовал смущение и замешательство. Если бы они умели налаживать семейные отно-

1. Известная песня Шарля Азнавура.

шения, отмеченные теплотой и привязанностью, им не пришлось бы сидеть здесь, срамиться перед муниципальным служащим, который сохранял корректное обхождение. Брюно проявлял полнейшую незаинтересованность создавшимся положением; он уселся чуть поодаль и вызвал на свою переносную консоль "Минителя" фрагмент "Тетриса".

— Что ж, — снова заговорил служащий, — мы можем предложить вам место на кладбище в Саорже. Это будет для вас немного далековато, когда вы будете приезжать поклониться праху, раз вы не здешние; но с точки зрения транспортировки это, разумеется, было бы практичнее всего. Погребение может иметь место сегодня во второй половине дня, мы в данное время не слишком загружены. Полагаю, что проблем с разрешением на захоронение не возникнет.

— Нет-нет, никаких проблем! — отозвался врач с несколько преувеличенным жаром. — Бланки у меня с собой. — С игривой ухмылкой он помахал пачкой листков.

— Шлюха, я по горло сыт, — вполголоса пробубнил Брюно. И действительно, его "Минитель" передавал какую-то веселенькую музычку.

— Вы тоже согласны на погребение, господин Клеман? — повышая голос, осведомился служащий.

— Вовсе нет! — Брюно резко выпрямился. — Моя мать хотела, чтобы ее кремировали, она придавала этому исключительное значение!

Служащий омрачился. В Саорже не было оборудования, необходимого для кремации; тут требуется весьма специфический инвентарь, объем спроса не оправдал бы его приобретения. Нет, по правде говоря, это ему представляется затруднительным.

— Такова была последняя воля моей матери, — изрек Брюно значительно.

Воцарилось молчание. Муниципальный служащий что было сил шевелил мозгами.

— В Ницце есть крематорий, — робко пробормотал он. — Можно было бы заказать транспорт в два конца, если вы не отказались от мысли о погребении на местном кладбище. Конечно, все расходы лягут на вас...

Никто не проронил в ответ ни слова.

— Так я позвоню, — продолжал он, — нужно выяснить, какие часы у них свободны.

Он раскрыл записную книжку, достал мобильный телефон и начал набирать номер, но тут опять вмешался Брюно.

— Оставим это, — он отмахнулся широким жестом. — Закопаем ее здесь. Класть я хотел на ее последнюю волю. Заплати! — властно прибавил он, обернувшись к Мишелю.

Тот, не споря, вытащил чековую книжку и осведомился, сколько будет стоить место на кладбище на тридцать лет.

— Это правильное решение, — одобрил муниципальный служащий. — Пока что тридцатилетняя аренда, а дальше посмотрите.

Кладбище располагалось на сотню метров выше селения. Двое мужчин в голубой рабочей одежде несли гроб. Они выбрали обычную модель из белой пихтовой доски, запасы которой хранились на муниципальном складе; по-видимому, похоронные услуги здесь, в Саорже, были отлично организованы. Дело шло к вечеру, но солнце еще припекало. Брюно

и Мишель шагали бок о бок в двух шагах позади гроба; Седой Хиппи шел рядом, он настоял на том, чтобы сопровождать Джейн до места ее последнего упокоения. Дорога была суха, камениста, и во всем этом, мнилось, был некий смысл. Хищная птица — вероятно, сарыч — низко плавала в воздухе.

— Это, должно быть, змеиный уголок, — заметил Брюно. Он подобрал белый заостренный камень. Перед самым поворотом дороги ко входу на кладбище, словно в подтверждение его слов, меж двух кустов, растущих вдоль ограды, показалась гадюка; Брюно прицелился и что было сил швырнул камень. Тот врезался в стену и разлетелся, просвистев рядом с головкой рептилии.

— Змеям отведено свое место в природе, — не без торжественности произнес Седой Хиппи.

— Природа?! Да мне начхать на нее, приятель! Насрать мне на нее! — Брюно опять вышел из себя. — Дерьмо твоя природа... Моя задница — вот и вся природа! — в ярости бубнил он еще некоторое время. Тем не менее с той минуты, когда опустили гроб, он вел себя корректно, ограничиваясь лишь сдержанным бормотанием и мотанием головой, как будто происходящее натолкнуло его на новые размышления, которые, однако, еще слишком туманны, чтобы можно было выразить их вразумительно.

По окончании церемонии Мишель выдал двум служителям щедрые чаевые — он предполагал, что так велит обычай. Ему оставалась четверть часа, чтобы успеть на поезд; Брюно решил уехать с ним.

Братья распрощались на вокзале в Ницце. Они еще этого не знали, но им уже никогда не суждено было увидеться.

— Тебе неплохо живется в твоей клинике? — спросил Мишель.

— Ну да, само собой, житуха мирная, мой литий всегда при мне. — Брюно заговорщицки хихикнул. — Я не сразу туда вернусь, устрою себе трясучую ночку. Пойду в бар со шлюхами, их в Ницце полно. — Он наморщил лоб, омрачился. — С литием у меня больше совсем не встает, ну да ладно, все равно я это дело люблю.

Мишель рассеянно кивнул, вошел в вагон: у него было зарезервировано спальное место.

Часть третья. *Эмоциональный беспредел*

1

Возвратившись в Париж, он обнаружил в ящике письмо от Деплешена. Согласно пункту 66 внутреннего распорядка Национального совета по научным исследованиям, ему надлежит за два месяца до истечения оговоренного отпуска ходатайствовать либо о его продлении, либо о своем возвращении к работе. Письмо было учтиво, исполнено юмора, Деплешен иронизировал над бюрократическими ограничениями, тем не менее запаздывание уже превысило трехнедельный срок. Он

положил письмо на стол, глубокая неуверенность овладела им. В течение года он был волен самостоятельно определять круг своих изысканий — и чего же он достиг? В конечном счете почти что ничего. Включив свой мини-компьютер, он с отвращением констатировал, что его e-mail обогатился двумя десятками новых страниц; а между тем он отсутствовал всего лишь двое суток. Одно из сообщений исходило от Института молекулярной биологии в Палезо. Та коллега, что заняла его место, запустила в действие программу исследований по ДНК митохондрий: она — в отличие от ядерного ДНК — как представлялось, была лишена механизмов коррекции генного кода, пострадавшего от воздействия свободных радикалов; по сути, здесь сюрприза не было. Из университета в Огайо исходила информация поинтереснее: в ходе опытов с сахаромицетами[1] там выяснили, что при воспроизведении половым путем их разновидности эволюционируют не так быстро, как при размножении посредством клонирования; следовательно, в этом случае алеаторные мутации продуктивнее, нежели естественная селекция. Экспериментальная схема была любопытна и явно противоречила классической гипотезе полового воспроизведения как двигателя эволюции; но это в любом случае больше не представляло иного интереса, кроме анекдотического. Как только генетический код будет расшифрован полностью (а это уже вопрос не лет, но месяцев), человечество получит возможность контролировать свою собственную биологическую эволюцию; тогда сексуальность со всей очевидностью предстанет тем, чем и является: функцией бесполезной, опасной и регрессивной.

Избавленный от папок и книг, загромождавших все полки, кабинет Деплешена казался огромным.

— Ну да, — молвил он со слабой улыбкой. — В конце месяца ухожу на пенсию.

Джерзински застыл с разинутым ртом. Общаешься с человеком годами, иногда десятилетиями, мало-помалу привыкая избегать личных вопросов и по-настоящему важных тем; но хранишь надежду, что позже, в более благоприятных обстоятельствах, конечно же, будет еще время подступиться к этим темам, этим вопросам; бесконечно отодвигаемая перспектива более тесного человеческого контакта никогда не исчезает полностью просто потому, что это невозможно, поскольку никакое общение между людьми не укладывается в неумолимо узкие, застывшие рамки. Таким образом, впереди всегда брезжит перспектива "подлинных и глубоких" отношений; она может просуществовать годы, подчас десятки лет, до тех пор, пока какое-нибудь решительное и беспощадное обстоятельство (обычно кончина или смертельная болезнь) не возвестит нам, что слишком поздно, что эти самые "глубокие и подлинные" отношения, мечту о которых мы лелеяли, не осуществятся, так же как не сбылось и все остальное. За все пятнадцать лет своей профессиональной деятельности он, кроме Деплешена, не знал никого, с кем ему бы хотелось наладить контакт, выходящий за границы простого сотрудничества, от случая к случаю, чисто утилитарного, безмерно скучного, которым и создается естественная атмосфера жизни кон-

1. Грибки, вызывающие брожение в сладком растворе.

торы. Что ж, не вышло. Он ошеломленно уставился на картонные коробки с книгами, громоздящиеся на полу кабинета.

— Думаю, нам стоит пойти куда-нибудь пропустить стаканчик, — предложил Деплешен, безошибочно уловив специфику момента.

Миновав музей д'Орсэ, они расположились на террасе "Девятнадцатый век". За соседним столиком оживленно щебетала дюжина итальянских туристов. Джерзински потребовал себе пива, Деплешен заказал неразбавленное ирландское виски.

— Чем вы теперь думаете заняться?

— Не знаю. — Деплешен, похоже, действительно не знал. — Поездить... Может быть, немножко сексуального туризма. — Он усмехнулся; когда он улыбался, его лицо все еще становилось обаятельным; то был горький шарм разуверившегося человека, сохранившего тем не менее неотразимое очарование. — Я пошутил... Сказать по правде, меня это больше совсем не интересует. Знание, да... Жажда познания осталась. Забавная это штука, жажда познания. Она свойственна очень немногим, даже среди ученых; большинство удовлетворяется тем, что делает карьеру, они быстро переходят в администраторы; однако для истории человечества она страшно важна, эта жажда. Представьте себе сюжет, в котором маленькая группа людей — всего несколько сот человек на всей планете — одержимо преследует очень сложные, очень отвлеченные, абсолютно непостижимые для непосвященных цели. Эти люди навеки остаются неизвестными для большей части населения; нет у них ни власти, ни богатства, ни почестей; никто даже не в состоянии понять того наслаждения, что доставляет им их скромная деятельность. Однако же они — важнейшая из мировых сил, по той простой причине, что в их руках ключ к рациональной достоверности. Все то, что они объявляют истинным, рано или поздно признает таковым большинство населения. Никакая власть, экономическая, политическая, общественная или религиозная, самоочевидным образом не в состоянии противиться обоснованной разумом истинности. Можно говорить, что Запад сверх всякой меры интересуется философией и политикой, что он абсолютно неразумно ломает копья вокруг философских и политических вопросов; можно также утверждать, что Запад страстно любит литературу и искусство; но на самом деле ничто не играет в его истории столь основательной роли, как потребность в рациональной достоверности. В конечном счете Запад готов во имя этой потребности пожертвовать всем: религией, счастьем, своими надеждами и, наконец, самой жизнью. Это факт, о котором надо бы не забывать, когда хочешь вынести обобщенное суждение о западной цивилизации.

Деплешен задумался. Его взгляд, с минуту проблуждав среди столиков, остановился на стакане.

— Вспоминаю одного парня, я с ним познакомился в первом классе лицея, когда мне было шестнадцать. Он был из таких... Очень сложный, очень беспокойный. Происходил из богатой, довольно патриархальной семьи, да к тому же в полной мере разделял все понятия своего круга. Однажды во время спора он сказал мне: "Ценность религии определяется качеством морали, в ней заложенной". Я лишился языка от неожиданности и восхищения. Так и не знаю, сам ли по себе он дошел до тако-

го заключения или где-то вычитал этот тезис; в любом случае его фраза меня чрезвычайно поразила. Вот уже сорок лет размышляю о ней и вот сегодня пришел к мысли, что он ошибался. Мне кажется невозможным в отношении религии становиться исключительно на точку зрения морали; однако же Кант не без причины утверждал, что сам Спаситель рода людского должен подчиняться универсальным законам всемирной нравственности. Но я пришел к мысли, что религии суть прежде всего попытки объяснения мира, а никакая подобная попытка не может быть состоятельной, если она противоречит нашей потребности в рациональной достоверности. Математическое доказательство, экспериментальный подход — это высшие достижения человеческого сознания. Я прекрасно сознаю, что на первый взгляд факты меня опровергают, понимаю, что ислам — похоже, самая глупая, самая лживая и обскурантистская из всех религий — в настоящее время, по-видимому, перешла в наступление; но все это не более чем поверхностные и преходящие явления; в долгосрочной перспективе ислам обречен, его крах еще более неотвратим, чем крах христианства.

Джерзински поднял голову; он слушал очень внимательно. Он никогда не предполагал, что Деплешена волнуют подобные вопросы; а тот между тем, поколебавшись, продолжал:

— После получения степени бакалавра я потерял Филиппа из виду, а через несколько лет узнал, что он покончил с собой. В конечном счете не думаю, чтобы здесь была связь: быть одновременно гомосексуалистом, католиком-фундаменталистом и роялистом — это, надо полагать, как бы то ни было, нелегкое сочетание.

В эти минуты Джерзински понял, что сам он в глубине души никогда не был по-настоящему одержим религиозными проблемами. Однако он сознавал, и уже очень давно, что материалистическая метафизика, сначала сокрушив религиозные верования предыдущего столетия, сама была уничтожена новейшими достижениями физики. Любопытно, что ни он, ни кто-либо из физиков, с которыми ему доводилось сталкиваться, никогда не испытывали ни малейшего беспокойства или сомнения, связанного с проблемами духа.

— Что до меня лично, — сказал Мишель, как только эта мысль оформилась в его мозгу, — мне кажется, я должен держаться прагматического позитивизма как фундамента, на котором, в общем, зиждется работа исследователя. Существуют факты, они взаимосвязаны закономерностями, понятие причинности ненаучно. Мир равен сумме тех знаний, которые мы о нем имеем.

— Я больше не ученый, — отвечал Деплешен с обезоруживающей простотой. — Наверное, потому-то я и позволил запоздалым метафизическим вопросам так меня захлестнуть. Но вы, разумеется, правы. Надо продолжать искать, экспериментировать, открывать новые законы, а прочее не имеет никакого значения... Кстати, вы решили, что собираетесь делать? Я об этом спрашиваю из-за... — он сделал извиняющийся жест, — из-за этой истории с истекшим сроком.

— Да. Мне надо получить место в Голуэйском исследовательском центре, в Ирландии. Необходимо быстро произвести некоторые приготовления к простым опытам с целой гаммой радиоактивных меток при

постоянной температуре и давлении. Но прежде всего мне потребуется большая вычислительная база, и, кажется, там имеется для этого нужное оборудование.

— Вы думаете о новом направлении исследований? — Голос Деплешена дрогнул, выдавая крайнюю степень волнения; он и сам это заметил, и снова на его губах появилась улыбка, казалось говорившая, что он сам себе смешон; он мягко добавил: — Жажда познания...

— Я считаю ошибочным, что мы намерены исходить только из естественной ДНК. Молекула ДНК сложна, ее эволюция до некоторой степени подвластна случайности. Если действительно хочешь изучить условия мутации в общем и целом, надо как исходный материал взять более простые самовоспроизводящиеся молекулы, в которых число связей не превышает нескольких сотен.

Деплешен помотал головой; глаза его разгорелись, он больше не пытался скрыть охватившее его возбуждение. Итальянские туристы между тем разошлись; в кафе, кроме них, никого не осталось.

— Мне необходима возможность работать совершенно независимо, вне иерархии Исследовательского центра. Тут есть вещи, допустимые лишь в качестве чистой гипотезы; объяснять это слишком долго, слишком трудно.

— Само собой. Я напишу Уолкотту, он руководитель Центра. Это славный малый, он не будет вам ставить палки в колеса. Вы ведь, помнится, в свое время уже работали с ними? Та история с коровами...

— Это все пустяки.

— Не беспокойтесь. Я ухожу на пенсию, — на сей раз в его усмешке промелькнула горечь, — но моего влияния еще хватит, чтобы это устроить. В административном плане вы будете сохранять положение временно откомандированного, возобновляемое из года в год, так долго, как пожелаете. Кто бы ни стал моим преемником, нет ни малейшей опасности, что это решение может быть пересмотрено.

Чуть позже они распрощались возле Пон-Руаяль. Деплешен протянул Мишелю руку. У него не было сына, его сексуальные пристрастия лишили его такой возможности, а идея брака по дружескому согласию всегда казалась ему смехотворной. За те несколько секунд, пока длилось их рукопожатие, он осознал, что испытывает нечто из области возвышенных переживаний; потом он сказал себе, что смертельно устал; потом повернулся и зашагал прочь по набережной, мимо лавок букинистов. А Джерзински минуту-другую еще смотрел вслед человеку, уходившему вдаль в свете гаснущего дня.

2

На следующий вечер, обедая у Аннабель, он объяснил ей очень доходчиво, четко и аргументированно, почему ему необходимо отправиться в Ирландию. Для него программа, которую надлежало выполнить, теперь вполне определилась, все предстало в отчетливой взаимосвязи. Суть состояла в том, чтобы не сосредоточиваться на одной ДНК, а рас-

сматривать живое существо во всей его целостности как самовоспроизводящую систему.

Сначала Аннабель ничего не отвечала; она пыталась скрыть смятение и не могла, ее рот слегка искривился. Потом налила ему вина; в этот вечер она приготовила рыбу, и ее квартирка больше, чем когда-либо, напоминала корабельную каюту.

— Ты не предложил взять меня с собой... — Эти слова прозвучали в тишине; и молчание последовало за ними. — Тебе это даже в голову не пришло, — сказала она с изумлением и ребяческой досадой; потом разразилась рыданиями. Он не шелохнулся; если бы в эту минуту он подошел к ней, она бы, конечно, его оттолкнула; людям приходится плакать, иногда им только это и остается. — А ведь мы хорошо ладили, когда нам было двенадцать, — пробормотала она сквозь слезы. Потом подняла на него глаза. Лицо редчайшей, чистой красоты. — Сделай мне ребенка. Мне нужно, чтобы рядом кто-то был. Разумеется, тебе не придется ни растить его, ни заниматься им, у тебя даже не будет надобности с ним знакомиться. Я не прошу тебя любить — ни его, ни меня; просто сделай мне ребенка. Знаю, мне сорок лет: пусть так, я рискну. Теперь это мой последний шанс. Иногда я сожалею о своих абортах. Однако первый мужчина, от которого я забеременела, был дерьмом, второй — безответственным ничтожеством; когда мне было семнадцать, я и представить себе не могла, насколько коротка жизнь, как недолговечны наши возможности.

Чтобы выкроить время на размышление, Мишель закурил сигарету.

— Это странная идея, — пробормотал он сквозь зубы. — Странная идея — воспроизводить себя для жизни, которой не любишь.

Аннабель поднялась, стала одну за другой сбрасывать одежды.

— Как бы то ни было, давай займемся любовью, — сказала она. — Мы не делали этого по крайней мере месяц. С тех пор как я прекратила прием таблеток, прошло две недели, и день у меня сегодня благоприятный.

Она прижала ладони к своему животу, потом ее руки скользнули к груди, она слегка раздвинула бедра. Аннабель была прекрасна, желанна, полна любви; почему же он ничего не чувствовал? Это было необъяснимо. Он закурил новую сигарету, но вдруг заметил, что его раздумья ни к чему не ведут. Сделать ребенка, не делать его — все это не из области решений, к которым человеческому существу дано прийти рациональным путем. Он раздавил окурок в пепельнице и буркнул:

— Согласен.

Аннабель помогла ему раздеться и легонько потеребила штырек, чтобы он смог в нее войти. Он не ощутил ничего особенного, кроме нежности и жара ее влагалища. Вскоре он замер без движения, пораженный геометрической очевидностью спаривания, очарованный упругостью и роскошеством слизистых оболочек. Аннабель прижалась губами к его губам, обвила его руками. Он закрыл глаза, яснее почувствовал свой собственный половой орган и возобновил движение вверх-вниз. Незадолго до эякуляции его посетило видение — до предела отчетливое — слияния гамет и тотчас вслед за этим первого клеточного деления. Это было как бы забеганием вперед, маленьким самоубийством. Волна осознания этого прилила к члену, он почувствовал, как сперма хлынула из

него. Аннабель это тоже ощутила; у нее вырвался глубокий вздох; потом оба остались лежать без движения.

— Вам бы еще месяц назад следовало прийти сдать мазок, — усталым голосом сказал гинеколог. — Вместо этого вы прекратили прием таблеток, не посоветовавшись со мной, и вам вздумалось забеременеть. А вы ведь уже не девочка!

Воздух в кабинете врача был холоден и малость сыроват; выйдя оттуда, Аннабель удивилась сиянию июньского солнца.

На следующий день она позвонила. Клеточное исследование указывало на "достаточно серьезные аномалии"; требовалось сделать биопсию и соскоб слизистой оболочки матки.

— Что до беременности, совершенно очевидно, что сейчас лучше временно отказаться от нее. Не лучше ли повторить то же самое на здоровой основе?.. — Голос врача был не обеспокоенный, а как бы чуть скучающий.

Итак, Аннабель пережила свой третий аборт — зародышу было не более двух недель, так что хватило краткой аспирации. Аппаратура сильно усовершенствовалась со времени ее последней операции, так что, к ее немалому удивлению, все завершилось меньше чем за десять минут. Результаты анализа были получены через три дня.

— Что ж, — врач выглядел ужасающе старым, компетентным и печальным, — к несчастью, я полагаю, что у вас рак матки в прединвазионной стадии. — Он снова водрузил на нос очки, еще раз заглянул в бланки; выражение сугубой компетентности при этом заметно усилилось. Он не испытывал подлинного удивления: рак матки часто постигает женщин в годы, предшествующие менопаузе, а то обстоятельство, что у нее не было детей, усугубляло фактор риска. Методы лечения были известны, тут у него не было ни малейших сомнений. — Следует произвести брюшную гистерэктомию и билатеральную сальпинго-офориэктомию. В наше время такие операции прекрасно освоены, риск осложнений близок к нулю.

Он взглянул на Аннабель: плохо дело, она не реагирует, застыла в полнейшем ошеломлении; вероятно, это предвестие нервного припадка. Обычно врачам в таких ситуациях рекомендуется направлять пациентку к психотерапевту, на поддерживающий курс — он приготовил листок с адресами, — а главное, напирать на "ударную мысль": утрата способности к деторождению вовсе не означает конец сексуальной жизни; у некоторых пациенток, напротив, желания заметно обостряются.

— Значит, у меня вырежут матку... — проговорила она недоверчиво.

— Матку, яичники и фаллопиевы трубы; таким образом, исключается всякий риск распространения болезни. Я вам пропишу замещающее гормональное лечение — впрочем, его прописывают все чаще даже в ситуации простой менопаузы.

Она возвратилась к своим родным в Креси-ан-Бри; операцию назначили на 17 июля. Мишель вместе с ее матерью провожал Аннабель в больницу в Мо. Страха она не испытывала. Хирургическая операция заняла чуть больше двух часов. Очнулась она на следующее утро. В окне она увидела голубое небо, деревья, шевелящиеся на легком ветру. Она практически ничего не чувствовала. Ей хотелось посмотреть на шрам внизу

живота, но она не решилась просить об этом сиделку. Странно было подумать, что она та же самая женщина, но ее детородные органы отторгнуты от нее. Слово "ампутация" некоторое время вертелось у нее в голове, потом его заменил более жестокий образ. "Меня выпотрошили, — прошептала она, — они выпотрошили меня, как курицу".

Через неделю она вышла из больницы. Мишель написал Уолкотту, предупредил, что его отъезд откладывается; после некоторых колебаний он согласился поселиться у ее родителей, в прежней комнате ее брата. Аннабель заметила, что за то время, что она провела в клинике, он подружился с ее матерью. Да и ее старший брат охотнее появлялся дома с тех пор, как там поселился Мишель. По существу, им почти не о чем было говорить: Мишель ничего не смыслил в проблемах мелкого бизнеса, а Жан-Пьеру оставались абсолютно чуждыми вопросы, связанные с исследованиями в области молекулярной биологии; тем не менее в конце концов вокруг вечернего аперитива образовалось полуфиктивное мужское содружество. Ей полагалось отдыхать и, главное, избегать поднимать тяжести; но теперь она уже могла мыться самостоятельно и нормально питаться. В послеполуденные часы она сидела в саду, Мишель вместе с ее матерью собирал клубнику или сливы. Это было вроде каких-то диковинных каникул или возврата в детство. Она чувствовала ласку солнечных лучей на своем лице и руках. Чаще всего она сидела тихо в полной праздности, иногда она вышивала или мастерила из плюша игрушки для своего племянника и племянниц. Психиатр из Мо прописал ей снотворное и довольно большие дозы транквилизаторов. Так или иначе, она много спала, и все ее сны были неизменно мирными и счастливыми; возможности души безмерны, когда она находится в своих владениях. Мишель лежал в ее постели с ней рядом; его рука обнимала ее талию, он ощущал, как равномерно вздымается и опадает ее грудь. Психиатр регулярно навещал ее, беспокоился, бубнил сквозь зубы, говорил об "утрате адекватности во взаимоотношениях с действительностью". Она стала очень нежной, немножко странной, часто смеялась без причины; порой случалось и так, что ее глаза вдруг наполнялись слезами. Тогда она принимала дополнительную дозу терциана.

В конце третьей недели она уже начала выходить, смогла совершать короткие прогулки по берегу реки или в окрестных лесах. Стоял исключительно погожий август; дни проходили чередой, одинаковые, сияющие, без намека на опасность грозы, да и без каких-либо других предвестий конца. Мишель держал ее за руку; часто они сидели рядом на скамейке на берегу Гран-Морен. Прибрежные травы были иссушены чуть не добела; река под сенью буков катила вдаль свои нескончаемые темно-зеленые волны. Внешний мир жил по своим собственным законам, и они не были человеческими.

3

Двадцать пятого августа контрольные анализы выявили метастазы в брюшной полости; обычно в таких случаях их разрастание продолжа-

ется, рак быстро распространяется. Можно попробовать прибегнуть к радиотерапии. Собственно говоря, это и было единственным возможным средством; но не следовало обманывать себя, речь шла о тяжелом лечении, и шансы излечения не превышали 50 процентов.

Обед проходил в нестерпимой тишине.

— Тебя вылечат, маленькая моя, — сказала мать Аннабель, и ее голос слегка задрожал.

Аннабель обняла мать за шею, прислонилась лбом к ее лбу; в этой позе они пробыли около минуты. Когда мать отправилась спать, Аннабель поплелась в гостиную, полистала там какие-то книги. Мишель сидел в кресле и следил за ней глазами.

— Можно посоветоваться с кем-нибудь еще, — произнес он после долгого молчания.

— Конечно, — отвечала она беспечно.

Она не могла заниматься любовью: шрам был слишком свеж и слишком болезнен; но она долго сжимала его в объятиях. Слышала, как он в тишине скрипит зубами. Был момент, когда она, проведя ладонью по его лицу, заметила, что оно мокро от слез. Она стала нежно ласкать его член, это возбуждало и одновременно умиротворяло. Он принял две таблетки мепронизина и в конце концов уснул.

Около трех часов ночи она встала, накинула халат и спустилась в кухню. Порывшись в буфете, она отыскала пиалу, на которой было выгравировано ее имя, — крестная подарила ее Аннабель, когда ей исполнилось десять лет. В пиале она тщательно растолкла содержимое тюбика рогипнола, прибавив немного сахара и воды. Она не чувствовала ничего, кроме некоей обобщенно-умозрительной, почти метафизической печали. Так устроена жизнь, думала она; в ее теле произошел сбой, непредвиденный, беспричинный разлад; теперь это тело больше не могло быть источником радости и счастья. Оно, напротив, постепенно, но, по сути, довольно быстро станет для нее самой, как и для окружающих, источником тягот и мучений. Следовательно, ее тело должно быть уничтожено. Массивные деревянные часы на стене громко отсчитывали секунды; они достались матери от ее бабушки, которая владела ими еще тогда, когда выходила замуж, это была самая старинная вещь в доме. Она добавила в пиалу еще немножко сахара. В ее психологическом настрое не было и тени примиренности, жизнь казалась ей всего лишь скверной шуткой. Как ни пытайся к ней приспособиться, а уж она такова. За краткие недели своей болезни она с поразительной быстротой дозрела до чувства, которое столь часто встречается у стариков: она не желала быть для других обузой. С тех пор как для нее миновала отроческая пора, ее жизнь покатилась очень быстро; потом настал длительный период скуки; к концу все опять стало раскручиваться с дикой скоростью.

Незадолго до рассвета Мишель, перевернувшись в постели с боку на бок, заметил, что Аннабель нет рядом. Он оделся, сошел вниз: на диване в гостиной было распростерто ее бесчувственное тело. Рядом, на столе, лежало оставленное ею письмо. Первая фраза звучала так: “Я предпочитаю умереть среди тех, кого люблю”.

Главный врач службы "Скорой помощи" больницы в Мо был человеком лет тридцати с темными курчавыми волосами, с открытым лицом; он сразу произвел на них самое благоприятное впечатление. Мало шансов, что она очнется, сказал он; они могут остаться подле нее, он лично не усматривает в этом ничего неподобающего. Кома — состояние странное, малоизученное. Он был почти уверен, что Аннабель не воспринимает их присутствия; тем не менее слабая электрическая активность в ее мозгу сохранялась; она, должно быть, как-то соотносится с мыслительной активностью, природа каковой абсолютно таинственна. Сам по себе медицинский прогноз был отнюдь не утешителен: известны случаи, когда больной, проведя в глубокой коме несколько недель, а то и месяцев, вдруг разом возвращался к жизни; чаще же всего, увы, состояние комы так же внезапно переходит в смерть. Ей не более сорока лет, по меньшей мере есть основания не сомневаться, что сердце выдержит; в настоящий момент это все, что можно сказать.

Над городом разгорался день. Сидя рядом с Мишелем, брат Аннабель все бормотал, качая головой: "Это невозможно... Это невозможно...", будто слова властны что-то изменить. Но на самом деле это возможно. Все возможно. Мимо прошла медсестра, катя перед собой металлическую тележку, в которой позвякивали бутылки с сывороткой.

Немного погодя солнце прорвалось сквозь облака, и небо засинело. День обещал быть прекрасным, таким же дивным, как предыдущие. Мать Аннабель с трудом поднялась на ноги. "Надо немного передохнуть", — сказала она, превозмогая дрожь в голосе. Ее сын в свой черед тоже встал, бессильно опустив руки, и, словно автомат, пошел за ней. Мишель покачал головой, без слов отказываясь уйти с ними. Он не испытывал никакой усталости. В последующие минуты он главным образом ощущал странность присутствия видимого мира. Он сидел один в залитом солнцем коридоре, на плетеном пластиковом стуле. В этом крыле больничного здания царил невероятный покой. Вдалеке время от времени открывалась дверь, оттуда выходила медицинская сестра, направляясь в другое отделение. Шумы города, долетая снизу через несколько этажей, звучали совсем приглушенно. В состоянии абсолютной внутренней отрешенности он вглядывался в сцепление обстоятельств, в детали той машины, что переехала их жизни. Все выглядело бесповоротным, ясным и неопровержимым. Представало в неколебимой очевидности завершенного прошлого. Ныне кажется почти неправдоподобным, чтобы семнадцатилетняя девушка могла проявить такую наивность; но главное, трудно поверить, чтобы в семнадцать лет девушка придавала такое значение любви. Со времени юности Аннабель прошло двадцать пять лет, и если верить результатам опросов и утверждениям газет, все очень переменилось. Нынешние девушки были более осмотрительны и более рациональны. Их прежде всего занимала собственная школьная успеваемость, они старались перво-наперво обеспечить себе в будущем приличную карьеру. Встречи с парнями для них не более чем каникулярное времяпрепровождение, развлечение, примерно в равных долях состоящее из сексуального удовольствия и нарциссического самолюбования. Впоследствии они стремятся заключить разумный брак на основе достаточного социо-профессионального соответствия и определенного

совпадения вкусов. Разумеется, они тем самым лишали себя всех возможностей счастья — таковые, будучи неотъемлемым свойством синкретичного и регрессивного состояния души, противоречат расхожему опыту здравомыслия, — зато они рассчитывали таким манером избежать нравственных и сердечных мук, что терзали их предшественниц. Впрочем, эти надежды вскоре рушатся; на деле треволнения страстей, исчезнув из обихода, оставляют по себе большой простор для скуки, ощущение пустоты, беспокойного ожидания старости и смерти... Вторая половина жизни Аннабель была много печальнее и мрачнее первой; под конец ей не суждено было сохранить ни малейшего воспоминания об этой поре.

Примерно в полдень Мишель толкнул дверь ее палаты. Дыхание больной было до крайности слабым, простыня, прикрывавшая грудь, почти не шевелилась — тем не менее, по словам врача, этого было достаточно для снабжения тканей кислородом; если дыхание еще больше ослабеет, придется подумать о том, чтобы применить вспомогательный вентиляционный аппарат. Пока что у нее повыше локтя торчала игла капельницы, к темени прикрепили электрод, и это было все. Солнечный луч пронизывал белоснежную простыню, сверкал в прядях ее чудесных светлых волос. Ее лицо с закрытыми глазами, лишь чуть более бледное, чем обычно, казалось бесконечно умиротворенным. Было похоже, будто ее покинули все страхи; никогда еще она не казалась Мишелю такой счастливой. Верно и то, что он всегда был склонен путать счастье с комой; но тем не менее она ему казалась счастливой безмерно. Он провел рукой по ее волосам, поцеловал в лоб, в теплые губы. Это явно случилось слишком поздно; и все же это было хорошо. Он пробыл в ее палате до позднего вечера. Возвратившись в коридор, раскрыл книгу буддийских медитаций, собранных доктором Эвансом Венцем (он несколько месяцев таскал эту книжицу в кармане; она была совсем маленькая, в темно-красной обложке).

Пусть все люди на Востоке,
Пусть все люди на Западе,
Пусть все люди на Севере,
Пусть все люди на Юге
Будут счастливы и хранят свое счастье;
Да живут они без вражды.

Так случилось не только по их вине, думал он; они жили в бедственном мире, мире соревнования и борьбы, суетности и насилия; гармонического мира они не знали. С другой стороны, они ничего не сделали, чтобы изменить этот мир, ничего не привнесли в его улучшение. Он сказал себе, что ему следовало сделать Аннабель ребенка; потом он вдруг вспомнил, что сделал его или, вернее, сделал что мог для этого, по крайней мере согласился на такую перспективу; эта мысль наполнила его радостью. Тогда он понял, откуда взялись умиротворение и нежность, которыми дышали эти последние недели. Теперь он ничего больше не мог, в империи недуга и смерти никто ничего не может; но хотя бы несколько недель она прожила с чувством, что любима.

Если помыслы человека устремлены к любви,
Если он отрешился от низменных наслаждений,
Отсек цепи страстей
И обратил взоры свои к Пути,

Если он соблюдает на деле высший принцип любви,
То он возродится на небе Брахмы,
Быстро получит Освобождение
И навеки достигнет областей Абсолюта.

Если он не лишает жизни других и не желает им зла,
Не стремится себя утвердить, унижая себе подобных,
И живет по закону всемирной любви,
То сердце его перед смертью не будет обременено ненавистью.

Вечером мать Аннабель присоединилась к нему, она пришла посмотреть, нет ли чего-нибудь нового. Нет, ситуация не развивалась; состояние глубокой комы способно быть весьма долгим и стабильным, как терпеливо напомнила ей медсестра, порой месяцы проходят, прежде чем становится возможным прогнозировать что-либо определенное. Она вошла к дочери, но через минуту вышла, рыдая. "Я не могу понять... — выговорила она, качая головой. — Не понимаю, как устроена жизнь. Знаете, это была такая хорошая девочка. Всегда сердечная, без фокусов. Не жаловалась, но я знала, что счастливой она не была. Она прожила не такую жизнь, какой заслуживала".

Немного погодя она удалилась, было заметно, что мужество покидает ее. А ему, как ни странно, не хотелось ни есть, ни спать. Он прошелся по коридору, спустился вниз, в холл. Антилец, дежуривший на входе, решал кроссворд; он кивнул ему. Мишель взял на раздаче чашку горячего какао, подошел к окну. В проеме между многоэтажками плыла луна; автомобили то и дело проезжали взад-вперед по авеню Шалон. Он достаточно разбирался в медицине, чтобы понимать, что жизнь Аннабель висит на волоске. Ее мать была права, не желая осознать это; человек по самой своей природе не приемлет смерти: ни своей, ни чужой. Мишель подошел к привратнику, спросил, не одолжит ли он ему листок бумаги; тот, несколько озадаченный, протянул ему пачку бланков с больничным грифом (именно этот гриф впоследствии дал Хюбчеяку возможность идентифицировать текст, выделив его из массы заметок, найденных в Клифдене). Некоторые человеческие существа яростно цепляются за жизнь, они теряют ее, как говорил Руссо, неохотно; с Аннабель, как он уже понимал, все совсем по-другому.

Она была дитя, рожденное для счастья,
И сердца не было прекрасней и щедрей,
Жизнь отдала б она, будь это в ее власти,
За неродившихся своих детей.

Но в детских криках, да,
В крови грядущей смены
Навек ее мечта
Останется нетленной,
И след ее всегда
Пребудет во Вселенной.

Его и плоть хранит,
Священная отныне,
И воздух, и гранит,
Речные воды, иней,
И небеса, представшие иными.

Ты там лежишь сейчас
В предсмертной коме,
Спокойная, как будто в дреме,
Такой вот, любящей, ты и уйдешь от нас.

Остынут наши мертвые тела,
Травой мы станем — такова реальность,
Нас ждет небытие, пустая мгла,
Где исчезает индивидуальность.

Так мало мы любили, Аннабель,
В своем земном существованье!
Быть может, солнце над могилой, дождь, метель
Конец подарят нашему страданью.

4

Аннабель умерла два дня спустя, и для семьи это было, возможно, к лучшему. Когда заходит речь о чьей-нибудь кончине, люди всегда склонны изрекать пошлости подобного рода; но ее матери и брату в самом деле трудно было бы вынести состояние неопределенности, если бы оно затянулось.

В здании из светлого железобетона, том самом, где некогда скончалась его бабушка, Джерзински снова, во второй раз, пережил ощущение всесилия пустоты. Он пересек палату и приблизился к мертвой Аннабель. Это тело было точь-в-точь таким же, каким он знал его, с той лишь разницей, что из него медленно утекало живое тепло. Теперь эта плоть почти совсем остыла.

Некоторые умудряются дожить до семидесяти, если не восьмидесяти лет, воображая, будто впереди еще возможно что-то новое, что приключение, как говорится, поджидает их за углом; в конечном счете, их

надо просто-напросто прикончить, чтобы вразумить или хотя бы изувечить, доведя до состояния глубокой инвалидности. Не таков был Мишель Джерзински. Свою мужскую жизнь он провел в одиночестве, в звездной пустоте. Он внес вклад в прогресс науки; это было его призванием, способом самовыражения, приложения своих природных способностей; что до любви, то он не знал ее. Аннабель, несмотря на ее красоту, не дано было стать любимой; а теперь она была мертва. Ее тело покоилось на низком столе, ярко освещенное, отныне бесполезное, не более чем мертвый груз. Потом гроб накрыли крышкой.

В своем прощальном письме она выразила желание, чтобы ее кремировали. Перед церемонией они пили кофе в одном из больничных залов для посетителей; за соседним столиком цыган болтал о тачках с двумя приятелями, пришедшими его навестить. Освещение было тусклое — несколько ламп в обрамлении дурацких украшений, приводящих на память гигантские пробковые поплавки.

Они вышли из здания, под яркое солнце. Службы крематория располагались неподалеку от больничных корпусов, это был единый комплекс. Зал кремации представлял собой просторный куб из светлого бетона, в середине которого имелось такое же белое возвышение; белизна слепила глаза. Струйки жаркого воздуха вились вокруг них, будто мириады крохотных змей.

Гроб водрузили на передвижную платформу, которая должна была доставить его в недра печи. Полминуты всеобщей сосредоточенности — и служитель включил механизм. Зубчатые колеса, на которых двигалась платформа, легонько скрипели; дверь закрылась. Иллюминатор из жаростойкого стекла позволял наблюдать за сожжением. В момент, когда из громадных форсунок рванулось пламя, Мишель отвернулся. Еще около двадцати секунд он углом глаза видел багровые отсветы огня; потом все кончилось. Служитель сгреб пепел в маленький ящичек из светлой пихты в форме параллелепипеда и передал его старшему брату Аннабель.

Они поехали назад в Креси; машина двигалась медленно. Солнце играло в листве каштанов аллеи Ратуши. Той самой аллеи, где они с Аннабель бродили двадцать пять лет назад, после окончания школьных занятий. В саду перед особнячком ее матери собрались люди — человек пятнадцать. Младший брат Аннабель по такому случаю приехал из Соединенных Штатов; он был тощ, нервен, заметно подавлен, одет немного слишком элегантно.

Аннабель просила, чтобы ее прах рассеяли в саду возле дома матери; это также было исполнено. Солнце начинало клониться к закату. Это была пыль — светлая, почти белая пыль. Она мягко, словно туман, опустилась на землю среди розовых кустов. В это мгновение издали, с железнодорожного переезда, послышался звон. Мишелю вспомнились их послеполуденные встречи, когда ему было пятнадцать лет, как Аннабель ждала его на вокзале, как она бросалась ему на шею. Он смотрел на землю, на солнце, на розы, на упругий ковер травы. Непостижимо. Присутствующие хранили молчание; мать Аннабель налила всем вина — помянуть. Она подала ему стакан, заглянула в глаза. “Если хотите, вы могли

бы остаться на несколько дней, Мишель", — тихо сказала она. Нет, он уедет; он будет работать. Он ничего другого не умеет. Ему почудилось, будто небо прорезал луч; он понял, что плачет.

5

В то мгновение, когда самолет сближался с облачным потолком, простиравшимся в бескрайность под неразличимым небом, ему представилось, что вся его жизнь была дорогой, ведущей к этой минуте. Еще через несколько секунд он уже не видел ничего, кроме необъятного лазурного купола, а внизу расстилалось безграничное волнистое поле, там сверкающая белизна сочеталась с белизной матовой; потом они вошли в промежуточную переливчато-серую зону, где взгляд терялся в тумане. А внизу, в мире людей, были луга, животные, деревья; все было зеленым, влажным и неимоверно отчетливым.

В Шаннонском аэропорту его ждал Уолкотт. Это был коренастый мужчина, быстрый в движениях; его четко очерченную плешь обрамлял венчик светло-рыжих волос. Он на хорошей скорости повел свою "тойоту-старлет" среди туманных пастбищ и холмов. Центр располагался чуть севернее Голуэя, на территории Росскахиллской коммуны. Уолкотт показал ему оборудование, познакомил с техническим персоналом; они будут в его распоряжении для проведения опытов, для программирования расчета молекулярных структур. Оборудование было сплошь новейшего образца, чистота в залах безукоризненная — комплекс финансировался из фондов ЕЭС. В рефрижераторном зале Джерзински бросились в глаза две громадные ЭВМ в форме башен, их контрольные панели светились в полумраке. Заключенные в них миллионы процессоров, предназначенных для параллельной обработки данных, уже готовы проинтегрировать лагранжевы функции, волновые уравнения, данные спектроскопии, многочлены Эрмита — вот он, тот мир, в котором отныне и впредь будет протекать его жизнь. Скрестив руки на груди, крепко прижимая их к телу, он пытался, но все не мог прогнать печаль, ощущение холода, идущего изнутри. Уолкотт порекомендовал ему кафе с автоматической раздачей. Из его широченных окон можно было разглядеть зеленеющие склоны, которые обрывались в темные воды озера Лох-Корриб.

Спускаясь по дороге, ведущей в Росскахилл, они проезжали луг на пологом горном склоне, где проходило стадо коров; животные были размером поменьше обычных, красивой светло-коричневой масти.

— Узнаете? — с улыбкой спросил Уолкотт. — Да... это потомки первых коров, полученных в результате ваших усилий, с тех пор уже десять лет прошло. Мы в ту пору были совсем маленьким, довольно плохо оборудованным центром, вы нас здорово подтолкнули. Они крепкие, размножаются без затруднений и дают превосходное молоко. Хотите посмотреть на них?

Он затормозил у перекрестка. Джерзински подошел к низенькой каменной ограде, окружавшей луг. Коровы спокойно щипали траву, терлись головами о бока своих товарок; две или три прилегли. Генетический код, управляющий репликацией их клеток, был создан им или, по меньшей мере, он его усовершенствовал. Для них он должен быть чем-то вроде Господа Бога; а между тем его присутствие им, похоже, безразлично. Гряда тумана ползла с вершины холма, постепенно скрывая стадо из виду. Он вернулся к машине.

Сев за руль, Уолкотт закурил "Кревен"; дождь заливал ветровое стекло. Своим мягким, сдержанным тоном (однако эта сдержанность, по-видимому, отнюдь не говорила о равнодушии) он спросил:

— У вас случилось горе?

И тут Мишель поведал ему всю историю Аннабель, вплоть до самого финала. Уолкотт слушал, изредка покачивая головой или вздыхая. Когда рассказ кончился, он, не прерывая молчания, раскурил новую сигарету, потом затушил ее и сказал:

— Я происхожу не из Ирландии. Родился в Кембридже и, похоже, в большой степени так и остался англичанином. Часто говорят, что англичан отличают такие достоинства, как хладнокровие и самообладание, а также манера воспринимать жизненные обстоятельства — в том числе трагические — с юмором. Примерно так оно и есть; и это полнейшее идиотство с их стороны. Юмор не спасает; в конечном счете от юмора нет почти что никакого толку. Можно долго с юмором относиться к явлениям действительности, это порой продолжается многие годы; в иных случаях удается сохранять юмористическую позу чуть ли не до гробовой доски; но в конце концов жизнь разбивает вам сердце. Сколько бы ни было отваги, хладнокровия и юмора, хоть всю жизнь развивай в себе эти качества, всегда кончаешь тем, что сердце разбито. А значит, хватит смеяться. В итоге остаются только одиночество, холод и молчание. Ничего нет в конечном счете, кроме смерти.

Он включил дворники, снова завел мотор.

— Здесь много католиков, — прибавил он еще. — Но все меняется, к тому идет. Ирландия модернизируется. Многие высокотехнологичные предприятия встали на ноги, пользуясь уменьшением социальных выплат и налогов — в этом регионе мы имеем "Роч" и "Лилли". И, само собой, "Майкрософт": вся здешняя молодежь мечтает работать на "Майкрософт". К мессе теперь ходят реже, сексуальной свободы стало больше, чем несколько лет назад, и дискотек все больше, и антидепрессантов тоже. Короче, все по классическому сценарию...

Они ехали вдоль берега озера. Солнце проглянуло сквозь гряду тумана, расцветив водную поверхность радужными разводами.

— Однако, — продолжал Уолкотт, — католицизм все еще здесь остается в большой силе. К примеру, большая часть технического персонала Центра — католики. Это не способствует моему сближению с ними. Они корректны, учтивы, но смотрят на меня отчасти как на чужака, с которым по-настоящему не потолкуешь.

Солнце окончательно выпуталось из тумана, вокруг него образовался круг безупречной синевы; и стало ясно видно озеро, все целиком залитое потоками света. На горизонте горные цепи Твелв Бенс накладывались друг на друга в гамме бледнеющего серого цвета, будто кадры с

кинопленки сна. Оба молчали. Когда въезжали в Голуэй, Уолкотт заговорил снова:

— Я остался атеистом, но могу понять, как здесь становятся католиками. Это в некотором отношении совсем особенный край. Все постоянно дрожит, и трава на лугах, и водная поверхность, все как будто указывает на некое присутствие. Свет мягок и подвижен, словно меняющаяся материя. Сами увидите. Здесь небо и то живое.

6

Он нанял квартиру близ Клифдена, на Скай-роуд, в старом помещении береговой охраны, переоборудованном в гостиницу для туристов. Украшением комнат служили прялки, керосиновые лампы, короче, старинные предметы, призванные радовать глаз туристов; ему это не мешало. Он знал: в этом доме, да и вообще в жизни ему отныне суждено чувствовать себя как в гостинице.

У него отнюдь не было намерения вернуться во Францию, но в первые недели ему пришлось несколько раз ездить в Париж — заниматься продажей квартиры и переводом счетов. Он вылетал рейсом 11.50 из Шаннона. Самолет летел над морем, солнце добела раскаляло водную гладь; волны напоминали червей, которые переплетаются и грызут друг друга на огромных пространствах. Он знал, что под этой гигантской пеленой червей плодятся моллюски, грызущие их плоть; тех пожирают острозубые рыбы, которых потом заглатывают другие рыбы, покрупнее. Часто он задремывал, ему снились дурные сны. Когда он просыпался, самолет уже летел над сельской местностью. В своем полусне он дивился, отчего это поля имеют такой однообразный цвет. Они были коричневыми, иногда зелеными, но всегда блеклыми. Парижское предместье было серым. Самолет терял высоту, медленно опускался, неуклонно притягиваемый земной жизнью, дыханием миллионов существ.

Начиная с середины октября полуостров Клифден поглотил густой туман, приносимый прямиком с Атлантики. Последние туристы разъехались. Было не холодно, однако все тонуло в мягкой, глубокой серости. Джерзински редко выходил наружу. Он привез с собой три съемных винчестера с базой данных более чем в сорок гигабайт. Время от времени он включал компьютер, немного занимался молекулярными структурами, потом ложился на свою великанскую кровать, кладя пачку сигарет на расстояние вытянутой руки. В Центр он пока не возвращался. За оконным стеклом медленно ворочались клубы тумана.

Около 20 ноября небо очистилось, погода стала холоднее и суше. Он завел привычку совершать длительные пешие прогулки по береговой дороге. Минуя Гортрамнаг и Ноккавалли, он чаще всего доходил до Кладдегдаффа, иной раз и до Огрус Пойнта. Тогда он оказывался на самой западной оконечности Европы, в крайней точке западного мира. Перед ним простирался Атлантический океан, четыре тысячи километров воды отделяли его от Америки.

Если верить Хюбчеяку, эти два или три месяца одиноких раздумий, когда Джерзински ничего не делал, не поставил ни одного эксперимента, не программировал никаких расчетов, надобно признать самым важным периодом, в течение которого наметились главные элементы его позднейших концепций. Так или иначе, последние месяцы 1999 года были для всего европейского населения в целом странной порой, отмеченной особыми ожиданиями, чем-то вроде глухого предчувствия.

Тридцать первое декабря 1999 года пришлось на пятницу. В клинике Верьер-ле-Бюиссон, где Брюно суждено было провести остаток дней, был устроен маленький праздник, общий для пациентов и обслуживающего персонала. Пили шампанское, закусывая чипсами с паприкой. Позже, в разгар вечеринки, Брюно танцевал с медсестрой. Он не чувствовал себя несчастным; лекарства делали свое, и все желания в нем были мертвы. Он любил поесть, пристрастился к телеиграм — зрелищу, которое перед ужином смотрели все сообща. От смены дней он больше ничего не ждал, и этот последний вечер второго тысячелетия прошел для него недурно.

На погостах всего мира недавно почившие продолжали гнить в своих могилах, мало-помалу превращаясь в скелеты.

Мишель провел вечер у себя дома. Его мысли бродили слишком далеко, чтобы он мог расслышать эхо празднества, разгоревшегося в поселке. Несколько раз его посещали воспоминания об Аннабель — смягченные временем мирные картины; образ бабушки тоже являлся ему.

Он припомнил, как в возрасте лет тринадцати-четырнадцати он покупал карманные фонарики, маленькие механические устройства, которые ему нравилось без конца разбирать и собирать снова. Вспомнился и самолетик с мотором, подаренный бабушкой, который ему никогда не удавалось поднять в воздух. Это был красивый самолет цвета хаки; в конце концов он так и остался лежать в коробке. Его бытие, освещенное токами воспоминаний, похоже, было наделено некоторыми индивидуальными чертами. Есть существа, и есть мысли. Мысли не занимают места. Существа же оккупируют часть пространства; мы видим их. Их образ формируется на кристаллике, проникает сквозь влагу слизистой оболочки глаза, попадает на сетчатку. Один в пустом доме, Мишель присутствовал на скромном шествии воспоминаний. На протяжении вечера в его мозг мало-помалу проникала, наполняя его, единственная непреложная уверенность: скоро он сможет опять приняться за работу.

Повсюду на поверхности планеты род людской, усталый, вымотанный, сомневающийся в самом себе и в собственной истории, худо ли бедно, готовился вступить в новое тысячелетие.

Кое-кто говорит:
“Наша новая цивилизация еще так молода, еще так непрочна,
Только-только пробились мы к свету,
Мы все еще носим в себе опасную память о прежних веках,
мы ее не изжили сполна,
Может быть, лучше не бередить, не затрагивать это?”

Тут рассказчик встает, собирается с мыслями, напоминает,
Спокойно, но твердо напоминает
О том, что в мире произошла метафизическая революция.

Точно так же, как христиане могли размышлять об античности,
изучать историю древнего мира,
не рискуя вернуться к язычеству, усомниться в Христе,
Потому что они перешли уже некий рубеж,
Шагнули на следующий уровень,
Миновали водораздел;

И как люди эпохи материализма могли созерцать
христианскую службу невидящим взором, оставаясь
глухими к ее содержанию,
Как читали они христианские книги, принадлежавшие их же культуре,
взглядом чуть ли не антропологов, изучающих каменный век,
Не умея понять, что же так волновало их предков
в спорах вокруг благодати или определения греха;

Так же и мы в состоянии сегодня выслушать эту историю
из прошлой эпохи,
Просто как повесть о людях минувших времен.
Эта повесть печальна, но нас не встревожит,
не вызовет слезы и вздохи,
Ибо мы не похожи нисколько на этих людей.
Порожденье их плоти, дети их грез,
мы отвергли их ценности, их представления,
Нам непонятны их радости, как и томления,
Мы отринули
С легкостью,
Без усилья,
Их пронизанный смертью мир.

Те столетия боли и горя без меры
Мы сегодня должны из забвенья вернуть.
Безвозвратно окончилась старая эра,
Мы свободны вершить независимый путь.

Между 1905 и 1915 годами Альберт Эйнштейн, почти совсем один, обладая ограниченными математическими познаниями, смог, исходя из

первоначально интуитивной догадки, предопределившей принципы собственно теории относительности, разработать общую теорию гравитации, пространства и времени, которой предстояло оказать решающее воздействие на развитие позднейшей астрофизики. Этот дерзкий, одинокий труд, совершившись, по выражению Гилберта, "к чести человеческого разума" в области, по видимости далекой от какой-либо полезной практики, и в эпоху, непригодную для создания исследовательских сообществ, можно сравнить с работами Кантора, создавшего типологию становящейся бесконечности, или Готлоба Фреге, пересмотревшего основания логики. Равным образом, как подчеркивает Хюбчеяк в своем предисловии к "Клифденским заметкам", можно уподобить его одиноким интеллектуальным усилиям, между 2000 и 2009 годами предпринятым в Клифдене Джерзински, — тем паче что Джерзински еще в большей мере, чем в свое время Эйнштейну, не хватало математического обеспечения, чтобы подвести под свои догадки по-настоящему строгий фундамент.

Тем не менее первая публикация Джерзински — "Топология редукционного деления клетки", — выйдя в свет в 2002 году, вызвала довольно заметный резонанс. Там содержалось утверждение, впервые обоснованное неопровержимыми аргументами из области термодинамики, что хромосомное деление, происходящее в момент мейоза с целью зарождения гаплоидных гамет, в себе самом содержит источник структурной нестабильности; иначе говоря, что всякий биологический вид, имеющий пол, неизбежно смертен.

Опубликованные в 2004 году "Три вероятности топологии гилбертовых пространств" были встречены с удивлением. Эту работу можно рассматривать как опровержение динамики континуума и как попытку — со странными обертонами платонизма — нового обоснования топологической алгебры. Признавая интерес представленных автором вероятностей, математики-профессионалы не преминули подчеркнуть недостаток строгости в его пропозициях, известный анахронизм в самом характере подхода к вопросу. И в самом деле, Хюбчеяк признает, что Джерзински в ту пору не имел доступа к новейшим математическим публикациям, создается даже впечатление, что он уже и не слишком интересовался ими. По существу, мы располагаем очень ограниченным числом свидетельств его деятельности в 2004—2007 годах. Он регулярно наезжал в голуэйский Центр, но его отношения с другими экспериментаторами оставались сугубо профессиональными и функциональными. Он приобрел некоторые рудиментарные компоненты ассемблера "Крей", что в большинстве случаев избавляло его от надобности обращаться к помощи программистов. Один только Уолкотт, похоже, поддерживал с ним более личные отношения. Он и сам жил близ Клифдена и порой на склоне дня наносил ему визиты. По его свидетельству, Джерзински часто вспоминал Огюста Конта, в особенности его письма к Клотильде де Во и "Субъективный синтез" — последнее, незаконченное произведение философа.

Они шагали по Балликоннильской дороге; океан мерцал у их ног. Вдали, на горизонте, над Атлантикой садилось солнце. У Уолкотта все чаще

создавалось впечатление, что мысли Джерзински бродят в туманных, если не мистических сферах. Сам-то он оставался сторонником радикального инструментализма; наследник традиций англосаксонского прагматизма, к тому же несущий на себе печать влияния трудов Венского кружка[1], он с легким недоверием относился к сочинениям Конта, в его глазах они были слишком романтичны. Позитивизм в противоположность материализму, на смену которому он пришел, может, подчеркивал Уолкотт, стать основанием нового гуманизма, который на самом-то деле возникнет впервые (поскольку материализм по самой сути несовместим с гуманизмом, недаром он его в конце концов разрушил). Что отнюдь не исключает исторической роли материализма: следовало преодолеть первый барьер, то есть Бога; преодолев его, люди впали в растерянность и сомнение. Но сегодня и этот второй барьер рухнул, это свершилось в Копенгагене. У них больше нет надобности ни в Боге, ни в идее запредельной реальности. "Существуют, – говорил Уолкотт, – человеческие восприятия, человеческие свидетельства, человеческий опыт; есть разум, связывающий эти перцепции воедино, и чувство, оживляющее их. Все это развивается помимо всяческой метафизики или какой бы то ни было онтологии. Нам уже не требуются идеи Бога, природы или реальности. На основании экспериментальных данных внутри сообщества наблюдателей согласие может быть установлено на рациональной межличностной основе..."

Его позиция была неуязвима, Джерзински сознавал это: разве потребность в онтологии не была детской болезнью человеческого разума? К концу 2005 года он во время поездки в Дублин случайно обнаружил "Книгу кельтов". Хюбчеяк утверждает без колебаний, что встрече с этой красочной, в формальном отношении чудовищно сложной рукописью, по всей вероятности созданной монахом-ирландцем в VII веке нашей эры, было суждено стать поворотным пунктом в развитии его мысли и что продолжительное созерцание сего труда позволило ему в результате серии прозрений, которые задним числом обретают в наших глазах характер чуда, одолеть сложности расчета энергетической стабильности в недрах макромолекул, встречаемые в биологии. Не видя необходимости соглашаться со всеми утверждениями Хюбчеяка, надобно признать, что "Книга кельтов" всегда, на протяжении столетий, вызывала у комментаторов восторженные, почти экстатические излияния. Можно ради примера привести описание, сделанное в 1185 году Гиральдусом Камбренсисом:

Эта книга содержит толкование соответствий в четырех Евангелиях согласно тексту Святого Иеронима и почти столько же рисунков, сколько страниц, причем они волшебно разукрашены. Здесь можно созерцать лик Божественного величия, чудесно нарисованный; представлены также описанные евангелистами мистические животные, среди коих есть разные – и шестикрылые, и четырехкрылые, и двоекрылые. Здесь видишь орла, там тельца, здесь человеческий лик, там – львиная морда и прочие, почти бесчисленные изображения. Если смотреть небрежно, мимоходом, можно подумать, что это всего лишь мазня, а не осмысленная композиция. И не увидеть никаких тонкостей, тогда как здесь

1. Философский кружок, сложившийся в Вене в 1922 году и разработавший основы логического позитивизма.

сплошь тонкости. Если же возьмешь на себя труд вникнуть с большим вниманием, проницая взглядом тайны искусства, узришь столько сложного, столько утонченности и остроты понимания, и все это так сближено, переплетено, связано, а краски так свежи и светоносны, что можно без околичностей объявить: все это, должно быть, творение ангельских, но не человеческих рук.

Равным образом можно последовать за Хюбчеяком в его утверждении, что любая новая философия, даже если она заявляет о себе в аксиоматической, по видимости чисто логической форме, в действительности взаимосвязана с новой визуальной концепцией Вселенной. Одаряя человечество физическим бессмертием, Джерзински, совершенно очевидно, произвел глубокую модификацию нашей концепции времени; но главной его заслугой, по мнению Хюбчеяка, было то, что он заложил исходные элементы новой философии пространства. Чтобы приблизиться к Джерзински, ощутить ход его мысли, достаточно углубиться в бесконечные построения из кругов и спиралей, составляющих орнаментальную основу "Книги кельтов", или перечитать великолепные "Раздумья о переплетениях", внушенные ему этим манускриптом и опубликованные отдельно от "Клифденских заметок".

Природные формы, – пишет Джерзински, – суть формы человеческие. Это в нашем мозгу возникли треугольники, переплетения и разветвления. Мы узнаем их, мы их оцениваем, мы живем, окруженные ими. Живем в среде наших же, людских созданий, соотносимых с человеком, мы развиваемся и умираем. В лоне пространства, человеческого пространства, мы производим измерения; этими измерениями мы творим пространство.

Человек мало осведомлен, – продолжает Джерзински, – его пугает идея пространства; он воображает его огромным, ночным и разверстым. Он представляет себе существ простейшей шарообразной формы, затерянных в пространстве, съежившихся, раздавленных вечным присутствием трех измерений. Напуганные идеей пространства, человеческие существа ежатся; им холодно, им страшно. В лучшем случае они пересекают пространство, печально приветствуя друг друга при встрече. А между тем это пространство заключено в них самих, речь идет не более чем о порождении их собственного сознания.

В этом пространстве, внушающем страх, – пишет далее Джерзински, – человеческие существа учатся жить и умирать; в пространстве их сознания зарождаются разлука, обособленность и боль. Это не требует долгих рассуждений: влюбленный через горы и океаны слышит зов своей любимой, мать слышит призыв своего ребенка. Любовь соединяет, и соединяет она навсегда. Практика добра – связывание, практика зла – разделение. Разделение – это второе имя зла; и таково же второе имя лжи. На самом деле не существует ничего, кроме чудесной связи, огромной и взаимной.

Хюбчеяк справедливо отмечает, что самой большой заслугой Джерзински является не то, что он опрокинул устаревшее понятие индивидуальной свободы (поскольку данный концепт был уже значительно обесценен в его эпоху и каждый признавал, в крайнем случае молча, что он никак не может служить фундаментом прогресса человечества), а то, что под углом зрения постулатов квантовой механики сумел посредством интерпретаций, правда немного слишком дерзких, заново возродить

условия возможности любви. В этой связи стоит еще раз вспомнить Аннабель: сам не познав любви, Джерзински через посредство Аннабель смог создать представление о ней; он получил возможность понять, что любовь в известном смысле, в еще неведомых формах может иметь место. Весьма вероятно, что это представление владело им в те последние месяцы теоретических разработок, о подробностях которых нам известно так мало.

По свидетельствам тех немногих лиц, с которыми Джерзински сталкивался в Ирландии в последние недели, на него, казалось, снизошло умиротворение. Его беспокойное, подвижное лицо выглядело безмятежным. Он подолгу без цели бродил по Скай-роуд, и свидетелем этих длительных задумчивых прогулок были только небеса. Извиваясь по холмам, дорога, то обрывистая, то пологая, шла на запад. Море сверкало, отбрасывая трепетные блики на скалистые берега дальних островков. Облака, быстро увлекаемые ветром к горизонту, образовывали сияющие диковинные массы, выглядевшие до странности плотными. Он шел и шел, не чувствуя усталости, и легкая туманная дымка влагой оседала на его лице. Его труды завершились, он знал об этом. В комнате, превращенной им в кабинет, с окном, выходившим на мыс Эррисланнен, он привел в порядок свои записи – несколько сотен страниц размышлений на самые разнообразные темы. Результаты его в собственном смысле научных работ заняли восемьдесят машинописных страниц – он не счел нужным приводить подробности своих расчетов.

Двадцать седьмого марта 2009 года, на склоне дня, он отправился в Голуэй на центральный почтамт. Отправил сначала первый экземпляр своих трудов в Париж, в Академию наук, затем отослал второй в Великобританию, в журнал "Природа". Насчет того, что он предпринял потом, нет сколько-нибудь определенных сведений. Тот факт, что его автомобиль был обнаружен в непосредственной близости от Огрус-Пойнта, разумеется, наталкивает на мысль о самоубийстве – тем паче что ни Уолкотт, ни кто-либо из технического персонала Центра, по сути, не выказали удивления подобным исходом. "В нем было что-то неимоверно печальное, – нехотя объяснил Уолкотт, – по-моему, это был самый грустный человек, какого я встречал в своей жизни, к тому же слово "печаль" кажется мне слабоватым: тут бы скорее следовало сказать, что он создавал впечатление человека разрушенного, опустошенного вконец. Мне всегда казалось, что жизнь ему в тягость, что он успел утратить всякую связь с чем бы то ни было живым. Думаю, что он продержался точь-в-точь столько времени, сколько требовалось для завершения его трудов, и никому из нас не дано представить, каких усилий это ему стоило".

Как бы то ни было, вокруг исчезновения Джерзински сгустилась тайна, и то обстоятельство, что тело его так и не было обнаружено, породило стойкую легенду, согласно которой он отправился в Азию, а именно в Тибет, дабы поверить результаты своей работы сопоставлением с некоторыми положениями традиционного буддизма. Ныне эта гипотеза единодушно отвергается. С одной стороны, не удалось найти никаких следов его предполагаемого авиаперелета из Ирландии; с другой стороны, рисунки, оставленные на последних страницах его запис-

ной книжки, которые одно время трактовались как мандалы, в конце концов были идентифицированы как комбинации кельтских символов, близких к тем, что использованы в "Книге кельтов".

Ныне мы считаем, что Мишель Джерзински нашел свою смерть в Ирландии, там же, где он по собственному выбору прожил свои последние годы. Мы также полагаем, что, как только его работы подошли к концу, он, лишенный всех человеческих привязанностей, предпочел умереть. Многочисленные свидетельства удостоверяют, что он пребывал во власти очарования этой крайней точки западного мира, вечно омываемой нежным, трепетным светом, где он так любил бродить, или, как он пишет в одной из своих последних заметок, "где перемешаны небо, вода и солнечный свет". Мы думаем теперь, что Мишель Джерзински исчез в море.

Эпилог

Нам известно множество подробностей касательно жизни, внешнего вида и характера персонажей данного повествования; но тем не менее эту книгу надлежит рассматривать скорее как вымысел, правдоподобную реконструкцию на основе отрывочных воспоминаний, нежели как достоверное и однозначное отражение действительности. Даже если увидевшим свет "Клифденским заметкам", этой сложной смеси личных впечатлений, воспоминаний и теоретических построений, запечатленных на бумаге рукой Джерзински между 2000 и 2009 годами, в тот самый период, когда он работал над своей обобщенной теорией, если "Клифденским заметкам" дано поведать нам многое о событиях его жизни, бифуркациях, конфронтациях и драмах, предопределивших его особое мировидение и способ существования, тем не менее как в его биографии, так и в личности остается немало темных пятен. То же, что случилось потом, напротив, принадлежит Истории, и события, ставшие следствием публикации работ Джерзински, столько раз описаны, прокомментированы и проанализированы, что можно ограничиться их кратким резюме.

Июньской публикации 2009 года в специальном выпуске журнала "Природа", под названием "Пролегомены к идеальной репликации", на восьмидесяти страницах обобщающей последние работы Джерзински, суждено было стать потрясением для всего мирового научного сообщества. Во всех концах мира исследователи-микробиологи пытались повторить предлагаемые эксперименты, проверить подробности расчетов. Через несколько месяцев подоспели первые результаты, а уж потом неделю за неделей они без конца накапливались, с безупречной точностью подтверждая справедливость исходных гипотез. К концу 2009 года не могло оставаться уже никакого сомнения: выводы Джерзински соответствуют действительности, их надлежит признать научно обоснованными. Было очевидно, что их практические следствия головокружительны: любой генетический код, сколь угодно сложный, может быть переза-

писан в стандартной, структурно стабилизированной форме, недоступной для нарушений и мутаций. Таким образом, любая клетка может быть наделена способностью бесконечного последовательного репродуцирования. Всякое живое существо, как бы ни было оно развито, может быть трансформировано в похожее, но размножаемое посредством клонирования и бессмертное.

Когда Фредерик Хюбчеяк одновременно с несколькими сотнями ученых в разных концах планеты открыл для себя труды Джерзински, ему было двадцать семь лет, он заканчивал докторскую диссертацию по биохимии в Кембридже. Беспокойный ум, путаник, непоседа, он за несколько лет исколесил всю Европу — в архивах университетов Праги, Геттингена, Монпелье и Вены остался след его пребывания, он поочередно зачислялся студентом во все эти учебные заведения, ища, по собственному выражению, "новой парадигмы, но не только: помимо иного способа смотреть на мир, еще и устанавливать другие связи с ним". Как бы то ни было, он стал первым и на многие годы единственным, кто, исходя из трудов Джерзински, отстаивал следующее радикальное предложение: человечество должно исчезнуть, дать жизнь новому роду, бесполому и бессмертному, тем самым преодолев индивидуальность, разобщенность и понятие будущего. Бесполезно описывать негодование, которое подобный проект должен был вызвать в среде поборников религий откровения — иудаизма, христианства и ислама, которые, разом объединившись, единодушно обрушили анафему на эти труды, объявив их "серьезным покушением на достоинство человека, состоящее в единичности его взаимоотношений с Творцом"; только буддисты высказали замечание, что, как бы то ни было, отправной точкой размышлений Будды было осознание трех помех: старости, болезни и смерти, а также того, что венец творения, будучи призван посвятить себя прежде всего размышлению, не должен отвергать с порога техническое решение этих проблем. Так или иначе, совершенно очевидно, что Хюбчеяку не стоило рассчитывать на большую поддержку со стороны официальных религиозных конфессий. Надобно заметить, что гораздо удивительнее был категорический отпор, который он получил от приверженцев традиционных гуманистических ценностей. Как ни трудно нам сегодня постичь смысл таких понятий, как "свобода личности", "человеческое достоинство" и "прогресс", надлежит вспомнить, какое главенствующее место они занимали в сознании людей материалистической эпохи (то есть тех нескольких столетий, что отделяют крах средневекового христианства от момента публикации работ Джерзински). Туманный и произвольный характер названных понятий, разумеется, помешал им оказать мало-мальски эффективное воздействие на реальную общественную ситуацию — таким образом, историю человечества от XV до XX столетия можно в общем и целом охарактеризовать как период прогрессирующего разложения и распада; тем не менее представители образованных и полуобразованных кругов, которые худо-бедно сумели внести свой вклад в утверждение этих понятий, с такой яростью за них цеплялись, что Фредерику Хюбчеяку в первые годы пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы быть услышанным.

В истории этих нескольких лет, потраченных Хюбчеяком на то, чтобы добиться единодушного одобрения проекта (поначалу встречен-

ного с единодушным брезгливым неприятием мировым общественным мнением, пока в конце концов дело не дошло до финансирования его из фондов ЮНЕСКО), – перед нами вырисовывается портрет блестящего, чрезвычайно боевитого деятеля, наделенного умом одновременно живым и практическим, короче говоря, портрет непревзойденного популяризатора идей. Сам по себе он, разумеется, был создан не из того теста, из какого получаются великие ученые; зато он сумел использовать то единодушное почтение, какое в межнациональной научной среде вызывали имя и работы Мишеля Джерзински. Еще того меньше оснований приписывать Хюбчеяку склад ума глубокого, оригинального философа; но он смог в своих предисловиях и комментариях к "Раздумьям о переплетениях" и "Клифденским заметкам" придать мыслям Джерзински форму одновременно впечатляющую и четкую, доступную широкой публике. Первая статья Хюбчеяка "Мишель Джерзински и копенгагенские интерпретации" вопреки своему названию представляет собой обстоятельные размышления по поводу фразы Парменида: "Акт и объект мышления совпадают". В своей следующей работе "Трактат о конкретном ограничении", равно как и в другой, более просто названной "Реальность", он делает любопытную попытку свести воедино логический позитивизм Венского кружка и религиозный позитивизм Конта, временами не отказывая себе в праве на лирические отступления, о чем может свидетельствовать следующий часто цитируемый пассаж: "Не существует никакого так называемого вечного безмолвия и бесконечного пространства, ибо в действительности не существует ни безмолвия, ни пространства, ни пустоты. Мир, что нам известен, – это мир, который творим мы сами, мир человеческий округл, гладок, однороден и тепел, как женская грудь". Так или иначе, он сумел внушить все более возрастающей части публики, что на той стадии развития, которой оно достигло, человечество может и должно поставить под свой контроль всемирную эволюцию в целом, а в особенности собственную биологическую эволюцию. В своей борьбе он получил бесценную поддержку со стороны некоторой части неокантианцев, которые, используя накативший прилив ницшеанского влияния на общественную мысль, взяли в свои руки многие важные командные рычаги в интеллектуальных, университетских и издательских кругах.

И все же, по общему мнению, истинным гением Хюбчеяк показал себя, когда сумел, проявив невероятную прозорливость в оценке смысла происходящего, обернуть в пользу своей программы странное, незаконнорожденное идеологическое течение, появившееся в конце XX столетия под названием *New Age*. Он первым в свою эпоху смог разглядеть за массой обветшалых, противоречивых и смешных суеверий, к которым при поверхностном взгляде сводится это течение, тот факт, что по сути *New Age* есть реакция на то реальное страдание, источником которого является психологическая, онтологическая и социальная раздробленность. За отвратительной смесью фундаментальной экологии, тяготения к традиционалистскому мышлению и "святыням", унаследованной от родственного движения хиппи и Изаленских идей, *New Age* проявлял реальную жажду разрыва с XX веком, его иммoрализмом, его индивидуализмом, его анархистскими, антисоциальными пристрастиями; он свидетельствовал о тревожном понимании, что ни одно обще-

ство не может быть жизнеспособным без объединяющей оси какой-либо религии; на деле он являл собой мощный призыв к смене парадигмы.

Более чем кто-либо другой сознавая, что компромисс бывает необходим, Хюбчеяк в лоне Движения человеческого потенциала, созданного им в 2011 году, без колебаний принял на вооружение несколько тем, откровенно принадлежавших *New Age*, от призыва к созданию всемирного правительства на основе "нового альянса" до почти рекламного девиза: ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЖЕНСКИМ. Он проделал это с ловкостью, вызывающей единодушный восторг всех комментаторов, притом тщательно избегал любых отклонений в область иррационализма или сектантства и, напротив, умел снискать себе могущественную поддержку в ученых кругах.

Для исследований в области истории человечества характерна несколько циничная тенденция выпячивать "ловкость" как основное условие успеха, в то время как она сама по себе, при отсутствии страстной убежденности, не способна привести к поистине решающим изменениям. Все, кто имел случай встречаться с Хюбчеяком или противостоять ему в дискуссиях, единодушно подчеркивают, что источником его притягательной силы, его обаяния, его неподражаемой харизмы была глубокая простота и подлинная личная убежденность. При любых обстоятельствах он говорил примерно то же, что и думал, и в рядах его оппонентов, скованных помехами и ограничениями, порожденными устаревшей идеологией, такая простота производила уничтожающее действие. Один из первых упреков, обращенных к его проекту, был упрек в том, что его воплощение ведет к упразднению сексуальных различий, столь основополагающего признака человеческой самотождественности. На это Хюбчеяк отвечал, что речь не о том, чтобы лишить род человеческий части его свойств, а чтобы создать новый род разумных существ, и что конец пола как условия размножения ни в коей мере не означает прощания с сексуальными наслаждениями. Скорее напротив. Не так давно были выделены кодирующие сегменты ДНК, ответственные за формирование корпускул Краузе во время эмбриогенеза; при нынешнем состоянии рода людского эти корпускулы в малом количестве рассыпаны по поверхности клитора и головки мужского полового члена. В грядущем же ничто не помешает приумножить их количество, распространить их по всей поверхности кожи в целом, обогатив таким образом структуру наслаждений новыми и почти неслыханными эротическими переживаниями.

Другие критики — вероятно, эти смотрели глубже — сосредоточились на том факте, что в лоне нового рода, сотворенного исходя из трудов Джерзински, все индивиды станут носителями одинакового генетического кода; таким образом, исчезнет один из основных элементов, определяющих своеобразие человеческой личности. На это Хюбчеяк запальчиво возражал, что врожденная индивидуальность, которой мы в силу трагического заблуждения так гордимся, как раз и служила источником наибольшего процента наших бед. Идее, что человеческой личности грозит исчезновение, он противопоставлял конкретный и наглядный пример однояйцовых близнецов, которые несмотря на свой абсолютно идентичный генотип впоследствии развивают собственную личность в зависимости от индивидуальных жизненных обстоятельств, сохраняя

при том узы таинственного братства — братства, каковое, по Хюбчеяку, как раз и является самым необходимым элементом возрождения примиренного человечества.

Нет никакого сомнения, что Хюбчеяк не лукавил, объявляя себя простым продолжателем Джерзински, всего лишь исполнителем, единственным стремлением которого является практическое осуществление замыслов учителя. Порукой тому, например, его верность странной идее, высказанной на странице 342 "Клифденских заметок": численность нового рода должна всегда оставаться равной численности рода предшествующего; стало быть, нужно сотворить индивида, затем двух, потом трех, пятерых... короче, вплоть до того, как снова доберешься до первоначального числа. Целью же являлось поддержание количества индивидов, составляющего цифру, делящуюся только на самое себя и на единицу, и, вероятно призванного символически привлечь внимание к той опасности, какую в недрах любого социума представляет допущение возможности дробить его на отдельные части. Однако следует заметить, что Хюбчеяк поместил это условие в опубликованный список глобальных задач, никак не озаботившись прояснением его смысла. Если же рассматривать проблему в более общем виде, становится ясно, что чисто позитивистское прочтение трудов Джерзински должно было привести Хюбчеяка к постоянной недооценке масштабов метафизического переворота, который неизбежно должен был сопровождать столь глубокую биологическую мутацию — мутацию, по существу, не имевшую прецедентов в истории человечества.

Такое грубое непризнание философского смысла проекта и даже самого понятия философского смысла *вообще*, однако же, ни в коей мере не могло воспрепятствовать его реализации или даже затормозить ее. Это говорит о том, как широко во всей совокупности западных обществ, равно как и в наиболее продвинутой ее части, представленной движением *New Age*, распространилась идея, что фундаментальная мутация становится необходимой для выживания человеческого сообщества — такая мутация, которая убедительным образом возродит смысл понятий коллективности, постоянства и святости. Это говорит также о том, насколько философские вопросы в глазах публики утратили какую-либо основательность. Вселенское осмеяние, которому после десятилетий бессмысленного почитания внезапно подверглись труды Фуко, Лакана, Деррида и Делёза, не только не оставило в тот момент места для какой-либо новой философской доктрины, а, напротив, вконец дискредитировало все то сообщество интеллектуалов, что объявляло себя "гуманитариями"; с этого времени во всех областях мысли необратимо вошли в силу деятели науки. Даже тот случайный, противоречивый и шаткий интерес, который сторонники *New Age* время от времени проявляли к верованиям, берущим начало в "традициях старинной духовности", свидетельствовал всего лишь об их мучительной растерянности, доходящей до пределов шизофрении. На самом деле они, как и прочие члены общества, а может быть, и того больше, не могли верить ничему, кроме науки, наука была для них единственным и неопровержимым критерием истинности. В глубине души они, как и другие члены общества, считали, что разрешение всех проблем — включая психологические, социологические и, в более общем смысле слова, человеческие — лежит в

сфере технической мысли. Так что Хюбчеяк, по существу, не рисковал столкнуться с сопротивлением, когда в 2013 году провозгласил свой знаменитый девиз, которому было суждено воистину стать началом переворота в общественном мнении, планетарного по своим масштабам: ПЕРЕМЕНА СОВЕРШИТСЯ НЕ В УМАХ, А В ГЕНАХ.

Первые кредиты были на основе голосования выделены постановлением ЮНЕСКО в 2021 году; команда ученых под управлением Хюбчеяка тотчас взялась за работу. Сказать по правде, в научном плане от его руководства было не много толку; зато он был сногсшибательно эффективен в той области, которую можно определить как "связи с общественностью". Чрезвычайная быстрота, с которой подоспели первые результаты, не могла не поражать; лишь гораздо позже стало известно, что на самом деле многие исследователи из числа ближайших приверженцев или просто сторонников Движения человеческого потенциала в своих лабораториях в Австралии, Бразилии, Канаде или Японии приступили к этой работе уже давно, не ожидая, когда ЮНЕСКО даст им зеленую улицу.

Создание первого существа, первого представителя новой мыслящей расы, созданного человеком "по своему образу и подобию", имело место 27 марта 2029 года, ровно — день в день — через двадцать лет после исчезновения Мишеля Джерзински, и хотя в составе группы не было ни одного француза, синтез произошел в лаборатории Института молекулярной биологии в Палезо. Естественно, что телевизионная ретрансляция с места события имела огромный резонанс, он оставил далеко позади даже тот ажиотаж, что около шестидесяти лет назад, июльской ночью 1969 года, вызвала прямая трансляция первых шагов человека на Луне. Предваряя репортаж, Хюбчеяк произнес очень краткую речь, где со свойственной ему жестокой искренностью объявил, что человечество должно гордиться тем, что оно стало "первым в пределах известной нам Вселенной родом животных, самостоятельно подготовившим условия для собственного вытеснения".

Ныне, спустя почти полстолетия, действительность в достаточной мере подтвердила пророческое значение слов Хюбчеяка — подтвердила с таким избытком, что он и сам, вероятно, такого не предполагал. Кое-какие особи прежней расы еще существуют, главным образом в регионах, долгое время подвергавшихся влиянию традиционных религиозных доктрин. Однако процент их размножения год от года уменьшается, и в настоящее время их вымирание представляется неотвратимым. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, это угасание рода происходит мирно, несмотря на отдельные акты насилия, число которых постоянно уменьшается. Даже странно видеть, как кротко, с какой покорностью и, может статься, с тайным облегчением люди приняли неизбежность своего исчезновения.

Мы живем, разорвав последние узы, связывавшие нас с человечеством. По человеческим меркам, мы живем счастливо; мы и вправду укротили силы, непобедимые в глазах людей: эгоизм, гнев, жестокость; мы живем во всех смыслах другой жизнью. Наука и искусство по-прежнему суще-

ствуют в нашем обществе; но погоня за Истиной и Красотой, не подстегиваемая, как раньше, кнутом личного тщеславия, в сущности, уже не носит столь животрепещущего характера. На людей стародавней расы наш мир производит впечатление рая. Впрочем, нам и самим порой случается — правда, в несколько юмористическом духе — называть себя "богами", о чем люди когда-то так мечтали.

История не исчезла, она настоятельно необходима, она властвует, и ее власть неоспорима. Но, помимо неукоснительной приверженности фактам истории, это сочинение стремится напоследок выразить почтение к тому злополучному и отважному роду, который создал нас. Этот многострадальный и подлый род, не слишком отличный от обезьян, тем не менее нес в себе благородные чаяния. Болезненный, обремененный противоречиями, ревнитель индивидуализма, драчливый, безмерно эгоистичный, порой способный на чудовищные взрывы насилия, род этот все же никогда не переставал верить в добро и любовь. И сверх того он впервые в истории нашел в себе мужество воспринять идею возможности собственного исчезновения путем самопреодоления, а несколько лет спустя сумел осуществить эту идею на практике. Ныне, когда угасают его последние представители, мы считаем уместным воздать человечеству последнюю дань уважения; последнюю дань, воспоминание о которой в свой черед тоже исчезнет, поглощенное зыбучими песками времен; и все-таки необходимо, чтобы такое уважение, по меньшей мере однажды, было высказано. Эта книга посвящается человеку.

Хосе Морено Вилья

Стихи разных лет

Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

Для читающего испанца Хосе Морено Вилья прежде всего поэт круга Гарсиа Лорки. Справедливо ли это? И да, и нет. Справедливо ли, что прекрасные поэты Дельвиг и Вяземский остаются для нас прежде всего друзьями Пушкина? Что поделаешь — гении отбрасывают слишком большую тень.

Между тем стихи Морено Вильи высоко ценили Хуан Рамон Хименес и Антонио Мачадо, Педро Салинас и Рафаэль Альберти, Луис Сернуда и Октавио Пас. Знаменитый философ и эссеист Ортега-и-Гассет предварил своим предисловием его поэтическую книгу "Путник".

Морено Вилья был, кроме того, профессиональным художником. Его картины выставлялись вместе с полотнами молодого Сальвадора Дали, и неизвестно, кто из них первым придумал чуть ли не эмблему сюрреализма: загадочные лестницы и костыли, что подпирают в безлюдной пустыне чьи-то условные головы, одиноко стоящие на раскаленном песке.

Морено Вилья считал, что у него две родины — Андалусия и Германия. Он родился 16 февраля 1887 года на юге Испании, в Малаге, а юность провел в Германии, где изучал химию в старинном университете Фрайбурга.

С детских лет полюбил он андалусскую народную песню — ее глубокий и сильный звук, столь полно и разнообразно отозвавшийся в душе лучших испанских поэтов — от Беккера до Лорки. Молодой Морено Вилья восхищался поэтическими опытами Мануэля Мачадо, на свой лад переложившего андалусские песни-коплы, и сам некоторое время работал в том же ключе:

© Н. Ванханен. Вступление, перевод, 2000

Маленькая копла

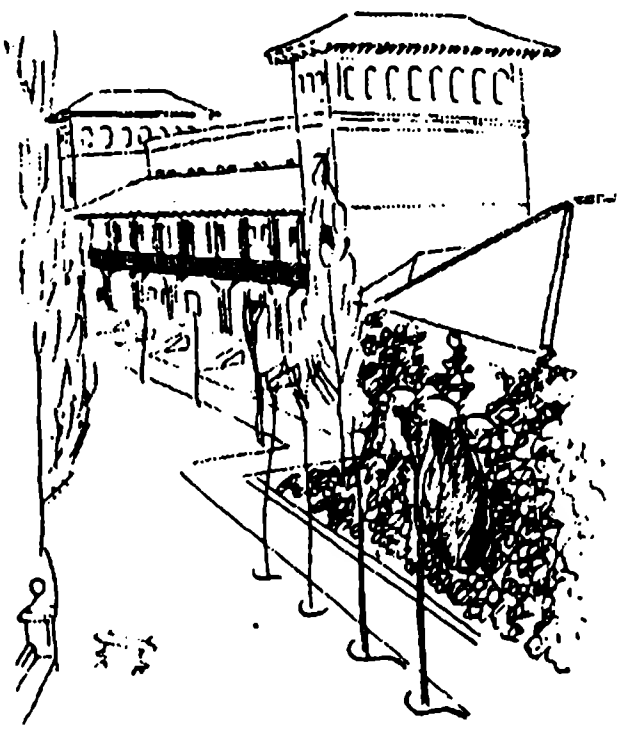
Кто любовь-паломницу
знал в моем краю,
кто открыл ей горницу —
побывал в раю.

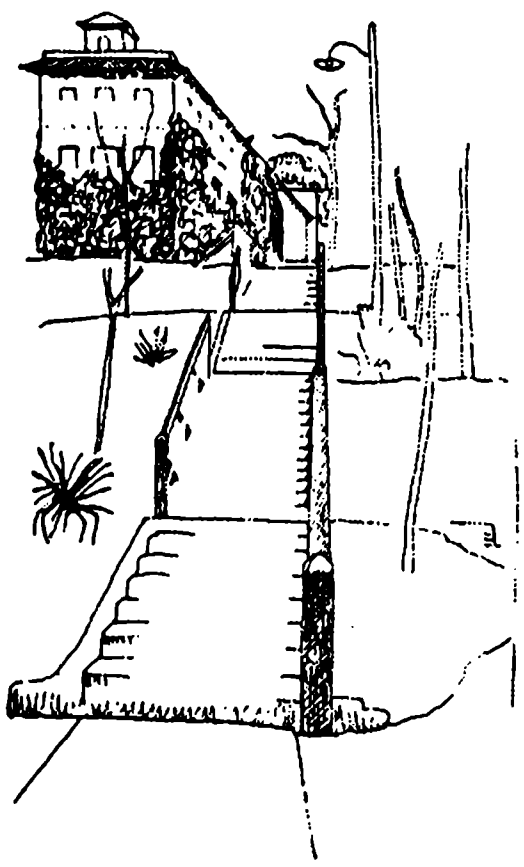
Кто за ней не хаживал,
не встречал в пути —
точно умер заживо,
Бог его прости!

(1913)

Самые яркие и плодотворные годы Вильи приходятся на его мадридскую эпоху, особенно двадцатые — начало тридцатых годов. Сейчас даже трудно представить себе то время — время больших ожиданий, творческих взлетов, горячих споров, дружеского веселья, поистине прекрасных встреч и общения целой плеяды бесконечно талантливых людей, одновременно оказавшихся в Мадриде в канун победы Республики. Жарким котлом этого кипения умов и дарований стала так называемая Студенческая Резиденция (мы бы сказали — общежитие) — экспериментальный центр свободного обучения, возникший еще в десятых годах. Его красные кирпичные корпуса тепло и нарядно сияли посреди зеленого, обсаженного тополями холма на тогдашней окраине — а ныне почти в центре столицы. По приглашению выступить перед студентами сюда приезжали деятели науки и культуры со всего света. Знаменитые писатели, поэты, драматурги, ученые, музыканты, режиссеры — кто только не побывал по адресу Пинар, 17, Студенческая Резиденция. С лекциями, концертами, чтением стихов. Мигель де Унамуно, Хуан Рамон Хименес, Антонио Мачадо, Поль Валери, Честертон, Поль Клодель, Мария Кюри, Альберт Эйнштейн... Музыканты Морис Равель, Игорь Стравинский, Мануэль де Фалья... И многие, многие другие.

Слушатели были под стать выступающим: в двадцатых годах здесь одновременно живут и посещают лекции Федерико Гарсиа Лорка, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль.





Студенческая Резиденция. Рис. Х. Морено Вильи

Орден рыцарей Толедо.
Слева направо: Пепин Бельо, Хосе Морено Вилья, Мария Луиса Гонсалес, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали, Хуан Висенс. 1924 г.

Хосе Морено Вилье выпало стать старожилом Резиденции — его даже называли "вечным студентом".

В 1917 году его пригласили сюда в качестве наставника — была здесь такая должность, нечто среднее между лектором и воспитателем. Кстати, к тому времени специальностью Вильи оказалась вовсе не химия, а архитектура и история искусства. Вскоре он опубликует монографию о Веласкесе, а позже, увлекшись персонажами великого художника, выпустит искусствоведческую книгу "Карлики, бесноватые, пажи и арапчата при дворе испанских королей".

Занят он и переводами с немецкого, и издательской деятельностью: работает в новом журнале "Архитектура", выпускает книгу стихов основателя испанского романтизма Хосе де Эспронседы.

К моменту переезда в Резиденцию Вилья уже автор нескольких поэтических книг. По возрасту он значительно старше многих воспитанников, но близко сходится с молодежью Резиденции и даже вступает в веселый Орден рыцарей Толедо (его членами были Лорка, Дали, Бунюэль и другие), на равных участвует в походах по окрестностям, разнообразных шалостях и нешуточных беседах "рыцарей" об искусстве. Лорке нравятся его стихи. "Поэтический голос Морено Вильи нежный, как ирис", — напишет он. Кстати, именно Морено Вилья подсказал Лорке сюжет пьесы "Донья Росита, или Язык цветов". Лорка вспоминал: "Мой друг Морено Вилья как-то остановил меня: "Послушай, давай я расскажу тебе чудесную историю о цветке — о "розе изменчивой". Я вычитал ее в книге по цветоводству восемнадцатого века." — "Расскажи." — "Жила-была роза..." И когда он закончил эту чудную историю, комедия моя была уже готова. От начала до конца. Она явилась мне цельной и завершенной..."[1]

Сам Вилья в дальнейшем расскажет о той волшебной поре в автобиографической книге "Жизнь начистоту".

Здесь же, в Мадриде, в Резиденции, застигнет Вилью и конец прекрасной эпохи — испанского "серебряного века": известие о фалангистском мятеже и начале

1. Федерико Гарсиа Лорка. Самая печальная радость... (Перевод Н. Малиновской). М., 1987.

гражданской войны. Вчерашние друзья и воспитанники разъезжаются кто куда. Не обремененный семьей, Вилья остается в Резиденции дольше других — до ноября 1936 года, — почти в одиночестве. Он пытается записаться в ряды обороняющей столицу народной милиции, но ему отказывают — по возрасту. Поднимаясь на крышу тушить фугаски, он часами смотрит на зарево над осажденным Мадридом, напоминающим теперь босховский ад. Чуть ли не последним покинет он красный дом на зеленом холме, за столько лет ставший для него родным. Свое прощание с Мадридом он опишет в очерке "Я это видел".

Дальше — обычный путь испанского эмигранта. Сначала Валенсия — последний крупный оплот республиканцев, потом Соединенные Штаты, куда Вилья отправится агитировать американцев помочь погибающей Республике; затем, по приглашению друзей, — Мехико, где поэт останется до конца жизни.

Поэзии и живописи Вилья оставался верен всю жизнь. Автор многих поэтических книг — "Снопы", "Путник", "Битвы Радости и Скорби", "Хасинта Рыжеволосая", человек напряженной духовной жизни, он всегда боялся умереть эмоционально раньше, чем физически. О своих стихах он писал: "Я стремился сказать как можно больше самыми простыми средствами. Обнаженная поэзия, откровенный человеческий голос — вот чего хотелось больше всего".

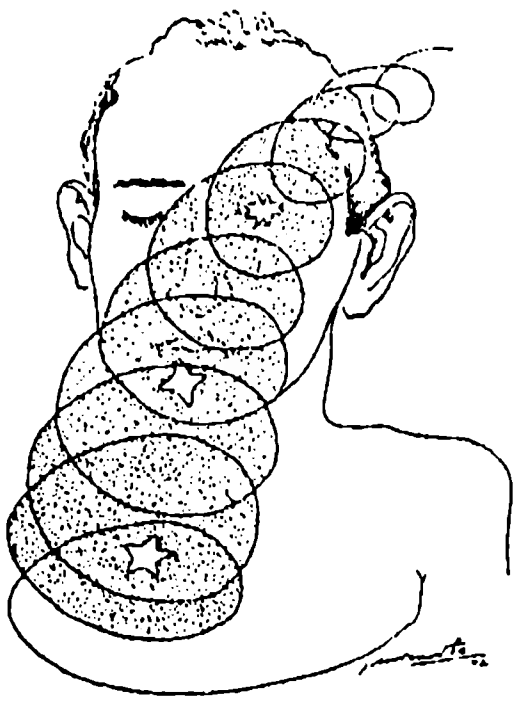
Конечно, с годами его стихи менялись. Уходили трепетность и прозрачность, суше становился взгляд, но стремление к ясности, к обнаженному прямому слову сохранилось навсегда.

Он умер от рака в Мехико 25 апреля 1955 года. Ему было шестьдесят восемь лет, и глубокой старостью это не назовешь. Но если принять во внимание наполненность его жизни людьми и событиями, то Хосе Морено Вилья умер в возрасте библейского старца, пресыщенного трудами и днями.

Что до известности, то она только начинается. В 1998 году в Мадриде вышел толстый том — первое полное собрание стихотворений Хосе Морено Вильи, иллюстрированное его живописью и графикой.

На русском языке были напечатаны в антологиях всего несколько стихотворений поэта. Мы хотим предложить читателю его художественные работы и стихи разных лет — от юношеских набросков до поздних наблюдений зрелого человека.

Контрасты

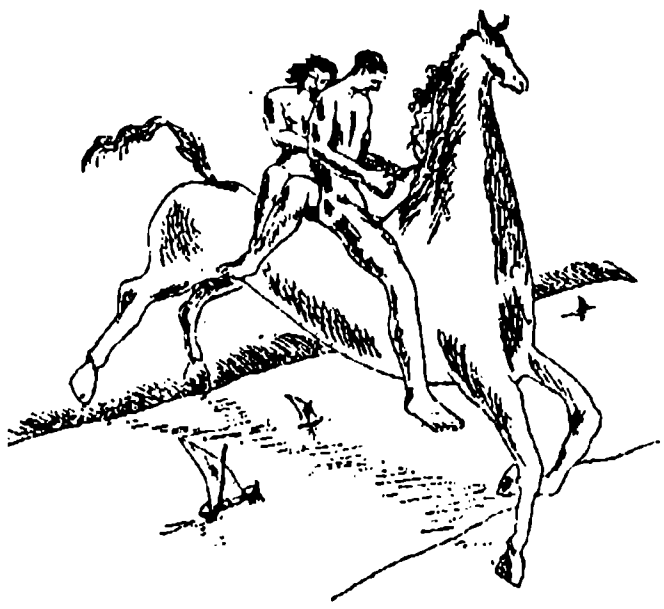


Дрозд под миндальной веткой,
черный — с белой соседкой.
Всякий живет и помнит —
кто-то его дополнит.
Небу нужна
дорога,
ветру —
замóк острога,
буре —
покой в могиле,
зыбкая тайна —
силе.

© José Moreno Nieto, 1998
© El Colegio de México, 1998
© Amigos de la Residencia de Estudiantes, 1998

Последние новости

Аполлон, с людьми освоясь,
к нам пришел под рокот струн,
как курьерский ранний поезд
на конечную — в Ирун[1].



И задолго до рассвета
он доставил в город наш
зелень будущего лета —
свой растительный багаж.

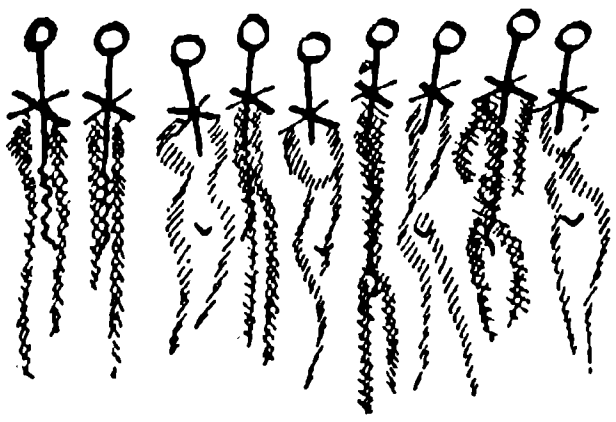
Прежде грустный и унылый,
я с надеждою следил,
как на каждый прутик хилый
он листочек насадил,

принял всяческие меры,
чтоб назавтра, может быть,
ложе дремлющей Венеры
всеми розами увить.

В Кордове

Зов протяжный муэдзина.
Кто зовет — не разглядеть.
Под ветвями апельсина
важно шествуют в мечеть

пять старух с обвислой кожей,
дряхлый старец, а за ним
легким шагом — боже, боже! —
чисто ангел-херувим!



Под мостом романской стати
кровью крашена река.
Кровью неба на закате
разливается тоска.

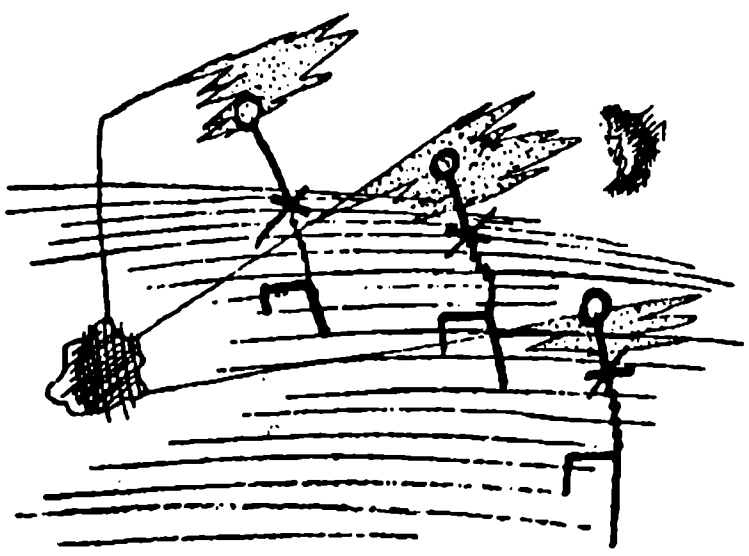
Плачь, вода и свет заречный!
Над пустынностью долин —
лишь один твой голос вечный,
о, незримый муэдзин!

1. Ирун — пограничный городок между Испанией и Францией. *(Прим. перев.)*

Фронт
(*Из стихов о гражданской войне*)

Это фронт, а значит, не до шуток.
Это значит — правит пуля-дура.
Фронт — сухой и жесткий промежуток,
и бессильна тут литература.
Это фронт — и тут деталей мало.
Ворон и земля, и ворон снова.
Сердце и осколочек металла.
Плоть и пуля — ничего иного.
Это пушки увязают в пашне.
Это ужас в незнакомом взгляде.
Это насмерть встали в рукопашной,
чтоб ножу не уступить ни пяди.
Это фронт — ревущий голос танка.
Это фронт — разведка и атака.
И не пить, не есть среди кошмара.
И не спать. И быть готовым к бою.
Это — с несклоненной головою
или — на носилках санитара.

Умирающий на обочине



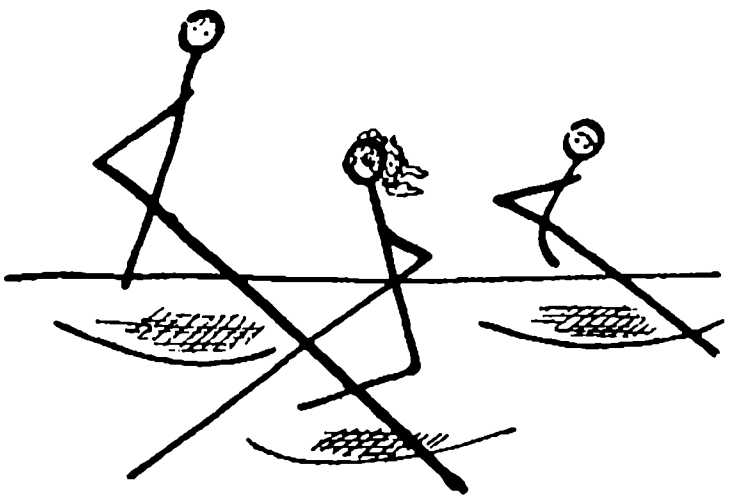
Толкотнёй толпы измотан —
ноги, сумки, снова ноги —
неужели так умрет он,
доходяга у дороги?
Так, воды не видя, дохнет
пес измученный в пустыне,
так мотор бессильно глохнет
в изработанной машине.
Пуст огромный этот город,
не рассчитанный на жалость.
Пробил час — приходит холод,
жизнь сносилась и распалась.

Створки окон мне пропели,
на него с небес взирая:
— Умереть в своей постели —
это что-то вроде рая!
Как вручает небу птица
дух из певческого тела?
Рядом ветка золотится,
день горит тепло и бело...
Умереть в кровавом поте,
на обочине, в клоаке...
До чего в конечном счете
мы пока еще собаки!

Розы... лодки...

Розы... лодки... знаю... говорили...
ялики и розы... я слыхал...

В синем небе лайнеры парили,
и красиво полдень полыхал...



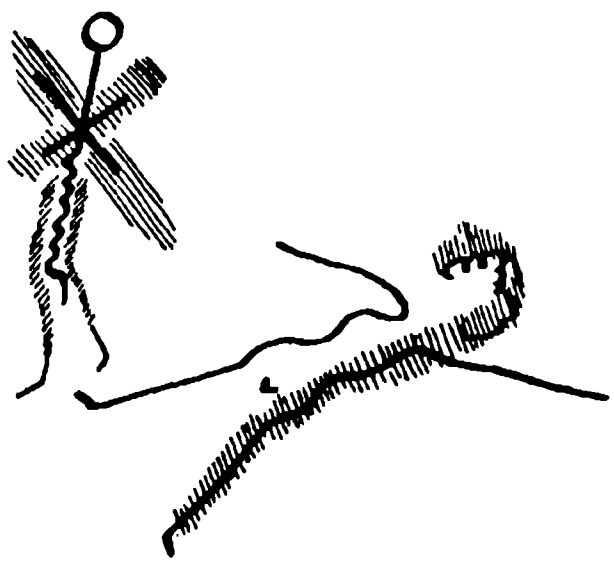
Но туннель, пробитый в склоне горном,
где ни звука уловить нельзя,
тайный ход, обшитый чем-то черным,
скрытая подземная стезя...

Розы... свет... потерян счет неделям...
помню, дети... женщина... уют...

Только как разделаться с туннелем? —
здесь пути назад не признают!

Я слышу

Как роза в тиши опадает,
я слышу порой, не дыша, —
так тихо на свете бывает,
так слушать умеет душа.



Движение лунного ока
уловит внимательный слух —
так сердце порой одиноко,
так явственно бодрствует дух.

И стоит чуть-чуть постараться,
расслышу вверху, в небесах —
песчинки мгновений роятся
в незримых песочных часах.

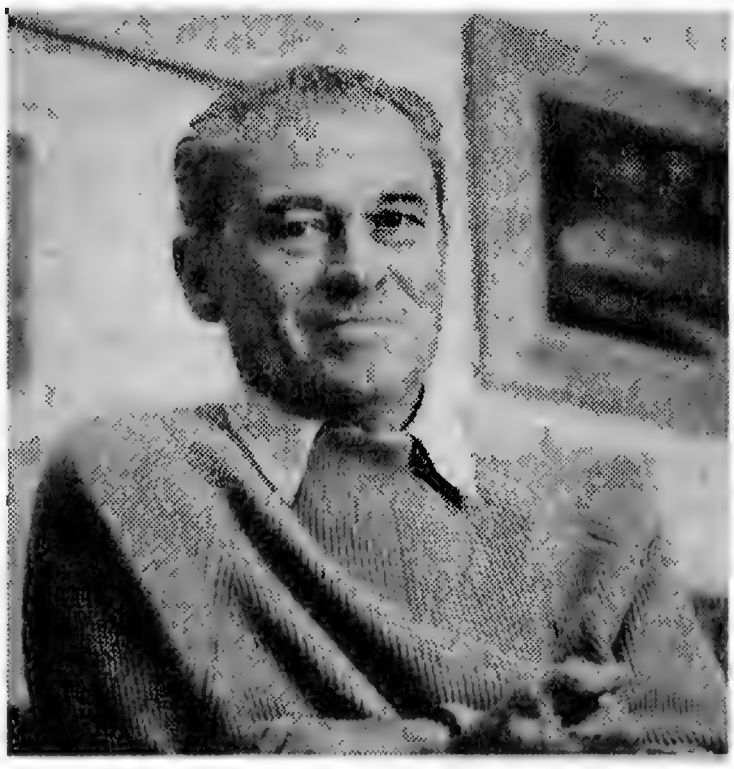
В отчаяньи книгу хватаю,
цветные альбомы листаю,
до света жгу лампу без сна...
Ан, верхняя чаша пустая,
а нижняя чаша полна.

То время

То время, то легкое, летучее время –
сладкая мушмула и душистый тимьян,
а рядом – морская лазурь,
и земля моя с десятком ее оттенков.
Или та, другая пора – прекрасная строгая Германия:
мазурки, санки, старинный университет,
окруженный пышными елями.
Или – время любви и смерти:
возвращение в страну огромных и жарких глаз,
бездумное – совсем, как сейчас! –
вольное шатанье по свету.
Или ты, время раскопок и архитектуры, –
ох, уж эти обмеры церквей и зáмков
в каком-нибудь захолустье, в пустыне,
где местный увалень или румяная, как яблоко, дурёха
таращат на тебя непонимающие глаза.
Или ты, время скитаний:
залив, небоскребы, денежные мешки Нью-Йорка,
для которых любая поэзия – звук пустой.
Да, то время, то далекое время,
тот дом, тот слабый запах духов,
то пианино, скрипка, томик стихов,
шелковый платок или золотистая шпилька,
пейзаж, обрезанный вагонным стеклом,
деревушка, где нет ни души, если не считать
твоей собственной.

То время, когда всё еще впереди,
а годы катят перед тобой, точно триумфальные
колесницы,
то время – в нем уже можно различить
все ошибки, морщины, седины и книги,
все сожаления и горести, все картины,
что украшают нынче незримые стены
этого дома, открытого всем ветрам.

Петер Карваш



Два апокрифа

Перевод со словацкого и вступление В. Каменской и О. Малевича

Петер Карваш (1920—1999) за пределами Словакии (в том числе и в нашей стране) прежде всего известен как драматург и сатирик. Его пьесы "Дипломаты", "Святая ночь", "Антигона и другие" шли на сценах ленинградских и московских театров. По его комедиям ставились телеспектакли; радиопостановка "Семь свидетелей" прозвучала в ленинградском эфире, в русском переводе опубликованы пьесы "Метеор", "Люди с нашей улицы", "Пациент 113", "Патриоты города Ио" и несколько сборников юморесок.

Из его "серьезной" прозы яркое впечатление производят автобиографическая книга "В гнезде" (1981) и документальный роман "Папка С" — по нему был снят телевизионный фильм, отмеченный престижной премией.

И все же самым интересным и своеобразным из написанного Карвашем за последние двадцать лет и опубликованного лишь недавно (за поддержку "пражской весны" 1968 года его более чем на полтора десятилетия фактически вычеркнули из литературы), пожалуй, следует считать апокрифы.

К жанру литературного апокрифа, переосмысляющего и модернизирующего древнюю традицию неканонических, подчас даже еретических легендарно-религиозных текстов, в той или иной форме обращались многие писатели, в том числе Г. Флобер, А. Франс, Ж. Лафорг, Б. Шоу, Л. Андреев, Ж. Ануй. Но классиком этого жанра можно считать Карела Чапека — автора "Книги апокрифов" (1932). Петер Карваш, в мае 1999 года заслуженно ставший лауреатом словацкой премии Карела Чапека, во многом близок своему чешскому собрату по перу. Оба сочетали художественную прозу и драматургию с актуальной журналистикой, обоим свойственна философичность, оба относились к театру как к общественной трибуне.

Карваш как бы пересадил чапековский литературный апокриф на словацкую почву. "В отношении апокрифов, — говорил Карваш, — я никогда не стал бы от-

© Peter Karvaš, 1989, 1997
© В. Каменская, О. Малевич. Перевод, вступление 2000

рицать воздействия на меня Чапека и открыто в этом признаюсь. Меня и впрямь околдовала чапековская "Книга апокрифов", — быть может, даже больше, чем его масштабные художественные произведения... На чем основывается воздействие и в особенности юмор апокрифов как литературного жанра, то есть каков строй повествования и внутренний заряд апокрифа, чем он неизбежно превосходит обычный рассказ, в том числе и рассказ с исторической тематикой? Думаю, он основывается на каком-то улыбчивом напряжении, возникающем между исторической, античной, библейской, мифологической данностью, изначально определяющей сюжет, фабулу, язык произведения, и сознательно искаженным подобием той же данности, преподносимым автором апокрифа. Тут-то, очевидно, и лежит роковое или по меньшей мере достаточно существенное различие между литературной практикой чапековской и моей поры. Во времена, когда выходили апокрифы Карела Чапека, достаточно хорошее знание Священного Писания, античной истории, легенд и мифов составляли неотъемлемую часть эрудиции всякого подлинно образованного человека — предполагаемого читателя апокрифов. В наше время интеллигенция, особенно молодая, подрастающая, то есть основное ядро наших читателей, далеко не всегда обладает знанием упомянутых источников, прежде всего Библии, античности и мифов. Напряжение между оригиналом и его умышленным художественным искажением от этого поколения неизбежно ускользает... Количество читателей апокрифов, если иметь в виду полнокровную читательскую аудиторию, у нас нынче ограниченно..."

Хочется надеяться, что читатели "Иностранной литературы" принадлежат как раз к этой "полнокровной читательской аудитории".

Архимед

КОГДА Архимеда, простоволосого, с гордо поднятой головой, вели по улицам Сиракуз, люди останавливались и удивленно глядели вслед небольшому отряду: схватили? Или это почетный эскорт? В любом случае было странно: зачем охранять скромного тихого ученого? Мысль, что он совершил предательство и переметнулся на сторону римлян, никому не могла прийти в голову — исключено! Однако ученого вел через сиракузскую агору целый манипул копьеносцев, воинов первой колонны под командованием центуриона Семпрония Гратидана Бурра. Все видели, как они направились к дому бывшего тирана Гелона и вошли в него.

Консул Марк Клавдий Марцелл, победоносный предводитель осаждавших Сиракузы римских войск, а ныне глава военной администрации города, возлежал в саду дома Гелона, наскоро превращенного старанием хитроумного архитектора в домашний перистиль — внутренний дворик с колоннадой, и поглощал свой редис и яичницу с ветчиной, запивая все это сицилийским красным вином (вскоре после победы среди завоевателей разнеслась его острота, что-де ради одного этого вина стоило осаждать проклятый город в течение двух лет).

Вокруг Марцелла редким полукольцом стояли ликторы с фасциями — пучками прутьев, что свидетельствовало о приближающемся официальном слушании. И действительно, вскоре консул увидел, что из-за кустов, клумб и мраморных колонн направляется к нему Публий Камилл

Мурена, его tribunus militum[1] , в полном боевом снаряжении. Подойдя к начальнику, он, широко расставив ноги, принял торжественную позу и угрюмо произнес:

— Консул Марцелл, этот человек здесь.

— Ведите его сюда!

Вошел Архимед. На нем была довольно поношенная и не очень чистая туника. Центурион Бурр весьма грубо подталкивал его по дорожкам, посыпанным тонким розовым песком. Чуть отодвинув Мурену, Марцелл заговорил непривычным для него — добродушным и неожиданно ласковым — голосом:

— Приветствую тебя, Архимед! — воскликнул он на отличном греческом.

Ученый удивленно оглядел властелина жизни и смерти в этом несчастном городе. Ответил хрипло на своем греческом:

— Не знаю, что и сказать. Не стану же я просить богов благословить твои шаги на сиракузской земле. Да ты бы и сам не поверил мне, господин.

— Не поверил бы, — смачно рассмеялся консул и отер рот салфеткой, — и впрямь не поверил бы. Я тут завтракаю, не хочешь присоединиться?

— Благодарю, — сдержанно отвечал Архимед. — Мы, греки, завтракаем один раз в день. Я уже ел. Овечий сыр, белый хлеб и немного козьего молока.

"Не зли меня, — холодно подумал Марцелл, — не зли, приятель, не то плохо кончишь". Но вслух весело сказал:

— Зачем уж так подчеркивать, что ты грек, Архимед? В конце концов, вот уже несколько часов, как ты — римский подданный.

— Знаю, — коротко бросил ученый. — Могу ли я спросить, почему твои люди схватили меня.

— Схватили?.. — с притворным удивлением спросил Марцелл. — Они тебя схватили? — Он испытующе, строго взглянул на центуриона. — Ты схватил этого человека, Бурр? — И вновь обратился к Архимеду. — Я послал за тобой отряд почетной стражи, чтобы препроводить тебя ко мне.

— Меня препроводили сюда силой, — сказал Архимед.

Марцелл опять повернулся к Бурру и, повысив голос, приказал:

— Кругом!.. Марш!

Сотник двинулся из дворика к выходу. А консул, вновь приветливо посмотрев на ученого, продолжал:

— Будь здесь как дома.

Архимед, человек сообразительный и при всей своей скромности сохраняющий достоинство, взглянул на ликторов с пучками прутьев и топорами, на рослого, гладко выбритого трибуна Мурену в сверкающих доспехах и развевающемся плаще и, улыбнувшись уголками рта, сказал:

— Это, пожалуй, трудновато, хотя я и дома.

— Вы слишком чувствительны, — холодно заметил консул.

— Побежденные, пленники, покоренные как-то всегда чувствительны, — ответил Архимед.

1. Военный трибун (*лат.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

— Я имел в виду вас, греков, — добавил Марцелл и тут же завершил свое интермеццо. — Ну да ладно.

— Могу ли я повторить вопрос, Марк Клавдий Марцелл? Почему твои люди задержали меня и привели сюда?

— Приляг, — сказал консул. — Ты не слышал моего предложения? Я хотел бы доесть свой завтрак, но не люблю возлежать у стола в одиночестве.

— Я постою, — спокойно возразил Архимед. — Успею еще належаться...

Несколько мгновений консул смотрел на Архимеда. Его взгляд утратил всякое выражение. Морщинки вокруг рта и носа вдруг зловеще заострились, но потом, будто опомнившись, он вновь заставил свое лицо проясниться и, обернувшись к Мурене, приказал:

— Вели унести!

Еду унесли. Марцелл протянул руку:

— Шлем!

Подали шлем, он надел его. Все было готово для официального действа. Мурена достал tabulae ceratae — восковые таблички и иглу для записей.

— Гордые вы, — заметил Марцелл.

— Ты имеешь в виду греков? — скромно спросил Архимед. — Я могу идти?

— Вовсе нет, — засмеялся Марцелл. — Я хочу с тобой поговорить. Читал твою "Катоптрику".

Архимед поднял удивленный взгляд, упиравшийся до этого в траву и розовые камешки.

— Ты интересуешься физикой?

— Так, немного, — засмеялся Марк Клавдий Марцелл. По лицу трибуна промелькнула усмешка. — Я и "Эфода" читал. Даже прорешал после тебя все четыре задачи. Остроумная вещь это интегральное исчисление. Как ты его называешь? Метод исчерпывания?

— Ты еще и математик? — без малейшей иронии спросил пораженный Архимед. Казалось, он неожиданно обрадовался этому.

— Ты говоришь с одним из лучших физиков и математиков столетия, — просветил Архимеда Публий Камилл Мурена.

— Очень рад! — искренне воскликнул Архимед. — Я и правда рад! — обратился он к Марцеллу. — Но тогда зачем ты воюешь, смею спросить? Зачем завоевываешь чужие города? Почему не сидишь дома и не занимаешься вычислениями?

Консул повернулся к коллеге:

— Что поделаешь, война, приятель. А меня избрали консулом. Политика есть политика. Кроме того, взятие Сиракуз было чисто инженерной операцией. Но теперь позволь и мне задать вопрос. Зачем воюешь ты, Архимед?

— Я?! — удивился ученый. — Мне кажется, я не понимаю тебя.

— Серьезно? — консул посмотрел ему прямо в глаза. — Ты спросил меня, почему я воюю. Я должен воевать, ибо я консул, а в настоящее время еще и dux classis, командующий флотом. Но ведь ты — частное лицо, ученый. Почему воюешь ты?

— Но я... — тихо и отчетливо проговорил Архимед, — я вовсе не воюю! С войной я не имею ничего общего! Когда пришли твои воины, я как

раз рассчитывал площадь эллипса. Много лет я занимаюсь диофантовыми[1] уравнениями. Какая тут связь с вашей войной?

Марцелл хотел было спросить, нашел ли он уже надежный метод вычисления плоскости эллипса, но вместо этого сурово произнес:

— Машины с ваших укреплений уничтожили четыре наших корабля! Камнеметы потопили одну длинную ладью, а ваши проклятые зеркала вызвали пожар на трех триерах и отправили их на дно. Ты хочешь сказать, что ничего об этом не знаешь?

— Я слышал, — ответил ученый. — В свое время об этом говорил весь город.

Консула охватил гнев.

— Машины на ваших укреплениях продлили осаду Сиракуз по меньшей мере на год! — воскликнул он.

— В самом деле? — переспросил с явным удивлением Архимед.

Римлянин овладел собой. Тем временем трибун усердно и без устали что-то записывал на восковой табличке. Уже начался допрос, и с учетом готовящихся строгих мер следовало соблюдать все предписания закона.

— Послушай, Архимед, — тихо и зловеще проговорил Марк Клавдий Марцелл, — уж не собираешься ли ты утверждать, что ты не в ответе за потопление наших кораблей?

— Я?! — неописуемо удивился ученый. — Да ведь я... я годами не выходил за пределы своего жилища и сада! Сижу и считаю, порой провожу какой-нибудь эксперимент с твердым телом в жидкости, изредка записываю кое-что на свитке... Это читает горстка людей — что тут общего с войной и вашими кораблями?

"Я читал все твои свитки, — хотел сказать Марк Клавдий Марцелл. — Читал трактат о центре тяжести и свиток о равновесии, трактат о наклонной плоскости я даже экспериментально проверил, так же как и метод определения специфического веса..." Но вместо этого он гневно обрушился на Архимеда:

— Стало быть, с вашими оборонительными машинами ты не имеешь ничего общего?

Ученый протянул руки. Белые, изнеженные, беспомощные ладони интеллектуала.

— Ты можешь себе представить, Марцелл, чтобы такими руками я вбил гвоздь или связал лыком какую-нибудь конструкцию?

— А кто делал чертежи этих машин? — резко спросил Марцелл.

Игла трибуна замерла в воздухе над поблескивающей восковой табличкой.

— Не знаю, — четко ответил Архимед. — Не имею понятия. — Но вдруг сообразил, куда клонит консул. И негодующе воскликнул: — Я вообще не умею делать чертежи! Они меня не интересуют! Я теоретик! И никогда не интересовался войной!

Некоторое время стояла тишина. В стройных пиниях прошелестел ветерок. С моря долетали ритмичные выкрики легионеров, по команде

1. Диофант Александрийский (ок. 250 г. н. э.) — древнегреческий математик, автор "Арифметики", исследовал линейные квадратные уравнения с одним и несколькими неизвестными.

передвигавших тяжелые грузы: они ремонтировали пристань, разоренную завоевателями и опустошенную оборонявшимися. Консул Марцелл сделал несколько шагов, его кольчуга тихонько позвякивала; вернувшись на прежнее место, он неожиданно опустился на сиденье из слоновой кости — знак того, что он приступил к своим служебным обязанностям: уже никаких шуток, любезностей, никакого разговора на равных.

— Архимед, — холодно заговорил консул, — ты обвиняешься в том, что в боях за Сиракузы нанес нам огромный ущерб, что своими изобретениями способствовал двукратному продлению осады, чем сорвал всю нашу кампанию на Сицилии. Что скажешь в свою защиту?

— Это вопиющая бессмыслица! — вскричал Архимед. — Никогда у меня не было ни единого военного изобретения! Ни плоскость, ни периметр круга не имеют никакого отношения к войне! Я человек сугубо штатский!

— Гм, — хмыкнул Марцелл. — Тогда послушай, сугубо штатский человек. Камнемет, который потопил наш корабль, основан на твоей теории рычагов. Устройство, которое спалило наши триеры и погубило их команды, построено на твоей теории отражения тепловых лучей сферическими зеркалами. Твои это теории или нет?

— Мои, — согласился Архимед. — Но я ни разу не взошел на укрепления и военных машин в глаза не видал. Я не несу ответственности за то, что кто-то прочитал несколько научно-популярных статей о моих открытиях и потом использовал их для создания смертоносных механизмов.

— Ты в этом убежден? — задумчиво произнес Марцелл.

— В чем? — несколько неуверенно переспросил ученый.

— Что не несешь за это ответственность.

— Разумеется! — воскликнул Архимед. — Мои открытия — всеобщее достояние! Каждый может их использовать как ему вздумается!

— Гм... И в целях убийства?

— Это же демагогия! — возмутился Архимед.

— Ты что-нибудь предпринял против того, чтобы твои мысли, твои теоретические открытия использовались для убийства людей?

— О боги, да разве я мог?! — с горечью возразил ученый. — Я же частное лицо! Любитель! Штатский человек! На военные операции я не оказывал ни малейшего влияния. Просто обдумываю проблемы математики и физики. Ни о чем ином меня никто никогда не спрашивал!

— Твои теоретические раздумья, — сказал Марцелл, — стоили мне четырех боевых кораблей. И будут стоить сорока тысяч голосов во время ближайших выборов. Этого не пиши, — повернулся он к трибуну. Затем встал. Жестом подозвал Архимеда и, взяв его за локоть, отвел в отдаленный угол сада, где они оказались одни.

— Чем ты сейчас занимаешься? — как бы между прочим спросил он ученого.

— Квадратурой параболы, эллипсоидом, вращающимся параболоидом и тому подобными вещами, — ответил Архимед.

— Гм, — снова хмыкнул консул и откашлялся. — У меня к тебе предложение.

— Какое?

— Видишь ли, — рассудительно заговорил Марцелл, — ты заварил такую кашу, какой свет не видывал, но я знаю, как вытащить тебя из беды.

— Ученый молчал, а dux classis продолжал: — В гражданской жизни я инженер. В Риме у меня хорошо налаженное предприятие. Что-то вроде проектной конторы. Мы строим дома, мосты, цирки и тому подобное. Ничего военного. Там работает человек сорок, в большинстве — греки. Умные головы. Сейчас, понимаешь, проформы ради, я возьму тебя в плен, по возвращении в Рим ты примешь участие — правда, в оковах, уж прости меня, — в моем триумфальном шествии по городу, а потом получишь прилично оплачиваемое место на моем предприятии.

— И буду делать статистические расчеты мостовых опор или конюшен для гладиаторов?

— Нет! Напротив! Или ты не понял? Будешь по-прежнему заниматься фундаментальными исследованиями! Под маркой моей конторы, но совершенно свободно!

— Я предпочел бы продолжить свои опыты здесь, в Сиракузах, — упрямо стоял на своем Архимед.

— Но здесь ты останешься никому не известным дилетантом, — злобно прошипел Марцелл. — Через несколько лет о тебе никто и не вспомнит! В Риме же ты получишь известность, твои открытия облетят весь мир!

— И их повсюду будут использовать в военных целях? — тихо спросил Архимед.

— Гм, — вновь задумался Марцелл. — Когда ты создавал "Эфод", сколько уравнений пришлось тебе перерешать?

— Около тридцати тысяч.

— Вот видишь! У меня тебе не придется даже пальцем шевельнуть! Придешь с идеей — и мои люди произведут за тебя все механические действия.

— Как машины, — отрешенно проговорил Архимед.

— Вот именно! — подтвердил Марцелл, довольный, что наконец-то они поняли друг друга. — Согласен?

— Ни в коем случае! Чепуха все это!

— Почему? — удивился Марцелл.

— Не знаю, — задумчиво сказал Архимед. — Нигде на свете нет такого хорошего сыра и козьего молока, как в Сиракузах...

"Безумный! — мелькнуло в голове консула. — Безумен, как все гении".

Он резко повернулся и, подойдя к трибуну и ликторам, уселся на сиденье из слоновой кости.

— Хочешь еще что-нибудь добавить, Архимед? — спросил он голосом, от которого ласточки, услышь они его, попадали бы мертвыми в перистиль.

— Да, — отвечал Архимед. — Я хотел бы сделать заявление.

— Слушаем, — Марцелл кивнул трибуну.

— В отношении наших укреплений и тех машин... я несколько изменил свою точку зрения.

— В каком смысле?

— Считаю себя ответственным.

Трибун царапал дощечку. Марцелл склонился к арестованному:

— Послушай, Архимед, не сходи с ума. Не все еще потеряно. Выбирай слова. Мое предложение остается в силе.

— Нет-нет... В известной мере я все же в ответе за те машины. Я даже рад, что они сконструированы на основе моих открытий и без них не смогли бы появиться на свет.

— Рад? Ты понимаешь, что говоришь?

— Ведь иначе мы и впрямь не продержались бы целых два года!

Марцелл жестом остановил записывающего трибуна и, придвинувшись к коллеге, глядя на него в упор, спросил:

— Ты настаиваешь на сказанном? Подумай немного, Архимед! Несчастный, это будет непоправимый прецедент в истории! Ученый, который открыто объявляет, что смертоносные машины берут начало в его теоретической идее! Такого еще не бывало! Ты готов нести за это ответственность?!

— Тут есть одна деталь, — мягко ответил Архимед. — Если бы наши, взяв эти машины, пошли завоевывать Рим, мне, наверное, пришлось бы возразить. Но такого не случилось. Вы явились в Сиракузы, а не мы в Рим. И я рад, что сопротивлялся вам целых два года.

— Да ведь это чистой воды мания величия! — насмешливо воскликнул возмущенный Марцелл.

— Полагаю, этого достаточно, — заметил Публий Камилл Мурена, складывая таблички. — Прикажешь увести?

Консул задумчиво покачал головой.

— Нет, — сказал он и повернулся к ученому: — Ты свободен.

Архимед удивленно посмотрел на него. Сглотнул слюну. Сдержанно поклонился.

— Позволь обратиться с просьбой, — вполголоса произнес он. — Не знаю, оповестили ли тебя, но твои воины грабят Сиракузы. Вряд ли это стоит делать.

Марцелл вскочил. Голос его прерывался.

— Стоит, не стоит, — воскликнул он. — Плевать я хотел на ваши Сиракузы! Не нужны они мне! Но я должен был их взять, чтобы потом занять Агридженто и Марсалу и отрезать второй и третий пунические экспедиционные корпусы. Ясно?

— Вполне, — ответил Архимед, и в его молодых глазах блеснуло нечто похожее на издевку. — Хоть я всего-навсего теоретик и больше разбираюсь в проблемах подъемной силы и спиралей...

— Вон! — прогремел Марк Клавдий Марцелл.

Ученый еще раз едва заметно поклонился, повернулся и пошел вдоль хилых слив и смоковниц.

Публий Камилл Мурена приблизился к консулу.

— Приказать, чтобы его схватили?

Консул покачал головой.

— Значит, он не будет казнен? Топором и принародно, как велит закон?

Марцелл снова покачал головой.

— Выгоднее, чтобы он остался в живых?

— Нет, — ответил консул. -- Разумеется, нет. Но нет выгоды и в том, чтобы Рим нес ответственность за публичную казнь великого ученого. С политической точки зрения это могло бы нам навредить.

— Понимаю, — кивнул трибун. — Надо ликвидировать его незаметно.

— И этого мало, — сказал Марк Клавдий Марцелл. — Нужно сделать так, чтобы мы потом могли официально выразить сожаление. Ясно?

— Ясно, — ответил трибун.

— И придумай что-нибудь правдоподобное, — приказал консул, ощутив вдруг усталость.

Трибун снова кивнул, один из стражей позвал центуриона Семпрония Гратидана Бурра. Мурена спросил его:

— У тебя в когорте найдется какой-нибудь глупый, недалекий парень?

Сотник не понял, пришлось повторить вопрос. Договорились, что этого парня пошлют в дом к Архимеду — пусть, мол, найдет предлог для перебранки и постарается смертельно ранить ученого.

— А в официальном сообщении напишете, — сказал консул, — что гениальный Архимед в этот момент чертил на песке круги и сказал подошедшему пьяному легионеру: “Noli tangere circulos meos”[1]. Правда, Архимед сейчас не занимается кругами, но даже если мы напишем о вращающемся параболоиде, кто об этом вспомнит через тысячу лет? К тому же на песке вращающийся параболоид как следует и не начертишь.

Римское агентство новостей распространило сообщение в тот же вечер. Но, как ни странно, никто не поинтересовался, почему Архимед сказал свою фразу на языке, которым не владел.

После премьеры

— Мария Стюарт? Простите, это кто?..

Лорд Кимберли устремил удивленный и внимательный взгляд на идущего рядом молодого Камберленда; сомнений не оставалось — он не ослышался, этот юноша задал вопрос искренне, ничуть не рисуясь: просто он понятия не имел, кто такая Мария Стюарт.

С таким же высокомерным и снисходительным интересом вчера вечером — когда речь зашла о современной живописи — он спросил, кто такой Джон Хоскинс, а затем и кто такая Энн Хетеуэй, когда заговорили о нынешней новой театральной пьесе, о ее авторе и его жене, о том, что тот недавно получил разрешение на собственный герб и что, по мнению некоторых, он довольно талантлив, хотя как актер явно талантливее, чем как сочинитель пьес. Однако теперь любой более или менее одаренный актеришка считает своим долгом вступить на литературное поприще, ну да Бог с ними.

Ничего не подозревающий молодой Рэндольф Камберленд, племянник лорда Кимберли, сын его сестры Дженни, выданной замуж в провинцию, впервые приехавший в Лондон и с интересом и достойной молодого провинциального графа сдержанностью вкушающий своеобразие, деликатесы и сенсации столицы Великобритании и Северной Ирландии, действительно не знал, кто такая Мария Стюарт.

“Вот оно как, — подумал сэр Кристофер, чувствуя, что по его телу побежали мурашки, — со дня казни этой несчастной, этой гордой и страстной красавицы, невинной и трагически безрассудной удивительной

1. Не прикасайся к моим кругам (*лат.*).

женщины прошло чуть более десяти лет, а молодое поколение, Бог ты мой, уже не знает ее имени. Sic transit gloria mundi[1] ".

Впрочем, успех премьеры был предрешен с первой же реплики.

Новый модный театр "Глобус" был полон по самые навесы над галереями, стоял прекрасный осенний день, пропитанный мягким рассеянным солнечным светом, просторная авансцена утопала в сиянии, актеры, в основном, играли вполне терпимо — как всегда, царили Бёрбедж и Кемп. Возможно, комедианты играли не столь уж и хорошо, но после того как они недавно вместе с автором сегодняшней пьесы выступили перед королевой и та высказалась о них вполне одобрительно, никому и в голову не пришло бы утверждать обратное.

Для молодого же графа Камберленда особенно удачным был первый антракт.

Дядюшка представил его герцогу Херефордширскому, маразматическому старику, председателю Верховного суда, а поскольку Рэндольф собирался изучать право, такое знакомство было для него дороже золота. Пусть он немного и смутился, когда бородатый герцог спросил, не считает ли он Ричарда достойным восхищения, — юноше и невдомек было, что старый холостяк имеет в виду Бёрбеджа в совершенно неблагодарной и незначительной роли герцога, — но, пользуясь своим правом наивного молодого провинциала из хорошей семьи, он со свойственной ему подкупающей непосредственностью заметил, что, по его мнению, тот иногда слишком уж кричит. Это принесло ему несколько снисходительных улыбок и общее расположение, да вдобавок еще и знакомство с уродливой дочерью герцога.

В другой группе лорд Кимберли узнал старшего коллегу автора — Джона Лили и нескольких совсем молодых приверженцев литературы, в том числе самоуверенного и элегантного Томаса Деккера, почти ровесника Рэндольфа; они строго и деловито обсуждали пьесу. Хотя сыграно было только первое действие, все знали пьесу по рукописи или по репетициям и считали ее весьма смелой, а с точки зрения нравственной и политической и вовсе чрезвычайно новаторской и даже рискованной. Сюжетно она была неоригинальна — многое заимствовано из каких-то покрытых пылью итальянских новелл, но в остальном коллега Шекспир, как говорится, забирал высоко.

— Брат Лоренцо, — улыбаясь в бороду, сказал Лили, — хорошая пощечина Филиппу и Изабелле Испанским! Я прямо-таки слышу, какой звонкой она была! Эти лицемерные ханжи, а вместе с ними и все папские приспешники разъярятся, когда узнают, что в новой пьесе, которую демонстративно почтил своим присутствием Уильям Сесил, лорд-канцлер Берли, на сцене появляется свободомыслящий мягкосердый францисканец, сочувствующий запретной любви и на свой страх и риск помогающий грешным любовникам улечься в не освященную браком постель! Эти протухшие реакционеры в Мадриде и Риме, ей-ей, не переживут такого!

— Сомневаюсь, — заметил кто-то, — следует ли театру так открыто вмешиваться в политику...

1. Так проходит мирская слава (*лат.*).

— Кроме того, у меня складывается впечатление, — вступил в разговор довольно старомодно одетый высокий господин с белокурой бородкой и ироничными усиками, показавшийся лорду Кимберли весьма знакомым, хотя он и не мог вспомнить, кто это, — у меня складывается впечатление, что Чейни в роли Ромео кое в чем копирует покойного лорда Лестера, не так ли? Походкой, движениями, манерой говорить — это вылитый Роберт Дадли в молодые годы. Не правда ли? Королева несомненно это оценит...

— Тут я не уверен, — ухмыльнулся Лили. — Думаю, она сочтет это неуместным намеком на своего бывшего любовника. У Елизаветы никогда наперед не знаешь...

— Нет, — убежденно произнес кто-то из стоящих сзади, — лорд Берли наверняка бы демонстративно встал и ушел...

— Однако этому парню Шекспиру смелости не занимать, — проговорил голос, тут же утонувший в шелесте шелка, говоре и шарканье ног, ибо антракт кончился и зрители премьеры стали возвращаться на свои места или на места, куда их кто-то соизволил пригласить.

Лорду Кимберли за дополнительную мзду удалось заполучить два отличных кресла — сбоку у самой авансцены; теперь дядюшка с племянником получили прекрасную возможность видеть и арену нового театра, и галерею вплоть до портика, а при желании даже сцену. Рэндольф с жадным любопытством озирался по сторонам, а многие разглядывали его — без сомнения, стройного и привлекательного молодого человека. Но вскоре все взгляды устремились на комедиантов — драма продолжалась.

Шекспир сегодня не играл, прошел слух, что ему нездоровится, поговаривали даже, будто после смерти сына Хемнета с ним случались тяжелые кризисы, периоды творческого бесплодия, меланхолии и ужасной раздражительности, некоторые утверждали, будто он пьет, другие — что он очертя голову погнался за деньгами. Действительно, он стал совладельцем "Глобуса", безрассудно вложил деньги в какое-то поместье Нью-Плейс в Стратфорде и так далее, но все остальное — досужие вымыслы. По мнению коллег и ровесников, карьера Шекспира была слишком уж стремительной. Так или иначе, роль Меркуцио, которую, считалось, Шекспир написал для себя, сегодня играл какой-то Лидем, актер, в общем-то, малоизвестный и не очень опытный.

Второе действие развивалось прекрасно — сцена, в которой Джульетта стояла "наверху", на балконе, а Ромео — "внизу", в саду, сверх ожидания удалась, весь театр не дыша следил за ее ходом, хотя юноша, игравший Джульетту, — некий Иннес, дважды весьма некстати запнулся; брат Лоренцо в грубой сутане, с улыбкой мягкосердого святого из Ассизи справился со своей ролью блестяще — это был прямой и неприкрытый протест против консервативных, косных идей юга.

Любой ребенок в зале знал, что под родом Монтекки автор изобразил благородных и гордых господ из Уайлдшира, тогда как Капулетти — прозрачный псевдоним Эффингемов, и что здесь автор смело, чуть ли не вызывающе обличает их бесконечную тяжбу за известные владения в Мидлсексе, бессмысленно переходящую от поколения к поколению и поглощающую сотни тысяч фунтов.

Партер и галерея покатывались со смеху, слыша грубую речь Джульеттиной кормилицы (злая карикатура на давнюю любовницу автора госпожу Терренс), и в волнении кусали ногти во время дуэли Ромео с Тибальдом, превосходно сыгранным (отрицательный персонаж) господином Редвелом, которого только недавно переманили из театра "Свон" (дуэль — намек на недавнюю аферу Мортон—Шефтсбери, это же ясно как Божий день).

И второй антракт удался на славу. Сэр Кристофер лорд Кимберли представил своего привлекательного провинциального родственника Его апоплексическому сиятельству Лорду хранителю печати Джону Эффингему, начальнику королевской стражи в Тауэре Чарльзу Монтегю Нортумберленду, сидевшему в первом ряду и пожиравшему глазами актера, что играл Джульетту, и другим важным особам, которые когда-нибудь могли пригодиться на пути Рэндольфа от первого семестра до кресла королевского министра судов и тюрем.

На сцене действие неудержимо клонилось к трагедии.

В конце третьего антракта лорд Кимберли столкнулся в фойе с уединившейся парой друзей и коллег автора: известным поэтом Майклом Дрейтоном, автором "Эклог" и "Войны баронов" и вообще превосходным мастером александрийского стиха, и необыкновенно талантливым литератором Бенджамином Джонсоном, молодой звездой Кембриджа. С его именем были связаны две уже ставшие всеобщим достоянием тайны: что он какое-то, правда короткое, время был католиком и что потихоньку тоже кропает пьесы, которые, даст Бог, тоже увидят свет, как и эта, сегодняшняя, вне сомнения наиболее успешная пьеса Уильяма со времен "Ричарда III".

— Я несколько иного мнения, — нахмурившись сказал Дрейтон в ответ на слова искреннего восхищения, высказанные сэром Кристофером, повторившим услышанное от Лили. Только теперь лорд Кимберли заметил, что оба писателя, словно крепостная стена, мрачно противостоят всеобщему восторгу, вызванному премьерой.

— Почему? — спросил молодой граф Камберленд, очевидно вообще любитель задавать вопросы.

— Да это же ясно, — нетерпеливо произнес Джонсон и резким нервным движением обхватил свою бороду — казалось, он хочет вырвать ее с корнем. Но он не хотел этого вовсе.

— Что-нибудь не так? — обеспокоился сэр Кристофер, который не вполне осознанно, но все же был на стороне Шекспира; хорошо помнил его отца со времен, когда тот занимал должность старосты Стратфорда и даже как-то раз посетил его в имении Эшби в Уилмкоте, куда его пригласили на охоту. Сэр Кристофер имел склонность или, точнее, слабость к людям, которые совершали необычные поступки или которых постигла необычная судьба, — а у Шекспира такого было сверх головы. Он бросил семью, отцовские владения в Уилмкоте продали с молотка, он скатился на самое дно и стал актером. Бессмертный, знаменитый Фрэнсис Гардинер, непревзойденный знаток театрального искусства, король английских критиков, имя которого да пребудет навеки в анналах британской культуры, недавно разнес беднягу Уильяма в пух и прах, короче говоря, заживо его похоронил.

Неужто что-то еще должно случиться с этой столько раз откладывавшейся премьерой?

— Не все в порядке, — задумчиво протянул Дрейтон. — Надо было Уилли оставить рукопись в том ящике стола, где она спокойно лежала уже не менее трех лет.

— Но почему?.. — не унимался молодой человек, совсем забыв о сдержанности хорошо воспитанного провинциального дворянина из прославленного рода.

— Разве вы не видите? — прошипел темпераментный Джонсон. — Филипп будет в ярости! Перебьет все вазы в Эскориале! Сначала дерзкая выходка Дрейка, поражение в Кадисе и наша помощь Нидерландам против Альбы — а теперь еще такой вызов со сцены! Такая демонстрация с помощью искусства! Такая пощечина испанской морали и этикету! Такая провокация против Папы Римского! И еще перед официальной публикой, приглашенной согласно протоколу! Думаете, они это проглотят? Возникнет острый международный конфликт! А что вы думаете об этом клановом споре... разве его примут за намек на свои дела только Эффингемы и Уайлдширы?! Назовите мне хоть два старых английских рода, которые не грызлись бы с незапамятных времен! Никогда они этого Уильяму не простят! Он погряз в этом по уши! Я готов проглотить свою орденскую ленту, если он еще хоть раз в жизни увидит на сцене какую-нибудь свою пьесу.

— Хуже всего то, — приглушенным голосом заговорил Дрейтон, — что Кемп в роли Париса дьявольски точно копирует Роберта Деверё, графа Эссекса, который недавно снова впал у королевы в немилость и был послан наместником куда-то в Ирландию. Эти актеришки рады влезть в чужую шкуру! В конце концов только глупец не поймет, что Уилли одарил Джульетту всеми чарами Марии Стюарт в ее лучшие годы, когда она была в расцвете молодости, необузданных страстей и великолепного безрассудства! Запретное замужество! Убийство за убийством! Бегство, изгнание, поразительная смерть! Вам это ничего не говорит? И как раз теперь, когда Уилли дописал такую замечательную пьесу, как "Укрощение строптивой". Какое несчастье!

— Увы, — загробным голосом подытожил Джонсон, которого друзья звали Бен, — во всем виновата клановая ненависть, которая в конце концов приносит смерть прелестной молодой женщине, — заметьте, Ромео, увидев Джульетту, тут же забывает Розалинду. Чья это черта? Марии Стюарт! А совершенно очевидный намек на вековую вражду между ирландскими, шотландскими и французскими католиками, олицетворяемыми Марией и Тюдорами, сторонниками англиканской церкви!

— О Боже, — прошептал сэр Кристофер, — вы серьезно так думаете?

— Я совсем так не думаю, — гневно отрезал Джонсон, — я только опасаюсь, что именно так, упаси Боже, может кто-нибудь подумать... и тогда будет плохо!

Тут-то ничего не подозревающий Рэндольф Камберленд и спросил:

— Мария Стюарт? Простите, это кто?..

На сцене уже запустили смертоносный (или якобы смертоносный) яд, ложные известия, ставшие затем истинными, встречу с мнимой, а в конечном итоге подлинной смертью; над мертвыми телами прекрасных влюбленных примиряются кланы в несколько искусственном, неправ-

доподобном хеппи-энде, которому никто в зрительном зале не верит; этот счастливый конец наверняка придуман литературным отделом театра вместе с дирекцией, но все в молчаливом согласии принимают его как неизбежную дань и стремление спастись от капризов и прихотей Елизаветы и тупого педантизма величайшего критика всех времен Фрэнсиса Гардинера, имя которого с почтением будут шепотом произносить школяры во всей Европе, когда уже никто на свете не будет знать, кто такие были Шекспир или Джонсон.

Но сэр Кристофер был не в состоянии сосредоточиться на великолепном действе, заставлявшем ронять слезы, бледнеть и замирать всех мужчин в зрительном зале. В ушах непрерывно звучал мучивший его вопрос молодого человека. Он видел перед собой лица обоих литераторов и взгляд, которым они обменялись. В этом взгляде было немое удивление, чуть ли не ужас, заразительно подействовавший и на него.

Вскоре его совсем перестали волновать судьбы героев шекспировской пьесы, ведь таких поделок были сотни до нее и будут тысячи после; в конце концов, что зависит от нескольких страничек исписанной бумаги и двух дюжин эфемерных злободневных намеков, которые сегодня прозвучат со сцены, а завтра уже никого не будут интересовать (пьеса и так не проживет долго, дни ее, можно сказать, сочтены, ведь в зимний "Блекфрир-тиэтр" не перенесешь самую удачную сцену с балконом, а осень уже в разгаре); но вопрос юноши волновал лорда Кимберли по иной причине.

В то время как Рэндольф, захваченный эффектной сценой в склепе, не отрывал глаз от актеров, его дядя предавался раздумьям: "Боже мой, неужели возможно, чтобы вещи, события и, главное, люди были так недолговечны? Чтобы образованный и воспитанный по всем многовековым правилам молодой человек уже через десять или одиннадцать лет после смерти такой женщины, какой была Мария Стюарт, не знал даже ее имени?.. Достаточно было словечка королевы Елизаветы или ее министра Сесила, чтобы королева трех стран, ослепительная женщина, любовница, способная кого угодно свести с ума, будто бы никогда и не появлялась на свет из лона столь же прелестной и нежной Марии де Гиз в славном Линлитгоу?.. Неужели и я вот так же уйду в никуда? — мелькнуло в голове сэра Кристофера, и вдруг он ощутил, как между его лопатками стекает ручеек пота, хотя воздух под светлым небом над сценой был довольно прохладным. — Неужели не останется и следа от моих деяний на море и на суше, на службе у обеих королев и у единого всемогущего Бога, от деяний, отмеченных признанием и почестями и слывущих образцом для подражания будущих поколений?.."

Конец представления (это был бурный, поразительный успех для такой злопыхательской, неприкрыто тенденциозной, никого не щадящей и не слишком выбирающей выражения пьесы) лорд Кристофер пережил будто во сне. Он лишь смутно помнил, что еще успел познакомить милого племянника с несколькими популярными представителями богемы, в том числе — с художником Натаниелом Диксоном, который недавно не без успеха выставлялся в Норберт-холле, помнил, что с кем-то горячо соглашался, полностью присоединяясь к критике реставратора часовни Генриха VII в кафедральном соборе Вестминстерского аббатства (какой-то сумасшедший или фанатик в приступе безумия, явно

по подсказке Рима, повредил ее стены молотком), что пожимал руки нескольким дипломатам и молодому Фрэнсису Бэкону, который, как выяснилось, пришел на спектакль лишь после третьего действия ("всегда легко представить себе, что этому предшествовало, ведь тут как в жизни — все зависит исключительно от конца"), и что, садясь перед театром "Глобус" в дрожки, сказал Рэндольфу:

— Когда-то, впрочем не так уж давно, автор нынешней пьесы сторожил тут коней приехавших в театр зрителей.

Но он сразу же понял, что информировал племянника неверно, ибо этот театр во времена появления Шекспира в Лондоне еще не был построен: речь, возможно, должна идти об ином здании, о театре "Хоуп".

И только сидя в коляске, сэр Кристофер немного опомнился и взял себя в руки, но тут же его сразила новая мысль: неужели будущие поколения никогда не узнают, кто была Мария Стюарт, какова она была на самом деле?.. И глянув искоса на юного красавца — весь в Дженифер! — был вынужден признать: да, вполне возможно. Если эта женщина — он имел в виду Елизавету — что-нибудь задумает, то все возможно. Даже то, что не будут знать, кто был я. Или не так?

В этот момент непредсказуемый Рэндольф Камберленд спросил:

— Да... Ты так и не сказал мне, дядюшка, кто эта Мария Стюарт и почему те два щелкопера переглянулись, когда я спросил о ней.

"Что бы случилось, — подумал сэр Кристофер, неожиданно ощутив внутреннее напряжение, — если бы я заявил Рэндольфу: это была великая женщина, которую любили все, кто ее знал, не исключая меня, да, не исключая и меня: она была не просто человек, а сладостный и неудержимый вихрь; красива, как орхидея, и непостижима, как море у Канарских островов, чиста, как только что распустившийся цветок персика, и невинна, как Божий жаворонок..."

Но вместо этого он приглушенно ответил:

— Марии Стюарт... уже нет в живых. Ее казнили в крепости Фотерингей. В восемьдесят седьмом, кажется в феврале.

— Казнили? Любопытно! А за что?

— Гм. За участие в заговоре против Ее Величества Королевы, во главе которого стоял некий Бабингтон.

А сам подумал: "Сказать, что я был связан с Бабингтоном, помогал ему, поддерживал его, а время от времени и финансировал его действия? Сказать, что между Марией и Бабингтоном ничего не было, что она не приняла его послов и все это было лишь предлогом для канцлера Берли, стремившегося добиться от изворотливой, нерешительной и опасающейся угрызений совести Елизаветы необходимой ему подписи под смертным приговором для более молодой, красивой и завоевавшей многие сердца соперницы? Нет, — подумал сэр Кристофер, — зачем ему все это рассказывать, он может проболтаться — и тогда мне несдобровать".

— За участие в заговоре? Потрясающе! — саркастически заметил Рэндольф Камберленд. — А чем, собственно, эта особа добывала средства к существованию?

— Она была королевой, — тихо проговорил сэр Кристофер.

— Королевой чего? — не понял племянник.

— Франции, Шотландии и вообще, — неопределенно отвечал сэр Кристофер. "Сказать ему: кстати, и Англии? Этого мальчик вообще бы не понял. Я бы запутался в противоречиях. Ни в коем случае!"

— Странно! — удивился Рэндольф. — И Франции, и Шотландии?

— Прежде всего — Франции, она вышла замуж за Франциска II, но тот умер, он с детства был хворым.

— А потом?

— Вернулась домой, в Шотландию. После смерти отца стала королевой и вышла замуж на некоего Дарнли.

— Это был шотландский король?

— Да нет, он только хотел быть королем. Во что бы то ни стало. Это был жестокий, безнравственный насильник и пьяница.

— Понятно. И она... Эта Стюарт нашла себе другого...

— Гм. Полагаю, это было несколько сложнее.

— Так нашла или не нашла? — с улы́бкой превосходства повторил племянник.

— Ну, нашла. Говорят, она влюбилась в своего секретаря, флорентийца Риччи.

— Ага... Я сразу так и подумал. И стала его любовницей. Только не говори, дядюшка, что это было сложнее.

— Судя по всему, все-таки было.

— Отлично. И вышла за него?

— Нет.

— Почему?

— Во-первых, она была замужем за Дарнли, — сэр Кристофер запнулся. — А во-вторых, Дарнли повелел убить Риччи.

— Вот те на! Значит, ей пришлось остаться с Дарнли. Или нет? Готов поспорить, что и его убили.

— Ты выиграл. Его убил некий лорд Босуэл.

— Все-таки веселее! И Мария приказала его казнить?

— Нет, вышла за него замуж.

Сэр Кристофер подумал: "Боже милостивый, как это страшно звучит, когда говоришь так однозначно! На самом-то деле все было иначе, а главное, разумеется, гораздо сложнее, но какой смысл мальчику объяснять это? И кроме того, хоть и звучит страшно, но ведь так оно и было!"

— О господи, — недоумевал Рэндольф. — Почему?

— Почему? Да потому что она любила его! Разве может существовать иная причина?

— И этого любила! — войдя в азарт, воскликнул Рэндольф Камберленд. — Да ей вступить в связь, как иному выпить стакан воды! Любила человека, который убил ее мужа! Любила мужа, который убил ее любовника! Отъявленная шлюха эта Стюарт! И хорошо, что ее казнили!

— Казнили ее не за это.

— Так за что же?

Сэр Кристофер подумал: "Сказать ему, что наша мудрая и прозорливая, стареющая и запуганная Елизавета боялась ее? Что всесильная и день ото дня все более могущественная королева не спала ночами из-за очаровательного, прелестного, но неразумного, терзаемого страстями создания, что королеву пожирала зависть к ее сумасшедшему, лишенному всякой логики счастью в любви, к ее безграничной свободе в отно-

шениях с мужчинами, что королева цепенела от страха, как бы та не вскружила головы всем мужчинам на острове, на который, собственно, имела почти столько же прав, сколько и она сама, причем прав, признаваемых без исключения всеми, кто носил брюки? Нет". Вместо этого сэр Кристофер сказал:

— За то, что она знала о готовящемся убийстве своего мужа и вступила в заговор с любовником.

— Черт возьми! И это доказали?

— Нашли шкатулку с письмами, которые свидетельствовали об этом.

— Тогда все ясно, — с явным облегчением констатировал Рэндольф.

А сэр Кристофер подумал: "Ничего не ясно, черт побери, совсем ничего. Но к чему сейчас все это рассусоливать? Мальчик неглуп, еще начнет рассуждать и сомневаться в подлинности "писем из шкатулки" и, сам не ведая, как и почему, впутается в неприятности. Еще испортит себе из-за этой Стюарт карьеру, зачем это ему?"

— Погоди! — вдруг с необычайной живостью воскликнул Рэндольф Камберленд. — Но как же, собственно, это произошло?! Я что-то не понимаю! Ее арестовали в Шотландии? Где ее судили? При каком дворе, на основании какого права?

— Схватили ее в Англии, а судили по праву Короны.

— Но объясни мне ради Бога, как она сюда попала?

— Бежала из Шотландии.

— Как?! Ведь она была там королевой! Шотландская королева бежала из Шотландии — в Англию? Но почему?..

— Потому что против нее взбунтовались тамошние лорды, заточили ее в замке Лохливен и разбили ее войско при Лонгсайде. Она укрылась здесь, поскольку надеялась, что королева не обидит королеву. Ведь в конце концов они были близкой родней.

Рэндольф слегка взвизгнул — даже кучер на козлах удивленно оглянулся.

— Словом, эта Стюарт была не только потаскушка каких мало, но еще и порядочная дуреха! Как она могла надеяться, что женщина способна протянуть руку помощи женщине, особенно если она родственница и может, пока жива, претендовать на ее корону?! Значит, эта Стюарт была та еще штучка! Сперва из постели в постель, да еще с убийцами своих прежних любовников, потом позволяет выкрасть у себя компрометирующую корреспонденцию и, наконец, едет и сама предает себя на смерть! И как только можно быть таким адским чудовищем и одновременно такой простофилей?..

"Как можно быть такой грешной и одновременно такой чистой, — ностальгически размышлял сэр Кристофер, — способной отдаться мечте и беспомощно недальновидной, такой безгранично верящей в святость любви и готовой ради любви погубить себя?.." — Но он промолчал.

И вдруг взглянул на Рэндольфа и на все его поколение другими глазами и свое отчаяние из-за того, что Мария Стюарт ушла в небытие, неожиданно увидел в новом свете: разве не внесли во все это свою лепту люди, которые говорят, как он, и молчат, как он?! Что, если и о нем, о великом Кристофере Кимберли, когда-нибудь будут так же умалчивать и так же говорить? Что, если через два-три столетия никто не будет знать, кем и чем он был?!

– Послушай, дядюшка, – не унимался будущий юрист, – а почему, собственно, все с таким невиданным единодушием ополчились на нее?

Лорд заколебался.

– Потому что она хотела обратить в католичество всю Англию.

Да. Наконец-то он нашел верный ответ, ответ, который удовлетворит Рэндольфа.

И правда, молодой человек поглядел на старика глазами, ставшими от удивления круглыми, как колеса дрожек, в которых они ехали.

– Она была католичка?!

Лорд кивнул.

– Отчего же ты этого сразу не сказал? – обрадованно воскликнул наследник графства Камберленда. – Теперь все ясно! Все совершенно ясно!

"Да, – горько подумал сэр Кристофер. – Все ясно. Насчет этой потаскушки. Этой еретички. Предательницы, участницы заговора против королевы. Насчет этой девки, куртизанки, шлюхи. И к тому же еще неслыханной дурехи".

Тут лорда Кимберли охватило горячее чувство, быть может, это было страстное желание, воплотившееся в молитву: "Пусть лучше о ней забудут! Пусть выкинут ее из истории этого вздорного архипелага! Лучше бы она никогда не появлялась на свет! И если обо мне будут говорить как о скряге, невежде, завистнике, взяточнике, изменнике – лучше бы и я никогда не существовал! Пускай потомки ничего обо мне не знают!"

Дрожки остановились.

– Выходим, – хрипло произнес старик. – Надеюсь, леди Агнес позаботилась, чтобы нам приготовили хороший обед.

"Что делать, – взволнованно думал сэр Кристофер, – что делать, чтобы грядущие поколения знали правду? Или – но чтобы наверняка – не знали ничего, ничего, ничего?!.."

Вильгельм фон Штернбург

"Как будто все в последний раз"

Отрывки из книги о жизни и творчестве Эриха Марии Ремарка

Перевод с немецкого А. Егоршева

СЧИТАЕТСЯ, что Ремарки родом из Франции, однако это верно лишь отчасти, ибо край, где, по достоверным сведениям, оставили первый след предки писателя, на протяжении столетий неоднократно менял своих правителей. Низовья Рейна, провинция Лимбург, Валлония были пограничными землями, так что обладать ими стремились и французы, и немцы, и голландцы... Имя Ремарк (Ремакль) встречалось там не так уж и редко, а одного из Ремаклей даже причислили к лику святых. Точно определить место, откуда произошли наши Ремарки, тем не менее до сих пор не удалось. Известно лишь, что в 1720 году появился на свет человек по фамилии Ремакль и по имени Туссен, взявший в жены некую Марию Лежен. Где они родились, неизвестно. Зато из ветхих от времени бумаг можно узнать, что их сын, родившийся в 1757 году и названный по отцу, жил в Аахене, сочетался браком с пряхой Катариной Курто и работал каменщиком. Потомок их, Иоганн Адам Ремарк, родился в революционном 1789-м, переехал из Аахена в Кайзерсверт (с 1929 года район Дюссельдорфа), женился там на Элизабет Френкен и добывал хлеб насущный изготовлением гвоздей. Наследником эту супружескую пару Бог наградил 13 марта 1840 года. Юноша счел Кайзерсверт вполне пригодным для обитания и тоже стал гвоздильщиком. В его метрике есть такое примечание: "После оглашения отец ребенка заявил, что из-за болезни глаз расписаться не может, и расписались свидетели".

Имя же в документе начертали так: Петер Алоиз Ремарк (Remark). Не исключено, что онемечивание фамилии[1] было реакцией на мощный всплеск движения, участники которого объединялись в хоры, дабы, в пику французам, сотнями хмельных голосов пропеть-прореветь в едином восторженном порыве: "Не видать им Рейна, вольного, германского, как своих ушей!" Вскоре Хофман фон Фаллерслебен сочинил стихот-

© 1998 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln.
© А. Егоршев. Перевод, 2000

1. Первоначальное написание: Remarque. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ворение "Германия, Германия превыше всего", чем и стали руководствоваться его соотечественники. Что же до Петера Алоиза, то он выбрал себе спутницей жизни портниху по имени Адельхайд Боймер, и 12 июня 1867 года у них родился сын Петер Франц, которому было суждено стать отцом писателя Эриха Марии Ремарка.

Э. М. Ремарк с отцом Петером Францем Ремарком (ок. 1900 г.)

Итак, имя – французского происхождения, а жизнь – по крайней мере со времен прапрапрадеда – протекает в Аахене и Кайзерсверте. Династия оседлых ремесленников скромного достатка. Подробных сведений нет. Немалая часть церковных книг пропала в результате войн и пожаров, в уцелевших много пробелов, и Ремарки из поколения в поколение ничем не выделяются среди своих сограждан. Имелись ли у этого генеалогического древа ответвления, связаны ли родственными узами Ремарки с берегов Саара и Нижнего Рейна, были ли семьи предков многодетными, какими мыслями и чувствами жили прародители, милостиво ли относилась к ним судьба, принадлежали ли они к числу тех людей, что вынуждены были покинуть пределы Франции в XVI—XVII веках, – остается загадкой. Ничего не известно и о каких-либо художественных дарованиях или наклонностях давно усопших представителей рода.

Мелкобуржуазное происхождение довольно сильно сказалось на Ремарке – от его влияния, по сути, так и не удалось освободиться. В этой общественной прослойке – но, естественно, не только в ней – господствуют четко выраженные воззрения и предрассудки, миру даны ясные дефиниции, Верх и Низ, Порядок и Беспорядок принимаются как данности без особых сомнений. Подняться наверх, что является конечной целью, можно лишь, исповедуя трудолюбие и бережливость. Многие достигли этой цели, обретя в своих профессиях – в том числе в политике и литературе – общественное признание и растущее благосостояние. Но за "прыжок из одного класса в другой" надо платить. Неуверенность Ремарка в себе, постоянно сопровождающие его сомнения в значительности своего творчества и правильности образа жизни проистекают, возможно, и отсюда. Внезапно обретенные богатство и громкая слава, большой интерес, вдруг проявленный к нему политической и интеллектуальной элитой, – все это вытолкнуло из привычного мира.

* * *

Эрих Пауль Ремарк появился на свет 22 июня 1898 года, "в 8 с четвертью пополудни", в родильном доме Оснабрюка...

Беззаботное детство с играми на лоне природы в по-сельски идиллическом Оснабрюке, где умеют еще устраивать праздники, ритм жизни во многом определяется временами года, на соборной площади лоточники расхваливают медовые пряники, а бродячие музыканты и акробаты развлекают молодежь, собравшуюся у балагана. В первые годы жизни ребенка закладываются основы эмоционального восприятия окружающего мира, формируется его подсознание, он начинает постигать то, чего взрослым порой и объяснить невозможно.

Не стоит полностью принимать на веру утверждения о беззаботном детстве и семейной гармонии... Вспоминая детские и отроческие годы, сам Ремарк скажет: "Мои мечты не встречали понимания ни дома, ни в школе, не нашлось и умного советчика, когда пробовал сориентироваться в мире книг. Невозможно было представить себя в будущем никем иным, кроме как почтмейстером, учителем или аптекарем". Он начинает читать — много и бессистемно. Предпочитает классиков, но попадаются, видимо, уже и современники. Отец приносит книги, которые сын должен переплести. На деньги от уроков отстающим ученикам он покупает дешевые собрания сочинений авторов, с которых честолюбивая буржуазия "делает жизнь". Он мечтает стать великим писателем. "Я читал много и без разбора. Пока в руки мне не попал "Зеленый Генрих" Келлера".

Ремарк растет живым, мечтательным мальчиком. "Он увлекался самыми разнообразными вещами, — вспоминал друг его детства и юности Ханс-Герд Рабе, — одно время, например, фокусами и гипнозом. Ему важно было разыграть комедию, добиться, чтобы на него смотрели раскрыв рот". Он любит чем-нибудь блеснуть. Взрослея, одевается по моде... На сохранившемся снимке у тринадцатилетнего вид манерного денди: шляпа, галстук, макинтош, взгляд рассеянно-важный, рядом овчарка по кличке Вольф. Он смотрится просто здорово, и, судя по позе, можно предположить, что он это знает и этим наслаждается.

Доступ в гимназии города Ремарку был закрыт уже по финансовым причинам, к тому же у него не было даже среднего образования, так что оставался путь только в католическую учительскую семинарию. Родители же были достаточно амбициозны, им, безусловно, хотелось сделать все возможное, чтобы сын принадлежал к солидному среднему сословию. Он должен был стать учителем, с гарантированной в будущем пенсией, человеком, избежавшим участи простого рабочего.

Ремарк подчинился, о каком-либо сопротивлении родительской воле ничего не известно. Но литература, искусство, музыка заняли теперь в его жизни центральное место. В Оснабрюке жил художник, поэт, любитель песен Фриц Хёрстемайер. Хотя история искусств наказала его (и не совсем безосновательно) пренебрежением, для молодых сограждан он был в свои 33 года личностью явно харизматической... Собирались в его крохотной мансарде на Либихштрассе, читали там стихи, пели песни, философствовали о смысле жизни и назначении искусства, отгородившись и от уже начавшейся войны, и от модернистских веяний в литературе, музыке, живописи. "Как там было всегда по-домашнему тепло и уютно: золотисто-коричневые стены, мягкий свет лампы под крас-

новатым абажуром, молодость, красота, веселое настроение — и витающая над всем этим грусть скорого расставания... Когда багровый закат догорал за тяжелыми тучами, ветер вкруг дома все громче пел свою песнь, а хлопья снега медленно падали в вечерних сумерках, постепенно занавешивая оконце в покатой крыше, тогда единственным источником света оставалась золотистая лампа, по углам тихо скользили тени, мы придвигались ближе друг к другу, и нас охватывал какой-то священный трепет. На плите с шипеньем подрумянивались яблоки, их дух растекался по мансарде, овевал замершего в углу бронзового Бетховена, разглаживал хмурые черты его лица..."[1]

Ремарк всегда будет помнить мансарду с ее романтической атмосферой. Она станет местом действия его первого романа[2], а люди, которых он встречал там, героями этого произведения. То, что открылось ему в кружке Хёрстемайера[3], оставит в душе глубокий след.

***

Уже давно шла война. Немцы, как известно, приветствовали ее начало громогласным и безрассудным "ура". Вскоре, однако, наступило отрезвление. В газетах все больше места занимали сжатые до нескольких строк некрологи, снабжение населения ухудшилось. Как реагировал шестнадцатилетний Ремарк на объявление войны Антанте, мы не знаем. По-видимому, без особого энтузиазма. Политика его не интересовала. Во всяком случае добровольцем на фронт, чтобы защищать отечество, он не ушел — в отличие от трех однокашников.

В армию его призвали 21 ноября 1916 года.

Лично Ремарк пережил лишь немногое из того, что десятилетие спустя описал в своем самом знаменитом романе: не участвовал в рукопашных боях в траншеях, не ходил в атаки. Он чинил разрушенные рельсовые пути, прокладывал телефонные линии, устанавливал заграждения из колючей проволоки, разгружал вагоны с боеприпасами... Ни безопасным, ни легким это дело не назовешь. "Землекопная" рота часто попадала под обстрел. Смерть находила свои жертвы и среди "землекопов".

Судя по немногим сохранившимся воспоминаниям, солдаты уважали Ремарка и питали к нему симпатию — за то, что умел, применяя гипноз, показывать фокусы, за то, что играл им на рояле. За дружелюбие, открытость... "На фронте Р. был моим лучшим товарищем, — рассказывал его однополчанин, — в любых ситуациях он сохранял спокойствие, вместе мы раскрутили и развесили не один моток колючей проволоки..."

Летом 1917 года началось наступление англичан во Фландрии. Ему предшествовала длительная артподготовка. Ураганный огонь обрушивался и на позиции, где находился Ремарк. Он был ранен 31 июля, в день, когда солдаты противника, прикрываемые огнем своих орудий, пошли в атаку. Осколки снаряда попали в левую ногу и правую руку, задели шею... Ранение оказалось достаточно серьезным, требовалось длительное лечение. Смерти девятнадцатилетний солдат избежал, однако мир, в который он возвращался, стал иным.

1. Запись из дневника Ремарка от 20 августа 1918 г.
2. "Приют грёз".
3. Фриц Хёрстемайер умер в 1918 г. в возрасте 35 лет. Ремарк тяжело переживал кончину учителя и друга.

***

...Фортуна снова улыбается Ремарку. Его оставляют в городе, на фронт возвращаться не надо. Он наслаждается вновь обретенной свободой и в чем-то даже легкомысленной жизнью. Работает в канцелярии, играет для раненых на рояле, флиртует с медсестрами, а в амурных делах с дочерью начальника госпиталя и некоторыми другими барышнями даже весьма преуспевает. "Живется мне тут очень хорошо. Гуляю по саду, могу уйти, когда захочу, сытно кормят, в общем, предел мечтаний!.. Получил пока должность писаря. Быстро расставаться с нею не собираюсь. Немножко везения, немножко ловкости..."

Ремарк в лейтенантской форме (1919 г.)

В письмах он хочет казаться веселым, таков он и есть, но увиденное на фронте постоянно перед глазами. "Премерзкое это занятие — в такой собачий холод ползать по воронкам, стоять на посту, коченея на ледяном ветру, и вообще не чувствовать себя человеком. На днях сюда прибыл санитарный эшелон из Камбре. Ребята тоже очень жаловались на лютую стужу в окопах. Немало страшно изувеченных, с ампутированными конечностями, у некоторых раздроблены кости... Сидеть тут в тиши и тепле кажется мне порой преступлением".

В госпитале города Дуйсбурга Ремарк пробыл до конца октября 1918 года. А в апреле было напечатано его первое стихотворение. Оно появилось в "Шёнхайт", любимом журнале мечтателей-мансардовцев. Называлось "Я и Ты", и речь в нем шла о дружбе с Хёрстемайером. В стихотворении рифмуется любовь и кровь, а смерть, которой автор еще совсем недавно, можно сказать, смотрел в глаза, обретает неоромантический ореол.

...Гуго фон Гофмансталь, Георг Тракль и Георг Гейм напечатали свои великолепные стихи в нёполные двадцать лет, Гёте в двадцать четыре года написал первый вариант "Фауста", а в двадцать пять "Вертера", Георг Бюхнер, ушедший из жизни в двадцать четыре года, оставил нам "Дантона" и "Войцека", Томас Манн в двадцать один год начал писать "Будденброков", Роберт Музиль в двадцать пять лет создал "Душевные смуты воспитанника Тёрлеса"[1] . Ремарк не принадлежал к числу тех, чей талант раскрылся в молодости. Ему понадобились годы, чтобы заговорить своим языком и найти свои темы.

Однако уже в ранний пе́риод в нем рождается мелодия, которая, звуча пока не очень ясно, будет потом возникать вновь и вновь и определит его отношение ко многим женщинам, встреченным им на жизнен-

1. См. "ИЛ", 1992, № 4.

ном пути. Так, 15 августа он записывает: "Я не требую платонической любви! Но не желаю и любви только чувственной!.. Неверности нет, как нет ни греха, ни добра и зла... Эти мысли навеяны сегодня тобой, Люция, ибо, обрученная с другим, ты была моей возлюбленной три часа, полных блаженства... Будь эти прожитые нами вместе часы лишь экстазом плоти, обратная реакция не замедлила бы последовать: отвращение и обоюдное презрение!.. Любовь — это высшая гармония, созвучие умов и сердец, рожденное плотью. То, что нужно для брака, я назвал бы дружбой; или, может быть, любовью-дружбой. Любовь — это упоение!.. И значит, нельзя обвинить в измене женщину, которая любит другого!" Чувство вины мучает неугомонного любовника. Оно не оставит его до конца и в зрелом возрасте.

Ранние дневниковые записи, первые стихотворения и появившийся вскоре роман — все это вместе ясно свидетельствует о душевном кризисе Ремарка, его действительных и вымышленных страданиях, беспокойной фантазии, попытках нащупать дорогу в воображаемый писательский мир. Он не счастлив — даже когда снова и снова восторженно славит счастье. Месяцы пребывания на фронте вырвали его из идиллии довоенного времени. Ремарк еще не осознает, что приключившееся с ним — это не только его судьба, а судьба целого поколения. Драма молодых людей, вернувшихся с полей войны в мирную жизнь и не находящих в ней смысла, участь "потерянного поколения" ("lost generation" — впервые его так назвала Гертруда Стайн) взволнует во второй половине 20-х годов Эрнеста Хемингуэя, Фицджеральда и других, прежде всего американских, писателей. Время вырвалось из проторенной колеи, после войны многое перестанет быть тем, чем было...

31 октября Ремарка выписывают из госпиталя и направляют в первый запасной батальон 78-го пехотного полка, расквартированного в Оснабрюке. А через полторы недели война заканчивается, и 5 января 1919-го он покидает армию.

Вернувшись домой, Ремарк возобновляет учебу в католической учительской семинарии. Выбора нет — писательством не проживешь. Картина весьма странная: за партами много бывших офицеров и рядовых, прошедших огонь и воду, а уму-разуму их учат педанты старого закала... Учащиеся возмущаются, протестуют, требуют перемен.

Ремарка выбирают представителем на переговорах с начальством.

При том что он несомненно проявляет и политическую активность, в свои двадцать лет он все еще живет жизнью мечтателя, грезит о любви, пессимистичен, когда задумывается о своем будущем... На столике в комнатушке под крышей родительского дома перед ним томики Гёльдерлина и Гофмансталя, он пишет стихи, любовные письма и первый роман, играет на рояле, рисует, дает уроки музыки и занимается с отстающими учениками, на заработанные деньги ходит в театр и на концерты. Много читает, слушает лекции в народном университете. И в то же время выступает в иной ипостаси, словно его попутал бес тщеславия. В лейтенантской форме, с орденами на груди, хлыстом в руке и собакой на поводке фланирует по улицам Оснабрюка, сидит по вечерам в кафе и пивных, пьет, шутит, разглагольствует о политике, рассказывает небылицы. Меняет потертый солдатский мундир на элегантный костюм. "Он одевался броско, но со вкусом, носил настоящую панаму и вел стат-

ную овчарку так, что прохожие невольно замедляли шаг", – вспоминал Ханс-Герд Рабе. И далее: "Я часто встречал Ремарка на концертах в саду известного кафе "Германия". Его манеры и отличный костюм вызывали у меня восхищение; заметив это, он сказал: "Хочешь добиться успеха в жизни, обращай больше внимания на одежду". Носил он и широкие, развевающиеся на ветру галстуки – те, что так любят художники".

***

Письмо, которое Ремарк в конце июня 1921 года отправляет на гору Капуцинов в Зальцбурге уже обретшему известность Стефану Цвейгу, – куда более достоверное свидетельство его тогдашнего душевного состояния, нежели реминисценции в интервью и письмах более позднего периода: "Господин Стефан Цвейг, пишу Вам с решимостью человека, для которого "быть или не быть" стало главным вопросом, а также по праву любого что-либо созидающего человека. Мне 23 года, у родителей я был "мальчиком для битья", бродил по стране, пас овец, работал на фабрике, служил в армии, самоучкой набирался знаний, учительствовал, писал. В настоящий момент в моей судьбе все так переплелось и запуталось, идет такая ужасная творческая борьба (ибо творчество для меня не литературная забава и не академическое занятие, но кровное дело, вопрос жизни и смерти), что я остро нуждаюсь в добрых советчиках. Гордыня мешает мне излить душу, но бывают часы и минуты, когда требуется дружеское участие, когда пройти какой-то отрезок пути в одиночку невозможно. Сегодня мне нужен человек, которому бы я внимал, безусловно доверял, верил и за кем бы *следовал*. Кроме Вас, я не вижу другого такого человека! Вы исключительно тонко чувствуете людей, проникаетесь их мыслями и заботами. Итак, вот моя просьба: Вы должны сказать мне, по правильному ли пути я иду. Хотел бы послать Вам несколько осколков, отлетевших от камня при мучительной работе резцом, и услышать Ваш приговор... Для меня это вопрос жизни и смерти. Или я сломаюсь, или прорвусь. Жизнь и творчество слились во мне с такой чудовищной силой, что разъединить их пока не удалось. Страдаю же от этого сплава неимоверно. Словно затравленный зверь, несся я бог весть куда под градом вопросов, ощущая свою особую миссию и страшно мучаясь от этого, и вот теперь стою над бездной: это действительно миссия или нечто такое, что судорожно пожирает самое себя в мареве галлюцинаций? Если так, то лучше – в бездну, в мягкое, как лебяжий пух, Ничто. Пишу Вам, господин Цвейг, и прошу как человек человека: сообщите мне, могу ли я послать на суд Вам несколько стихотворений, несколько осколков моей неистовой работы над "великим" произведением. Впрочем, осмелюсь приложить их уже к этому письму".

Ключевой документ данного этапа жизни. И значительно более правдивый, чем взгляд на эти годы в романах "Возвращение" и "Черный обелиск". Письмо пишет человек отчаявшийся, мятущийся. Не патетический тон, не ницшеанское желание представить себя в привлекательном виде, а крик о помощи срывает покров с тех условий, в которых живет Ремарк: творческий тупик, уязвленное самолюбие, прозябание в провинциальной глуши... Есть, правда, боготворимая им и всегда готовая выслушать его актриса Лотта Пройс, да и дружеские пирушки длят-

ся иной раз далеко за полночь, есть возможность "профессионально" насладиться искусством, о молодом талантливом авторе, случается, упоминает газета родного города. Но все это способно лишь приглушить приступы тоски, идущей от неудач и в личном, и в творческом плане.

Ответ Цвейга был, очевидно, доброжелательным и ободряющим. Доказательство тому — письмо, отправленное Ремарком австрийскому коллеге в июне 1929 года вместе с экземпляром "На Западном фронте без перемен": "Когда я уже почти не верил, что человек может быть добр к другому человеку, Вы написали мне очень теплое письмо. Я хранил его все годы среди тех немногих вещей, расстаться с которыми был просто не в силах. Оно служило мне утешением в дни продолжительных депрессий".

Меж тем Ремарк торгует в Оснабрюке надгробными памятниками от гранильной мастерской братьев Фогт, что располагалась на Зюстерштрассе. О своей недолгой коммерческой карьере он скажет позже с нескрываемой иронией: "Я стоил тех денег, что мне платили. С необыкновенной легкостью (счастливая рука!) сбывал самый залежалый товар, даже стиля модерн. Способствовал обезображиванию местности памятниками павшим воинам. Мы придумывали, делали и продавали уродливые изваяния в виде страдающих от зубной боли львов и бронзовых орлов с подбитыми крыльями. Последние особенно хорошо шли, если их головы были украшены золотыми коронами".

На органе Ремарк играл в часовне Св. Михаэля Оснабрюкской краевой больницы. Для этого каждое воскресенье поднимался по склону холма на городской окраине к психиатрическому отделению. Наградой были бесплатный обед и возможность заглянуть в скрытый от посторонних глаз мир людей, мучимых страхами и навязчивыми идеями.

Всех этих заработков едва хватает, чтобы сводить концы с концами.

В 1921 году Ремарк устанавливает контакт с ганноверской фирмой резиновых изделий "Континенталь — каучук и гуттаперча" и пишет для издаваемой ею газеты несколько рекламных статей. Сотрудничество с "Эхо Континенталь" быстро крепнет. В марте того же года он — видимо, впервые — подписывается под письмом в редакцию именем Эрих Мария Ремарк. Почему вдруг он назвал себя "Марией"? На эту тему он никогда не высказывался. Может быть, в память о матери? Или это дань уважения, выказанного молодым человеком, мечтающим стать известным пиитом, такому мэтру, как Райнер Мария Рильке? "Мелодия любви и смерти корнета Кристофа Рильке" была встречена поколением Ремарка с восторгом!..

В апреле 1922 года Ремарк покидает Оснабрюк, переезжает в Ганновер, снимает квартиру на Николаиштрассе и становится штатным сотрудником "Эхо Континенталь".

...В начале 20-х автомобиль — еще роскошь, по карману лишь людям достаточно состоятельным. Владельцы горделивы и не без снобизма, ведь с машиной связываются такие понятия, как досуг, спорт, дальние страны, экзотические путешествия. Поэтому мансарда с ее грезами для свежеиспеченного составителя рекламных текстов отходит на задний план; техника, скорость, непринужденность суждений, великосветская обстановка — вот что все сильнее увлекает Ремарка.

Перед ним открывается большой мир: фирма командирует его в Италию, Англию, Бельгию, на Балканы, в Турцию и Швейцарию. Но выход за пределы провинциальной Вестфалии влечет за собой и фатальные последствия: Ремарк начинает пить. Быть может, чтобы преодолеть неуверенность, скорее приспособиться к жизни в новых условиях. Джулия Гилберт, американская исследовательница жизни Ремарка, рассказывая об этих командировках, замечает: "Молва о нем постепенно распространяется в известных районах, домах и увеселительных заведениях многих европейских городов. К "ночным бабочкам" он питал искреннюю симпатию". Подобные пассажи охотно проглатываются читателем и легко дополняют образ прожигателя жизни. Однако едва ли эротические эскапады рядового коммивояжера могли стать притчей во языцех в масштабах континента.

Важнее, безусловно, другое: пока Ремарк разъезжает по Европе, в газетах и журналах появляются его новеллы, зарисовки, рецензии. Несколько его вещей публикует даже амбициозный "Берлинер тагеблат". Это, несомненно, вдохновляет Ремарка. Но говорить о журналистской, тем более писательской карьере можно лишь с большой натяжкой. Ситуация не скоро изменится и в Берлине. Ремарк уже в состоянии зарабатывать себе на хлеб писательским трудом, но его никак не отнесешь к корифеям немецкой публицистики веймарского периода.

До нас дошло около ста ремарковских работ той поры. Они неоспоримо свидетельствуют о переломе в его творчестве. Неоромантические мечтания уступают место реалистическим сюжетам. Заметны проблески здравого цинизма, его герои уже не умирают красиво, они расстаются с жизнью деловито... Ремарк находит новые, модные темы, действие часто происходит в дальних странах, он рассказывает о драме ревности, разыгравшейся в пустыне, о путешественниках, курящих опиум в Китае, о мошенниках-инкассаторах, об отчаянно смелых исследователях Арктики. Его героев встретишь и в Бейруте, и в Рио-де-Жанейро... В коротких новеллах ему иногда удается создать атмосферу напряженного ожидания, которая станет характерной чертой его больших романов и обеспечит им успех.

***

В Ганновере Ремарк пишет второй роман. При его жизни это произведение не публиковалось, сам писатель о нем никогда не высказывался. Рукопись была обнаружена в архиве Ремарка, что само по себе примечательно: в отличие от многих заметок литературного и личного характера, а также значительной части корреспонденции, он ее не уничтожил.

Роман "Гэм" любопытен тем, что в нем возникают те основные мотивы в мироощущении героев, которые Ремарк будет постоянно варьировать в своих более поздних произведениях: одиночество ("А потому любая встреча — приветствие, посланное из тьмы во тьму, медленное движение мимо другого человека..."), тщетность любви ("Ничто не было столь беспощадно, как любовь; утративший свободу чувств терял и того, кому он приносил их в жертву"), фатализм гуманиста ("Простейшая из истин, оказывается, гласила: все хорошо и правильно. Тот, кто остает-

ся верен себе, не ошибается. Тот, кто теряет себя, обретает мир. Обретший мир находит себя").

Почему главное действующее лицо романа — женщина? Во всех последующих произведениях это будут мужчины. В двух первых опубликованных больших романах — "На Западном фронте без перемен" и "Возвращение" — изредка фигурируют солдатские матери, остальные женщины — и их немного — обрисованы как объект эротических переживаний фронтовиков и солдат, вернувшихся с войны домой. В других романах героиням хотя и отведена важная роль в развитии сюжета, однако и Рут Холланд ("Возлюби ближнего своего"), и Патриция Хольман ("Три товарища"), и Жоан Маду ("Триумфальная арка"), и Элизабет Крузе ("Время жить и время умирать"), и Лилиан Дюнкерк ("Жизнь взаймы"), и неизлечимо больная Элен ("Ночь в Лисабоне") — в конечном счете всего лишь мощное эхо любовных страстей, испытываемых героями мужского пола. А вот почти на все, что происходит в "Гэм", читатель смотрит глазами женщины.

Возможно — но это чисто умозрительное предположение, — необычный для Ремарка угол зрения подсказала ему встреча с женщиной, пришедшаяся на ганноверскую пору его жизни. Именно тогда он познакомился с Ильзой Юттой Цамбоной, горячую сердечную привязанность к которой он испытывал долгие годы. В письмах и дневниках он называет ее Йоханнесом или Петером, для друзей она — Жанна. Цамбона была красива, как с картинки, одевалась элегантно, она холодновато-эротична. Внешне выглядела так, как многие ремарковские героини, например Патриция Хольман, более других похожая на Ютту Цамбону: узкий овал лица, большие глаза, высокая, стройная. Тип женщины, действовавший на Ремарка магнетически. Когда он познакомился с двадцатидвухлетней танцовщицей и актрисой, та уже была разведена.

14 октября 1925 года они поженились в Берлине. Первое время, несомненно, были очень привязаны друг к другу, однако буржуазно-идиллическим этот брак не назовешь. Ремарк продолжает встречаться с другими женщинами, Ютта Цамбона — с другими мужчинами. Через три недели после бракосочетания в письме к своей подруге Эдит Дёрри, дочери человека, под началом которого он работает в журнале "Шпорт им бильд", Ремарк так писал о мотивах, подвигнувших его на женитьбу: "Это был все-таки странный шаг. Я лишний раз убедился, что все писатели врут. В моем поступке было куда больше просто человеческого, нежели эгоистического желания насладиться счастьем... Понятие счастья для меня так изменилось с течением лет: вместо юношеского стремления утолить жажду и пр. — теперь радостная готовность бросить вызов безумствам бытия. Даже брак, кульминационный момент в жизни каждого нормального гражданина, не повлиял на этот мой настрой. Рядом со мной теперь человек, который, может быть, души во мне не чает, и я постараюсь убрать с его пути все мерзкое и безобразное..." Ремарк оставался верен своему обету на протяжении десятилетий — и после того как брак распался.

Еще до брака, а также во время брака с Юттой время от времени рядом с ним появляется еще одна женщина, о которой мы узнаем из писем: Бригитта Нойнер. Ремарк познакомился с ней в Берлине. Письма к Бригитте написаны рукой жизнерадостного, несентиментального,

остроумного человека. Очевидно, эта связь не сопровождалась душевными муками, не носила разрушительного характера.

***

Ганновер крупнее и оживленнее Оснабрюка, но в 20-е годы городом, словно Эльдорадо притягивающим к себе творческую интеллигенцию, становится Берлин. На газетных полосах здесь скрещивают шпаги выдающиеся театральные критики Альфред Керр и Герберт Иеринг; тут ставят сенсационные спектакли Макс Рейнхардт и Эрвин Пискатор; здесь выступают самые знаменитые актеры и певцы; неподалеку, в Бабельсберге, находится киностудия УФА. Сюда потянулись многие известные писатели. В Берлин переезжают Генрих Манн, затем Арнольд Цвейг, Лион Фейхтвангер и Бруно Франк, здесь постоянно бывают Бертольт Брехт и Карл Цукмайер. Альфред Дёблин врачует берлинцев и пишет большой роман "Берлин. Александерплац". Дети Манна, Клаус и Эрика, кочуют по заведениям, облюбованным гомосексуалистами и трансвеститами. Отто Клемперер дирижирует в оперном театре, Курт Вайль кладет на музыку историю жизни Мэкки-Ножа, сочиняет "Расцвет и падение города Махагони", основоположник атональной музыки Арнольд Шёнберг возглавляет мастер-класс по композиции в Прусской академии искусств, а Франц Шрекер руководит Высшей музыкальной школой. В Берлине находятся крупнейшие художественные галереи, Пауль Кассирер покровительствует модернистам, Георг Гросс изображает в острогротескной манере сановников и нуворишей, Оскар Кокошка регулярно наведывается сюда в перерывах между своими продолжительными путешествиями. Тут расположились издательские концерны "Ульштейн", "Моссе" и "Шерль", здесь выходят самые влиятельные газеты Веймарской республики.

Итак, Ремарк оказывается в огромном городе с его кипучей, суетной, безжалостной жизнью. С 1 января 1925 года Ремарк – редактор популярного спортивного еженедельника "Шпорт им бильд". Его явно не смущает, что теперь он трудится на издательство "Шерль", которое возглавляет ярый антидемократ Альфред Гугенберг, всей мощью своей газетно-журнальной империи подрывающий устои республики. Вскоре Гугенберг станет одним из ее могильщиков, будет помогать Гитлеру прийти к власти. Но Ремарк не пишет на политические темы, как журналиста его занимают спорт и светская жизнь.

О жизни Ремарка в Берлине известно не так уж и много. Судя по отдельным замечаниям в мемуарах людей, с которыми он общался, а также в некоторых письмах, ни аскетом, ни затворником он не был. Закончив работу в редакции, он не спешит домой к письменному столу, предается разнообразным столичным удовольствиям. Бетти Штерн, которая открыла салон в своей маленькой квартирке на Барбароссаштрассе, часто приглашает его и даже делает своим доверенным лицом. Конечно, сюда не заглядывают ни светила науки, ни звезды театра и кино, они бывают или у эстрадного импресарио Рудольфа Нельсона, или на виллах крупных промышленников в Далеме и Груневальде. У Бетти Штерн появляются певцы, танцоры и актеры второго ряда. Бывала там, судя по всему, и молодая актриса, которой суждено сыграть в жизни Ремарка весьма значительную роль: Марлен Дитрих...

Ремарк превосходно чувствует себя в новом окружении. Он одевается теперь еще элегантнее, дополняя костюм котелком и тростью, носит монокль, хотя тот выглядит как нелепый фирменный знак. Визитную карточку украшает титул барона, приобретенный за несколько сот марок у прежнего обладателя — обедневшего господина Бухвальда. Так, считает Ремарк, тоже можно повысить свой социальный статус. Он по-прежнему стремится обращать на себя внимание, выделяться на общем фоне.

Однако есть в тогдашней жизни Ремарка и другая сторона. Он исключительно прилежен в работе. Среди столичных журналистов царит жесткая конкуренция: кто не вкалывает, оказывается на обочине. Кроме того, Ремарку не дает покоя его писательское честолюбие. Он по-прежнему публикует небольшие тексты, главным образом развлекательного характера и с иллюстрациями, а в 1927 году — новый роман с продолжением "Станция на горизонте", но отдельной книгой роман не выходит.

...Амбиции Ремарка не удовлетворены: быть только одним из многих журналистов, пробавляющихся еще и писательством, — эта роль его не устраивает. Автобиографических заметок той поры нет, есть лишь несколько писем, а более поздние высказывания окрашены ностальгией. Человек, обремененный редакционными обязанностями, написавший три неудачных романа, снова, не заключив договора с издательством, принимается за большую вещь в прозе. Он должен видеть перед собой ясную цель и обладать сильной волей, чтобы решиться на тяжкий ночной труд и отринуть всякие страхи относительно возможного нового провала. Ремарк честолюбив и рассчитывает на успех, начиная в конце лета (или осенью) 1927 года свой новый роман.

***

Ни один немецкоязычный роман не имел в нашем столетии такого успеха, как "На Западном фронте без перемен". Лишь немногие литературные произведения — не считая великих творений религиозного характера — достигали за всю историю культуры такого тиража. Точную цифру назвать затруднительно, по разным подсчетам она колеблется между 15 и 20 миллионами проданных экземпляров. Книга переведена на 49 языков, причем не только на языки мирового значения, но и, к примеру, на африкаанс, бирманский, казахский и зулу. И по сей день в разных странах роман переводят заново, а в Германии читатели ежегодно покупают от 40 до 50 тысяч экземпляров, хотя после первого издания прошло уже семьдесят лет.

Ни один роман, когда-либо опубликованный в Германии, не имел и такого политического резонанса. Едва появившись на книжных прилавках, он сразу же вызвал бурную дискуссию в самых широких слоях общества — среди читателей и критиков, в политических партиях и государственных учреждениях, в различных национальных культурных и военных организациях. Не было газеты, которая бы не откликнулась на роман рецензией, редкий публицист не занимал по отношению к нему ту или иную позицию, страсти кипели на митингах, в рейхстаге, в журналах союзов и объединений, на читательских полосах газет. Свою точку зрения высказывали не только политики, люди в погонах и литерату-

роведы, но и юристы, врачи, священнослужители, служащие, ремесленники, рабочие (последние, правда, довольно сдержанно). Военное ведомство Австрии запретило приобретать книгу для солдатских библиотек. Муссолини пресек ее распространение в Италии. Горячее одобрение соседствовало с беспрецедентной травлей романа и самого писателя.

Ремарк в период шумного успеха романа "На Западном фронте без перемен" (1929 г.)

На книжный рынок хлынула масса "трудов", авторы которых исследовали роман на предмет достоверности изображенного в нем, повествовали о жизни автора, оценивали его политические пристрастия и устремления, излагали историю возникновения рукописи, вступались за "поруганную честь" немецкого солдата-фронтовика. В основном это были весьма скверные поделки: сочинителей мало интересовали факты, они просто пытались оклеветать Ремарка или, по крайней мере, выставить на всеобщее осмеяние. Чего стоили одни заголовки! "А был ли Эрих Мария Ремарк?" – вопрошал писатель Саломон Фридлендер на обложке своего 250-страничного опуса...

В итоге пасквилянты добились, по сути, только одного: Ремарк и его и без того известная книга приобрели еще большую популярность. Каждый читающий немец просто не мог обойти книгу своим вниманием. Не успели волнения вокруг романа несколько поутихнуть, как в декабре 1930 года в кинотеатрах начал демонстрироваться снятый по роману американский фильм. Йозеф Геббельс, берлинский наци-гауляйтер, и националистически настроенные правые почуяли возможность использовать новое массовое искусство в своих целях. Они развернули против фильма бешеную кампанию, переходившую порой в насильственные действия. Срывали сеансы, устраивали шумные шествия. И власти сдались. Фильм временно запретили. Газеты, журналы, радио широко освещали и эти баталии. Ремарк и его роман снова оказались у всех на устах, тираж непрерывно рос.

Неудивительно, что в таких условиях вокруг имени писателя и самого произведения стали быстро возникать всевозможные мифы...

Истинное имя писателя не Ремарк, а Крамер, стали уже вскоре после появления романа утверждать те, кто умышленно читал фамилию наоборот. Эту фальшивку можно встретить даже в сегодняшних энциклопедиях и газетных статьях. Ремарк не писал никакого романа, а всего лишь опубликовал свой дневник, внушалось читателю. И вообще текст вышел из-под пера совсем другого человека. Это документальная про-

за, говорили одни. Нет, фантазии домоседа, возражали другие. Кому-то автор виделся богатым стариком, кому-то бедным юношей. На фронт он ушел добровольцем сразу же в августе 1914-го, заявляли приверженцы Ремарка. Там и духу его не было, звучало им в ответ. Много типографской краски было потрачено, чтобы затмить соперника в сложившейся литературно-политической ситуации. Чей-либо сенсационный успех — всегда на руку средствам массовой информации, а на истину им при этом, как правило, наплевать.

"Фёлькишер беобахтер", например, 16 февраля 1929 года в свойственной правым радикалам манере выразил эмоции, которые вызывала книга у крупной буржуазии: "Для всех настоящих фронтовиков, свято хранящих воспоминания о великой войне в своем сердце, этот роман подобен пощечине. Ибо война не сокрушила их, напротив, она стала для них чистилищем". Показательна и фраза из официального военного журнала: "На Западном фронте без перемен" есть не что иное, как чудовищное оскорбление германской армии".

Идеологически зашоренные левые нередко тоже выступали с резкими нападками на роман. Так, коммунистическая "Роте фане" признавала, что написан он "блестяще и захватывающе", однако автор "молчит" о причинах войны. А через год коммунисты и их сторонники читали в своей собственной, хоть и зависимой от Москвы, газете: "Поэтизируя гонку вооружений, Ремарк решительно отказывается обнародовать свое отношение к борьбе империалистических государств против Советского Союза... Он по праву стал любимым бардом империалистической буржуазии и ее мелкобуржуазных попутчиков".

Литературные достоинства романа тогда мало кого интересовали. Давая ему публичную оценку, собратья по перу тоже не считали нужным скрывать свои политические взгляды, причем высказывались сплошь и рядом патетически... Бруно Франк считал чуть ли не кощунством говорить о мастерстве, с которым написано произведение... Карл Цукмайер требовал, чтобы книга стала настольной для школьников и студентов, сотрудников газет и радио, чтобы она была в каждом читальном зале, хотя, добавлял он, и этого еще недостаточно. Вальтер фон Моло, в то время президент Прусской академии изящной словесности, стал автором выражения "Памятник неизвестному немецкому солдату". (Оно часто цитировалось и появилось на обложке вышедшего в издательстве "Ульштейн" романа.) Аксель Эггебрехт назвал Ремарка "писателем пленительной простоты". Эрнст Толлер увидел в романе "самый впечатляющий документ великой эпохи".

Рудольф Г. Биндинг, напротив, с ужасом воскликнул: "Вы срываете покров святости с истины, господин Ремарк!" Хайнц Цёгерляйн расценил роман как "взгляд на войну через очко отхожего места". Прусская аристократия (устами графа фон Шлиффена. — *Прим. автора*) тоже подала голос с присущим ей простодушием: "Фронтовик изображен чуть ли не одичавшим в своих привычках, тупым существом, начисто лишенным доблести и патриотических убеждений". Палитра суждений (и предрассудков) была широкой, а приведенные здесь цитаты показывают, что в полемике вокруг романа речь шла в основном о политике и редко о литературе. В начале 1930-го это очень точно выразил в "Вельтбюне" Курт Тухольский: роман "взволновал миллионы читателей не как худо-

жественное произведение, а самим материалом и его подачей", чем и объясняется его громадная популярность.

Своим повествованием о жизни "простого солдата" на фронте Ремарк затронул душевные струны тысяч и тысяч немцев, большей частью знавших войну по собственному опыту. В отличие от националистически настроенных авторов тривиальных военных романов он писал о боях, страданиях и смертях, лишив их героического ореола. Категорически отказавшись в предисловии от каких-либо политических оценок, он предоставил читателям, подвергавшимся в эти годы со всех сторон массированной идеологической обработке, право судить о войне самим. Нежелание автора следовать литературным канонам, обиходный язык и непричесанные мысли героев, что было тогда внове и неожиданно, сделали роман привлекательным и для людей, редко покупающих книги.

"Ульштейн" подкрепил все это мощной рекламой, в которой правда была умело перемешана с вымыслом. Автор принял условия игры. Политическая агитация довершила дело. Роман пошел. Нет более важной предпосылки успеха, чем сам успех[1].

Ремарк был очень заинтересован в успехе. Вероятно, этим и объясняется то, что почти во всех интервью он настойчиво, чуть ли не слово в слово повторял версию издательства. Звучало это так: "Писал я книгу полтора месяца, по вечерам, после работы... Рукопись пролежала в столе около полугода. Успеха никак не ожидал. Ничего из написанного не выдумал. Я был на фронте достаточно долго, у меня нет необходимости фантазировать. Проповедовать какое-либо учение не намерен. В политике не разбираюсь..." Никто не должен был и помыслить, что автор мог преследовать иные цели, чем всего лишь правдиво поведать о пережитом.

Наверное, роман не раскупался бы так быстро, если бы за этим не стояла финансовая мощь издательства "Ульштейн". Для рекламы использовались газеты концерна, некоторые из них имели очень большой тираж, на их литературных страницах и в приложениях к ним продуманно, по графику печатались рецензии... Так, 21 мая 1929 года издательство зарезервировало для публикации положительных и отрицательных откликов немецкой и зарубежной прессы на роман Ремарка сразу 24 (!) полосы "Биржевого вестника немецких книготорговцев".

При всем уважении к рекламному отделу издательства скажем: "На Западном фронте без перемен" — выдающееся произведение, именно поэтому оно не подвластно времени и по сей день остается эталонной книгой о войне. Рассказ о Пауле Боймере и его товарищах с захватывающим интересом читался каждым новым поколением и после крушения Веймарской республики и разгрома европейского фашизма. Что бы в свое время ни писали и ни говорили представители издательства "Ульштейн" и сам Ремарк, его произведение — это книга, отвергающая безумие войны, разоблачающая большую ложь ее апологетов и записных патриотов. И заглушить этот пафос не могут ни репортажная лапидарность повествования, ни безыскусность языка действующих лиц, ни

1. Роман был опубликован поздней осенью 1928 г. в "Фоссише цайтунг" и уже в конце января следующего года вышел отдельным изданием.

кажущаяся обреченность в голосе, которым автор рассказывает о боевых действиях, гибели солдат, мучениях раненых. Именно благодаря тому, что Ремарк не заидеологизировал диалоги, как это сделал, например, Арнольд Цвейг в последних частях эпопеи "Большая война белых мужчин", а также отказался и от эстетизации воинских доблестей, и от прославления войны как неотвратимого рока, в чем преуспел, например, Эрнст Юнгер (в "Стальных грозах"), его роман, как никакая другая книга о войне, в полной мере сохранил свою злободневность и значимость до наших дней.

***

В жизни Ремарка произошел крутой поворот. Журналист, известный лишь читателям "Шпорт им бильд" и узкому кругу столичного общества, за несколько недель превратился в знаменитость. Название книги и имя автора фигурировали во всех газетах, полемика вокруг романа и писателя обострялась с каждым новым изданием. Гонорары от издательства "Ульштейн" стремительно возрастали, вскоре потекли деньги из США и Англии, где книга тоже хорошо раскупалась, и, наконец, за передачу прав на экранизацию он получил 100 тысяч долларов — сумму по тем временам огромную. Сын ремесленника из Оснабрюка вдруг стал очень состоятельным человеком.

Ремарк относится к шумихе вокруг своего имени спокойно, даже конфузливо. "Я неохотно рассказываю о себе, не выступаю с докладами, не читаю публично отрывки из своих произведений... Я с удовольствием вывожу собственную персону из игры". Нет, он не политолог, он — писатель. Он не станет формулировать свое политическое кредо вплоть до захвата власти Гитлером, даже, вернее, вплоть до начала второй мировой войны, будет избегать точных оценок той или иной политической ситуации. В своем романе и публичных выступлениях Ремарк реагирует на прошедшую первую мировую войну и текущие политические события как художник-гуманист, а не как политагитатор. Пацифизм, классовые теории, буржуазные концепции капитализма ему чужды. И дело тут не в недостатке гражданского мужества. Это позиция литератора, для которого политика в узком смысле слова станет главной темой только тогда, когда по дорогам Европы двинутся танковые колонны вермахта и мир узнает о планомерном преследовании и уничтожении евреев, а также о преступлениях, творимых гитлеровцами на завоеванной территории.

В архиве Ремарка сохранилась статья "Тенденциозны ли мои книги?", написанная в 1931—1932 годах и, по-видимому, оставшаяся неопубликованной. Этим текстом писатель хотел защититься от обвинений в том, что своим романом "оказывает губительное влияние на молодежь, убивает благородное чувство патриотизма и стремление к героическим поступкам — те высшие добродетели тевтонской расы, что присущи ей с незапамятных времен". Ответ Ремарка звучит так, будто написан в конце XX века: "Если какая-нибудь глубинная идея и владела мною, то это были любовь к Отечеству — в истинном и высоком, а не в узком и шовинистическом смысле слова — и прославление героизма. Однако это чувство не имеет ничего общего со слепым, восторженным приятием кровопролития на полях сражений и современных методов ведения

войны с массированным использованием техники. Война во все времена была изуверским инструментом в руках обуреваемых жаждой славы и власти, всегда противоречила принципам справедливости, присущим нравственно здоровым людям... Патриотизм, безусловно, — высокое и светлое понятие, но с тех пор, как волна национализма накрыла наш мир, а его адепты сеют семена ненависти и проповедуют насилие и произвол, шовинизм превратился в крайне опасное явление; его можно наблюдать в любой европейской стране, будь то Италия или Германия".

...Молчание многих мэтров, хотя роман Ремарка давно читают во всем мире, а полемика поутихла, вызывает у него горечь и досаду. Он явно ошеломлен реакцией Томаса Манна, чей роман "Волшебная гора" ставит очень высоко. Даже через два десятилетия, в 1952 году, в интервью журналу "Шпигель" он скажет: "В 1933 году он не хотел показываться со мной на улицах Асконы, опасаясь, по его словам, потерять читателей в Германии. Манна никогда и не запрещали. Он возмутился лишь тогда, когда его лишили в Бонне звания почетного доктора". Знаменитые писатели действительно не переваривали друг друга...

Бертольт Брехт, Генрих Манн, Франц Верфель, Альфред Дёблин, Лион Фейхтвангер, Роберт Музиль, часто высказывавшиеся в статьях, письмах, дневниковых записях о произведениях своих современников, тоже не оставили сколько-нибудь обоснованных суждений о творческих способностях их самого читаемого современника. И тому были причины. Роман Ремарка шел нарасхват, и многие признанные мастера лишались дара слова, глядя на незавидные тиражи собственных произведений. Интеллектуальная элита судила о Ремарке с нравственных и политических позиций — и крайне редко с литературных. Причем оценки зависели от социального статуса критика. Недоумение у Брехта и других писателей вызывал, кроме того, образ жизни Ремарка. Для них, испытывавших в эмиграции нужду и помнивших, что в Европе идет война, что там убивают людей и бомбят города, были неприемлемы эпикурейские привычки и манеры спутника голливудских звезд, жившего в Калифорнии с ними по соседству. Брехту надо было, видимо, испытать сильный прилив желчи, чтобы сравнить в своем "Рабочем дневнике" "вдруг возникшего" на новогодней вечеринке Ремарка с Хансом-Хайнцем Эверсом, известным автором одиозного романа о Хорсте Весселе[1]. И Брехт был не одинок в таких суждениях.

Уже вскоре после публикации романа, в феврале 1929 года, Ремарк пишет Хансу-Герду Рабе, другу юности, о своем отношении к берлинской интеллектуальной элите: "Сейчас я в стороне от всего, так как ненавижу окололитературную среду, и ты бы тоже ее запрезирал, если бы тебе довелось лицезреть этих людей. Спесь прямо-таки прет из них, они откровенно любуются собой, дают интервью при каждом удобном случае. От этого так воротит, что клянешься себе никогда ничего подобного не делать". Однако он тут же лукаво и не без тщеславия добавляет: "Кстати, это и умнее, ведь ты таким образом привлекаешь к себе больше внимания".

Интересно, какие чувства испытывали коллеги Ремарка, когда в сентябре 1929 года родственник и тезка известного норвежского писателя

1. Штурмовик, автор песни, ставшей наряду с "Германия превыше всего" гимном третьего рейха. После гибели в 1930 г. был возведен Геббельсом в ранг мученика.

Бьёрнстьерне Бьёрнсона предложил присудить ему Нобелевскую премию мира, найдя поддержку у двух членов комитета? Впрочем, времени для злословия у них просто не было, ибо правители Германии сразу же дали понять почтенным господам в Осло, что оказание такой чести Ремарку стало бы крайне нежелательным и чреватым опасными последствиями событием.

Шумиха вокруг романа, молчание, а то и колкости собратьев по перу заставляли Ремарка нервничать, уходить в глухую защиту. Однако еще сильнее угнетало предчувствие, что успех повторить не удастся и что мерилом каждого нового его сочинения будет отныне "На Западном фронте без перемен". Не только противники, но и многие из числа интеллектуальных заступников Ремарка с нетерпением ждали момента, когда легковесный, по их мнению, писатель провалится, опубликовав новый роман.

Слава двулика, как Янус. Всего лишь за несколько месяцев Ремарк взошел на ее вершину и обрел материальную независимость. Однако именно стремительность восхождения затрудняет дыхание, приводит к тяжелейшему стрессу. Уже в июне 1929-го он не в состоянии скрыть в одном из интервью, сколь обременителен для него кредит доверия, полученный от читающей публики: "Если бы все упреки были справедливы, а герои и события выдуманы, я чувствовал бы себя теперь намного свободнее и увереннее. Точно бы знал, что я хороший писатель. А так будущее кажется мне туманным. Вот я и пытаюсь выпутаться из этого положения. Мне надо начать все с самого начала". "Я не ставил своей целью создать художественное произведение, — подчеркивает он, беседуя весной 1930 года с корреспондентом одной из амстердамских газет. — Высший идеал вижу в том, чтобы талантливо писать для всех". Читатель чувствует в этих интервью чуть ли не панический ужас, который вызывает у Ремарка успех: "Предпочитаю быть просто человеком, чем именитым художником..." При этом Ремарк не упускает возможности поддеть "высокомерных" мастеров слова: "Многие книги представляют собой выдающиеся художественные произведения, но они слишком художественны, чтобы нравиться массам". При перемене местами причины и следствия такое высказывание может лишь означать, что ему это, по его собственной оценке, бесспорно удалось.

***

4 января 1930 года брак с Юттой расторгнут. Однако порвать с ней окончательно Ремарк не в состоянии.

После развода Ютта тоже не оставляет Ремарка, более того, старается привязать его к себе покрепче. Она чуть-чуть симулирует и преувеличивает свою болезнь, настаивая, чтобы они вместе отправились в Давос поправить здоровье, и Ремарк поддается уговорам. А позже она часто будет жить у него или где-то поблизости целыми месяцами, к примеру на его вилле в Порто-Ронко. Будет ревновать к окружающим его женщинам, ощущать себя покинутой, требовать на протяжении десятилетий материальной помощи и моральной поддержки. У Ремарка же ее присутствие нередко вызывает чувство горечи. В дневнике суждения о *Петере* далеко не лестные, очевидно, ее стенания и чрезмерные претензии действуют ему на нервы. "Утром ссора с *Петером*, — записывает он,

например, 1 августа 1936 года. — Не по моей вине. Избалованный ребенок, не привыкший уступать, очень ранимый, подчас капризный. И всегда уверенный в своей правоте". Тем не менее он никогда не отказывает в помощи, остается галантным супругом ("Свозил *Петера* к парикмахеру"), по-прежнему щедр ("Купил *Петеру* украшения"), на выходки красивой эгоцентричной женщины взирает снисходительно. На собственные, разумеется, тоже.

В своих воспоминаниях Аксель Эггебрехт[1] описывает сцену, проливающую, пожалуй, некоторый свет на сложные чувства Ремарка к Ютте: "Внезапно разбогатев, он не только испытывал наивную склонность к снобизму, но и совершенно неожиданно обзавелся общепринятыми понятиями о нравственности. Не будучи, мягко говоря, образцовым супругом, неожиданно потребовал от Жанны верности, каковая отличает в буржуазной семье добропорядочную супругу, приставил к ней сыщиков и вскоре узнал, что она продолжает встречаться с Францем Шульцем. И вот случилось нечто отвратительное. Набрав группу блюстителей порядка, он нагрянул ночью на квартиру соперника, приказал отдубасить его, причем дал волю и своим кулакам. До смерти испуганная Жанна спряталась, но ее нашли и арестовали. Вся эта дикая сцена была явно рассчитана на публику, но задумана не ревнивцем, а человеком, снедаемым тщеславием. Ибо то, что затем последовало, выглядит еще абсурднее. Изменнице было милостиво разрешено вернуться в дом супруга — с непременным условием прекратить любые сношения с прежними поклонниками. Она подчинилась, видимо, получив возможность снова блистать в паре с ним в большом свете... Я видел их потом всего только раз, издали, осенью 1932 года в Асконе. Рабыня удивительной красоты с покорным видом шла рядом со своим господином". Проучить "наглеца" с помощью "мобильного отряда полицейских" — на такое легкоранимый, вспыльчивый супруг, пожалуй, способен. К тому же Билли Уайлдер видел, по его рассказу, в те дни в Берлине сценариста киностудии УФА Франца Шульца... "с синяком под глазом и с подвязанной рукой".

В мемуарах любят посплетничать, домыслить, приукрасить. Вот и здесь мы сталкиваемся с тем, что станет непременным элементом многих воспоминаний о знаменитом писателе: его успех, его богатство, его "небуржуазный" стиль жизни породили стереотипные образы, за которыми не видна реальность. Но они великолепно подходят к расхожим представлениям о бонвиване, бабнике и бражнике. Факты и фикции легко уживаются в нашем сознании.

***

В Берлине появляется Бригитта Нойнер, старая знакомая Ремарка. Она замужем и тем не менее на какое-то время становится его ближайшим помощником, принимая на себя массу житейских забот. В письмах к ней он называет ее "Храбрый Генрих" и "Мой прекрасный", рассказывает о мелочах быта и любопытных встречах; путешествуя по Европе, дает возлюбленной разные поручения: просит, например, купить пластинки, желая скрасить одиночество во время работы над новым рома-

1. Сотрудник журнала "Вельтбюне" в конце 20-х гг.

Ремарк с Бригиттой Нойнер (ок. 1930 г.)

ном в Оснабрюке; советует, какой автомобиль нужно приобрести, чтобы иметь максимум комфорта. "Храбрый мой Генрих, не забудь заплатить за квартиру".

А в начале 1930-го у него уже другая женщина (при том что ее предшественницы не уходят из его жизни). Девятнадцать лет, эффектная внешность, "безумно влюблена" в известного и внешне привлекательного мужчину. Рут Альбу пока еще замужем за Генрихом Шницлером, сыном выдающегося австрийского драматурга. Родилась в зажиточной еврейской семье, родители любят искусство и знают в нем толк; мать — пианистка, отец пишет. Дочь — восходящая звезда на берлинском театральном небосклоне. Ремарк знакомится с ней в гостиной адвоката Макса Лиона, который с некоторых пор представляет его юридические интересы. "А на следующий день позвонил Эрих. Ради него я уже вскоре оставила мужа. Бони был неотразим. Для мужчины, пожалуй, чуть низковат — во всяком случае по сегодняшним меркам, — держал ухо востро, обладал зорким глазом... Я никого не любила так, как Бони, и думала, что больше уже никого не смогу полюбить..." Начитанная, хорошо разбирающаяся в искусстве, Рут формирует вкус Ремарка. Она сводит его с Вальтером Файльхенфельдтом, крупным торговцем произведениями искусства... Знакомство перерастает в крепкую дружбу двух близких по духу мужчин — редкий случай в жизни Ремарка. Файльхенфельдт продает ему несколько ценных картин из своего собрания. В Германии свирепствует инфляция и прогорают владельцы огромных состояний, у Ремарка же, переселившегося в Швейцарию, на счетах твердая валюта, которую он хочет вложить в нечто, не теряющее с течением времени своей ценности. За 80 тысяч рейхсмарок он приобретает одну из картин Ван Гога... Затем работы Дега, Сезанна, Тулуз-Лотрека, Ренуара, других французских художников и графиков XIX века, египетские, греческие, римские скульптуры. Любимые восточные ковры Ремарк покупает теперь тоже со знанием дела, проявляя художественное чутье, — благодаря умной советчице Рут Альбу. Она умеет отличить серьезных коммерсантов от ловкачей и снабжает любимого специальной литературой. Ремарк читает ее с упоением. Дорогие произведения искусства будут окружать его всю жизнь — и на вилле в Порто-Ронко, и в апартаментах нью-йоркских отелей. Постепенно Ремарк станет высокоэрудированным коллекционером, тонким ценителем искусства. Его мало волнует материальная ценность того, чем он владеет. Гораздо больше — красота его сокровищ.

К моменту знакомства с Рут Альбу Ремарк уже покинул квартиру, где жил с Юттой. В Берлине его пристанищем становится отель "Мэджестик". "Он старался жить как можно незаметнее, — вспоминала Рут Аль-

бу, — никого не подпускал к себе, пока не убеждался, что владеет ситуацией. До беспамятства был влюблен в одиночество. Закутывался в него, словно в свои элегантные кашемировые пуловеры". Так это могло выглядеть внешне. На самом деле все было сложнее. Новый роман кажется горой, на которую никогда не взойти. Приходится вести изнурительные переговоры с зарубежными издателями, а в кинотеатрах Германии скоро должен пойти фильм по роману "На Западном фронте без перемен", и его имя наверняка вновь замелькает на первых полосах газет. "Когда я вижу, что из меня делают желтая пресса и "вечно вчерашние", то порой кажусь себе монстром", — пишет он в сентябре 1929-го своему английскому издателю.

***

...Беспокойная кочевая жизнь с любовными перипетиями не приносит покоя, более того, она вызывает душевный кризис. "Вот уже два года я живу, испытывая приступы тяжелой депрессии и отчаяния, — унылым, самообличительным тоном сообщает он в июне 1931 года писателю Эмилю Людвигу с побережья Северного моря, — я бегу от людей, от самого себя, бегу от жизни, мне недостает цельности, ясности, положительности, обрести эти качества во всей их полноте трудно, да, пожалуй, уже и не успеть..." Весной он начал новый роман, но своей работой недоволен, прекрасно, впрочем, понимая, что при его разъездах и ночных пирушках большие перерывы в работе неизбежны, а сосредоточиться за письменным столом очень нелегко. Чувство вины, сомнения в творческих способностях — вот откуда подавленность духа. Рукопись озаглавлена женским именем — "Пат". Вскоре он перепишет все заново...

Политическая обстановка в Германии тоже не внушает оптимизма. В июле — обвал в банковской системе, в конце года число безработных достигает 5,6 миллиона, правительство держится на плаву лишь благодаря чрезвычайным декретам, между коммунистами и национал-социалистами разгораются настоящие уличные бои. Из рядов буржуазных партий тоже все громче звучат призывы к установлению авторитарного режима.

Рут Альбу настойчивее других предупреждает Ремарка о надвигающейся опасности, торопит покинуть Германию. Они вместе отправляются в Тессин подыскать для писателя новое пристанище. И находят его в нескольких километрах от Асконы. Особняк прильнул к склону горы, с просторной террасы открывается вид на Лаго-Маджоре... Слева, у подножия гор, приютилась окутанная голубоватой дымкой Аскона, справа, над селением Ронко, блестит шпиль "итальянской" церкви. Жаркое южное солнце, лазурь бездонного неба — поистине волшебный пейзаж. Ремарк покупает виллу за 80 тысяч франков.

В апреле 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти, Ремарк обретает в Порто-Ронко новое, постоянное место жительства. Он не эмигрант в классическом смысле слова. Ему не придется переходить границу под покровом ночи, как вскоре сотням тысяч его соотечественников, в том числе почти всей культурной элите Веймарской республики. Не лишится он и своего состояния, вовремя переведя его в Швейцарию. Но вскоре ворота Германии захлопнутся и перед ним. После 30 января 1933 года жизнь его окажется под угрозой — в не мень-

шей степени, чем жизнь его друзей еврейской национальности или левой ориентации. Нацисты не забыли, кто написал самый знаменитый антивоенный роман 20-х годов. За сутки до того, как штурмовики в коричневой униформе промаршируют по улицам Берлина, бурно приветствуя "фюрера", Ремарк сядет в германской столице – где он опять пробыл пару недель – за руль своей "ланчи" и не выпустит его из рук до тех пор, пока не пересечет швейцарскую границу. Германию он снова увидит лишь через двадцать лет, жить в ней он больше не будет никогда...

***

27 февраля 1933 года горит рейхстаг. Нацисты понимают: наступил их час. Обвинив в поджоге коммунистов, они на следующий день проводят через рейхстаг чрезвычайный декрет "О защите народа и государства". Начинается охота на инакомыслящих. Среди арестованных той же ночью – главный редактор "Вельтбюне" Карл фон Осецкий, писатель Эрих Мюзам, известные всей стране коммунисты, социал-демократы, лидеры профсоюзов. Многим удается избежать ареста, допросов и пыток в последнюю секунду... Арнольд Цвейг переходит чехословацкую границу по заснеженным горным тропам, Бертольт Брехт и Елена Вайгель ночуют в чужой, подысканной для них издателем Петером Зуркампом квартире, чтобы ранним утром 28 февраля тайно уехать в Прагу. В купе рядом с ними – Франц Вайскопф и Бруно Франк. На следующий день после поджога рейхстага в Швейцарию уезжают Анна Зегерс и ее муж... Достичь Цюриха удается и Альфреду Дёблину. Другим беглецам не везет, их арестовывают на квартире или в поезде. В апреле начинается бойкот еврейских магазинов, создаются первые (временные) концлагеря.

Осесть в Швейцарии без помех или преследования со стороны властей может только имеющий деньги. Томаса Манна принимают с распростертыми объятьями. Эльза Ласкер-Шюлер, Альфред Дёблин, Бертольт Брехт, Анна Зегерс вынуждены двигаться дальше: у них нет средств. Роберту Музилю, бежавшему из Австрии, удается здесь выжить лишь благодаря поддержке коллег. Неименитым, лишившимся родины на двенадцать долгих лет, придется в тисках бездушной бюрократии и вовсе туго.

Ремарк принимает беглецов в своем доме, помогает деньгами. Его навещают Эрнст Толлер и Бруно Франк. В начале мая возле виллы Ремарка обнаруживают труп журналиста Феликса Мануэля Мендельсона, и тотчас же распространяется слух о причастности к убийству гитлеровских головорезов. Об инциденте сообщают швейцарские газеты, Томас Манн записывает в дневнике: "Известия о новых мерзостях и страшных сказках в Германии и даже за ее пределами. "Погиб" несчастный юный Мендельсон, его, видимо, приняли за Ремарка".

10 мая в стране поэтов и мыслителей на площадях перед университетами вспыхивают костры. В угаре вандализма подвыпившие студенты швыряют в огонь книги, воинственно выкрикивая и такое: "Позор писакам, предавшим доблестных немецких солдат! Поможем народу постоять за себя! Превратим ремарковскую пачкотню в пепел!" В тот зловещий день, когда многие немцы явили миру свое истинное лицо, Эмиль Людвиг записал: "В ночь публичного сожжения книг... пригласил своего друга Эриха Марию Ремарка на бокал вина. Мы открыли бутылку са-

мого старого рейнвейна, включили радиоприемник, слушали потрескивание костров, речи Гитлера и его приспешников — и пили за не столь мрачное будущее".

Ремарк хранит молчание. И не будет высказываться еще долго. Не станет в ближайшие годы писать ни в один из многочисленных эмигрантских журнальчиков, влачащих жалкое существование в Париже, Лондоне, Амстердаме, Праге... Как и в годы перед крушением республики, его подписи не найти под воззваниями и призывами антифашистских организаций. В середине 30-х немецкие эмигранты страстно полемизируют друг с другом по вопросу создания "Народного фронта", союза либеральной буржуазии, социал-демократов и коммунистов, который должен преградить дорогу европейскому фашизму. Генрих Манн — идейный лидер этого движения. Лиона Фейхтвангера бурная дискуссия побуждает поехать в 1936 году в Россию и написать просталинскую книжку ("Москва 1937"), которую в "Нойес тагебух" резко критикует Леопольд Шварцшильд. Интеллектуальная элита Европы раскололась в своем отношении к этой брошюре на два лагеря. Ремарк отмалчивается.

В июне 1935 года он несколько часов присутствует на Международном конгрессе писателей в защиту культуры, который проходит в Париже. Среди ораторов — Андре Жид, Ромен Роллан, Олдос Хаксли, Мартин Андерсен Нексе, Илья Эренбург, Андре Мальро, Анри Барбюс, Луи Арагон, Борис Пастернак, Генрих Манн, Бертольт Брехт, Лион Фейхтвангер, Роберт Музиль, Эрнст Толлер, Анна Зегерс, Йоганнес Р. Бехер, Макс Брод. Имя Ремарка и название его антивоенного романа неоднократно звучат в выступлениях участников форума. Сам автор "На Западном фронте без перемен" и "Возвращения", запрещенных и конфискованных в третьем рейхе в конце 1933 года, хранит молчание.

Многие не могут ему этого простить. Откликаясь на "Возвращение", Тухольский заметил еще в мае 1931 года: "После того как Ремарк так легко дал победить себя Геббельсу, этому морильщику крыс и тараканов, мы не можем рассчитывать на него как на борца". А Карл фон Осецкий писал в связи с запретом фильма "На Западном фронте без перемен": "Мы знаем о его неприятии звонких публичных выступлений и ценим вместе с другими людьми позицию в одночасье прославившегося автора, не желающего быть притчей во языцех и играть роль льва среди салонных кошечек и банкетных обезьян. Однако не переходящая в гордыню слава накладывает кроме пренебрежения к светским манерам и другие обязательства. Господин Ремарк... не имел права молчать... В решающий момент он промолчал и расписался тем самым как художник слова в собственном бессилии".

Осецкий предъявлял к себе высочайшие моральные требования. Отказу от собственного мнения предпочел в 1932 году тюремное заключение, не бежал из Германии, когда еще можно было бежать, и в итоге заплатил за эту непреклонность жизнью. Такой человек, разумеется, не мог понять Ремарка.

Ремарк же и после прихода нацистов к власти продолжает, нередко лавируя, заявлять в интервью и беседах о своей "аполитичности". "Политика только портит искусство, — говорит он в мае 1936 года, беседуя в Будапеште с одним венгерским журналистом. — Надо быть писателем или репортером, писатель должен уметь все видеть, но не придавать

изображаемому предмету политическую окраску. Конечно, может случиться, что своей книгой писатель вмешается в политику, однако пусть это произойдет помимо его воли, ибо любой умысел подобного рода убивает искусство".

Ремарк тем не менее и в 30-е годы остается в своем творчестве ангажированным художником, изображая крупные исторические события с откровенно политических позиций. Роман "Три товарища" (действие происходит в последние годы Веймарской республики) и книги о жизни в эмиграции близки по духу эпическому фейхтвангеровскому "Изгнанию", романам Анны Зегерс "Транзит" и "Седьмой крест", "Вандсбекскому топору" Арнольда Цвейга, "Заграничному паспорту" Бруно Франка. Он не проводит параллелей с современной ему действительностью, выбирая жанр исторического романа, как это делают Генрих Манн (роман-дилогия о короле Генрихе IV), Герман Кестен ("Фердинанд и Изабелла"), Лион Фейхтвангер ("Сыновья", "Настанет день", "Лже-Нерон"), Густав Реглер ("Посев"), Стефан Цвейг ("Триумф и трагизм Эразма Роттердамского") или Томас Манн ("Иосиф и его братья"). Ремарк прямо бросает вызов бесчеловечности своего века, и читателям не приходится гадать, кого или что он имеет в виду... Происходящее в Германии и Европе волнует, потрясает, возмущает, ужасает его в не меньшей степени, нежели тех писателей, которые видят свой долг в том, чтобы публично влиять на ход событий, выходя за рамки чисто художественного творчества.

Впрочем, Ремарк тоже высказывается публично, хотя и делает это вплоть до конца второй мировой войны крайне редко. "История не знает хорошей литературы при авторитарных режимах, — говорит он, беседуя в 1938 году с одной французской журналисткой в Париже. — В России, занимавшей до революции завидное место в мировой литературе и искусстве, после введения строгой цензуры создано гораздо меньше значительных художественных произведений. В Германии цензура царит как в политической, так и в художественной жизни".

По свидетельству Роберта Кемпнера[1], обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, нацисты прислали в 1935 году в Порто-Ронко эмиссара — статс-секретаря Кёрнера из ведомства Германа Геринга, дабы убедить знаменитого писателя вернуться в Германию. Ремарк отверг предложение в резкой форме. Позднее он скажет: "Шестьдесят пять миллионов только и думают, как им выбраться из страны, а я добровольно должен вернуться туда? Ни за что на свете!" Отвечая на вопрос, не тоскует ли он по родине, Ремарк заявляет в упомянутом парижском интервью: "Нет, я не еврей... Вопреки распространенному мнению, евреи в Германии были самыми истовыми патриотами... Для меня национальное чувство приемлемо, если оно питает культуру и прогресс, а не отражает абсурдное представление о превосходстве над всеми соседями".

Высказывания такого рода и прежде всего романы Ремарка доказывают безосновательность часто звучавших упреков в том, что в годы эмиграции он якобы не проявлял достаточной политической ангажированности, стремился поставить личную жизнь выше участия в борь-

1. Юрист, выступал в начале 30-х гг. за запрет нацистской партии и высылку Гитлера из страны.

бе с фашистской угрозой. Ремарк следит за развитием политических событий с ужасом, гневом, отчаянием, о чем также свидетельствуют его дневники и письма. "С испанских равнин над Европой растекается запах крови, а мир источает вонь разлагающихся холодных сердец, — записывает он 7 апреля 1937 года. — Жалкий век! В 1914–1918 гг. в войну вмешались слишком многие, теперь таких слишком мало, да и не те это. Мир на планете, или по крайней мере в Европе, зависит от прихоти двух тщеславных шутов, которые все больше наглеют, чувствуя, как слабеет противодействие".

Собственная ситуация и литературные планы — тоже пища для постоянных раздумий. "Что писать — пьесу или роман?" — "Вчерашним методом сегодняшней книги не написать. Забудь, что владеешь всем арсеналом художественных средств, тогда можешь взяться за перо". — "У писателя должен быть крепкий зад. Прострел не стимулирует. Славу, как правило, приходится высиживать. Правда, бывают и исключения, но тогда это везение или обман". Сам он менее всего придерживается подобного творческого метода. При том что издатели и переводчики наседают в ожидании рукописи.

"Подготовил стол к работе. Но стану ли работать?.. Закончу ли книгу?" — "Не люблю писать. Ни писем, ни книг... Для моего возраста я слишком устал. Не знаю, чего хочу. Не ведаю своих желаний. Цели?.. Разве стремление к любой цели не благой самообман, коли я не знаю ответа на вопросы: откуда? зачем? куда?"

Мысли о скорой смерти, тщетности бытия — их не утопить в вине, не заглушить оживленной дружеской беседой. В свой сороковой день рождения, вечером в Порто-Ронко, Ремарк записывает в дневник: "Играет серый котенок. Чешут собак. Благоухают цветы. А что же здесь делаю я?.. Тебе уже сорок. Постарел за год на десять лет. Жизнь, растраченная впустую... Заводил патефон. Фотографировал комнату. Странное чувство: будто мне сюда уже никогда не вернуться. *Как будто все в последний раз:* лето, дом, тишина, счастье, Европа, быть может, сама жизнь".

***

В сентябре 1937 года Ремарк знакомится с женщиной, которая на протяжении ряда лет будет занимать в его жизни важное место. Связь эта будет томительно-тягостной, мучительной, дарящей мгновения безоблачного счастья — Ремарк встретил в Лидо актрису Марлен Дитрих. Они уже как-то виделись. В начале 1930 года перебросились парой ничего не значащих фраз в берлинском отеле "Эдем". Теперь же завязывается роман. Через две-три недели после встречи они делят ложе и трапезу. *Пума* будет манить и тревожить Ремарка до осени 1940-го, о ней повествуют многие страницы его дневника...

В середине 30-х Марлен Дитрих — уже чуть ли не легенда. Родилась в 1901 году в Берлине в семье прусского офицера. На актерскую стезю ступила в начале 20-х. Играла второстепенные роли в кино, танцевала в варьете. Успех и известность пришли разом — в 1930-м с ролью кабареточной певички Лолы-Лолы в фильме "Голубой ангел" (сценарий по роману Генриха Манна "Учитель Гнус"). Ее открыл режиссер Джозеф фон Штернберг, получивший за это свою долю ласк. Красивая, эротичная, загадочная, Марлен завораживала публику. Голливуд пригласил ее

Слева направо: Джозеф фон Штернберг, Марлен Дитрих, Ремарк (1938 г.)

вместе с талантливым режиссером. В Америке они сделали несколько кассовых фильмов, Дитрих разбогатела и стала кинозвездой первой величины. Однако к моменту встречи с Ремарком в Венеции апогей успеха был уже пройден, последние фильмы не принесли больших сборов, звезда сияла не так ярко, как еще года два тому назад.

Марлен Дитрих не только выглядела эротичной — она была такой. Ее любовные связи вошли в историю. Партнерами Дитрих на экране были великие актеры, и мало кто из них не заканчивал съемочный день в объятиях страстной Марлен. Морис Шевалье, Майкл Уайлдинг, Джеймс Стюарт, Гари Купер, Кёрк Дуглас, Фрэнк Синатра, Джон Вейн... Их имена и сегодня еще на слуху. А список можно было бы продолжить. Нередко связь обрывалась так же быстро, как начиналась. А вот интимные отношения с Дугласом Фэрбенксом-младшим, Жаном Габеном, Юлом Бриннером длились годами. Дитрих увлекалась выдающимися политиками и писателями, "буквально опускалась перед ними на колени"[1]. Были романы с Джозефом Кеннеди, отцом будущего президента, Эдвардом Марроу[2], Эдлаем Стивенсоном, проигравшим потом выборы Эйзенхауэру. Не устоял на склоне лет Бернард Шоу. Правда, дружба с Эрнестом Хемингуэем, Жаном Кокто и Ноэлом Кауардом была иного рода — Дитрих просто боготворила этих мастеров пера. Во время второй мировой войны она отправилась в Европу, чтобы выступать с концертами перед американскими солдатами. Они устраивали ей овации, а иной генерал не только аплодировал, но, случалось, и легко давал себя соблазнить. В итоге грудь Дитрих украсили ордена. Возлюбленных женского пола у нее было, пожалуй, не меньше: Эдит Пиаф, Гертруда Стайн, известные деятельницы культуры и общественной жизни, дамы полусвета.

Дитрих не была талантливой актрисой, зато была звездой. Эту роль она играла, проявляя железный характер. Она умела подать себя так, как того ждал от нее мир. Эксцентричная, необузданная в своих желаниях, интеллигентная, но не умная, она жила исключительно ради того, чтобы сниматься в кино и выступать с концертами. По сути, для нее существовало только одно — Марлен Дитрих.

...Притяжение было сначала взаимным. Еще в Берлине, в конце 30-х, Дитрих наблюдала за стремительным восхождением Ремарка к вершинам литературной славы. А писатель встретил женщину, которая отвечала его идеалам — стройная, необычайно красивая, осиянная звездным

1. По воспоминаниям дочери Дитрих Марии Ривы.
2. Американский радиопублицист, новатор в области телеинформации.

блеском, против магии которого он никогда не мог устоять. Материально они не зависели друг от друга, жили в роскоши. Покинув Германию, они стали гражданами мира и одинаково ненавидели нацистов.

Роковым в их отношениях было то обстоятельство, что Дитрих никогда не ограничивалась одной влюбленностью. Рядом с сиюминутным фаворитом всегда маячили другие пассии мужского и женского пола. В девятнадцать лет в Берлине она вышла замуж за Рудольфа Зибера, у них родилась дочь. Брак этот никогда не расторгался, однако супруг вскоре был лишен доступа к супружескому ложу и, немало страдая, обитал то вблизи, то вдали от примадонны, находясь в полной финансовой зависимости. Любовница Зибера, русская по происхождению, замыкала свиту, которая сопровождала Дитрих, куда бы актриса ни отправлялась и где бы она ни жила — в Голливуде, Париже, Лондоне, Вене или на юге Франции. Любой человек, покоривший сердце Дитрих, сразу же входил в ее "клан" и считался членом "семьи", пока ему поневоле не приходилось освобождать место для нового избранника. Письма, дневники (в том числе и дневники Ремарка), подробная биография, написанная дочерью, рисуют картину суетного мирка с его бесчисленными любовными и жизненными драмами и их сумасбродной главной героиней — картину, которую биографы Дитрих из благосклонности к ней, как правило, скрывают.

Ремарк был в этой трагикомедии бурных эмоций, притворства и хитростей "бедным рыцарем". Он страдал, сталкиваясь с ложью из уст Дитрих, наблюдая ее любовные похождения, страдал от жизни в "клане", который предводительница муштровала и опекала, кормила собственноручно приготовленными блюдами и угнетала. Когда она ночью скрытно покидала свою комнату в отеле, спеша к очередному любовнику или новой любовнице, он искал ее на улице и в ночных барах.

Дитрих поначалу тоже страстно влюблена: Ремарк знаменит, обаятелен, обладает даром сопереживания, может долго внимать собеседнику, у него привлекательная внешность и отличные манеры. Они видятся в Париже, а летом 1938 года весь "клан" оседает на несколько недель в Антибе. "Целый день внизу у моря, до темноты. Божественное лицо. Нетерпение скорее подняться наверх. Фантастическая ночь. В остальном же — ощущение приближающейся развязки. Масса мелких признаков. И у меня, и у нее. Ранимость, насмешки, раздражение. Может, это и к лучшему"[1]. Во время этого совместного отпуска Дитрих вступает в интимную связь с богатой Джо Карстерс. "*Пума* уже дня три-четыре полностью во власти одной женщины", — констатирует Ремарк в дневнике. По-мазохистски, в мельчайших подробностях описывает он на протяжении нескольких недель, как все его время уходит на выяснение отношений и поиски возлюбленной в ночных увеселительных заведениях. "Смеюсь, а жизнь, может, сломана... Сердце стучало, я обливался потом. Был действительно раздавлен". Расставшись на какое-то время, они шлют друг другу телеграммы ("Ты обруч, без которого моя жизнь растеклась бы мелкими ручейками"), письма, цветы, ночами подолгу разговаривают по телефону (он — в Порто-Ронко, она — в Калифорнии). "Не могла бы Ты все-таки сыграть Пат? — упрашивает он ее в

1. Запись в дневнике Ремарка от 4 августа 1938 г.

начале января 1938-го. — Решил засесть за новую книгу и посвятить ее Тебе (имеется в виду замысел романа о Равике. Он будет написан позже и назван "Триумфальная арка". — *Прим. автора*)... Не торопи события, ничего не бойся, всегда храни спокойствие. Мы ведь только начинаем и еще порядком удивим всех". Под своими посланиями к Дитрих он подписывается как *Альфред, Равик, Большая гадюка, Асессор фон Фельзенэкк*, называет ее *Пумой, Тетей Леной, Юсуфом*. Все эти годы он влюблен до стрессового состояния, однако, фиксируя свои переживания в дневнике, видит себя очень ясно.

С сентября до начала декабря 1938-го он с Дитрих в Париже. Сумбурное время: новые лица, бессонные ночи, вино — до работы руки почти не доходят. Ощущение счастья мгновенно сменяется подавленностью — и наоборот. И почти всегда его настроение зависит от настроения любимой. "Гуляли по улицам... Купил Марлен розы. Приятно вот так фланировать. Чувствовал себя свободным. Разглядывал людей, смотрел на девушек, женщин, и казалось, не будет никакого конца, даже если *Пума* уйдет. Ибо долго так продолжаться не может. Опираться на несколько рук — это не в моем духе. Так же, как и игра в прятки. Не надо связываться с актрисами". — "Эта заботливость и в то же время коварство". — "Не думаю, что еще очень долго буду участвовать в этом спектакле". — "Теперь тут тихий ад. Меня действительно поджаривают со всех сторон... Надо уходить. Терпеть такое больше нет сил. Страшусь наступления вечера. Это равнодушие ужасает".

Ночи исполнены "нежности" (в дневнике он ведет им точный счет), но наступает утро и вспыхивает спор, как обычно абсурдный, смехотворный. "Сказал ей, что в 2 часа встречусь с Рут Альбу. Она словно застыла. Ушла. Когда я шел в спальню, она стояла за дверью. Потом я обнаружил, что она спрятала все мои туфли — дабы я не мог выйти из дому". Такое можно сразу, без репетиций, играть на сцене. "Похоже на свару между прачками", — записал он как-то, не скрывая презрения. Зашли в ювелирный магазин, чтобы обменять браслет: "Мне все это осточертело... Не удержался от смеха, наблюдая, как *Пума* превращалась в жалкое, алчное существо: сумма была в общем-то незначительной". Лишь изредка в эти месяцы в дневнике встречаются записи, подобные следующей: "Октябрь... День близится к вечеру. Серый прохладный воздух, ничто не навевает печали. Хочется любить дом, тепло, камин, работу. Настроение тихое, спокойное. Читал Рильке".

В апреле Ремарк начал первый роман об эмиграции ("Возлюби ближнего своего"), но работа не клеится. Он нервничает, чувствуя какую-то вину. "Надо решиться!.. Одуматься! Взять себя в руки! Отсечь то, что не имеет отношения к делу. Довольно заниматься бабами и амурами среди интриг и сплетен!.. Возьмись за перо!" — "Работай, солдат, все забудь и работай!" — "Представь себе: ты один в Порто-Ронко. Словно в раю". Он стосковался по работе в тиши — и не может уехать. Хотя постоянно заклинает себя: "Солдат! Если как-нибудь вечером в Порто-Ронко тебя, одинокого, слишком сильно потянет к ней, подумай о том, что с ее отъездом тебе крупно повезло. Как бы ты ни старался, так больше продолжаться не могло. Вспомни, что мысль эта приходила к тебе при самом ровном расположении духа... Ты не должен быть лакеем кинозвезды... Тебе уже сорок, солдат. Начни жить своей жизнью!.. В тебе есть многое, что

просится наружу, но не надо торопиться, пусть оно зреет, а ты наблюдай. Сколько можно быть ассистентом кинорежиссера...”

Во французской столице Ремарк встречает старых знакомых. Несколько раз видится с Вальтером Файльхенфельдтом, который предлагает картины. “Потом в отеле у Файльхена смотрел три акварели Сезанна: два пейзажа и человека в соломенной шляпе, вид сзади. Купил”. На пару дней приезжает Рут Альбу. Ютте в Порто-Ронко ужасно одиноко, она просится в Париж и в конце концов приезжает. Ремарка это стесняет, и потому он о ней почти не заботится. Ночи и вечера — на одно лицо и проходят, как, например, вот этот: “Седьмого вечером с Верой, Рюсси и тремя египтянами сначала у Рюсси, потом у “Максима”, в нескольких кабачках и напоследок в “Шехерезаде”. Около шести утра двое египтян показали нам вид, открывающийся с площади Карусель перед Лувром на Луксорский обелиск и Триумфальную арку. Серое, светлое утро, серый, ясный свет. С *Пумой* в отель, спали долго, крепко, полные любви”. Днем — кино, выставки, переговоры в издательствах, прогулки в Булонском лесу, обед у “Фуке” на Елисейских полях. Порой ностальгические воспоминания о жизни до того, как стал знаменит: “Думал о минувшем. Рояль, сочинение музыки, песни, стихи. Не знаю, как вернуть все это. Жизнь быстротечна”.

Лаконичная запись в дневнике от 20 февраля 1938 года: “22 января сочетался браком в Санкт-Морице”. Ютта Цамбона вторично становится его женой. В момент, когда он так увлечен Марлен Дитрих! Но не любовь, а всегдашняя его отзывчивость подвигла Ремарка на этот шаг. Замужество отводит от Ютты угрозу быть высланной из Швейцарии в Германию. Счастливым он себя не чувствовал. “Вокруг меня в холле свершается грандиозное чаепитие. Бар, люди, снег, прошлое — мне все это противно”, — пишет он из Санкт-Морица далекой *Пуме*. Живя зимой 1938-го преимущественно в Порто-Ронко, он страдает от одиночества и разлуки с Марлен (“Начать вести дневник одинокого человека”). Мучают люмбаго и ишиас, он ощущает груз лет, хотя до старости еще далеко. В марте гитлеровские войска вступают в Австрию. “Читал газеты. Того гляди вырвет”.

Рут Альбу однажды так сказала об отношении Ремарка к Ютте: “Она вряд ли была такой уж больной. Он же был влюблен в ее красоту. Всегда. Любил окружать себя красивыми вещами”. С этим трудно не согласиться, однако внутренне Ютта была ему чужда. Вот запись, сделанная в сентябре 1938-го, когда он с Дитрих в Париже: “Говорил по телефону с *Петером*. Плакала. Сказала, что страдает от одиночества. Это ужасно. Посоветовал ей приехать в Париж — прямиком или через Порто-Ронко. Как помочь, не возвращаясь к ней!? Вернуться я не могу. Моей жизни пришел бы конец”.

Позже он будет оплачивать жилье и поездки Ютты, фактически полностью содержать ее. Как супруги они получат в 1947 году американское гражданство. Тем не менее брак их остается фиктивным, они лишь изредка живут под одной крышей, и Ютта тогда — гостья писателя. Эмоционально он отдалился от нее уже после первого развода.

За событиями на политической сцене в этом взрывоопасном году Ремарк следит с возрастающим нервным напряжением. Через несколько дней после “Хрустальной ночи” он записывает в дневник: “Мир встре-

вожен тем, что происходит в Германии. Контрибуция в размере одного миллиарда марок, разрушенные дома и разгромленные магазины, тысячи евреев арестованы – и все потому, что 17-летний польский еврей Гриншпан[1] застрелил 3-го секретаря германского посольства в Париже, г-на фон Рата... Ощущение такое, будто живу на вулкане". В дневнике Ремарк почти не касается политики, там царит Дитрих, а не Гитлер, но и скупые строки свидетельствуют: Ремарк был обеспокоен развитием событий и предчувствовал, что хрупкого мира в Европе не сохранить.

Еще в июле Ремарка лишили германского подданства. 25 апреля 1938 года рейхсфюрер СС по предложению гестапо уведомил министерство иностранных дел: "Предпосылки для лишения германского гражданства налицо". Гестапо же обосновало свое предложение так: "При поддержке еврейской ульштейновской прессы Эрих Ремарк годами самым низким и подлым образом глумился над памятью о павших в мировой войне и уже тем самым поставил себя вне сообщества, называемого немецким народом. На доход от этих своих писаний он купил себе виллу в Швейцарии. В Порто-Ронко, близ Локарно, он до последнего времени интенсивно общался лишь с эмигрантами, евреями и коммунистами". Жену Ремарка постигла такая же "участь" – ее тоже лишили германского подданства.

Ремарк озадачен, но реагирует с черным юмором: "После обеда позвонили из Лондона: мое имя в последнем списке тех, кого лишили гражданства. Ну что ж! Это даже очень удобно: с началом следующей войны меня сразу же не интернируют". Ремарк теперь – человек без гражданства, что в принципе осложняет заграничные поездки. Но еще в 1937-м они с Юттой приобрели панамские паспорта, так что этой проблемы не возникает. А высылка из Швейцарии состоятельному эмигранту вообще не грозит.

В конце ноября Марлен Дитрих уезжает в Калифорнию, а Ремарк через несколько дней – в Порто-Ронко. Судя по дневнику, он задумал роман о Париже, о жизни там рядом с *Пумой*. "Поздно вечером начал роман, в центре которого Равик... Настроение, как всегда в таких случаях: слегка нервозен, раздосадован, подавлен. Обе темы уже вызывают сомнения. Потом, при размышлениях о Равике как главном герое, вдруг каскад идей". Тем не менее он откладывает написанные страницы и вновь берется за "Возлюби ближнего своего". Работает прилежно, хотя чувствует недомогание. *Пума* не выходит у него из головы, и если писем и звонков из Америки нет дольше обычного, он мрачнеет и мучается ревностью. "Десять дней, как от *Пумы* ничего нет..." – "Все мысли только о *Пуме* – странно; за, против. Надо продолжать работу".

И роман все-таки пишется. Ремарк хоть и продвигается медленно, хоть и сетует на заминки, хоть и недоволен отдельными главами, 6 января все-таки записывает в дневник: "70 страниц рукописи готовы". Новый, 1939 год он встречает у Эмиля Людвига, а рассвет застает его уже в одном из асконских баров. Марлен отправлена восторженная телеграмма: "Дивным был старый год, дивным будет и новый. Веселись, *Пума*, и ничего не бойся. Счастье улыбается бесстрашным. Радуй меня по-прежнему. Равик".

1. Выстрелом в чиновника германского посольства в Париже Гершл Гриншпан решил привлечь внимание западной общественности к преследованиям евреев нацистами.

Политические новости не внушают оптимизма. "Наступление в Испании. Бомбардировки Китая японскими самолетами. Претензии Италии на Тунис. Брожение в Мемельской области[1] . Когда Европе придет конец? Уготованный одним-единственным человеком". К тому же тревожные письма приходят от сестры: "Состояние отца почти безнадежное. Атеросклероз в последней стадии. 72 года. И так тяжело работал — всю жизнь". Забот добавляет и Ютта: в Париже ей одной не живется, хочет приехать в Порто-Ронко. "Сказал ей, что должен работать. Обычные доводы... Но мысль, что она сидит тут и укоризненно наблюдает за мной, в то время как мне хочется работать, — эта мысль почти невыносима".

Первые главы романа — все свои вещи он пишет от руки — перепечатаны секретаршей. Скепсиса не убавилось. "Книга оставляет довольно тягостное впечатление. Не страшно. Обычное дело при чтении первых перепечатанных на пишущей машинке страниц". Он решает писать книгу заново, ибо сюжет кажется худосочным. Надо придать роману эпическую глубину и в то же время сделать его более компактным. 26 февраля наконец вздох облегчения: "Закончен черновой вариант". Однако потом — опять сомнения: "После обеда начал читать первую главу. В ужасе от этого бреда. Позвонил Файльхену, потребовал утешить... Взял себя в руки и переработал первую главу..."

Ремарк утомлен, ему хочется уехать из Порто-Ронко. "Ах, *Пума*, я устал писать книги без Тебя. А времени в обрез". 14 марта он покидает виллу и едет через Лозанну в Париж. Находит там семейство Дитрих — без его предводительницы, и 18 марта они поднимаются на борт "Куин Мэри". Его литагент Отто Клемент — вместе с ними. Лайнер берет курс на Нью-Йорк. В Калифорнии ждет *Пума*, и через несколько дней он впервые ступит на берег страны, которая вскоре станет ему прибежищем и второй родиной.

Пока же он пересекает океан не в качестве эмигранта. Не угроза войны, а *Пума* побудила его отправиться в дальний путь. С одной стороны, его обуревают тяжкие раздумья, с другой — предвкушение встречи с женщиной, которая сумела вырвать его из творческой тиши. "Бар с гремящей музыкой плывет в ночной тьме по молчащему океану: и странно, и не доставляет особого удовольствия". Хочет написать на борту "Куин Мэри" сценарий для Дитрих, но через день-другой отказывается от этой идеи. Мешает нервозность, проистекающая и от напряженной международной обстановки. Тут он не питает никаких иллюзий: "Газеты сообщают ужасные вещи. Литве из-за Мемеля предъявлен глупейший ультиматум. Затем последует Данциг, Италия тоже захочет что-то получить, и тогда — война".

23 марта он в Нью-Йорке. Жесткий паспортный и таможенный контроль — и путь в город, где все уникально, превосходно, бесподобно, открыт. Первоклассный номер в отеле "Уолдорф Астория". Ночная жизнь, шоу, варьете, притоны в Гарлеме, где собираются чернокожие и гомосексуалисты. "Самое же прекрасное в Нью-Йорке — это его звуки. Они напоминают глухой, сдержанный рокот мотора гоночного автомобиля". На пути в Лос-Анджелес он делает остановку в Чикаго, чтобы в Художе-

1. Современный г. Клайпеда с окрестностями.

ственном институте полюбоваться работами Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Гогена, Сезанна. 27 марта он в Беверли-хиллс.

В отношениях с Дитрих после ее отъезда поздней осенью 1938-го из Парижа ничего не изменилось. "*Пума* ужасно разочарована тем, что я писал об эмигрантах, а не о Равике. Находит книгу плохой. Раздосадована и тем, что не привез для нее сценария". Перебранки по поводу повторной женитьбы на Ютте, сцены ревности и "дни ничем не омраченного счастья" сменяют друг друга быстрой чередой. Он скрупулезно фиксирует в дневнике, когда *Пума* пускает его к себе в постель и когда отвечает отказом. "С этой бестией дело доходит иной раз до настоящей войны". Он презирает легковесную жизнь Голливуда, шумные премьеры, рауты и — от случая к случаю — самого себя. После одного такого празднества — среди звезд были Гари Купер, Эррол Флинн и Долорес Дель Рио — он записывает: "Вспышки фотоаппаратов, важничанье, жеманство и больше — ничего. Все непрерывно позируют". Встречает он там на презентациях и Томаса Манна, но отношения у них не складываются. Ремарка мучает зубная боль, лечение длится неделями, и Джозеф фон Штернберг, по-прежнему волочащийся за Марлен, тоже не способствует хорошему настроению. Между тем в Беверли-хиллс появляется Джо Карстерс, приводит Марлен в экстаз, и игра в прятки, так раздражавшая Ремарка, начинается снова... Его письма тем не менее полны страсти и огня: "Нет, вы взгляните на Равика, исцарапанного, обласканного, покрытого поцелуями и оплеванного. Я, Равик, встречал много волчиц, умеющих ловко менять обличье, но я знаю только одну такую пуму. Изумительное создание... Вот что значит жить бок о бок с пумой, друзья мои. Желая погладить, они, бывает, царапают, и даже во сне ты не застрахован от нападения".

Ремарк безутешен и подумывает о немедленном возвращении в Европу. Но сделать такой шаг пока не решается. Известия оттуда по-прежнему тревожны. "Война близка как никогда. Оккупирована Албания. Дело сделано... На очереди — Польша, Греция и т. д.".

В начале июня он едет с дитриховским "кланом" в Нью-Йорк, улаживает кое-какие дела... встречается со своим американским переводчиком Денвером Линдли, мастерство которого ценит очень высоко, и отплывает вместе со слегка истеричным семейством в Европу. Несколько дней в Париже. Все те же раздражители ("Вчера вечером позвонил *Петеру*. Сказали друг другу лишь пару слов. Все к черту вместе с этой треклятой *Пумой*"). Душевные разговоры с Вальтером Файльхенфельдтом, который продает ему картину Сезанна. "Надо бы хорошенько пройтись по роману", — уговаривает он себя. И двумя неделями позже: "Как все-таки довести эту вещь до ума?"

Между тем читатели журнала "Кольерс" получают возможность оценить мастерство писателя, знакомясь с сокращенным вариантом романа "Возлюби ближнего своего". Текст печатается с 8 июля по 23 сентября 1939 года под заголовком "Flotsam"[1] . Для издания романа отдельной книгой писатель еще долго будет дорабатывать его.

Ремарк сидит в Париже и ждет, что же решит *Пума*. Короткий визит в Порто-Ронко ("Странный мир. Со мной в придачу"). По возвраще-

1. "Плавающие обломки" (*англ.*).

нии в Париж он вынужден явиться с Юттой к французским чиновникам, однако carte d'Identité[1] получает довольно быстро — тут явно сказалось знакомство со знаменитой Марлен Дитрих. "Вчера утром поехали с *Петером* в министерство внутренних дел... В приемной негде было присесть. Видел, сколь мучительно ожидание". Настроение опять вдруг резко меняется. После поездки по парижским улицам Ремарк записывает в дневник: "Огромное небо. Зеленое сердце июля. Почему смерть неизбежна?" А в письме, отправленном в те месяцы Дитрих, пишет: "В наших сердцах так мало тепла к самим себе; у нас — как у детей смутных времен — так мало веры в себя; в нас слишком много отваги и слишком мало надежды; все мы — лишь бедные, жалкие, без передышки шагающие солдаты, не знающие, есть ли на свете что-либо еще, кроме шаганья. Глупые, жалкие солдаты жизни — дети смутных времен, которым ночью вдруг что-то приснилось".

В конце июля они снова едут в Антиб. Прошлогодняя история, похоже, повторяется. Дитриховские приживалы действуют ему на нервы, Джозеф фон Штернберг постоянно раздражен и мрачен, так как Дитрих не обращает на него внимания, появляется лесбиянка Джо, вновь начинается игра в прятки: Марлен Дитрих спешит от него к ней или наоборот. "Пошло-поехало. А я сижу тут и маюсь — с проклятыми болями в сердце. Все мерзко и гадко". Люди будто чувствуют, что это последнее мирное лето. Пляж переполнен, среди отдыхающих американский посол в Лондоне Джозеф Кеннеди и писатель Ноэл Кауард, все увиваются вокруг Дитрих. Вечерами общество отправляется в Канн или Ниццу, Ремарк немного играет, скучает и глубоко удручен выходками *Пумы*.

В середине августа Марлен Дитрих возвращается в Париж, чтобы через несколько дней отплыть в Соединенные Штаты. Снявшись в фильме "Дестри снова в седле", она надеется обрести былую популярность. "На политической арене ясности нет, — записывает в дневник Ремарк, оставшийся на побережье Ривьеры, — Данциг, Польша. Швейцария для меня — слишком тесный мирок". Все ждут, какие шаги предпримет Берлин. Ремарк в нерешительности. С *Пумой* в Америку? "Тревожные дни. Война в воздухе... Просматривал утром газеты: во Франции началась мобилизация... Не отправиться ли мне в среду в Нью-Йорк? Если еще возможно... Только что узнал о подписании русско-немецкого пакта о ненападении". Жребий брошен. Сталин подписал договор с дьяволом, Гитлер изготовился к удару по Польше.

Вся Франция обратилась в бегство. 29 августа Ремарк подъезжает к Парижу. "Всюду мобилизованные с чемоданчиками. Повозки и телеги. Цветные солдаты. Вечером все это приобретает почти призрачный вид... Темные колонны в свете прожекторов. Понурые, беспокойно вздрагивающие лошади. У развилки под Фонтенбло — громадный белый крест... Молчаливые леса. Над равнинами почти полная луна, Маттиас Клаудиус[2] . Многое наводит на раздумья. Граница и первые кварталы города. Дома и улицы затемнены на случай ночных налетов. Елисейские поля. Арку не видно".

1. Удостоверение личности (*франц.*).
2. Немецкий писатель (1740—1815), известен прежде всего как автор стихотворений, близких по духу народной поэзии.

Вечером Ремарк сидит в ресторане "Фуке" на роскошном парижском бульваре, терзая себя укорами, погруженный в сомнения. "Уезжать противно. Все во мне протестует против этого. Голова пухнет от мыслей, я презираю себя и в то же время во мне крепнет какая-то решимость... Тихое ощущение полноты жизни. Презираю себя за то, что не беру с собой *Петера*. Подумав, прихожу к выводу, что не могу этого сделать, ибо не желаю терять *Пумы*... По-прежнему не хочу уезжать. Не хочу дать отсюда тягу. Но *Пума* будет перепугана до смерти: она нуждается во мне. Я сидел на улице, смеркалось, мне нравился этот город, хотелось остаться, и в то же время я знал, что не смогу остаться, так как пароход скоро отчаливает. Вечером попытался дать телеграмму. Цензура. Текст, обязательно на французском, надо показать в префектуре. Ужинал у "Фуке". Кругом темнота, не светилась даже реклама. Странная картина. Официантов мало — мобилизация... Пошел в отель. Серебряная луна висела над черным городом".

Наташа Палей в 40-е гг.

Утром Ремарк едет в Шербур и вместе с мужем и дочерью Дитрих поднимается на борт "Куин Мэри". На сей раз плавание пройдет без особых удобств. Койки установлены даже в кают-компании. Курс на Нью-Йорк взял корабль с беженцами. В темном неспокойном океане затаились немецкие подводные лодки.

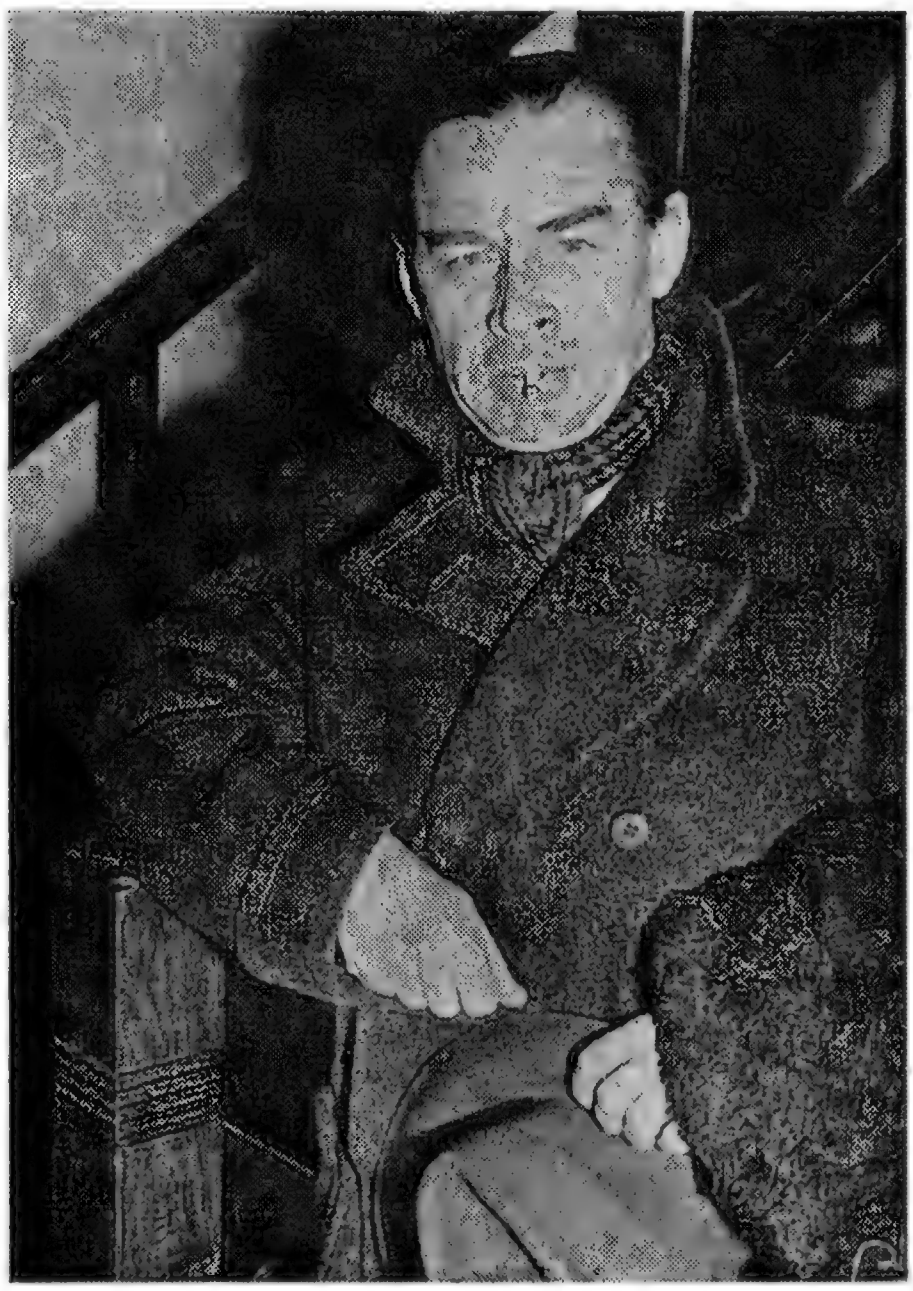
***

...За ужином в предновогодний вечер[1] Ремарк знакомится с женщиной, которая тоже сыграет большую роль в его жизни. "Встретил Натали Палей, теперешнюю мисс Браун. Очень мила..."

Наталье Палей тридцать пять лет, родилась в Париже, из дома Романовых, ее отец был родным братом царя Александра III. Красива, в лице и фигуре что-то мальчишеское, к моменту знакомства с Ремарком замужем (второй раз) за гомосексуалистом. Манекенщица и актриса, в 30-х годах снялась в нескольких французских фильмах — вместе с Морисом Шевалье, Чарльзом Бойером и Кэри Грантом. Была в дружеских отношениях с Жаном Кокто и Антуаном де Сент-Экзюпери.

Пригласив Наталью разделить с ним трапезу через несколько дней после предновогодней встречи, Ремарк пленен: "Красивое, чистое, сосредоточенное лицо, длинное тело — египетская кошка. Впервые ощущение, что можно влюбиться и после *Пумы*... Проводил... красивую, стройную... смятенную русскую душу домой". Следующая запись от 7

1. 1940 г.



Ремарк в 1939 г.

января: “В половине шестого Наташа П. Прелестное лицо, серые глаза, стройна, как подросток. Плавное начало, теплота, какие-то слова, легкий флирт, нежная кожа лица и губы, неожиданно требовательные”. Забыть Дитрих невозможно, но жизнь в Нью-Йорке отвлекает. Он несколько раз встречается с Гретой Гарбо, восхищенный ее красотой. Ни ссор, ни ревности, а долгие прогулки и разговоры, романтические ночи и такое чувство, будто наконец вновь обрел себя. Дружба становится более тесной, когда он возвращается в Лос-Анджелес. “Гарбо, свернувшаяся калачиком на полу — гибкая, красивая, расслабленная”. И хотя интимные отношения продлятся недолго, они будут еще часто встречаться в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, ходить на выставки, обмениваться подарками на Рождество и в дни рождения...

***

Западное побережье Штатов — невдалеке от тихоокеанского театра военных действий. Для живущих в Калифорнии беженцев из вражеских государств наступают неприятные времена. Ночью им запрещено выходить на улицу. “Распоряжение генерал-лейтенанта Де Витта. Curfew[1] с 8 часов вечера до 6 утра для яп., итал., германских подданных. Сидеть дома. Днем не удаляться от него более чем на 5 миль”, — с горечью записывает Ремарк в дневник в конце марта 1942 года. “Как сужается мир — когда-то от горизонта до горизонта — потом без Германии — без Австрии — без Италии — Швейцарии — Европы — потом без Мексики — одна лишь Америка — потом еще труднее; поездки только с разрешения — и вот пять миль в Голливуде... Завтра, возможно, — в концлагере, и тогда — 5 миль покажутся целым миром!”

Непоседа и полуночник, Ремарк воспринимает ограничение своего жизненного пространства как катастрофу. Вынужденный проводить ночи в маленьком гостиничном номере (“моя тюрьма”), он начинает жаловаться на плохой сон, шум по утрам, подавленное состояние, которое к тому же все усиливается. “Где мы умрем”.

Пребывая от заката до рассвета в заточении, он пытается читать — Хемингуэя, Фолкнера, Мальро, Сомерсета Моэма, снова и снова Ницше — и заставить себя работать. “Решил снова взяться за Равика. Дать

1. Комендантский час (*англ.*).

его шире, субъективнее. Как человека с его проблемами". Он нанимает секретаршу, "чтобы немного взбодрить себя", но уже через пару дней сетует, что делать ей, по сути, нечего. "Странное существование в эти недели — изолирован, предоставлен самому себе, отсутствую, читаю, неспокоен, почти без всякой связи с внешним миром, который скользит мимо, чужой, стеклянный... Сам же я тихо чего-то жду".

Элегического в этом не так уж и много. По-прежнему сплошная череда вечеринок, у Бергнер[1] или у актера Оскара Гомолки, где он, в дурном настроении, встречает Фейхтвангера ("Смешон, когда напускает на себя важный вид"), Франца и Альму Верфелей, Брехта, Томаса Манна ("Убогое лицо") и часто напивается. Дело тогда порой доходит до словесной дуэли, бегства с раута и столкновения автомобилей, виновник которого, разумеется, под хмельком.

Он угрюм и чувствует недомогание. "Месяцами боли в сердце". Невралгия лица, мигрень, почечные колики. Беспокойно в груди, донимают воспоминания. "Хочется... любви. Был ею обделен"... Летом у него новый, короткий роман. На сей раз с танцовщицей Верой Зориной, женой известного хореографа Джорджа Баланчина. "Недолгая любовь в июне".

Рефлексируя и пытаясь отвлечься, он тем не менее осторожно, с опаской начинает проявлять интерес к политике. В мае 1942-го Лизл Франк, жена писателя Бруно Франка, приходит с призывом "Европейского кинофонда" помочь эмигрантам, оказавшимся в США без средств к существованию. Воззвание адресовано видным представителям американской художественной интеллигенции. Ремарк подписывает его вместе с Лионом Фейхтвангером, Бруно Франком, Максом Хоркхаймером, Томасом Манном и Францем Верфелем.

В декабре 1942-го Ремарк едет в американскую столицу, чтобы встретиться с вице-президентом Генри Уоллесом... Правительственные учреждения стремятся привлечь знаменитых деятелей немецкой культуры к пропагандистской кампании против третьего рейха. С октября 1940-го по ноябрь 1945 года к немецким слушателям будет регулярно обращаться по радио Томас Манн, его речи вскоре приобретут широкую известность. Для выступлений перед американскими солдатами в Европу поедет Марлен Дитрих. Ремарк сдержанно реагирует на уговоры Уоллеса. Он не намерен поступаться своей независимостью.

...Передав свою коллекцию произведений искусства Художественному музею округа Лос-Анджелес, Ремарк покидает в конце октября 1942-го Беверли-хиллс и возвращается в Нью-Йорк... На восточном побережье ограничения в отношении эмигрантов почти не ощущаются. Здесь можно дать переживаниям отстояться и, пожалуй, обрести покой.

Первый звонок — Наташе, "лучику света среди кукол и обезьян", и лишь потом он вешает на стену картину любимого Ван Гога. Написаны четыре главы "Триумфальной арки", но кризис не преодолен: "Пролистал "Трех товарищей". Есть места откровенно слабые. Я еще не писатель".

Тяжкое для него наступает время. Место Дитрих в его жизни на долгие годы займет Наташа. Поначалу в дневнике самые трогательные сло-

1. Австрийская актриса, эмигрировала в 1933 г. в Англию.

ва, письма к ней полны нежности и тепла. "Наташа, Твой голос был слышен по телефону так ясно, будто Ты находилась в соседней комнате — еще тут, еще со мной, еще в моей голове. Я слегка прикрываю уши, дабы продлить его звучание там, в моих мечтах, и вижу Твои серые, дивные, вопрошающие кошачьи глаза. И я беру свое сердце, и бросаю его в ночь, и подхожу к окну, и гляжу вниз на запретный город, и ощущаю на лице дыхание ветра, и вдруг снова и снова думаю о том, как это чудесно — жить и — быть в Твоих мыслях и Твоем сердце".

Они часто ссорятся и часто мирятся. Ремарк пьет не зная меры, чаще обычного заканчивает ночь в каком-нибудь злачном заведении. В августе 43-го у него опять короткий и бурный роман — с Сандрой Рамбо. "Каждый день Наташа. Каждый день Сандра... Одному богу известно, чем это кончится!" Ноет печень, сильные головные боли, дает сбои сердце, он чувствует себя прескверно, но образ жизни не меняет. По утрам мучительно вспоминает, что говорил и делал во хмелю накануне вечером. "Опомнись, брат. Пей лишь с друзьями. А не на людях".

Он мало работает и терзается сомнениями. "Какой же я все-таки ветреный человек. Сколько во мне актерства. Есть надежда, может быть, все-таки быть писателем — или стать им". — "Завяз, как в трясине, после девятой главы. Слишком много курю. Но есть сильное желание работать". — "Вчера вечером работал. Ясно вижу, что писать не могу. Однако спокоен".

В сентябре 1943-го он на несколько недель уезжает в Лос-Анджелес, встречается там с Верфелем и *Пумой*. "Выглядела еще хуже, сущей развалиной. Старой. Разочарованной. Там больше делать нечего... Прочь. Нет больше этой красивой легенды — Марлен Дитрих. Старая. Потерянная. Ужасное слово". О своей любви последних лет он судит без всяких иллюзий. Тем не менее еще помнит о романе, видеть который посвященным себе так хотелось Дитрих. В Лонг-Бич он наведывается в госпиталь Девы Марии и присутствует там на двух операциях. Наглядный урок для писателя, ведь главный герой романа, живущий в Париже эмигрант Равик, работает хирургом, правда нелегально.

В середине октября Ремарк возвращается в Нью-Йорк и поселяется в отеле "Амбассадор". Запись в дневнике, сделанная 23 октября, гласит: "После обеда вырвался наконец на выставку картин из моего собрания. Много посетителей, к моему удивлению. Есть даже хорошие отзывы".

Ремарк, конечно, и не подозревает, что в эти дни в Берлине в "Народном суде"[1] начинается процесс по делу его младшей сестры Эльфриды Шольц[2], который закончится смертным приговором. 16 декабря ее гильотинируют в Плётцензее. "Вашего брата мы, к сожалению, упустили, вам же от нас не уйти!" — так, по воспоминаниям одной очевидицы, прокомментировал ситуацию председатель трибунала Роберт Фрайслер.

Эльфрида жила со своим мужем, музыкантом Хайнцем Шольцем, в Дрездене и работала там портнихой... Мужественная женщина никогда не скрывала в разговорах своего неприятия гитлеровской диктатуры и

1. Чрезвычайный суд для расправы с противниками режима в фашистской Германии 1936—1945 гг.
2. Эльфрида была моложе Ремарка на пять лет.

войны. "Мы были тогда твердо убеждены, что Эльфрида каким-то образом принимала активное участие в движении Сопротивления... Она тоже намекала на это"[1] . Эльфриду арестовали 18 августа 1943 года по доносу капитана Ханса-Юргена Ритцеля за "антигосударственные высказывания". В присутствии жены этого убежденного нациста она открыто сказала, что́ думает о третьем рейхе, и "пожелала Гитлеру получить пулю в лоб". В Германии это называлось "действиями, направленными на подрыв оборонной мощи".

***

Год 1944-й не похож на предыдущие. Марлен Дитрих, наверное, вычеркнута из его жизни навсегда. "Отвечаю на твои вопросы: Марлен я однажды случайно видел... Знакомо ли тебе чувство неловкости перед самим собой из-за того, что ты когда-то всерьез принимал человека, который на поверку оказался всего лишь красивой финтифлюшкой, а ты не можешь заставить себя сказать ему об этом, предпочитая быть с ним все еще чуть-чуть любезным, хотя от этого тошнит?"[2]

Ремарк ищет уединения, реже бывает в свете, не засиживается в барах, меньше пьет... "Почти все время один. Встречаюсь только с Наташей. Иногда навещаю *Петера*..." Читает он теперь еще больше, в восторге от Достоевского ("Какой рассказчик!"), снова и снова обращается к Шекспиру, иногда к стихам Гейне и драмам Гауптмана ("Добротно, по-немецки и как-то на удивление по-профессорски") и пробует сконцентрироваться на собственном романе. В мае, после долгого перерыва, он снова склоняется над рукописью о Равике и 25 августа, оставаясь, конечно, недовольным, записывает: "Сегодня закончил книгу вчерне. 425 страниц. Конца работе не видно. Настроение довольно подавленное".

Из освобожденных районов на востоке Европы до американской общественности доходят первые ужасные известия о массовом уничтожении евреев. "Под Люблином обнаружены нацистские концлагеря с огромными крематориями, а также могилы узников-евреев. Их морили голодом, умерщвляли в битком набитых газовых камерах, а потом сжигали". Возможно, именно сообщения об этих злодеяниях побуждают его все же взяться за выполнение одного "правительственного поручения". В сентябре он с неохотой записывает: "Работаю над одной вещью для Strategic Service. Как в Германии после войны и т. д. Только ленивый не говорит и не пишет сегодня об этом". Поражение Германии к этому моменту предрешено... Вопрос о том, что́ должно произойти со страной и ее населением после войны, приобретает для союзников актуальное значение.

Памятка, написанная Ремарком для американской спецслужбы О-Эс-Эс, озаглавлена так: "Практическая воспитательная работа в Германии после войны". Прежде всего она показывает, что ее автор в 1944 году гораздо точнее оценивает суть того, что происходило в реальной жизни и умах немцев в годы перед приходом Гитлера к власти, чем многие историки в первые два десятилетия существования ФРГ... Главное требование, вытекающее для автора из развития Германии, — искоренить национал-социализм и милитаризм... Ремарк советует державам-победительницам не щадить немцев, показывая совершенные ими до и во время войны преступле-

1. Из письма Клэр Лемкуль Ремарку от 25 мая 1948 г.
2. Из письма Альме Малер-Верфель и Францу Верфелю, март — апрель 1944 г.

ния. Гитлеровские застенки, "позорная война 60 миллионов немцев против полумиллиона евреев", расстрелы заложников на оккупированной территории, уничтожение сотен тысяч людей из мирного населения, концлагеря — с помощью радиопередач, кинофильмов, книг, брошюр и открытыми судебными процессами надо довести до сознания народа, породившего столько преступников, на какой путь он в свое время встал. Это — обвинительная речь просветителя.

Во многих местах памятки Ремарк предсказывает будущие широкомасштабные попытки отрицать вину немцев за содеянное и обелить преступников. "Кто посадит на скамью подсудимых генерала, всего лишь исполнявшего свой долг?" — "Чтобы воспитывать детей, нужно сперва воспитать учителей..."

Он настоятельно советует державам-победительницам не делать в оккупированной стране того, что порождает ненависть. "Побежденная и оккупированная страна легко превращается в страну людей ненавидящих. Небольшие просчеты могут очень быстро стать орудием пропаганды... А ненависть тоже ведет к войне".

Отношения с Наташей Палей в первые месяцы года ровные, Ремарк по-прежнему очарован ею... Однако в начале осени возникает некоторая напряженность, разыгрываются сцены а-ля *Пума*. Он ревнует, Наташа упрекает его в лености и злоупотреблении алкоголем.

1945 год начинается для Ремарка с работы над новым романом. "Вчера сел писать русскую книгу. Неожиданно удачное начало, как мне кажется". Написаны первые строки романа "Время жить и время умирать".

Германия капитулирует 7 мая, за четыре недели до этого умер Рузвельт. С окончанием войны Ремарк тоже оказывается в новой ситуации. Для его произведений вновь открыт европейский книжный рынок... В июле специально для военнопленных на языке оригинала выходит "На Западном фронте без перемен"... 13 сентября "Кольерс мэгэзин" начинает печатать отрывки из "Триумфальной арки".

Счастье улыбается Ремарку: с наступлением мира его труд увенчан мировым успехом. Его имя опять у всех на устах. За свои книги и их экранизацию он получает крупные гонорары, в коих весьма нуждается. В начале 1946-го он должен заплатить 60 тысяч долларов налога за прошлый год, а швейцарские власти требуют произвести платежи за все время его отсутствия. Иначе... "Сколько ни зарабатывай, все равно остаются крохи", — досадует он в дневнике.

Вести, доходящие теперь до него из Германии, глубоко волнуют Ремарка. В июне 1946-го из Лейпцига ему впервые пишет сестра Эрна, и он узнает, что отец жив, а Эльфрида казнена нацистами. Бедствующим родственникам и некоторым друзьям он тут же отправляет посылки с продуктами. Из Парижа ему сообщают, что машина, оставленная им там в 1939-м при бегстве из Франции, цела и стоит в гараже.

Физически он чувствует себя неважно. "По-прежнему невралгия. Не курю, почти не пью. Обхожусь без кофе. Мясо — очень редко". Он думает о "русском" романе, который с прошлого года лежит в столе. "В остальном: чтение, прогулки. Трудно начать работать, не куря". И — обращается к совсем другой теме. Начинает писать "Искру жизни" — книгу о концлагере.

В декабре в Нью-Йорке появляется Дитрих. Не найдя счастья с Жаном Габеном, снова ищет контакта с Ремарком. "Позвонила. Приехала, хотела начать все сначала. Я не захотел. Когда собралась уходить, задерживать не стал". Однако после обильного возлияния как-то вечером он все-таки поддается, и одну ночь они проводят вместе. Об этом узнает Наташа, легкий приступ ревности и у Ютты.

В начале июля 1947-го Ремарк в очередной раз должен явиться на слушание, дабы доказать, что для получения американского гражданства его биография достаточно чиста. "Задавали вопросы о нацизме, коммунизме, партийной принадлежности; не нарушал ли комендантский час; потом — почему живу отдельно от *Петера*; и о Марлен. И т. д. Я вынужден отвечать на такие вопросы, хотя мне уже 49". Но он выдерживает госэкзамен на морально-политическую зрелость и 15 августа получает вместе с Юттой американское гражданство.

Осенью Дитрих снова уезжает. "Только что здесь была Марлен — проститься. Трогательно, что бы там ни было... Медленное угасание. Неожиданно наступает возраст, когда то, что цвело возле тебя, начинает увядать, и ты с испугом спрашиваешь себя: перенесешь ли ты смерть тех, что еще окружают тебя? Многих уж нет... Пусто будет вокруг, уныло и безотрадно..."

На этой ноте заканчивается год. Наташа осыпает его упреками за чрезмерное пристрастие к спиртному и "непостоянство". Он хочет с ней расстаться, но — не может. Она меж тем выходит замуж за театрального продюсера Джека Уилсона, а Ремарк не собирается хоть в какой-то мере жертвовать своей независимостью. "Иногда сравниваю с пумским периодом, который, по-моему, был хуже". И последняя дневниковая запись 1947 года: "Надо бросить пить. Нельзя терять себя".

Новый год начинается с решения переписать роман "Искра жизни". ("Займет больше времени; но иначе нельзя. Нельзя класть заплаты"). Крепнет желание поехать в Европу, Ремарк ведет переговоры с "Кольерс", "Геральд трибюн" и журналом "Космополитэн", очевидно намереваясь присылать корреспонденции с другого берега Атлантики. Политику там определяют ветры холодной войны... "Хочется в Порто-Ронко. Хочется чувствовать себя в безопасности. Куда-нибудь приткнуться". В марте в доме на Лаго-Маджоре поселяется отец Ремарка.

У сына же проблемы с выездом. Ему хочется увидеть Германию, чтобы на месте почерпнуть впечатления для своего романа. Наконец он получает-таки разрешение посетить Европу — за исключением оккупированной Германии. В мае он поднимается с Наташей — в "скорее угнетенном состоянии духа" — на борт "Америки"... Экс-эмигрант и новоиспеченный американец возвращается в Старый Свет, который покинул девять лет тому назад.

***

В начале июля — навестив Вальтера Файльхенфельдта в Цюрихе — Ремарк снова в своем доме на Лаго-Маджоре. "Все как оставил. Зубная паста; письма; карандаши; бумага — на том же месте... Сон Спящей Красавицы. Просыпаешься — прошло десять лет. Странное чувство. Трогательно и таинственно... по саду. Отец рядом... Пили кофе на террасе. Еще

до этого старик зашел ко мне в спальню. Он бродил по дому. Предвижу сложности. Хочет, чтобы его занимали. Люди... Что делать с ним?"

Свое пятидесятилетие Ремарк празднует тихо, погруженный в мрачноватые раздумья о приближающейся старости. Не выходит из головы вопрос: где же все-таки жить?.. 11 июля он едет на несколько дней в Рим, где его уже ждет Наташа. Ссоры из-за мелочей. Женщина, с которой он не в силах порвать, уезжает в Палермо, он остается и — пьет. Связь, выматывающая все силы. Как с *Пумой*. Наташины упреки раздражают до крайности. Он ревнует, вовсе не будучи верным спутником жизни. Клянясь Наташе в письмах из Асконы в любви, он заводит в эти недели роман с Эллен Янсен.

В октябре он опять в Париже. Узнав о смерти Эмиля Людвига, посылает оставшейся в бедности вдове тысячу швейцарских франков. С 21 октября Ремарк снова в Нью-Йорке, отель "Амбассадор". Встречи с Дитрих, одинокой и печальной Юттой и, конечно, с Наташей. Все как прежде.

В творческом плане — полный паралич. В довольно объемистом дневнике 1949 года только одна тема — отношения с Наташей, приобретающие трагический характер... "Мысли, как всегда, о Н. Не проходит почти ни секунды, чтобы был свободен от них. Поистине, почти ни секунды". После каждой размолвки он шлет цветы и небольшие подарки, клянет себя, зная, как губительно это отражается на работе.

"Эта стерва действительно месяцами не давала мне взяться за перо". Он не в состоянии соблюдать договоры с издательствами, публикация отрывков из "Искры жизни" в "Кольерс" срывается, "Космополитэн" отказывается дать незавершенный текст в продолжениях. Роман идет крайне трудно, раз за разом повторяющиеся нарушения кровообращения пугают его — видимо, тоже психосоматическая реакция на разгульный образ жизни. Он бросает курить ("чувство разочарования от некурения").

В мае 1949-го он снова пересекает океан, видится с Наташей в Париже, но уже через две недели ищет прибежища в Порто-Ронко. "Все та же история. Вечерами убиваю время за рюмкой". В июле он спешит... в Рим, чтобы встретиться с любимой. Все кончается ссорой, Наташа уезжает на Сицилию, он, напившись, возвращается на Лаго-Маджоре, находя там утешение в объятиях двадцатилетней Эллен Янсен, которую делает своей секретаршей. Ютта просит разрешения пожить на вилле, он с досадой дает согласие.

Тягостные дни и недели. Ютта мешает ему, он пытается, как неверный супруг, скрыть от нее чуть ли не ежедневные телефонные разговоры с Наташей. Когда Ютта осенью уезжает, он вздыхает с облегчением: "Душевное равновесие и отрада. Мысли о том, а не поселиться ли тут навсегда, — не сделало ли долгое присутствие *Петера* дом неприютнее, — не поставить ли крест на Н.-Йорке? — Забавляться, но тут".

Летом он встречает в Асконе немецкую актрису Бригитту Хорни ("Простая, ясная, сильная, здоровая жизнерадостность") и ее мать, психоаналитика Карен Хорни.

В сентябре он едет в Цюрих, видится там с Вальтером Файльхенфельдтом и своим отцом. Оттуда — в Париж, а затем — после долгих колебаний, ибо он предчувствует, что́ его там ожидает, — он опять отплывает в

Америку. 7 октября 1949 года вновь поселяется в своих апартаментах в "Амбассадоре". На сей раз год оказался для него действительно потерянным. С романом он почти не продвинулся, сомнения же в собственных творческих способностях еще более усилились. Правда, в конце августа в дневнике появляется важная запись: "Хотел бы написать историю человека (эмигранта), который вывозит из Германии свою жену; любовь, лагерь, смерть, Лисабон, Иностранный легион". Этот замысел будет жить в нем, и через двенадцать лет появится роман "Ночь в Лисабоне".

Он читает Фрейда и Юнга, с огромным удовольствием "Улисса" Джойса ("Очень потешная вещь, в самом деле! С юмором"). Новый год встречает в большой компании. Среди празднующих Лилли Палмер и ее муж Рекс Харрисон, Полетт Годдар и Наташа. Она вдруг куда-то исчезает. Гонимый ревностью, он начинает разыскивать ее в ночных барах. "Не помню, что же все-таки произошло"[1].

Организм между тем бунтует. Первый приступ болезни Меньера. Эта связанная с головокружением, болями и временами с частичной глухотой болезнь уже не отпустит его... Появляются признаки диабета, нередко приходится соблюдать строгую диету, что дается ему нелегко. Постоянно беспокоит сердце.

Жизнь тем не менее все так же сумбурна. Ему уже за пятьдесят, а он высматривает по ночам, горит ли в доме любимой свет или она где-то с соперником; звонит, в сердцах кидает трубку; случается, дело доходит даже до легкого рукоприкладства, после чего он, по обыкновению, шлет цветы. Порочный круг. "Если бы уже закончил роман! А она мешает и мешает".

События в мире, за которыми он опять следит более пристально, тоже действуют угнетающе, хоть и не в такой степени, как личные неурядицы. "Просмотрел кипу газет. От всей этой политики — глухое отчаяние. Национализм в любой форме (будь ты американец или добропорядочный немец) есть фашизм". У коммунизма, пишет он в начале 1950-го, в результате политики западных демократий "потрясающее будущее... Единственная инстанция, пока успешно препятствующая мировой революции, — Сталин и Политбюро. Делают все, дабы доказать, что хуже коммунизма в их трактовке ничего нет".

Его опять влечет в Порто-Ронко, Америки ему "на какое-то время" хватило. 20 мая он отплывает на "Иль де Франс" в Европу. Пытается привести себя в порядок в доме на берегу озера, продолжить работу над романом. По вечерам спасается от одиночества в тавернах Асконы. В начале июля приезжают мать и дочь Хорни, он встречается с писателем Робертом Нойманом, связь с Эллен Янсен нервирует его не меньше, чем шум с набережной, которую расширяют прямо под его участком. Наташа по-прежнему в его мыслях, думать о ней мучительно, разлуку он переживает как наркоман, лишенный привычной дозы.

Однако это лето отмечено и тесным общением с Карен Хорни, знаменуя собой целый период беспощадного самоанализа. (Карен Хорни родилась в 1885 году в Гамбурге, жила до 1932 года в Берлине, затем эмигрировала в Соединенные Штаты. Самые известные работы — "Но-

1. Запись в дневнике, сделанная 1 января 1950 г.

вые пути психоанализа" и "Невротик нашего времени". Представительница неофрейдизма.)

На Лаго-Маджоре Карен Хорни почти каждое лето после войны снимает дачу (вплоть до своей смерти в 1952 году). Знакомство перерастает в дружбу. Бригитта влюбляется в писателя...

"Мы с Бони еще больше подружились, — пишет мать дочери в августе из Асконы. — Он просто очарователен. Я послала ему верстку своей книги ("Невротик нашего времени". — *Прим. автора*), подумав, что ему это может что-то дать. И смотри-ка, он не только ее читает, но и сказал вчера вечером — чуть ли не торжественно, — что сегодня особенный день: он кое-что понял в самом себе..."

Чтение словно электризует Ремарка ("Важный, важный день!"). Чтобы глубже осмыслить прочитанное, он подолгу беседует с Карен Хорни. Рефлексия всегда была спутницей его жизни, свое поведение в обществе, свое отношение к женщинам, к работе, к алкоголю он постоянно и подробно анализирует в дневнике. Теперь же, как следствие драматических отношений с Наташей и под воздействием умных комментариев психоаналитика, из подсознания вырывается то, что скапливалось там в течение всей жизни. В эти дни Ремарк доверяет дневнику мысли и воспоминания, помогающие понять его поведение в последние два десятилетия.

"Две вещи в моей жизни — казаться, вернее, желать казаться лучше, чем ты есть на самом деле, и почти "morbid dependency in love"[1] вкупе с чрезмерной чувствительностью, актерством, стремлением пустить пыль в глаза, быть светским человеком, кавалером, homme a femme[2], а также ощущение, что ты плутоват и нескромен из-за желания прихвастнуть и что ты действительно таков; что никуда не годишься как писатель и что однажды тебя разоблачат, — всему этому (и многому другому) есть причина — мое детство. Первые три года, до смерти брата Тео. Слова матери о том, что я был очень ласковым ребенком, но меня обошли вниманием из-за того, что брат "умер через три года". Отсюда: 1. Неуверенность, одиночество, уязвленное самолюбие и т. д.; 2. Ощущение, что я не "lovable"[3]. А потому желание быть другим, а не собой, чтобы стать "lovable". И то, что соединяет обделенность любовью с одиночеством, миробоязнью, хаосом, безутешностью, сознанием бессмысленности существования, — чрезмерная гиперболизация любви, которая всем этим не является, в которой все это растворяется и с потерей которой все это опять тебе грозит: миробоязнь, хаос, бессмысленность бытия. Как следствие, привязанность к этому чувству, постоянные попытки вернуть утраченное, все, что выглядит скверным мазохизмом — извинения за поступки других, нарастающий отказ от самого себя и в результате неизбежная потеря другого человека... Целые дни просиживал на лестнице, проклиная своих родителей. Мечтал, как они разорятся, а я приезжаю из дальних стран разбогатевшим и показываю, что преуспел больше и спасаю их — с холодком удовлетворенного тщеславия. Дело не в том, что в детстве мне досталось *мало* ласки, а в том, что досталось ее

1. Болезненная зависимость от любви (*англ.*).
2. Дамский угодник (*франц.*).
3. Милый, привлекательный (*англ.*).

меньше, чем *другому*: вот откуда могло многое пойти, наряду с прочими причинами... Моя критикомания – элемент невроза. Антипатия к людям. Сарказм. Неприятие... Колебания в принятии решений – из-за общей неуверенности. Снобизм. Тяга к знаменитостям со стремлением рядиться в чужие перья; похваляясь нынешним или былым знакомством с ними, доказать себе и всему миру, что ты "lovable". Бравирование именами; хвастовство в разговорах; сознавая, что это даже неумно, и все же продолжая это делать: то же самое, то же самое"[1] .

Через три дня "человек, склонившись над своим прошлым", продолжает исследовать свое "я": "...Годы пьянства, преднамеренная гульба после первой книги. Стремление принизить значение успеха и показать, что стал иным не благодаря ему, потакание судьбе (что, конечно, неверно). Сверхскромность, согласие с критикой, ощущение, что поднялся так высоко обманным путем. Пил, чтобы быть "не собой"... считал, что пью не с горя, а от наслаждения жизнью, – да, но чтобы как бы витать над ней и – над собой. Не углубляя *себя* жизнью... Нежелание трудиться; такое частое. Разрыв между вдохновением и исполнением. Неестественное протрезвление... Порой худосочное, стесняющее унижение. Чувство импотенции, боязнь импотенции в сексе. Попытки хитрить и там. Похоть поэтому оборачивается честолюбием и желанием работать".

Объясняет он себе и причины своей откровенной аполитичности, вызывавшей нарекания со стороны многих его критиков: "Отказ от любого участия в событиях международной жизни – внутренне и внешне. Видимая причина: недостаточные знания (и это так); знаю не больше, даже, пожалуй, меньше других. А также опасение, что могут вспомнить сделанные мною когда-то глупости... и использовать их против меня".

И, наконец, резкая оценка отношения к родным: "Что дал ты, любвеобильный и щедрый, своей семье? Твоей сестры нет в живых; ее можно было бы спасти; ты не хотел, чтобы все жили за твой счет в Швейцарии. Ты стыдился своих близких. Ты сделал из отца капитана[2] . Ты завышал их социальное положение. И мало заботился о них. Делал вид, что их нет".

Познать еще не значит изменить. Это относится и к Ремарку. Беседы с Карен Хорни улучшают настроение, придают бодрости, позволяют смотреть на разлуку с Наташей некоторое время более дистанцированно. В ноябре роман "Искра жизни" наконец почти закончен. Но потом его опять охватывает беспокойство, ему тесно в Порто-Ронко, и он уезжает в Париж, а оттуда 10 ноября – в Нью-Йорк. Снова "Амбассадор", снова Наташа – тут мало что может сделать самый беспощадный самоанализ.

..."О, если бы освободиться от нее!" – записывает он в канун 1951 года. В апреле почти завершен окончательный вариант "Искры жизни". Несколько отвлекает интрижка со старлеткой Джипси Маркофф... "Не перестаю удивляться: как же я был порабощен, сам того не осознавая, – в мыслях, чувствах, даже в языке. Ушел! Поджарим же барашка и ударим по струнам!"

1. Запись от 15 августа 1950 г.
2. Отец Ремарка был на флоте старшиной.

Дом Ремарка в Порто-Ронко, где он жил с 1931 г.

***

30 апреля 1951 года, на прогулке, он встречает Полетт Годдар. Через три дня приглашает в ресторан, они видятся еще несколько раз, она дарит свое фото и вскоре, после совместно проведенного вечера, остается у него "до полудня", и Марлен Дитрих, нутром чуя, что тут завязывается, "заклеймила Полетт". Он еще не понимает, что в эти дни начинается его последняя большая любовь. Он, как всегда, полон сомнений и нерешителен, инициатива исходит от женщины. "Полетт вдруг решила, что в понедельник летим в Париж... На шею мягко ложится петля. Предпочел бы один ехать, быть, оставаться". Ремарк успевает просмотреть американский перевод своего романа о концлагере и отправляется в июне через Париж, насладившись там одной из картин своего собрания на выставке работ Тулуз-Лотрека, в Порто-Ронко — пока без Полетт.

Русская принцесса все еще занимает его воображение, но процесс отторжения начался и развивается стремительно. Возникают новые проблемы, но их не сравнить с тем, что он пережил за последние без малого четырнадцать лет. "Письма от Полетт. Опять как раньше: не полностью, не четко против, а как-то наискось, ускользая, уклончиво. Она хотела приехать; я уклонился. Потеряю ее; и буду жалеть об этом". 22 августа она приезжает в "Каса Монте Табор"[1] , дождь льет как из ведра, от ураганного ветра рухнули мосты, а для Ремарка наступают дни безоблачного счастья. Полетт простодушна, "поет и смеется", она "действует благотворно". "Откровенный человек, от которого веет теплом".

Полетт Годдар была на двенадцать лет моложе Ремарка. Когда они познакомились ближе, необычайно красивая женщина уже сделала в Голливуде блестящую карьеру. Путь наверх был довольно типичным для кинобизнеса. Выступала в танцевальных ревю, подвизалась на второстепенных ролях в кино, пока ее не приметил Чарли Чаплин. Под руководством гениального актера и режиссера, который был сначала ее любовником, а затем мужем, она стала звездой экрана. В "Новых временах" (1936) и "Великом диктаторе" (1940) Чаплин сделал ее своей партнершей. И расставшись с ним, Полетт Годдар сыграла множество главных ролей, заработала много денег и считалась одной из красивейших женщин в столице американского киноискусства. Лишь тогда еще неизвестной Вивьен Ли удалось в последний момент опередить ее при решении вопроса, какой же знаменитости достанется желанная роль Скарлетт в "Унесенных ветром".

Когда начался роман с Ремарком, Полетт Годдар шел сорок первый год, она три раза была замужем, среди покоривших ее сердце был изве-

1. Название дома Ремарка в Порто-Ронко.

стный мексиканский художник Диего Ривера. Зенит своей карьеры она прошла в начале 50-х, имела солидное состояние и могла считать себя вполне независимой — интеллигентная, уверенная в себе женщина, жизнерадостная и остроумная. В Голливуде она принадлежала к тем деятелям искусства, которые придерживались либеральных — идущих и от Чаплина — взглядов, как в годы правления Рузвельта, так и в конце 40-х, когда сенатор Маккарти начал охоту на коммунистов.

Ремарк со своей женой Полетт Годдар

Сущая находка для Ремарка. Ни собственнической эгомании Дитрих, ни чуть ли не патологической нервозности Наташи Палей. Ремарк нашел наконец спутницу жизни, которая не только любила его, но и не скрывала этого, а издержкам меланхоличного, нерешительного, трудного характера противопоставляла ласку и улыбку... Он гордился красотой Полетт, она восхищалась тем, что принесло ему всемирную известность. Полетт любила драгоценности и роскошные платья, он не скупился на подарки. Случались и размолвки, но не было выматывающих нервы, подрывающих здоровье драм.

Жизнь с Полетт изменила Ремарка. Депрессивность и склонность к мучительной рефлексии не исчезли, он продолжал пить. Но близость Полетт, возраст и недуги утихомирили его. Он чувствовал, что его любят, а не используют для каких-то целей, никто теперь не разжигал так легко вспыхивающую в нем ревность (небезосновательную в отношениях с *Пумой* и Наташей)... Как следствие Ремарк постепенно прекращает вести дневник, долгое время бывший островком в океане жизненных бурь. Он больше не нужен ему для обретения душевного равновесия.

***

В январе 1952 года в американском издательстве "Эплтон-Сенчури" выходит роман "Искра жизни" ("Spark of Life") — за полгода до немецкого издания.

Произведение выдающееся — как в художественном плане, так и в политическом. Сразу же после краха нацистской диктатуры Ремарк разрабатывает одну из самых запретных тем тогдашнего немецкого общества, стремившегося вытеснить из своего сознания позорное прошлое.

В первом, американском, издании роман посвящен памяти его сестры Эльфриды — тоже знак того, как волнует писателя, затрагивая лично, эта тема. После первых аутентичных публикаций о преступлениях в нацистских концлагерях и тюрьмах Ремарк глубже и, главное, значительно раньше, чем большинство немцев, распознает чудовищную аморальность содеянного в гитлеровские времена.

Рисуя образ садиста в эсэсовской униформе, Ремарк создает психограмму немецкого обывателя: с приходом к власти Гитлера наступил его "звездный час", он превращается в палача и убийцу.

"Ниман протирал стекла очков. Они запотели. От тепла, которое он испытывал, читая в глазах заключенных страх смерти, страх, неумолимо гнавший их вперед, придававший им силы, подымавший их с земли, когда они падали, толкавший их дальше. Он ощущал это тепло желудком и глазами. В первый раз он ощутил его, когда убил своего первого еврея. По правде сказать, он совсем этого не хотел. Это случилось как-то само собой. Всегда чем-то печально озабоченный, затурканный, он сначала даже испугался мысли, что ему надо ударить еврея. Но когда он увидел, как тот ползает на коленях и со слезами на глазах выпрашивает себе пощаду, он вдруг почувствовал, что за одно мгновенье стал другим — сильным и могущественным; он почувствовал, как гудит в жилах кровь; горизонт отступил вдаль, разгромленная четырехкомнатная квартира мелкого еврейского конфекционера — замкнутый мещанский мирок, уставленный мебелью с зеленой репсовой обивкой — превратилась в дикую азиатскую пустыню времен Чингисхана, а торговый служащий Ниманн стал вдруг господином над жизнью и смертью; в голову ударил дурман власти — безграничной власти! — и он все хмелел и хмелел от этого нового, неожиданного чувства, и сам не заметил, как нанес первый удар по мягкому, податливому черепу, покрытому скудными крашеными волосами"[1].

Ремарк написал в высшей степени злободневный роман. Бывшие нацистские чиновники сплошь и рядом возвращаются на свои посты, люди, служившие в концлагерях охранниками, нагло — и небезуспешно — требуют назначения им пенсий или принимаются на службу в полицию. В парламентах федеральных земель и новых демократических масс-медиа то и дело раздаются призывы к снисходительности и помилованию, требования об освобождении осужденных преступников, о замене смертных приговоров на тюремные заключения. О жертвах, о миллионах людей, уничтоженных в концлагерях, равно как и о тысячах чудом оставшихся в живых, в Германии почти никто не говорит. "Раскаиваться — не в правилах немца", — разъясняет в романе циничный и алчный комендант лагеря Нойбауэр своему шоферу Альфреду. Слова, вложенные Ремарком в эти уста, станут для многих подданных послевоенной Германии фактически жизненным девизом.

Роман вызывает разноречивые отклики. "Это книга об ужасных вещах, случившихся при нашей жизни, — пишет Карл Корн во "Франкфуртер альгемайне", — книга, рожденная стремлением сказать правду и нести свою долю ответственности, книга нравственного самоочищения". "Цайт", тогда еще в националистически окрашенном фарватере, заявляет лапидарно и достаточно лицемерно: "Это постыдная книга. Постыдная для автора — Эриха Марии Ремарка, постыдная для наших писателей, которые еще не пытались частично загладить нашу общую вину перед жертвами концлагерей более удачной книгой". Рудольф Кремер-Бадони, напротив, считает: "Во времена тайных судилищ мирового мас-

1. Цит. по: *Э. М. Ремарк.* Искра жизни. СПб., 1993. (Перевод Р. Эйвадиса.)

штаба требуется сверхчеловеческое мужество, чтобы написать такую книгу".

За рубежом... роман встречают с большим одобрением. "Это документально-художественное повествование, достойное автора романа "На Западном фронте без перемен"[1] . "Ни один оставшийся в живых узник не мог нарисовать картину жизни в концлагере с такой страстью и силой, как это сделал Ремарк в "Искре жизни"[2] . В США роману действительно сопутствует большой успех. Уже вскоре после выхода в свет он поднимается в списке бестселлеров на четвертое место.

***

Впервые за много лет Ремарк встречает Новый год в одиночестве. Настроение приподнятое — из Испании позвонила Полетт. В уходящем 1951 году он прилежно работал над романом "Время жить и время умирать"...

Неожиданно вновь просыпается желание заняться живописью. Он наслаждается долгожданным покоем. И тем не менее: "Скучаю порой по Н.-Й. Европа (Германия) подступает к тебе вплотную. Подобно охочему до сплетен, мелочному провинциальному городишке". А потому в середине апреля 1952-го он отправляется через Париж в Нью-Йорк и уединяется там в своих апартаментах... "Дожди, грозы, лазурь, облака перед окнами — как можно было так долго жить без перспективы? Глаза, интеллект, эмоции, дух, Бог..."

В конце июня Ремарк и Полетт Годдар вновь поднимаются на борт океанского лайнера, едут в Роттердам, оттуда в Амстердам — музеи, картинные галереи, выставки, а затем — двадцать лет спустя — Ремарк снова в Германии. Бродит по Оснабрюку, бесстрастно фиксируя в мозгу и дневнике разрушения и перемены, навещает в Бад-Ротенфельде отца и сестру... Пробыв там всего несколько дней, летит из Ганновера в Берлин.

Свидание с городом его первого литературного триумфа действует не менее отрезвляюще, чем прогулка по Оснабрюку. Ремарк смотрит на своих бывших соотечественников острым, критическим взглядом. Никакой грусти или печали. Он явно не чувствует также сострадания к народу, который сам вверг себя в пучину бед и несчастий. "Как в спектакле по Гофману или Уоллесу. Будто под водой. Совершенно чужие люди. Зомби, но сторожкие, принюхивающиеся. Контакта нет. Что-то чужое, разыгрывающееся на чужой сцене. Всё будто во сне. Любое обращение, даже со стороны портье, кажется фальшивым — и по тону, и по сути, — всё будто вот-вот превратится во что-то иное или исчезнет. Нет ощущения человеческого тепла, подлинности, искренности — всё точно за невидимой стеной, будто на сцене, где к тому же неважно играют. Неоновый свет, тени от развалин; взгляд немца; в наружности многих что-то от хорька... Искалеченные бомбами души. Иссушенные приказами сердца. Перекошенные лица. Разговоры шепотом. Молчанье... Любезности, звучащие как команда... Начало без иллюзий".

В издательстве "Деш", которое напечатало "Трех товарищей" и отклонило роман о концлагере, он встречается с Эрихом Кестнером, Хан-

1. "Геральд трибюн бук" от 27 января 1952 г.
2. "Нью-Йорк таймс бук ревью" от 27 января 1952 г.

сом Вернером Рихтером, Хансом Гельмутом Кирстом и Теодором Пливье. Разговор длится часа два-три, но сказать друг другу, по существу, нечего. "Странно, но держали они себя так, будто глотнули свежего воздуха. Все, пожалуй, чересчур серьезны, в глазах читаются безнадежность или разочарование". А в конце вздох облегчения: "Говорил по телефону с П[олетт]. Из всего, что услышал за много дней, только ее слова — без фальши". Германия стала ему чужой.

Пробыв два месяца в Порто-Ронко и попытавшись закончить роман, Ремарк едет с Полетт в Венецию, а с середины октября он опять в Нью-Йорке...

Живет уединенно, новой жизнью, посмеиваясь над ней: "Вечером П[олетт]. Супы, газеты, ТВ — в чем еще искать приключений благонравным буржуа?" Работа над романом действует угнетающе. "Ощущение, что карьера романиста кончилась; в полном изнеможении — хочется писать пьесы". За развитием политической ситуации он наблюдает с растущим раздражением, в ужасе от атмосферы охоты на ведьм, царящей в США в эпоху маккартизма ("Выслеживая коммунистов, они топчут демократию"), не вызывает с возрастом у него оптимизма и то, что происходит на мировой арене: "Газеты. Старею? Становлюсь разумнее. Нетерпеливее? Подчас все это просто невыносимо. У разумного — перспективы нет. Торжествует не только глупость — победу празднуют реакция, эгоизм и примитивизм худшего пошиба, и повсюду под Disguise (маской. — *Прим. автора*) прогресса, гуманизма, борьбы за правду".

1954 год начинается с хорошей вести: "Кольерс" готов напечатать отрывки из романа "Время жить и время умирать", выплатив автору 30 тысяч долларов в качестве гонорара.

На шум, поднявшийся после публикации романа, живущий в это время в Порто-Ронко автор реагирует стоическим молчанием и привычными для него сомнениями: "Книга вышла 20-го. Отзывы довольно резкие. Самые плохие — в "Тайме", где разгромили и "Искру жизни". Может, и поделом. Так долго возился, сокращал, пытался как-то оживить и т. д.". Ремарк несправедлив к собственному творению. Среди произведений немецкой литературы, действие которых происходит в годы второй мировой войны, выделяются повести Генриха Бёлля и Альфреда Андерша, главы "Жестяного барабана" Гюнтера Грасса, "Урок немецкого" и "Краеведческий музей" Зигфрида Ленца. "Время жить и время умирать" можно смело поставить в этот ряд.

9 июня 1954 года умер отец Ремарка. "Опечален. Почему не поехал раньше. По крайней мере, написал, что приеду. И у него все-таки было предвкушение радости от встречи. Странно: как будто части меня не стало". Он едет в Бад-Ротенфельде, принимает участие в похоронах, заказывает панихиды по умершему — отец был человеком верующим. Заезжает на несколько часов в Оснабрюк — последний раз в своей жизни. Никаких эмоций: "Прошелся по городу. Опять была луна. Заглянул на Хакенштрассе и Зюстерштрассе. На чем-то поставил точку. Навсегда". Через Париж и Милан он возвращается на Лаго-Маджоре.

Писатель Фридрих Торберг, с которым Ремарка связывает давняя дружба, предлагает в начале июня написать текст к фильму о последних днях Гитлера...

Действие базируется на репортаже "Последний акт", написанном в 1950 году на основе обширного документального материала американским судьей Майклом Мусманно. Он председательствовал на процессе по делу эсэсовцев– членов "зондеркомманд", проходившем в Нюрнберге с сентября 1947 по апрель 1948 года и закончившемся вынесением нескольких смертных приговоров.

Премьера "Последнего акта" состоялась в 1955 году. Сегодня трудно представить себе, что значило в то время снять фильм, в котором Гитлер являлся во плоти и критически освещалась роль вермахта... Настроение в стране было довольно однозначным: забыть, вытеснить из сознания, немцы и их генералы не несут ответственности за преступления, совершенные в концлагерях и на фронте. Ошибались разве что Гитлер и некоторые из его ближайших сотрудников, шли ложными путями, и, конечно, так нельзя было обращаться с евреями...

Автор сценария, впрочем, знал, на что он шел: "Из-за фильма в немецком газетном лесу уже поднялся шум. Как я, завсегдатай голливудских ночных клубов, вместе с предателем Соколлом[1] посмел... И хотя, кажется, любому преступнику позволительно сотворить что-нибудь о Гитлере – ан нет, это все еще самая дорогая народу святыня!.."

В небольшой статье, написанной в 1956 году для лондонской "Дейли экспресс", Ремарк еще раз выскажется о фильме[2] . И в очень острой форме подытожит свое личное отношение к третьему рейху и трактовке его истории в Федеративной Республике: "Так называемая легенда о Гитлере жила в Германии гораздо дольше, нежели посулы нацистов... Фильм "Последний акт" давал возможность окончательно развеять эту легенду. Достаточно было просто использовать документальный материал. Всей той уймы подлости, бесчувствия, жалости к самим себе, глупости, бездарности, пошлейшей сентиментальности, дилетантизма и трусости должно было хватить с лихвой, чтобы миф о фюрере и легенда о расе господ разом лопнули. Это была гибель идолов, а не гибель богов".

11 января 1955 года дневниковые записи Ремарка обрываются – без какого-либо комментария...

Биографу приходится лишь сожалеть об этом. Контуры жизни героя вновь расплываются. Документов тоже мало, многие из них фрагментарны или утеряны...

После премьерного показа "Последнего акта" в апреле 1955-го Ремарк очень энергично работает над романом "Черный обелиск". Между короткими поездками в Цюрих, Мюнхен, ноябрьским визитом в Берлин и Париж он – за письменным столом в Порто-Ронко. Летом 1956-го закончена пьеса "Последняя остановка". В сентябре он на последних репетициях в берлинском театре "Ренессанс". 20 сентября поднимается занавес, и мир знакомится с Ремарком-драматургом. Публика благодарит раскланивающихся перед ней автора и актеров горячими аплодисментами. В театре "Ренессанс" пьесу дают еще тридцать раз, играют в Гисене, Восточном Берлине и Вене, показывают в берлинской постановке по телевидению, затем она надолго исчезает из репертуара немецких театров. В Москве не сходит со сцены тринадцать лет.

1. Продюсер фильма, майор австрийской армии, передавший советскому командованию план обороны Вены, чтобы спасти город от разрушения.
2. Фильмом "Последний акт" открылся Эдинбургский кинофестиваль 1955 года.

Однако важнее этой пьесы и берлинской премьеры для Ремарка, несомненно, новый роман, который выходит в сентябре 1956-го.

В противовес мрачному колориту двух последних романов новая книга дышит чуть ли не весельем. Ремарк возвращается в Оснабрюк... На дворе 1923 год, инфляция вот-вот достигнет своего апогея. И как тень Триумфальной арки витает над историей любви Равика и Жоан Маду, так и массивный черный обелиск, стоящий во дворе фирмы "Генрих Кроль и сыновья" и не подлежащий продаже, становится знаковой деталью повествования о "запоздалой юности".

"Черный обелиск", несомненно, самый биографичный роман Ремарка. Захолустный Верденбрюк (Оснабрюк), поэтический кружок, фирма по установке надгробий, психлечебница, "запоздалая юность" рассказчика, его решение отправиться в Берлин — все это взято из собственного прошлого. Автору под шестьдесят, со здоровьем неважно, реставрационные тенденции в аденауэровском государстве вызывают горечь и досаду. Он видел развалины родного Оснабрюка, он понимает, что никогда больше не будет жить в той стране, где родился, — в этом смысле роман можно воспринимать, пожалуй, и как ностальгическое прощание с Германией, с мечтами и надеждами юных лет.

При всей игривости, занятности и легкости повествования о юности и возмужании своего героя Ремарк уже в кратком вступлении к роману дает понять, что видит свою задачу вовсе не в том, чтобы доставить читателям лишь некоторое удовольствие. "А потому не браните за то, что я решил вернуться в те сказочные годы, когда надежда развевалась над нами, как знамя, и мы верили в такие подозрительные вещи, как человечность, справедливость, терпимость, — и в то, что *одной* мировой войны вполне достаточно в качестве урока для целого поколения". Роман Ремарка — это предупреждение живущим в эпоху холодной войны и развязанной супердержавами бешеной гонки вооружений. "Черный обелиск" выходит за шесть лет до кубинского кризиса, поставившего мир на грань третьей мировой войны и атомной катастрофы. Пророчески звучат вступительные слова Ремарка: "Мир снова погружен в пепельно-серый свет апокалипсиса, еще не улетучился запах крови и не осела пыль от разрушений последней войны, а лаборатории и заводы опять работают на полных оборотах, дабы сохранить мир с помощью оружия, которым можно взорвать весь земной шар".

Флер беззаботности и плутовской романтики рассеивается как дым и в последней главе. В ней автор кратко сообщает о дальнейшей судьбе своих героев. Георг Кроль погибает в концлагере, питомец муз Ханс Хунгерман получает ранг обер-штурмбанфюрера и ведает у нацистов вопросами культуры, скульптор Курт Бах возвращается из концлагеря домой нетрудоспособным калекой и после краха третьего рейха "все еще добивается маленькой пенсии, подобно другим бесчисленным жертвам нацистского режима. Он надеется, что ему наконец повезет и он будет получать семьдесят марок в месяц — около одной десятой той суммы, которую получает Хунгерман, равно как и около одной десятой того, что уже много лет получает от государства руководитель гестапо, организовавший тот самый концлагерь, где искалечили Курта Баха"[1].

1. Цит. по: *Э. М. Ремарк*. Черный обелиск. М., 1992. (Перевод В. Станевич.)

***

После публикации романа Ремарк едет в США, где пробудет семь месяцев. В Лос-Анджелесе встречается с кинематографистами, которые готовят съемки фильма по роману "Время жить и время умирать". Первые месяцы, однако, вновь обременены далеко не приятными обстоятельствами личной жизни. Он хочет развестись с Юттой. Дело, как обычно при таких расставаниях, муторное. Подключены адвокаты, разногласия прежде всего из-за денег.

Развод оформляется 20 мая 1957 года в мексиканском городе Хуарес[1] в отсутствие обеих сторон. В сентябре Ремарк четыре недели в Берлине на съемках фильма. Свое писательское отношение к кино он как-то высказал в интервью "Нью-Йорк таймс": "Работать для кино — занятие интересное и полезное. Разница между написанием романа и киносценария подобна той, которую ощущаешь, сидя за рулем грузовика и гоночного автомобиля. На экране все должно свершаться быстро. У фабулы должен быть мощный движитель, тогда все будет хорошо". Объяснение, может, простоватое, но он любил в интервью несложную аргументацию.

В середине ноября 1957-го Ремарк поздней осенью снова в Соединенных Штатах, встречается там с Полетт, которая разъезжает с группой актеров по провинции, играя в пьесе Ануя "Вальс тореадора". 25 февраля 1958 года они сочетаются браком в Бранфорде, штат Коннектикут. Приглашены лишь близкие друзья, папарацци о церемонии, видимо, не узнали. Знаменитая пара давно уже стала вожделенным объектом любопытства для бульварной прессы. Интеллектуал и красавица — это всегда материал на потребу невзыскательного читателя. Полетт, внутренне и внешне оставаясь голливудской звездой, наслаждается ажиотажем; Ремарк спокойно сносит его.

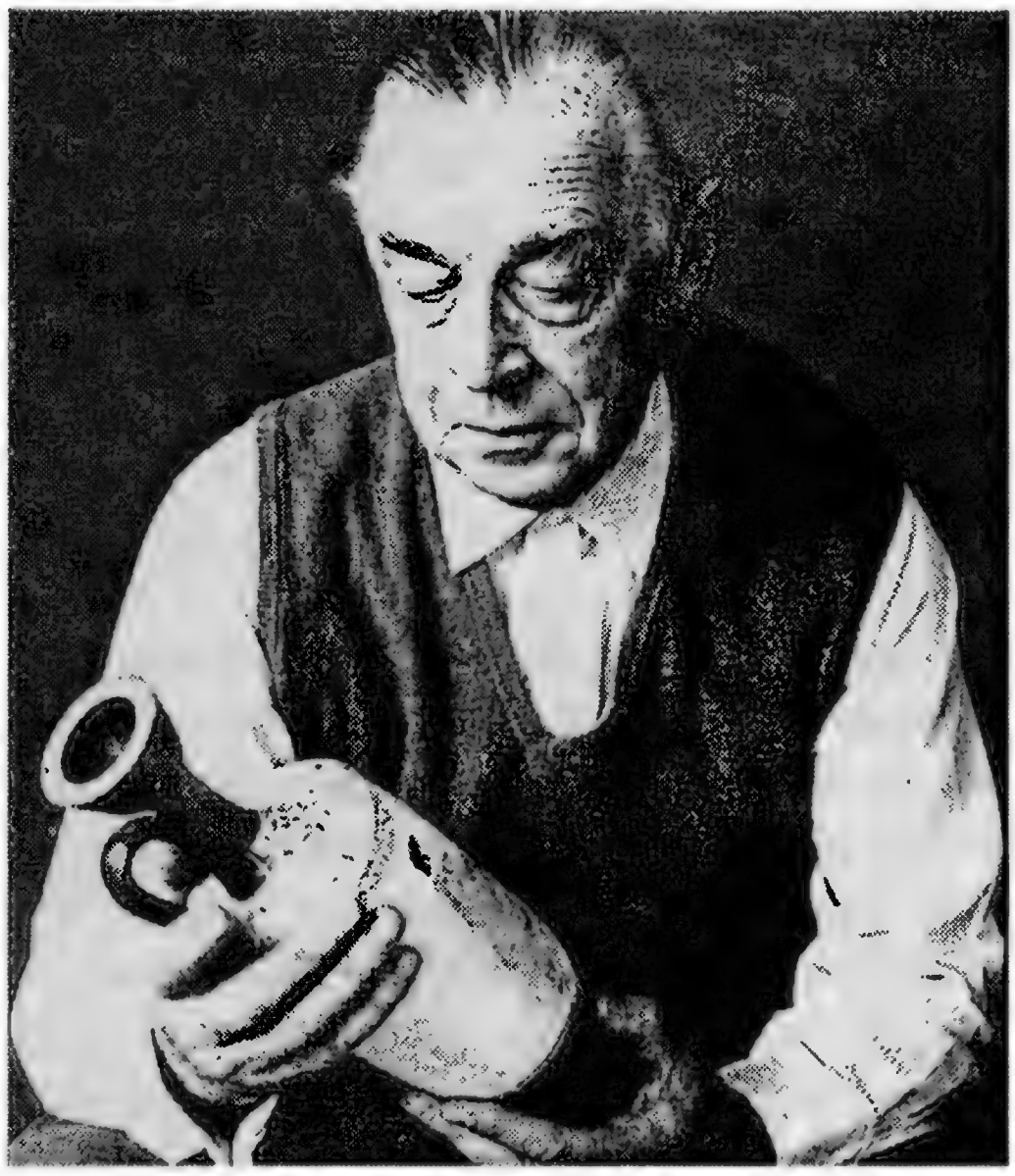
Добавим, что реакция Марлен Дитрих на сообщение о свадьбе отразилась, во всяком случае по свидетельству всезнающих современников, в возгласе: "Годдар — как нарочно!"

Летом 1958-го Ремарк в Порто-Ронко усердно пишет "Жизнь взаймы". В октябре несколько дней в Венеции, а с марта 1959-го опять довольно долго Нью-Йорк. Квартира, из окон которой открывается широкий вид на ярко освещенные небоскребы, украшена картинами Дега и Сезанна, увешана красивыми коврами. Вечера Ремарк проводит обычно дома, близость к Полетт, снимающейся теперь только на телевидении, действует живительно и благотворно. В июле 1959-го один из немецких иллюстрированных журналов начинает публиковать отрывки из романа "Жизнь взаймы"... В феврале—марте 1961-го в сокращенном виде он появляется в Америке на страницах журнала "Домоводство" под заголовком "У Господа нет любимчиков", а в Германии выходит отдельной книгой — после еще одной серьезной авторской правки.

Критики в большинстве своем оценивают роман отрицательно. "В целом, — пишет "Рейнишер Меркур", — невыносимое месиво из духóв и смерти, экстравагантности и тлена, и это при такой серьезности и подлинности тематической первоосновы... что крайне затруднительно ответить на вопрос: написал ли Ремарк на сей раз бестселлер благород-

1. Имеется в виду г. Сьюдад-Хуарес.

ных кровей или это все-таки попытка создать некое подобие литературы?" Известный американский критик Орвил Прескотт хотя и отмечает в "Нью-Йорк таймс" "остроту зрения прирожденного рассказчика", однако читать "У Господа нет любимчиков" утомительно, никакого иного ощущения, кроме пустоты, роман не оставляет.



Ремарк с греческой вазой в 60-е гг.

В последующие месяцы 1961 года Ремарк заставляет себя отдыхать. Живет в Порто-Ронко, пишет новые произведения об эмиграции — "Тени в раю", "Земля обетованная", круг друзей сужается. По соседству живут Рут и Хайнц Липманы, с которыми вскоре устанавливаются товарищеские отношения.

Хайнцу Липману[1] Ремарк дает осенью 1962 года интервью, опубликованное в "Цюрхер вохе" и "Вельт ам зонтаг" и вызвавшее интерес у широкой общественности. "Правительство ФРГ, — говорит он (так цитировала его одна из восточногерманских газет), — предъявило мне своего рода ультиматум: вновь принять западногерманское гражданство или остаться "высланным" из Германии. Это недоразумение или несусветная чушь. Лишили меня гражданства нацисты, и, насколько я знаю, это решение никогда не пересматривалось. Тогда меня сделали гражданином мира против моей воли. Теперь я — гражданин мира по своей воле". Отвечая на вопрос, какой ему видится сегодняшняя, начала 60-х, Германия, Ремарк говорит: "Конечно, я обеспокоен. Разве может нация кардинально измениться за двадцать лет?.. Старого нацистского духа, по моим наблюдениям, больше нет, но временами он дает о себе знать..." Свое отношение к Берлинской стене, возведенной годом раньше и все еще будоражащей общественное мнение, он выражает тоже недвусмысленно: "Это трагедия и ужасная глупость. Страна, решившая оградить себя колючей проволокой, чтобы собственные граждане не бежали из нее, сама вынесла себе приговор".

И в 60-е годы Ремарк занимает независимую позицию, не дает использовать себя в политических целях ни восточным, ни западным немцам. Любая форма диктатуры по-прежнему вызывает у него стойкое неприятие.

В октябре 1962 года он пишет издателю, торопящему его со сдачей рукописи романа "Ночь в Лисабоне": "Дорогой господин Вич, готовы

1. Писатель, журналист, автор романа "Отечество" ("Vaterland"), переведенного на 17 языков.

310 страниц. Продолжаю писать... Книги, над которыми в последнее время работал до предынфарктного состояния и приступов отчаяния, сдавал с опозданием в два года. Именно поэтому не оговаривал точных сроков. И вот попал как кур в ощип...” Роман должен выйти в популярной серии “Книги девятнадцати”, совместно выпускаемой крупнейшими западногерманскими издательствами, отсюда — цейтнот и спешка. Но Ремарк все же успевает уложиться в срок, и в декабре книга на прилавках.

***

В сентябре 1963 года инсульт приковывает Ремарка к постели. Временами отнимается половина тела, нарушается речь... Полетт, находящаяся в Нью-Йорке, получает в феврале 1964-го такую весточку: “Здравствуй, моя маленькая рубиновая принцесса! Тихонько сижу здесь и пишу Тебе очень нетвердой рукой... Попробуй-ка найти ласковые слова, когда перо скользит так медленно и ты того и гляди налепишь ошибок. А в сердце у меня только Ты, мой маленький шимпанзеночек!” Ремарк понемногу поправляется, однако болезнь круто меняет его жизнь. Находясь в октябре 1964-го в Венеции и Флоренции, он опять начинает вести дневник, но продолжает это занятие недолго... “Все умерло в первой половине 64-го — во время продолжительной депрессии. Зачем? Так стоял вопрос. Ради тех немногих дней, что еще оставались? Первое серьезное соприкосновение со смертью — собственной смертью”.

Большую часть года Ремарк проводит в Порто-Ронко, Полетт уезжает — сперва в Нью-Йорк, потом в Париж. Для нее это тоже нелегкая ситуация. “Не ладится с П. Ей тяжело — что ей, собственно, тут делать? В одиночестве, я немногословен, знакомых у нее почти нет, тишь да глушь, говорящих по-английски не сыскать, а все время читать невозможно... Чем я могу помочь? Путешествовать пока не в состоянии. Лекарства притупляют ум. Бедняжка П. В ней столько задора и природной резвости! Здесь же она точно стреножена”. Ремарк пишет эти строки, пережив в начале 1965 года в Милане еще один сердечный приступ и пролежав около месяца в клинике.

Из Оснабрюка приходит весть об оказанных ему почестях. Хоть и с большим опозданием, но его родной город все-таки начинает вспоминать о своем самом знаменитом сыне. В декабре 1963-го Ремарка награждают медалью Мёзера[1] . Поскольку поехать в Оснабрюк, чтобы принять награду на месте, он не может (или не хочет), то через год, серым дождливым ноябрьским днем, делегация города отправляется в Тессин и посещает лауреата в его доме на Лаго-Маджоре. С добрыми намерениями, конечно, но хозяину дома этот визит не доставляет удовольствия. Есть в этом что-то трагикомическое: “Всего одиннадцать человек, члены муниципального совета — в полосатых брюках и пиджаках цвета маренго. Произнося короткие речи, вручают памятную медаль со свидетельством, дарят старинную карту (Оснабрюка). Трогательно и скучно. Что делать с людьми, если с ними не о чем говорить? Попотчевали их гусиной печенкой, семгой и шампанским”.

1. Юстус Мёзер (1720—1794) — немецкий писатель, историк и государственный деятель. Уроженец Оснабрюка.

Тем не менее Ремарк направляет оснабрюкцам теплое благодарственное письмо.

В 1967 году Ремарка награждают Большим крестом за заслуги перед Федеративной Республикой Германии. В Порто-Ронко происходит скромная церемония вручения. Присутствуют Полетт и близкий друг Роберт Кемпнер. Только вот грамота, сочиненная в администрации президента, — истинный перл по скудости лестных слов в адрес виновника торжества. Причислить Ремарка к немецкоязычным писателям, наиболее читаемым в мире, — вот все, на что способны боннские бюрократы... В июне 1968 года его избирают членом-корреспондентом Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте. Общины Ронко и Асконы неожиданно присваивают ему в том же году звание почетного гражданина, что, возможно, радует его не меньше высоких регалий. К семидесятилетию писателя президент ФРГ шлет поздравительную телеграмму. "Весьма тронут человеческим вниманием, которое Вы проявляете ко мне и к моим сочинениям... — отвечает Ремарк главе западногерманского государства. — Хотя я давно не был в Федеративной Республике, но тем не менее принимаю живое участие в ее судьбе и становлении, ибо как нельзя навеки предать анафеме страну из-за ее кровавого прошлого, так невозможно и напрочь забыть ее".

Литературной премии "народ поэтов и мыслителей" не удостоил всемирно известного автора и в последние годы его жизни. Важнее, однако, другое: роман "На Западном фронте без перемен" вошел с середины 60-х годов в Германии в круг школьного чтения. То, что издательство "Ульштейн" уже в 1930 году с удовлетворением констатировало в отношении Веймарской республики, стало затем фактом в Федеративной Республике: едва ли сыщется школьник или студент, не читавший эту книгу или, по крайней мере, не слыхавший о ней. А чего еще желать писателю?

Кстати, о современной немецкой литературе Ремарк в 60-е годы почти не высказывается. В его интервью не встретишь имен Генриха Бёлля, Гюнтера Грасса, Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера. "Видите ли, — говорит он в 1963 году в телебеседе с Фридрихом Люфтом, — ныне живущие немецкие писатели, по сути дела, в уникальной ситуации. Предыдущего поколения, к которому отношу и себя, уже не существует. Эмигрировав, оно по-настоящему так и не вернулось в Германию. Так что перед ними широкое пустое поле, где каждого сразу можно заметить. Тем не менее — всходы невелики. Как вы думаете: может быть, это объясняется подспудным страхом высказать все, что хотелось бы, или такого страха уже нет?"

Ремарк и на склоне лет остается homo politicus.

Неудивительно, что его творческие усилия во второй половине 60-х годов вновь сконцентрированы на романе об эмигрантах. Он работает над ним, отправляя в корзину одну за другой готовые рукописи, и отложит перо лишь за несколько недель до смерти. Роман "Земля обетованная"[1] остается незаконченным...

Снова повествование о тех, кто словно после кораблекрушения выброшен океанской волной на берег. Тема, не оставлявшая Ремарка до

1. См. "ИЛ", 2000, № 3.

последних дней жизни. Он вновь обращается к судьбам людей, лишившихся родины, мучимых воспоминаниями о бегстве, борющихся за выживание. Но теперь он меняет место действия, перенося его в Америку. Драматургически, таким образом, иная точка зрения, нежели в предыдущих романах об эмиграции: изгнанники не живут более в мире, где под вопрос поставлено само их существование. Война идет в Европе и Азии — не в США. Здесь над тобой покуражится крючкотвор-бюрократ, тут могут посадить за решетку, но не грозят депортация, пытки, смерть. Щупальца гестапо не достают до Нью-Йорка. И хотя у тебя нет ни гражданства, ни гарантированного куска хлеба, ты — в стране, которую можно назвать "обетованной".

Не найдя прибежища ни в одной из европейских стран, капитулирующих под натиском гитлеровского вермахта, еврей Людвиг Зоммер — таковым он значится в паспорте, доставшемся ему в Париже после смерти владельца-антиквара, — оказывается в Нью-Йорке. Живет в дешевом отеле вместе с товарищами по несчастью, перебивается случайными заработками. Нескончаемые разговоры о превратностях жизни, меланхолия, водка, снотворное, кошмарные воспоминания о гестаповских застенках и свирепых, коварных гонителях, нестерпимая горечь потерь, образы убитых жен, детей, друзей... Романом "Возвращение" он хотел показать читателям Веймарской республики, как война изменила тех, кто вернулся домой, уцелев в огне сражений. "Землей обетованной" он напоминает немцам о трагедии людей, которые, подобно Эрнсту Биркхольцу и его товарищам, не могут жить повседневной жизнью — так, будто с ними ничего не произошло.

Людвиг Керн, Йозеф Штайнер ("Возлюби ближнего своего"), Равик ("Триумфальная арка") живут только настоящим, каждую минуту им грозит арест и неминуемая гибель. Зоммер же заглядывает вперед — в послевоенную Германию: "Мы им вовсе не нужны". И у Роберта Хирша, друга, наставника и спасителя Зоммера, есть все основания скептически смотреть на то, что ожидает реэмигрантов в поверженной Германии: "Вернуться! Они мечтают об этом. Мечтают как о неком торжестве справедливости. Даже если никогда не признаются себе в таком желании. Оно не дает им пасть духом. И все же это — иллюзия! На самом деле они не верят, что вернутся. Питают только слабую надежду. А если все-таки вернутся, то никто о них и знать ничего не захочет. В том числе и так называемые хорошие немцы. Одни будут по-прежнему ненавидеть их, не скрывая этого, другие — тайком, из-за укоров совести".

Герои романа предвидят и умонастроения, которые будут господствовать в ФРГ в 50—60-х годах: "Когда эта война кончится, никаких нацистов не будет. Будут лишь порядочные немцы, спасавшие евреев". Стареющий и больной Ремарк пессимистически смотрит на свой век: "За последние тридцать лет много чего случилось, Людвиг. Праведного суда над этим кровавым прошлым не было и не будет. Иначе пришлось бы уничтожить полмира. Поверь старику..."

Роман обрывается на XXI главе. Людвиг Зоммер раздумывает, не поискать ли ему работу в Голливуде. Последние слова прозаика Ремарка звучат так: "Отправимся же, чтобы перезимовать, на фабрику грез, на карнавал безумного мира, картины мы там не испортим..."

***

Зимы и весны последних лет жизни Ремарк проводит в Риме. Он любит этот город, мягкий климат действует на него благотворно. Не исключено, что на длительном пребывании в Вечном городе настаивает и Полетт — в означенные времена года в Асконе тихо и пустынно. Сама она часто наведывается в Нью-Йорк, Ремарк же отправится туда еще только раз[1].

Вернувшись осенью в Порто-Ронко, он посылает своему другу Хансу-Герду Рабе письмо с объяснением в любви к городу, ставшему для него по-настоящему родным: "Я слишком долго жил в сельской тиши на Лаго-Маджоре, а Рим, Флоренция, Венеция не отличались, по сути, от этой идиллии, но Нью-Йорк! Город без меланхолических, удручающих чар прошлого! Кипение жизни! Будущее. Наверное, Нью-Йорком тоже можно пресытиться и опять затосковать по лачугам и мебели XVIII столетия — но я пробыл там два упоительных месяца".

В августе 1967-го — снова инфаркт. Через два месяца — острый сердечный приступ. Ремарк вынужден лечь в больницу св. Агнессы в Локарно. Поздравляя Полетт с Новым годом, он пишет строки, пронизанные мужеством и благодарностью: "Капитанша моя разлюбезная, спасибо Тебе за то, что Ты твердой рукой провела утлое суденышко Твоего мужа через рифы минувшего года. Он был чудным, полным милых сюрпризов и теплых чувств. Ты даришь их мне, я же не могу ответить так, как хотелось бы".

В октябре 1968-го мать Полетт отмечает в Нью-Йорке свое 80-летие. Испытывая к ней глубокое уважение, Ремарк надеется прибыть на торжество и все же вынужден отказаться от приглашения. Работает над романом, едет с Полетт в Венецию. Они заходят в антикварные лавки, любуются живописью в галереях, бродят по просторным площадям и вокруг омываемых морем дворцов того времени, которое он иногда ностальгически противопоставлял жестокому XX веку. Сердечные приступы повторяются, хотя и в более легкой форме, пока в августе 1969 года состояние здоровья резко не ухудшается. Снова приходится лечь в больницу. Совсем ненадолго он возвращается в "Каса Монте Табор". Потом — конец. "Сердце сдавало все больше и больше, — пишет Курт Рисс в своих воспоминаниях. — Стенокардия сопровождалась ужасными болями и приступами страха". Эрих Мария Ремарк умер в Локарно 25 сентября 1970 года. Заключение врачей: аорта, главная артерия, так расширена, что жизнь должна была неминуемо оборваться.

***

...Панихиду служили в старой сельской церкви в Ронко. Знаменитостей не было. Была, конечно, Полетт, из Германии приехала сестра, из Цюриха — Марианна Файльхенфельдт. Ни одного официального представителя страны, в которой он родился и на языке которой творил. Правда, соболезнование вдове выразил телеграммой Густав Хайнеман, президент ФРГ. Стоял возле гроба и друг умершего, Ханс Хабе: "Погребальный обряд прошел тихо, среди обилия цветов, без речей. Священник читал заупокойную молитву на итальянском — языке, которого Ре-

1. В конце апреля 1966 г.

марк, проживший в Тессине более тридцати лет, так и не выучил. Из писателей не присутствовал никто, не было представлено ни одно правительство, впрочем, какое это могло быть – германское, американское или швейцарское? Тем не менее процессия, двигавшаяся за катафалком вдоль по-осеннему расцвеченной каменной ограды к погосту над Асконой, оказалась длинной. Были тут все ремесленники местечка, ученик пекаря, галантерейщик, юные продавщицы из лавочек, аптекарь, хозяева питейных заведений... Красивые были похороны, говорили они потом, никто и не задумывался над тем, что провожают в последний путь большого немецкого писателя".

Вдова продала часть картин из собрания Ремарка и – в 1976 году на аукционе "Сотби" – более тридцати дорогих восточных ковров. Она по-прежнему подолгу жила в Нью-Йорке. В 1975 году у нее обнаружили рак груди. Тяжелая операция изменила жизнь этой красивой женщины. В последние годы она часто уединялась в Порто-Ронко, страдала от сильных болей, много пила. Гостей принимала редко... Полетт Годдар встретила смерть 23 апреля 1990 года в доме Ремарка. Ее похоронили на том же кладбище, где покоится прах писателя.

Ютта Цамбона, получившая по завещанию Ремарка 50 тысяч долларов, умерла в 1975 году в Монте-Карло. До 1971 года она жила в Италии и благодаря заботам Ремарка никогда не испытывала после развода материальных трудностей. Наташа Палей скончалась в декабре 1981 года в Нью-Йорке. Марлен Дитрих пережила их всех. Она умерла в 1992 году в Париже...

В 1975 году издательство "Кипенхойер унд Вич" приобрело права на издание "Трех товарищей", "Возлюби ближнего своего" и "Триумфальной арки". Таким образом, права на издание произведений Ремарка в немецкоязычных странах оказались в одних руках. В 80-х годах все романы – за исключением ранних – были переизданы... За рубежом сочинения Ремарка постоянно выходят и в новых переводах. Общий годовой тираж, по приблизительным оценкам, выражается цифрой в несколько миллионов. И спустя почти три десятилетия после смерти писателя он не забыт, его читают во всем мире.

Пусто в доме над Лаго-Маджоре. Нет на стенах великолепных картин и ковров. Проникая сквозь щели в закрытых ставнях, по большой комнате с камином грустно скользят лучи средиземноморского солнца. Широкая терраса покрыта глубокими трещинами, сад одичал. Легкий осенний ветерок доносит с набережной и озера приглушенный шум моторов, веселые детские голоса... Но человек, зашедший в дом, не слышит их. Он слышит голоса минувшего. Печальные голоса людей, рассказывающих о жизни с ее нескончаемыми тяготами и ужасами, об иллюзорности счастья, о женщинах и мужчинах, о неизбежности конца... "Одиночество, – думает Равик, – извечный рефрен жизни".

Вячеслав Вс. Иванов

Еще одно рождение Гильгамеша

1

Поэма о Гильгамеше — не только чуть ли не самая ранняя из нам известных записанных эпопей человечества, то есть едва ли не с нее (точнее — с самых ранних шумерских сказаний о Гильгамеше, сложенных еще в III тысячелетии до н. э.) нужно начинать родословную всей стихотворной эпической письменной литературы Старого Света. После того как во второй половине XIX века был найден более поздний и полный аккадский текст поэмы из клинописной библиотеки I тысячелетия до н. э., не прекращались попытки передать поэму и ее стихотворную форму в переложениях на современные языки. К тому времени, когда новый русский поэтический перевод, предлагаемый вниманию читателей, замышлялся выдающимся русским поэтом и переводчиком Семеном Израилевичем Липкиным, аналогичные опыты были предприняты и в других литературах Евразии и Америки. К уже существовавшим переводам на все основные литературные языки Европы в самые последние годы добавились новый популярный английский и французский пересказ (в трех выпусках) с иллюстрациями Людмилы Зиман[1], стихотворный английский перевод Дэвида Ферри, вместе с многочисленными вышедшими в последние десятилетия другими переложениями и поэтическими переводами разной степени дословности или вольности дающий возможность англоязычному читателю испытать в той или иной мере ощущение близости к древнему тексту. Сокращенный вариант одного из переводов, предназначенных для широкого читателя, можно услышать в звукозаписи в чтении Ричарда Паско. Но особенно повезло французскому читателю. Известный историк культуры Древней Месопотамии Жан Боттеро восемь лет назад издал прекрасный комментированный французский перевод, одновременно доступный для широкой публики и дающий представление о многочисленных трудностях истолкования разных вариантов текста. Двумя годами позже вышел несколько более специальный перевод профессоров Р.Ж. Турне и А. Шаффера.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что поэма о Гильгамеше — не только древнейшее из известных эпических сочинений о героечеловеке, но вместе с тем и сочинение, чаще других перечитываемое, обновляемое и вводимое снова и снова в контекст современной культуры. В Интернете есть несколько десятков сайтов, специально посвященных этой поэме. В них молодые люди обмениваются мыслями по поводу трудностей истолкования всей поэмы и наиболее сложных ее мест,

© Вячеслав Вс. Иванов, 2000

1. Gilgamesh the King. Retold and Illustrated by Ludmila Zeman. Tundra Books, 1992; Le Roi Gilgamesh par Ludmila Zeman, transl. Michele Boileau, 1996; The Revenge of Ishtar. Book II in the Gilgamesh series by Ludmila Zeman, 1994; The Last Quest of Gilgamesh. Book III by Ludmila Zeman. Tundra Books, 1995; La Dernière Quête de Gilgamesh par Ludmila Zeman, transl. Michele Boileau, 1998. (Библиографические сведения об упомянутых в статье работах будут полностью включены в электронную версию "ИЛ" — http://www.infoart.ru magazine/inostran — *Прим. ред.*)

обсуждают и сопоставляют достоинства различных переводов; там же приводятся статьи и библиографические списки работ о "Гильгамеше", предлагается связное переложение всего текста[1] или отдельных клинописных таблиц, входящих в его состав[2]. Известный профессор математики в Техасском университете Владимир Лившиц (сын драматурга Володина) украсил свой сайт отрывком из английского перевода поэмы.

Другим свидетельством живучести текста может быть обилие современных произведений, представляющих собой пересказ или вариации на темы поэмы о Гильгамеше. В 1986 году вышел французский роман известного канадского (квебекского) писателя Алена Ганьона "Гильгамеш". В последние годы появилось несколько спектаклей на тему Гильгамеша. Достаточно назвать постановку пьесы Сладяна Вуйовича "Гильгамеш" в Будве в Черногории и намеченную на июль этого года премьеру спектакля "Эпос о Гильгамеше" в Бедфордширском молодежном театре. В этих спектаклях в духе современного "тотального" театра, ориентированного на синтез искусств, видное место отводится музыкальной стороне. Но создано и несколько доступных слушателям на компакт-дисках музыкальных композиций о Гильгамеше, сохраняющих фабульную канву древнего повествования: "Гильгамеш" итальянского композитора Франко Баттиато, "Эпос о Гильгамеше" чешского композитора Мартину, "Гильгамеш" датского композитора Пера Нергарда. Широким использованием возможностей электронной музыки и других технических нововведений (как громкоговорители, транслирующие обращенный к Гильгамешу Голос Бога) отличается мистерия "Гильгамеш" американского композитора Барри Труакса, разработанная им (на основе технического оборудования голландского Сонологического института в Утрехте) вместе с автором либретто У. Маранда. В Нью-Йорке в 1995 году в театре Огайо была поставлена музыкальная драма Эндрю Ордовера "Гильгамеш", достаточно точно следующая сюжету поэмы (в некоторых других современных вариациях он видоизменен: например, Гильгамеш не теряет случайно добытый им цветок бессмертия, а возвращается с ним в родной город). В одной из новых публикаций Гильгамеш верно назван "современным древним героем".

В огромной научной и популярной литературе, посвященной Гильгамешу, на переднем плане — замеченные уже первыми исследователями параллели с Ветхим Заветом, прежде всего — с библейским рассказом о Всемирном потопе. Научная злободневность последнего сопоставления отчетливо выявилась, когда этот рассказ в самые последние годы стал предметом оживленных дискуссий благодаря открытию относительной недавности геологической катастрофы, приведшей к образованию Черного моря. Затопленными под ним пять тысяч лет назад могли оказаться целые области тогдашнего цивилизованного мира, на открытие которых рассчитывают энтузиасты современной морской археологии.

2

Первое известие о Гильгамеше как исторической личности содержится в составленном на рубеже III и II тысячелетий до н. э. списке шумерских царей. Согласно ему, царь города Урука, по-шумерски называвшийся *Bil-ga-mes*, был пятым в первой династии "после потопа". Приблизительно время его правления можно отнести к XXVII—XXVI веку до н.э. Примерно тысячелетие спустя надпись одного из последних царей Урука Амана подтверждает, что Гильгамеш построил ограду этого города . В другой поздней царской надписи говорится о храме, построенном Гильгамешем. Два этих строительных достижения героя поэмы сохранены в тексте всех ее версий и отрази-

1. http://www.wsu.edu/~dee/MESO/GIGL.HTM (Richard Hooker, 1996). (*Здесь и далее — прим. автора.*)
2. http: //www-relg-studies. scu.edu/netcours/hb/sess4/gilgames.htm.

лись в публикуемом переводе С. И. Липкина в самых первых его строфах. Надписи последующих царей подтверждают, что у этих мест поэмы была фактическая основа. Но, хотя этих свидетельств и других, им подобных, достаточно для того, чтобы удостовериться в реальности царя или верховного жреца Гильгамеша и некоторых достижений, позднее ему приписывавшихся, тем не менее в большинстве упоминающих его текстов III и II тысячелетий до н. э. он выступает уже в качестве бога или сына богов. Переход от истории к мифу, подобный тому, который наблюдается позднее, например по отношению к Александру Македонскому или Наполеону, в случае Гильгамеша был достаточно быстрым. Одновременно с его обожествлением складываются первые поэтические сказания о нем. В III тысячелетии до н. э. их сочиняли на древнем языке города Урука и многих других городских центров древней Месопотамии — шумерском. Первые из этих сказаний могли быть устными песнями, по своей поэтике еще близкими к фольклору. В. К. Афанасьева, переведшая на русский язык три из дошедших до нас пяти шумерских сочинений о Гильгамеше[1], полагает, что самым ранним из них могло быть "Гильгамеш и Ага". В нем рассказывается об осаде Урука, предпринятой правителем города Киш Агой, историческая реальность которого подтверждена недавно найденной надписью. Если поэма сложена вскоре после рассказанных в ней событий, ее можно отнести примерно к XXVI веку до н. э. Несколькими веками позже сочинены и записаны другие шумерские песни о Гильгамеше, носящие в значительной степени мифологический характер и позднее продолженные в том сочинении, которое перевел С. И. Липкин.

Шумерские мифологические представления о трехчастном мировом дереве и сказочных существах, в нем обитавших, удается реконструировать на основе поэмы о Гильгамеше и дереве *хулупну*. Вскоре после того как этот текст был впервые издан нашедшим его великим шумерологом Крамером, его типологическое исследование было предпринято В. Н. Топоровым, включившим эти шумерские данные в круг сопоставленных им символов мирового дерева у разных народов[1]. Другой важный для всех традиций Древнего Востока образ — Небесный Бык — отражен в шумерском тексте о сражении с ним Гильгамеша[2]. К сожалению, это сказание, как и шумерский текст "Смерть Гильгамеша", сохранились лишь во фрагментах, связный перевод которых пока дать трудно.

Шире других на Древнем Востоке был распространен сюжет о сражении Гильгамеша и его друга Энкиду с чудовищем Хувавой (Хумбабой). Рассказ, поминающий кедровые леса (возможно, ливанские, но не исключено, что и более восточные), мог иметь вполне реальное историческое основание. Но он вобрал в себя мифологические мотивы, относящиеся к сражению с чудовищем, и соеди-

1. От начала начал. Антология шумерской поэзии. Вступительная статья, перевод, комментарий, словарь В. К. Афанасьевой. СПб.: Центр "Петербургское востоковедение", 1997, с. 7—15, 204—226, 409—417; ср.: В. К. Афанасьева. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. М.: Наука, 1979, с. 83—109. Об источниках поэмы о Гильгамеше см. также: И. М. Дьяконов. Эпос о Гильгамеше. — В кн.: Эпос о Гильгамеше ("О все видавшем"). Перев. с аккадского И. М. Дьяконова. М.—Л.: Изд. АН СССР, 1971, с. 120—123; Торкильд Якобсен. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. М.: Изд. фирма "Вост. лит-ра" РАН, 1995, с. 235—243 и схема 2.

1. В. Н. Топоров. Древо мировое. — Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия, 1980, с. 400 (там же, с. 405—406, дальнейшие библиографические сведения); Г. Комороци. К символике дерева в искусстве Древнего Двуречья. — В кн.: древний Восток и мировая культура. М.: Наука, 1981, с. 51, прим.12. См. другую точку зрения: И. М. Дьяконов. Архаические мифы Востока и Запада. М.: Наука, 1990, с. 53—54.
2. Мифологическая сторона сказаний о Хуваве (Хумбабе) и о Небесном Быке была рассмотрена с точки зрения сравнительного литературоведения и истории религии в исследовании замечательного русского востоковеда академика В. В. Струве. "Иштарь-Исольда в древневосточной литературе". (в кн.: Тристан и Исольда. Л., 1932).

нился с мифом о похождениях Энкиду на том свете.

На основе циклизации шумерских сказаний о Гильгамеше (главным образом вокруг поэмы о его сражении с Хувавой, в более поздних версиях — Хумбабой) либо (как полагал И. М. Дьяконов) еще в конце III тысячелетия до н. э.[1], либо (согласно другим исследователям поэмы) несколькими столетиями позже — в XVIII веке (по де Лиагре Белю), между XVIII и XVII веками (по Ж. Боттеро) или в самом конце старовавилонского периода, около 1600 года (по Т. Якобсену), создается старовавилонский эпос о Гильгамеше. Он написан на семитском языке — аккадском, к тому времени полностью вытеснившем в Месопотамии шумерский, долго еще сохранявшийся только в качестве священного и ученого языка, как латынь в средневековой Западной Европе. Можно выявить основную тему всей аккадской поэмы о Гильгамеше — бессмертие в разных его видах. Этой общей темой мотивировано и включение в эпос рассказа о всемирном потопе и о строителе ковчега, ставшем бессмертным. Этот миф до включения его в эпос существовал в качестве отдельного сказания. К нему присоединилось путешествие Гильгамеша по мертвым водам и мотив цветка бессмертия, унесенного змеей. Представляется, что именно ориентированность всего эпоса на проблему смерти и бессмертия объясняет все возрастающий интерес к поэме в современном мире. Волнуясь по поводу вечной проблемы преодоления смерти и бессмертия, читатель (в особенности молодой) не находит ее постановки, а тем более решения в теперешней позитивистской, абсурдной или гротескной постмодернистской литературе. За решением беспокоящего его вопроса он обращается к одному из самых ранних поэтических памятников человечества — эпосу о Гильгамеше.

Старовавилонская версия известна только по некоторым отрывкам, хотя и достаточно характерным. Из общего числа одиннадцати таблиц (как обозначаются части письменного текста) или "песен" (термин, принятый в переводе С. И. Липкина и верный по отношению к тому устному тексту, который некогда исполнялся сказителем или рапсодом) сохранились фрагменты не более чем пяти таблиц старовавилонской версии. Они относятся в основном ко второй, третьей и двум последующим. В этих частях старовавилонской версии описывается начало дружбы Гильгамеша с Энкиду и события перед битвой с Хумбабой и во время нее. Отчасти сохранились и фрагменты десятой "песни" старовавилонской версии: знаменитая Таблица Мейснера, выражающая отношение Гильгамеша к смерти, и обнаруженная в запаснике Британского музея в 1965 году сцена разговора с хозяйкой богов. Большинство отрывков датируется XVIII веком (текст из Британского музея, более древний, чем другие, — началом этого века) и XVII веком, что и подтверждает соответствующую (более древнюю) дату этой версии (около XIX века или еще раньше — в духе гипотезы И. М. Дьяконова).

К настоящему времени найдено также довольно много фрагментов, относящихся ко второй половине II тысячелетия до н. э. Более поздняя "периферийная"[1] версия этого времени широко распространена по всему Ближнему Востоку. За исключением таблицы из Ура, говорящей о смертельной болезни Энкиду в тонах, которые напоминают окончательную версию поэмы, все остальные отрывки этой "периферийной" версии найдены за пределами Месопотамии. В Северной Сирии, в Эмаре, в верхнем течении Евфрата французская экспедиция обнаружила большую библиотеку, где были найдены и относящиеся к XIII веку до н. э. части этой "периферийной" версии: куски 4-й и 6-й таблиц. В последней воспроизведены мотивы шумерского сказания о Гильгамеше и Небесном Быке. В Израиле в Мегиддо (неподалеку от Хайфы) найден принадлежащий XIV веку до н. э. отрывок, описывающий сон смертельно больного Энкиду и его разговор с Гильгаме-

1. И. М. Дьяконов. Эпос о Гильгамеше, с. 113–116.

1. И. М. Дьяконов. Эпос о Гильгамеше, с. 117.

шем. Целый ряд аккадских фрагментов "периферийной" версии, датируемых временем около 1400 года, сохранился в архиве Хеттского царства в его столице Хаттусасе — Богазкёе (более 100 км от Анкары в современной Турции). Фрагменты относятся главным образом к началу дружбы с Гильгамешем и к сражению с Хумбабой, а также к неудачным домогательствам богини Иштар, влюбившейся в Гильгамеша, а потом насылающей на него Небесного Быка. В том же архиве нашлись и фрагменты переложения всей "периферийной" версии на хеттский язык. Они включают начало — божественное рождение Гильгамеша, а также отрывки, касающиеся его дружбы с Энкиду, их совместного похода против Хумбабы и последующего путешествия Гильгамеша на тот свет. Представляет интерес речевая форма этого перевода на хеттский язык, являющийся одним из древнейших индоевропейских языков (к которым относятся и славянские и германские языки). На протяжении всего хеттского текста покровитель героя — бог Солнца — именуется "небесным" (хеттск. родит. пад. *періль-аль*, родственно русск. *небес-ный*), как это принято по отношению к главным хеттским богам, а Земля определяется как "темная" (хеттск. *Dankui*, родственно нем. *dunkel*).

В этом же хеттском архиве найдены и отрывки переложения "периферийной" версии на хурритский язык, родственный северокавказским и распространившийся на широкой территории от Малой Азии до исторической Армении и Сирии. Непосредственное продолжение хурритская культура, оказавшая большое влияние на хеттскую, получила в Урарту (на территории позднейшей исторической Армении). В урартском боге Шебиту видели след имени хозяйки богов Сидури — Себиту, но об этом урартском боге слишком мало известно. Три клинописных фрагмента VIII века н. э., найденных в урартском городе Аргиштихинили, И. М. Дьяконов и Н. Б. Янковская определили как отрывки из перевода поэмы на эламский язык (ностратический язык древнего Западного Ирана, более всего родственный дравидийским языкам Индии). Отрывки представляют собой диалог Гильгамеша с хозяйкой богов Сидури, перебиваемый вмешательством хора. Таким образом, победное шествие поэмы по разным литературам цивилизованного мира дало ощутимые результаты уже три тысячи лет назад.

Но наибольшую известность в дальнейшем получила окончательная или "стандартная" версия поэмы, которую вслед за И. М. Дьяконовым перевел С. И. Липкин. Ее называют "ниневийской" по имени города Ниневии, где в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанапала в VII в. до н. э. хранилось около десяти списков этой версии. Целые таблицы или отрывки той же версии найдены в нескольких городах Месопотамии. Самые ранние ее фрагменты не старше конца II тысячелетия до н. э. Хотя автором первоначального письменного текста эпоса по традиции считался сам Гильгамеш[1] ; предполагается, что в конце II тысячелетия до н. э. новая ниневийская версия была составлена или отредактирована ученым автором ("заклинателем" и, скорее всего, сказителем) Синликиуннинни. Ему, по всей вероятности, принадлежат многочисленные замены отдельных слов или выражений, отличающих сходные друг с другом места старовавилонской и ниневийской версий. Работа над текстом продолжалась и позднее. В конце VIII века до н. э. к одиннадцати таблицам ниневийской версии была добавлена двенадцатая, достаточно близко воспроизводящая текст шумерского сказания о похождениях Энкиду на том свете. Составление этой дополнительной таблицы (нарушающей цельность повествования, хотя и связанной со все той же темой смерти и загробного существования) приписывают ассирийскому переписчику и собирателю текстов Набузукупкену.

1. И. М. Дьяконов объяснял эту достаточно удивительную легенду "грамотностью" древнемесопотамской цивилизации. См: И. М. Дьяконов. Архаические мифы Востока и Запада, с. 69—70.

В недавнее время обнаружены следы того, что эпос о Гильгамеше или хотя бы имена главных его персонажей были известны и в более поздних литературных традициях. В частности, арамейские имена Гильгамеша и Хумбабы найдены в арамейских отрывках "Книги гигантов" в 4-й Кумранской пещере. Отклики легенд о Гильгамеше обнаружены в сирийской литературе. Многие авторы бились над доказательствами воздействия мотивов эпоса о Гильгамеше на древнегреческую и римскую словесность. В частности, след его имени пробовали найти в греческом имени Полифема.

3

Начало изучению эпоса о Гильгамеше было положено Дж. Смитом, в 1872 году нашедшим среди таблиц Британского музея одиннадцатую таблицу с описанием потопа. В 1884–1891 годах П. Хаупт издал все тогда известные части ниневийской версии. В первые десятилетия XX века существовало уже несколько переводов этой версии разной степени точности на западноевропейские языки. Одним из них – только что перед тем вышедшим в Париже переводом Дорма, страдающим неправильной последовательностью некоторых частей эпоса, – воспользовался Н. Гумилев, когда он в 1918 году взялся за русский перевод "Гильгамеша", год спустя вышедший отдельной книжкой. В гумилевском переводе к ошибкам Дорма добавлены вымыслы самого Гумилева. В его переложении при всех профессиональных технических достоинствах немало отсебятины: поэт считал себя вправе досочинить некоторые отрывки, не всегда справляясь с новой для него областью. Тем не менее перевод или скорее вольный пересказ Гумилева интересен в нескольких отношениях. Во-первых, в это время Гумилев заинтересовался теми чертами древнеближневосточного мифологического эпоса, которые он развил в своей незаконченной поэме "Песнь начала". Он успел написать только "Книгу первую. Дракон"[1], но в ней уже отчетливо выражены те его общие концепции, для претворения которых оказалась нужной эта форма. Кажется возможным предположение, что в гумилевском описании убийства Дракона жрецом сказалось и его знакомство с эпизодом сражения Гильгамеша с Хумбабой-Хувавой в эпосе о Гильгамеше. Во-вторых, как сообщал Гумилев в предисловии, переводя поэму о Гильгамеше, он "пользовался... изредка указаниями В. К. Шилейко"[2]. Великий ассириолог Шилейко был и автором введения к изданию перевода. В нем изложены его взгляды на поэтическую форму аккадского эпоса и дан пример возможного перевода нескольких строк. Впоследствии Шилейко перевел весь эпос, но сохранился и недавно издан только его перевод VI таблицы[3]. Сравнивая переводы Гумилева и Шилейко, можно увидеть поразительное сходство. Очевидно, какие-то части переводов они обсуждали друг с другом. Там, где Гумилев следовал Шилейко в большей степени, чем Дорму, его перевод и теперь сохраняет интерес.

Шилейко обладал очень глубоким знанием аккадского языка и культуры. О многих темах его занятий, связанных с Гильгамешем, мы знаем только понаслышке. Не найдены не только тексты большинства переведенных им песен эпоса о Гильгамеше, но и его доклады о нем (например, о значении мукú в поэме: можно думать о том приношении муки, бросаемой в колодец, в жертву, которое обрисовано и в переводе С. И. Липкина). О необычайной

1. Н. С. Гумилев. Соч. в 3-х т. Т. I. Стихотворения и поэмы. М.: Худ. лит-ра, 1991, с. 428–436; 568–569; Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М.: Языки русской культуры, 2000, с. 219, 241–245, 296.
2. Н. С. Гумилев. Предисловие. – В кн.: Н. С. Гумилев. Гильгамеш (Вавилонский эпос). Пг., 1919.
3. Всходы вечности. Ассиро-вавилонская поэзия в переводах В. К. Шилейко. М.: Книга, 1987, с. 34–44; В. К. Шилейко. Через время (Стихи. Переводы. Мистерия). М.: Изд. Академии информатизации. Отделение семиотики и распознавания образов. 1994.

силе проникновения в проблематику поэмы свидетельствует его небольшая заметка "Мес и Солнце", при жизни Шилейко опубликованная только по-немецки[1]. В ней истолкование главной темы эпоса — отношение Гильгамеша к смерти —дано на основании текста Таблицы Мейснера в сопоставлении с целым рядом параллельных мест у античных и позднейших европейских авторов. Поэма раскрывается на фоне всей за ней следующей мировой литературы. То, как во фрагменте описан напавший на Гильгамеша после смерти Энкиду ужас перед смертью, Шилейко сравнил со стихами о смерти и загробном мире у древних и новых европейских поэтов от Еврипида до Тассо (их всех он цитировал в оригинале: языковые познания его были безграничны). Он продемонстрировал, как сравнительное литературоведение при истолковании текста может привлечь все возможные параллельные места, невзирая на различия дат, широт и долгот. Так Шилейко показал, что в определенном смысле "Гильгамеш" остается современным нам произведением. Именно поэтому его перевод текста (насколько мы можем судить о нем по уцелевшей части) был лишен налета музейного академизма. Шилейко не только дружил или был связан всей жизнью с большими поэтами-акмеистами, но и сам в молодости писал стихи, недурные, но меркнущие рядом с ослепительностью поэтов, его окружавших.

Его занимало не только то, как эпос о Гильгамеше становится в ряд с другими великими поэтическими произведениями. Он думал и о возможном переводе образов поэмы на язык других искусств. Он намеревался открыть свидетельства такого перевода еще в древности. В Эрмитаже, где Шилейко работал много лет (с 1913 года на протяжении пяти лет сверх штата, потом — ассистентом), хранится древнемесопотамская каменная печать, на которой изображены борющийся со львом человекобык, отождествленный Шилейко в духе принятых тогда сближений с Энкиду, и другой герой, согласно Шилейко — Гильгамеш, возвращающийся от истоков Тигра и Евфрата. Печать сопровождается подписью писца будущего правителя. Было замечено, что подобные подписи обычны на печатях, изображения на которых сопоставимы с эпическими повествованиями о Гильгамеше. Сравнение таких предполагаемых иллюстраций к эпосу с двумя тогда известными его аккадскими версиями (старовавилонской и ниневийской) привело Шилейко к выводу, что двенадцать таблиц ниневийской версии, которые стали известными по текстам, найденным в библиотеке Ашшурбанапала, не исчерпывают всех древних месопотамских сказаний, относящихся к Гильгамешу. Шилейко считал, что эти сказания предполагают шумерский подлинник. Обе эти гипотезы, высказанные им в статье о Гильгамеше 1919 года, подтвердились, когда уже после смерти ученого были открыты пять шумерских сказаний, в некоторых случаях непосредственно сопоставимых с древними изображениями (из них такие, как сказание о Гильгамеше и Аге, не вошли в позднейший аккадский цикл). Современная наука согласна с Шилейко и в понимании сказаний о Гильгамеше как открытого цикла песен, исполнявшихся первоначально рапсодами. Свои взгляды Шилейко обосновывал, в частности, сопоставлением эпоса о Гильгамеше с "Сошествием Иштар в преисподнюю", вдохновенный поэтический перевод которого он опубликовал несколько лет спустя. Шилейко отметил, что в трех случаях в обоих произведениях повторяются одинаковые ходячие формулы или даже целые отрывки (описание загробного мира). Сходные со встречающимися в эпосе о Гильгамеше формулы Шилейко нашел и в некоторых других произведениях вавилонской литературы. Эти наблюдения, теперь общепризнанные, позволяют понять всю

1. См. теперь рус. перев.: В. К. Шилейко. Мес и Солнце. — В кн.: Государственный Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. К 100-летию со дня основания. 1898—1998. М.: Гос. музей изобраз. иск. им. А. С. Пушкина, 1998; ср.: Вяч. Вс. Иванов. Указ. соч., с. 665.

эту литературу как единое целое. Вместе с тем отмеченные Шилейко повторы формул отвечают открытым Лордом закономерностям построения фольклорных композиций и поэтому удостоверяют фольклорный (песенный) характер первоначального исходного текста.

Многие относящиеся к поэме о Гильгамеше прозрения Шилейко, сказавшиеся и в его переводе, и в статьях, можно объяснить редким сочетанием в нем научного кругозора с поэтической одаренностью. Недавно найденные и частично напечатанные его мистерии показывают, как увлеченно работало его воображение, пробуя восполнить пробелы в знакомстве с месопотамскими текстами, тогда еще значительные. К числу интуитивных догадок Шилейко принадлежит его предположение о том, что (в согласии с поздним преданием, дошедшим до античности) существенным эпизодом начала легенды о Гильгамеше был полет орла. Эта догадка подтвердилась после находки в 30 годах XX века шумерского сказания о Гильгамеше, срубившем дерево *хулуппу*, где гнездился орел Анзуд, птенцы которого были перенесены в горы. Поразительно, что в подобных случаях восстановление поврежденного текста, предлагавшееся Шилейко, во всех подробностях согласуется с позднейшими открытиями и исследованиями. Несмотря на достижения в мировой ассириологии за последние восемьдесят лет, прошедших после завершения работы Шилейко над переводом поэмы (срок для современных темпов развития знаний огромный), его работа далеко не во всем устарела. Научная и поэтическая интуиция Шилейко и широкое знание разных аккадских и других древневосточных текстов позволили ему увидеть такие исходные структуры, которые в доступных ему фрагментах отсутствовали или были повреждены.

Шилейко закончил свой перевод поэмы о Гильгамеше в 1920 году. Он входил в том "Ассиро-вавилонский эпос", подготовленный им для издательства "Всемирная литература", основанного Горьким. Но до закрытия издательства в 1925 году том так и не был издан. Уже после смерти Шилейко в начале 1930-х годов предполагался выход книги его переводов в издательстве "Academia", но и оно закрылось до публикации этого труда. Хотя сохранившаяся часть его перевода "Эпоса о Гильгамеше" до 1987 года не издавалась, он был известен специалистам и воздействовал в особенности своей формой на последующие переводы, в частности на тот, который был опубликован в 1961 году выдающимся ассириологом И. М. Дьяконовым. Признавая большие достоинства Шилейко как ассириолога (о чем он пишет и в своей научной автобиографии[1]), И. М. Дьяконов в переписке со мной высказывался против преувеличения зависимости его перевода от сделанного Шилейко и намеревался вернуться к этому вопросу. Он умер в 1999 году, и мы должны отдать должное этому замечательному востоковеду с поразительно широким кругом достижений и открытий.

Я хорошо помню то непередаваемо сильное впечатление, которое произвел перевод Дьяконова, когда он вышел отдельной книгой. Впервые по-русски во всю мощь зазвучал древний эпос, переданный со всей возможной филологической точностью. Дьяконов, много лет работавший над переводом и печатавший частями его первые наброски, познакомился с обширной литературой о поэме и сам высказал о ней ряд интересных соображений, отчасти уже приводившихся и обсуждавшихся выше. Особенно интересным представляется проведенное Дьяконовым сопоставление шумерских сказаний о Гильгамеше и позднейшего аккадского эпоса. Для большинства легенд или мотивов, не вошедших в позднейший текст поэмы (например, для песни о Гильгамеше и Аге, для части песни о дереве *хулуппу*), Дьяконов указывает причины, по которым они были исключены из свода. Для персонажей других песен, трансформированных при включе-

1. См.: И. М. Дьяконов. Книга воспоминаний. СПб.: Европейский дом, 1995.

нии в окончательный текст, он находит причины соответствующих изменений. Эти наблюдения весьма важны для уяснения основной идеи аккадского эпоса и способов ее сюжетного оформления. Исключительную ценность представляет подробный комментарий Дьяконова к его переводу, включающий множество оригинальных филологических наблюдений. Дьяконову принадлежит также и перевод позднего аккадского обращения к Гильгамешу как судье мертвых; оно представляет интерес, будучи одним из текстов, которые свидетельствуют о последующей мифологической роли Гильгамеша.

Вслед за Шилейко он изучил и стихотворную форму эпоса. Они оба в своих переводах для передачи метра подлинника, ими обоими описанного, выбрали дольник — размер, вошедший в русскую поэзию в эпоху Блока и ставший общеупотребительным. Это метрическое нововведение делало звучание перевода близким тогдашней читательской аудитории. Вместе с тем именно размер производил впечатление, весьма отличное от других оригинальных или переводных эпических текстов, известных современному читателю.

4

Перевод С. И. Липкина неразрывно связан с тем, который сорок лет назад был напечатан И. М. Дьяконовым. Но цели этих двух переводов различны. Дьяконов продолжал традицию западноевропейских филологически точных переводов с подробными комментариями. Он соединил этот тип перевода с собственно поэтическим, который был начат Гумилевым и Шилейко. Но в его комментированном переводе детально оговорены все трудности в реконструкции пропавших или испорченных мест текста и в его истолковании. Он тщательно разграничивает разные версии. Поэтому его перевод непосредственно соотносится с его же увлекательными разысканиями по текстологии и истории эпоса.

Перевод С. И. Липкина передает текст как единое целое. Основная задача — сделать эпос произведением, которое сейчас звучит как только что написанное. Нет ни лакун, ни условных реконструкций. Взяв за основу перевод Дьяконова, Липкин ему строго следует. Поскольку Дьяконов для своего времени дал весьма точный перевод, этой же точностью отличается переложение Липкина. Основываясь на своем многодесятилетнем опыте передачи по-русски разных восточных эпосов (киргизского, калмыцкого, татарского и других), Липкин пишет хорошие русские стихи, предельно точно следующие за смыслом подлинника, уловленным в переводе Дьяконова.

Основное отличие работы Липкина от перевода Дьяконова (и Шилейко, за которым тот следовал) лежит в области ритма. В свою очередь дольник на протяжении XX века из нового размера (каким он был во время молодости Шилейко) превратился в один из самых часто используемых и оттого менее выразительных; поэтому Липкин нашел энергичный трехсложный метр, которому подчинил все повествование. Переводчик широко пользуется рифмой, иногда весьма точной и при этом повторенной трижды. Рифмы внутри нечетных строк делают стих еще более живым и гибким. Аккадский оригинал ниневийской версии отличается изощренностью звукового построения. В последних западноевропейских работах о поэме это отмечается или описывается (часто со ссылкой на Дьяконова, одним из первых изучившим звуковую структуру эпоса). Но пока еще никто не брался за передачу этих формальных черт поэмы. Некоторые из находок Липкина радуют неожиданной полнотой созвучий:

Кузнецы *ликовали*, от*ли*вали — *ко*вали
Топоры и секиры...

Как и в аккадском подлиннике, местами переливающиеся друг в друга созвучия создают целую сеть соответствий, согласно принципам русского стиха скрепленную еще и внутренними рифмами:

О мой *плащ*, *пышный плат* мой, о могучий
булат мой,
О Энкиду, о *брат* мой!

Звуковая близость помогает параллелизму, возвращающему к фольклорным истокам эпоса:

И быка создал Ану: этот *бык над быками* –
Словно *бог над богами*!

Не отступая от духа перевода, Липкин создает образы, созвучные вершинам поэзии нового времени:

И оставшись без стража, едры в громкой
печали
Тяжело застонали.

Едва ли не наивысшим достоинством перевода мне представляется строгая экономия слов.

Прекрасно звучит характеристика главного героя, переданная дословно:

На одну треть он – смертный, божество –
на две трети...

Верно выбраны те сочетания слов, которые, как повторяющаяся формула "тварь степная" (о степных зверях), точно отвечают словоупотреблению аккадского подлинника.

Особым достоинством мне представляется афористичность и лаконизм, с которыми Липкин передает главные мысли всего сочинения:

На земле все проходит, все земное не вечно,
Жизнь людей быстротечна!
...Сотворив человека, боги так рассудили:
Да уснет он в могиле.
...Разве память навеки здесь от нас остается?
Все земле предается.
...Разве полые воды убегают навеки?
Возвращаются реки!

Последний образ вызвал в памяти бессмертные слова Хорхе Манрике: "Nuestras vidas son los rios" ("Наши жизни – это реки") – из лучшего, что в европейской поэзии было написано на сходные темы.

Липкин нашел основанную на параллелизме формулу, передающую ту мысль, которую раскрыл и объяснил Шилейко в названной выше статье "Мес и Солнце" о Таблице Мейснера:

Но сияние Солнца разве мертвый увидит?
Солнце к мертвым не выйдет.

Рифма здесь уместна: в аккадском подлиннике ей отвечает аллитерация:

mūti mitu immaru *šá*rur *ša*msi

Вариация этого образа и рифмы в следующей песне, ориентированные на восстановление фрагментированных строк у Дьяконова, связываются с богом Солнца – Шамашем:

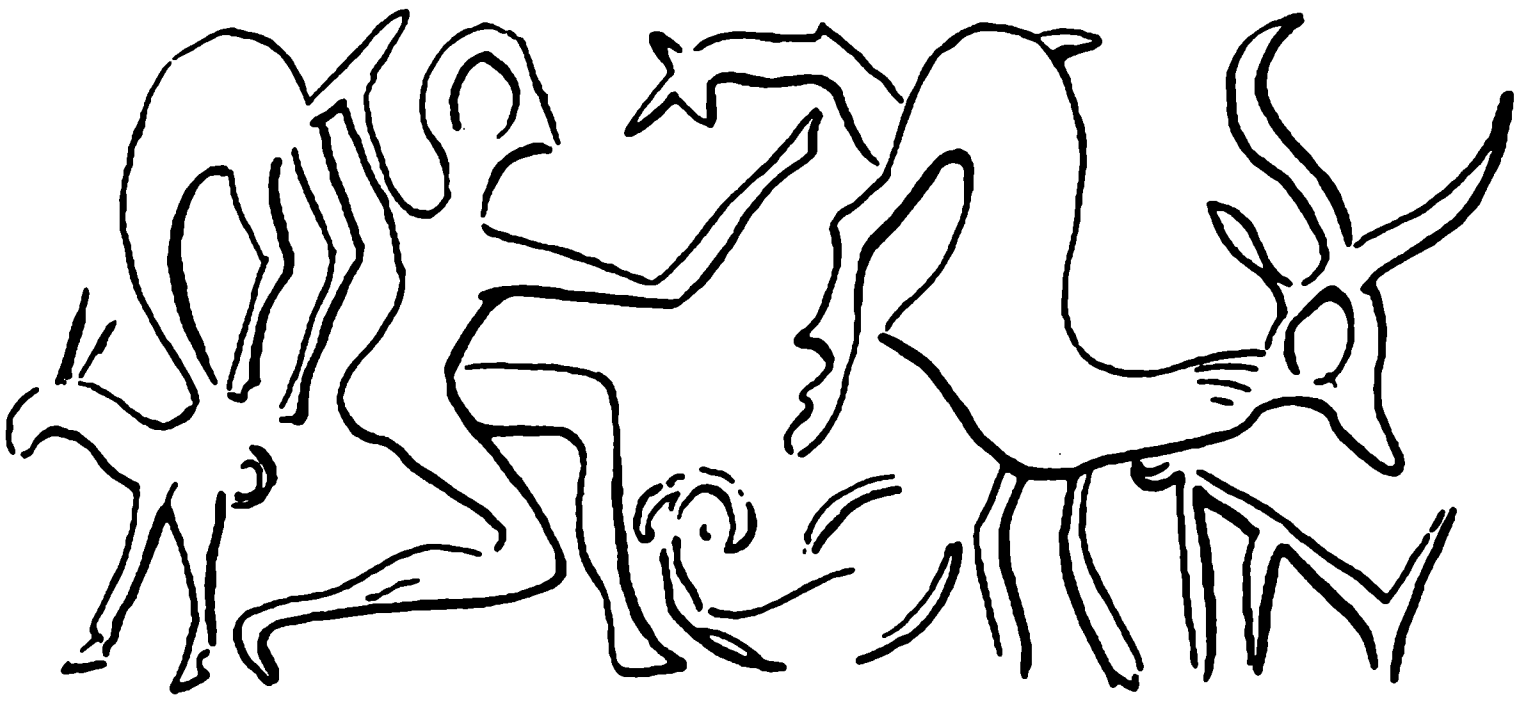
А как Солнце заходит, из прохода выводят
Только Шамаша боги.
Все живущее Шамаш опаляет сияньем,
Ослепляет сверканьем.
Ты пройти этим ходом не сумеешь,
как видишь,
Коль войдешь – так не выйдешь.

В этом переводе не просто искусно подобраны слова, соответствующие глубокому раздумью месопотамского рапсода о смерти и бессмертии. Сам этот перевод и его место в непрерывавшейся цепи русских переводов (от Шилейко к Дьяконову и Липкину), а до того – всех неисчислимых вариаций и версий начиная с ранних шумерских сказаний, кажется едва ли не самым убедительным свидетельством непреодолимой жизненной силы великой поэзии. На протяжении пяти тысяч лет гениальный текст живет. Он не умирает. Он непрерывно побуждает поэтов и ученых способствовать новому его рождению.

Аккадское сказание о Гильгамеше, о все постигшем

(Фрагменты)

Стихотворное переложение Семена Липкина[1]



Зачин

Труд писцов

С той поры, как властитель всех судеб человечьих
На различных наречьях
Дал названья всем людям,всем зверям, всем растеньям,
Всем вещам, всем явленьям, —
Не сумею назвать я благородней занятья,
Чем писцовое дело.
Гордо смею сказать я: не мои ли собратья
Всех умельцев важнее?
Мы, писцы, — не пловцы ли? Мы, писцы, — не певцы ли?
Если петь не умеешь,
До конца песнослова — как до брега морского —
Добредешь ты навряд ли.
То с восторгом, то грустно всё, что знали изустно,
Запишу я искусно,
Молвлю детям и взрослым: Предпочту всем ремеслам
Я писцовое дело.

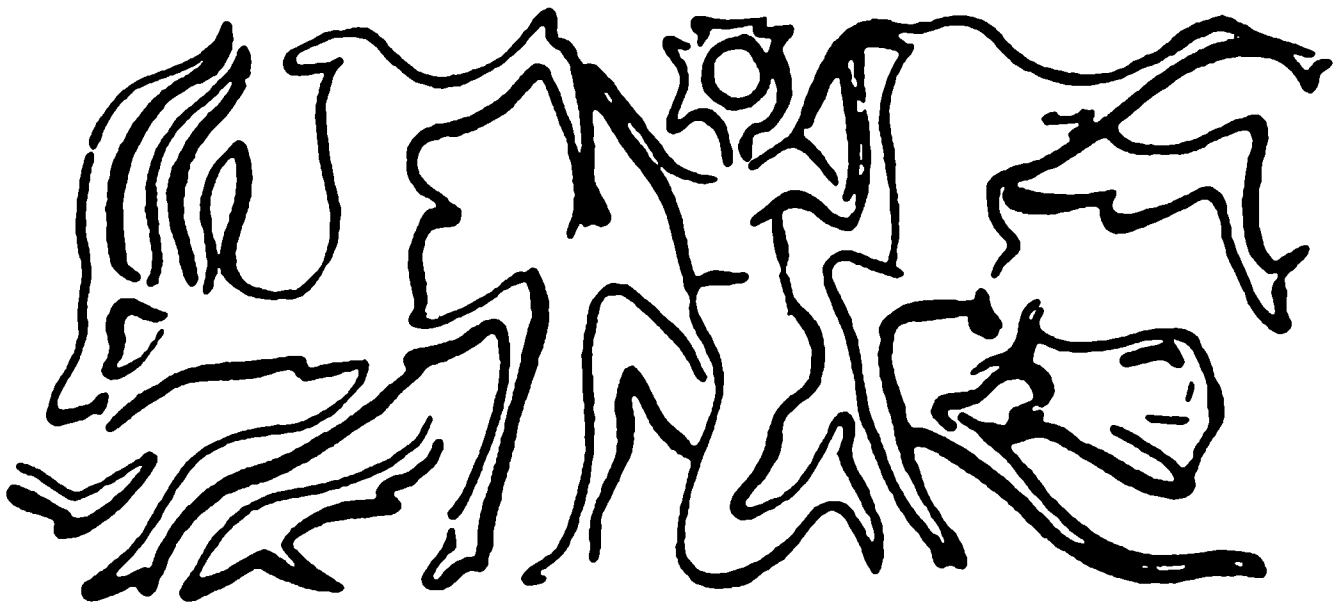
© С. Липкин. Перевод, 2000
Полностью перевод будет опубликован в издательстве "Пушкинский фонд".
1. Основой этого стихотворного переложения являются научный перевод с аккадского и комментарии к нему известного востоковеда И. М. Дьяконова.

Песнь первая

Гильгамеш и Энкиду

В тайны мира проникший, тайны мира постигший,
Всех пределов достигший,
Он узрел ширь земную, он узнал глубь морскую, —
Я о нем повествую.
О веках допотопных, о деяньях былого
Он поведал нам слово,
И на камнях он высек поученья-преданья
О путях мирозданья.
Все изведавший страны вкруг амбаров Эанны
Вал воздвигнул пространный,
И десницей стальною весь Урук крепостною
Оградил он стеною.
Ты на стену взгляни-ка, на кирпич обожженный, —
И застынь, пораженный:
О таком не слыхали никакие столицы,—
Как из меди — бойницы!
Может, крепость воздвигли семь волхвов Вавилона,
Чья премудрость бездонна?
Так вступи же в Эанну, это — Ишта́р обитель.
Кто ж могучий строитель?

На одну треть он — смертный, божество — на две трети,
Нет подобных на свете!
Сотворенный богами, он в боренье с врагами —
Тур, грозящий рогами,
Наделенный отвагой богом Грома с Грозою,
Богом Солнца — красою.
Рать встает к битве бранной, услыхав утром рано
Зов его барабана.
В горе люди Урука: “От него нам докука,
Гильгамеш — наша мука.
Буйной плотью пылая, жен и дев распаляя, —
Он для нас — гибель злая.
Он ли наша ограда, пастырь славного сада?
Нам такого не надо!
Ни одной не оставит ни красивой блудницы,
Ни невинной девицы,
Сыновей не оставит у отцов именитых, —
Гильгамеш истребит их!”



И к Ару́ру-богине так воззвали в кручине:
“Помоги ты нам ныне.
Сотворив Гильгамеша, ты его сделай снова,
Но другого, второго.
Пусть он будет подобьем Гильгамеша-владыки,
Сильный, страшный и дикий”.
Услыхала Аруру слово горя-кручины
И слепила из глины
Гильгамеша второго, столь же грозного с виду —
Исполина Энки́ду.
Он — дитя полуночи, тело мощью налито,
Грубой шерстью покрыто,
Как у жен — долог волос, что ни прядь — тучный колос,
Зверя хищного голос.
Насыщаясь травою, мчится горной тропою
Со зверьем к водопою.
С ним охотник, желая утоления жажды,
Повстречался однажды,
Но забыл, что умел он, как мертвец онемел он,
Закричать не посмел он.
Он добычи лишился, устрашась, удалился
И домой возвратился.
“Некий муж появился, — так отцу говорит он, —
Шкуро́й зверя покрыт он.
Он великою силой равен ратному стану
Всемогущего Ану.
Насыщаясь травою, мчится горной тропою
Со зверьем к водопою.
За добычей своею вслед идти я не смею,
Я от страха немею.
Если вырою яму, он ее засыпает,
Западни вырывает.
Как приду я — уводит он зверье, тварь степную.
Я в безделье тоскую”.

Так ловца утешает, так старик отвечает,
Речь такую вещает:
"Знай, мой сын, обитает в нашем славном Уруке
Гильгамеш крепкорукий,
Он отвагой и силой равен ратному стану
Всемогущего Ану.
Должен ты за подмогой к храбрецу обратиться.
У него есть блудница.
Даст тебе он блудницу — и ее ты с собою
Приведи к водопою.
Звероликого мужа та заставит блудница
Перед нею склониться.
Перед ним, молодая, все одежды срывая,
Пусть предстанет нагая —
В нем желанье разбудит, лишь ее жаждать будет,
О зверях позабудет!"

И тогда к Гильгамешу с тем отцовским наказом
Ловчий двинулся разом,
Молвил слово в Уруке: "Есть дикарь крепкорукий,
От него мои муки.
Он отвагой и силой равен ратному стану
Всемогущего Ану.
Каждый день за собою водит горной тропою
Он зверей к водопою.
За добычей своею вслед идти я не смею.
Я от страха немею.
Если вырою яму, он ее засыпает,
Западни вырывает.
Как приду я — уводит он зверье,тварь степную,
Я в безделье тоскую".

Гильгамеш отвечает: "Ты не должен страшиться.
У меня есть блудница,
Дам тебе эту Ша́мхат — все красы пусть раскроет
Там, где зверя он поит.
Он возжаждет нагую, подойдет к ней вплотную,
Тварь покинет степную".

Благодарный охотник, взяв блудницу в подмогу,
С ней пустился в дорогу.
Шли три дня и три ночи, чтоб добраться до цели,
И в засаде засели.
День прошел, два проходят — тварь степную приводит
Тот, кто здесь верховодит.
Он, отвагой богатый, — друг зверей волосатый
И газелей вожатый.

Пьют с ним воду в веселье хищный зверь и газели —
Кто поил их доселе?
Поразилась блудница, в той глуши обнаружа
Столь могучего мужа.

“Не смущайся, о Шамхат! Все одежды срывая,
Покажись-ка нагая.
Ты свой срам обнажи-ка, ты раскрой свое лоно —
Пусть вскипит, распаленный!
Ты вкуси его пылкость, услади его тело —
Это женское дело.
К дикарю-человеку подойди без опаски:
Горячи его ласки!
От себя удалиться всем зверям он прикажет,
На тебя пусть он ляжет!”

Шамхат груди раскрыла и свой срам обнажила —
Ничего не таила,
Пред Энкиду предстала — весь он к ней обратился,
Позабыл, где родился!
Жар мужчины вдыхая, распростерлась нагая,
Лег Энкиду на Шамхат.
Той блудницей прекрасной наслаждался он страстно
И ласкал ее властно.
Так шесть дней миновало, семь ночей миновало —
Было все ему мало.
Пламень свой укротил он, и ее усладил он —
Взор к зверям обратил он,
И увидел Энкиду, что утратили звери
К исполину доверье.
Хищный зверь и газели убежали отселе,
С ним дружить расхотели.

Он поднялся в тревоге — не идут его ноги,
Силу отняли боги.
И смирившись, он понял, что познал он усталость,
Что зверье с ним рассталось.
Но душой стал яснее, разуменьем сильнее,
Стал намного умнее.

Он присел возле Шамхат — ждет, что скажет блудница:
Он готов поучиться.
Говорит ему Шамхат: “Ты красив, боголикий,
Что ж ты бродишь, как дикий,
Насыщаясь травою, водишь горной тропою
Ты зверей к водопою.
Жить начни по-иному: приведу тебя к дому,
К дому Ану святому.
Вступишь, диким рожденный,но умом награжденный,
В наш Урук огражденный,
Где жилье Гильгамеша: всех сильней этот воин,
Туром зваться достоин.
На него только взглянешь — ты ему другом станешь,
Как себя, ты полюбишь”.
Убеждает подруга: “Встань, пастух, среди луга
И пойди к дому друга!”

Принял в сердце Энкиду эти добрые речи,
С другом ищет он встречи.
Отвечает блуднице: “Приведи меня к дому,
К дому Ану святому.
Приведи к Гильгамешу, что натура походит,
Силой всех превосходит.
Гордо крикну: “В безлюдных я родился пределах,
Гибель я самых смелых.
Велика моя сила: степь меня воскормила,
А гора возрастила!”

“Говорю тебе честно: хорошо мне известно,
Где найти Гильгамеша.
Так пойдем же, Энкиду, в наш Урук мощностенный,
Где пиры несравненны.
Пить и есть — там занятья, пышны, царственны платья,
Сладострастны объятья,
А мальчишки — развратны, а блудницы — приятны,
Полногруды и статны,
Жаром дышит их кожа, с полуночного ложа
Совлекают могучих,
Ты не ведаешь жизни, но теперь в город внидешь,
Гильгамеша увидишь.
Он — трусливых стенанье, жен красивых пыланье,
Любострастье, желанье.
Он отвагой прекрасен, крепок мощью мужскою,
Не стремится к покою.
Ты силен, но тебе я говорю не в обиду:
Он сильнее, Энкиду!
Возлюбил его Шамаш, вразумил его Ану —
Стад и злаков охрану.
С гор еще не спустился, а ему ты приснился,
И воитель смутился.

“Мать, — сказал он в волненье, — прихожу я в смятенье,
Растолкуй сновиденье.
Вижу: некто средь сильных, вставших воинством грозным,
Блеском светится звездным.
На меня вдруг низвергся этот муж-небожитель,
Бога Ану воитель.
Поднял мужа — и понял: он меня тяжелее,
А тряхнул — он сильнее.
Горожане столпились, все к нему устремились,
Перед сильным склонились,
Все к ногам незнакомца припадают, ликуя,
Как рабы, их целуя.
Я к тебе торопился, но с могучим скрепился,
Как к жене прилепился.
Он — мое повторенье, и твое сотворенье
Я к ногам твоим бросил”.

И от Ну́нсин премудрой Гильгамеш слышит слово
Толкованья благого:
“Тот, кто в гуще отважных, вставших ратью святою,
Засветился звездою,
Кто от всех отделился, от небес удалился,
На тебя вдруг свалился,

Ты, подняв его, понял: он тебя тяжелее,
А тряхнул — он сильнее,
Кто с тобою так сходен, кто тебе соприроден, —
Он к ногам моим брошен.
Степь его воскормила, а гора возрастила,
Велика его сила.
Ты поймешь, что тебе он — сотоварищ могучий,
Из друзей — наилучший.
Он тебя не покинет, ибо с ним ты скрепился,
Как к жене прилепился.
Он развеет тревоги, будут все на дороге
Целовать ему ноги,
Вас друг с другом равняю, с ним придешь, твердо знаю, —
Так твой сон объясняю".

Гильгамеш многомудрый молвит матери слово:
"Сон приснился мне снова.
Шел я улицей шумной — и топор вдруг свалился.
Тут весь город столпился.
А топор — видом чудный, и к нему, многолюдный,
Весь Урук устремился,
И к нему я, счастливый, как к жене прилепился,
Мне топор полюбился.
Сей топор возле чресел на боку я повесил
И к ногам твоим бросил,
Он — мое сновиденье, но твое сотворенье
И мое повторенье".

Гильгамеш слышит снова мудрой матери слово:
"Он из рода людского —
Сей топор, что твоим я двойником сотворила,
В нем тебя повторила.
Он, чья мощь неустанна, — твой защитник, охрана
От коварств и обмана,
Он великою силой равен ратному стану
Всемогущего Ану".

Гильгамеш отвечает, отвечает-вещает
Мудрой матери Нунсин:
"Что мне горести-беды? Их теперь поборол я,
Ибо друга обрел я.
С ним на недруга вместе я пойду ради чести, —
Хороши твои вести!"

Песнь вторая

Дружба двойников

Разорвав свое платье, тканью Шамхат одела
Мужа грозного тело,
А на ней-то — одежды лишь одна половина,
И Энкиду, как сына,
Повела в край зеленый, где пастушьи законы,
Для скота есть загоны.
На Энкиду взирает все пастушье селенье,
Говорит в удивленье:
“Гильгамешу подобен, костью крепче он с виду,
Многомощный Энкиду,
Только ростом пониже, вольной степью рожденный,
Горной цепью взращенный.
Со зверями скитаясь, их вожатым считаясь,
Молоком их питаясь,
Стал он силой великой равен ратному стану
Всемогущего Ану!”

Хлеб ему предлагают — он, смущенный, взирает,
Не берет, не вкушает.
Ведь Энкиду о хлебе и о хмеле-сикере
Не поведали звери!
Поучает блудница: “Хлеб есть жизни потреба,
Так вкуси же ты хлеба,
Пей хмельную сикеру, только знай свою меру:
Полкувшина, к примеру”.

Той пьянящей сикеры семь кувшинов испил он,
Хлебом плоть укрепил он,
И душа у Энкиду разгулялась, взыграла,
А лицо засияло.

В нем веселье вскипело, волосатое тело
Умастил он елеем,
Уподобился людям, стал он истинным мужем,
И в одежде, с оружьем,
Вот он — львов истребитель, волчьей стаи губитель,
Пастухов охранитель!
Алчных львов победил он, укротил стаю волчью —
Пусть покоятся ночью
Скот в загоне и пастырь, им Энкиду — охрана,
Воин божьего стана!

Раз, когда он с блудницей веселился на ложе,
Появился прохожий.
“Приведи его, Шамхат! — говорит он подруге. —
Всем чужой он в округе,
Знать хочу его имя. Пред глазами моими
Пусть немедля предстанет”.
Услыхав его слово, человека чужого
Привела к нему Шамхат.
“Ты куда поспешаешь? — вопрошает Энкиду. —
Иль таишь ты обиду?”
Тот — в ответ: “Я в дороге, ибо властные боги
К нам, простым, стали строги.
Молодых разлучают, в дом, где свадьбы свершают,
Нам вступать запрещают.
Ныне грузят мужчины кирпичами корзины —
Так велят властелины.
Жребий выпал нам трудный. От любой девки блудной
В горе град многолюдный.
Лишь владыка Урука в те покои вступает,
Где любовниц ласкает.
Одному Гильгамешу те доступны покои,
Наслажденье мужское.
А мужчины другие — так велят всеблагие —
Свадьбы пусть не справляют”.

И Энкиду, принявший образ, дух человечий,
Услыхав эти речи,
В град Урук устремился, чтобы с мерзостью биться.
Позади шла блудница.
Он предстал городскому неисчетному люду.
Удивляются чуду:
“С Гильгамешем он сходен, он ему соприроден,
Только ростом пониже,
Но зато крепче костью; со зверями скитался,
Молоком их питался”.
Весь народ веселился: “Богатырь поселился
В огражденном Уруке!

С благодарностью жертвы приносить будем вечно,
Нам поможет, конечно,
Этот муж богоравный, сильный, доблестью славный,
Гильгамеша соперник!”

На Энкиду похожий, в дом, где постлано ложе,
Гильгамеш направлялся,
Там лежал он с Ишхарой, там ее целовал он,
Там ее познавал он.
Но воителю некто преграждает дорогу,
Не пускает к порогу.
Гильгамеш поразился — он увидел Энкиду,
Мужа, грозного с виду.
По спине его мощной кудри буйные вьются,
А глаза его жгутся.
Гильгамешу Энкиду преграждает ногою
Путь к чертогу-покою.
Столь похожи обличьем, вдруг с неистовством бычьим
Так схватились, сцепились,
Что и дверь пошатнулась, и стена содрогнулась,
Пыль до неба взметнулась.
Гильгамеш в изумленье преклоняет колени,
В сердце гнев успокоил.

Возглашает Энкиду: “О богами хранимый
И ни с кем не сравнимый!
Ты рожден мудрой Нунсин, буйволицею Града,
И земля тебе рада.
Над мужами главою ты богами поставлен.
Ты повсюду прославлен.
Ты — Урука властитель: так решил, о воитель,
Эллиль, твой покровитель.
Что ж ты буйствуешь плотью, жен чужих обнимаешь
И невест обольщаешь?
В граде воин верховный, остуди жар любовный
И покинь путь греховный”.

Гильгамеш это слово принял в сердце глубоко,
Устыдился порока.
Двойники свою дружбу поцелуем скрепили,
Чистый путь возлюбили.
Гильгамеш с новым другом к мудрой Нунсин приходит,
Речь такую заводит:
“Вот мой друг. Он явился к нам из горного края,
Мощью всех затмевая.
Он великою силой равен ратному стану
Всемогущего Ану.

С плеч моих снял Энкиду у чужого порога
Ношу зла и порока,
Снял с меня, вразумляя, прегрешенье разврата,
Я увидел в нем брата.
Ни отца и ни друга он не ведал измлада.
Жил вне дома, вне града.
Никогда он не стригся, со зверями он свыкся,
Их заботой проникся.
В нем пылает отвага. Пожелай ему блага.
Пусть он станет мне братом".
Нунсин слово благое им обоим сказала,
Дружбой-братством связала.

Вот сидят они рядом, словно брат с милым братом,
Не от мужа зачатым.
У Энкиду во взоре непомерное горе,
Громко плачет, вздыхает.
Мощь его ослабела и душа заболела,
Он тоскует без дела.
Гильгамеш вопрошает: "Что тебя огорчает
И рыдать заставляет?"
А двойник отвечает: "Вопли к битве взывают,
Горло мне разрывают.
Мощь моя ослабела и душа заболела,
Я тоскую без дела".

Гильгамеш возглашает: "Битва — дело мужчины.
Есть Ливана вершины.
К ним дороги суровы, лес покрыл их кедровый,
Облака — их покровы.
Пребывает Хумбаба в том лесу, свирепея.
Уничтожим злодея.
Все, что в мире есть злого, из предела земного
Мы с тобою изгоним.
Там, растущие щедро, истреблю гущи кедра
И навеки прославлюсь".

Отвечает Энкиду: “Мне о горном Ливане
Было ведомо ране —
В дни, когда со зверями проходил я горами:
Там на тысячу поприщ
Распростерлись чащобы. Кто взойдет на вершину,
В их проникнет средину?
О Хумбабе я слышал: голос — буре подобный,
А уста — пламень злобный,
Смертоносно дыханье; с ним в сравненье — ты слабый.
Бойся битвы с Хумбабой!”

Гильгамеш возглашает: “Мне на кручах Ливана
Эта битва желанна,
Свой топор всепобедный на боку я повешу:
Путь открыт Гильгамешу.
Так пойдем же со мною на злодея войною,
Одолееем Хумбабу!”

Отвечает Энкиду: “Мы с тобой не готовы
В лес ворваться кедровый.
Тот, чья мощь недреманна, — этих кедров охрана,
Страж могучий Ливана.
Шамаш дал ему силу, а за службу в награду
Смелость дал ему Адду.
За усердное бденье дал ему во владенье
Эллиль страхи людские.
Крик Хумбабы колеблет гор седые вершины
И морские пучины,
Сотрясаются скалы, а великий и малый
Убегают в ущелья,
Он уста открывает — все живое пугает,
Облака низвергает.
Как потоп он грохочет, будто, яростный, хочет
Истребить мирозданье.
Человечьего страха и тревоги звериной
Стал Хумбаба причиной,
Из мужей ни единый не дойдет до средины
Горной чащи кедровой!”

Гильгамеш отвечает: “Это смертного жребий,
Мы живем не на небе.
Там, в небесном чертоге, только Солнце и боги
Пребывают вовеки.
Человек же не вечен, день его быстротечен,
А дела его — ветер.
Ты отвагой гордишься? Сильный, к славе стремишься?
Что ж ты смерти страшишься?

Трудной горной тропою я пойду пред тобою,
Ты кричи мне: “Не бойся!”
А паду — свое имя на земле я оставлю
И в потомстве прославлю.
У тебя, крепкорукий, в огражденном Уруке
Спросят дети и внуки:
“Нам о друге поведай. Как пришел он с победой?
Как добыл свою славу?”
И тогда-то потомкам словом верным и громким
Обо мне ты расскажешь.
Будет жить мое имя! Так речами своими
Не печаль мое сердце!
Мощь свою укреплю я, в лес кедровый вступлю я,
И его разрублю я!
Кузнецам повелю я, чтоб с рассветом вставали,
Нам оружье ковали”.

Великобритания

Воришка-полиглот

Когда в поисках украденных книг полицейские ворвались с обыском в один из домов в районе Рокдейл Манчестера, они не поверили собственным глазам: дом был завален сотнями книжных томов. Хозяин дома заказывал их через Интернет, но свои заказы не оплачивал. По приблизительным оценкам стоимость книг — в основном учебников иностранных языков — составляет около 100 тысяч фунтов стерлингов.

Полицейские арестовали 40-летнего книголюба, выдававшего себя за сотрудника факультета лингвистики Манчестерского университета. Книги он заказывал на 30-дневный срок, якобы для предварительного ознакомления. Однако руководство одной компьютерной книготорговой фирмы заподозрило неладное и посвятило в свои подозрения коллег в Нидерландах. Те обратились в полицию Манчестера, и выяснилось, что в Манчестерском университете такого сотрудника нет.

По факту мошенничества было начато расследование, которое определило, среди прочего, что некоторые книги стоили около 300 фунтов и что изобретательный жулик оказался полиглотом: он владеет 16 языками. Как заявил инспектор манчестерской полиции, книги ему присылали со всего мира; главным образом, это пособия по лингвистике и учебники иностранных языков, от арабского до китайского. Пока полиция составляет полный каталог "добычи" (более 2000 томов), воришка-полиглот отпущен под залог в ожидании суда.

Канада

Конкурсы, призы, премии, награды...

Премия Генерал-губернатора, учрежденная в 1936 году, считается одной из самых старых национальных литературных наград в мире и на сегодняшний день составляет 10000 долларов; кроме того, лауреату достается переплетенный вручную экземпляр его книги. Церемонии вручения премии всегда отличались торжественной скромностью. Появившаяся шесть лет назад конкурентка — литературная премия "Гиллер" — сразу ослепила всех роскошью банкета, блеском церемонии и значительной суммой в 25000 долларов. Премии Генерал-губернатора срочно пришлось "подтянуться", и на последней церемонии был и банкет на 250 персон, и струнный военный оркестр, и представители английской королевы, вручавшие премии. Впервые в свете юпитеров оказались и издатели победивших книг.

По итогам 1999 года жюри присудило премию Генерал-губернатора за лучший англоязычный роман маститому писателю Мэтту Коэну ("Элизабет и после"). Незадолго до того он удостоился и довольно своеобразного приза Харборфрантского литературного фестиваля за значительный вклад в канадскую литературу — это сертификат на 6000 долларов для посещения ресторанов. Увы, лауреат не успел воспользоваться им в полной мере: Мэтт Коэн скончался вскоре после получения второй премии.

Премия за франкоязычное произведение была присуждена посмертно Пьеру Перро за его "Северный недуг", документальную книгу о Жаке Картье, открывшем реку Св. Лаврентия. По остальным номинациям победили Джейн Звики (поэзия), Майкл Хили (пьеса), Марк Де Вилье (документальная проза), Рекна Гилмор (детская литература), Гари Клемент (иллюстрации к детской книге). Премию в номинации "лучший перевод с французского на английский" получила Патриция Клакстон за книгу "Габриелла Руа. Биография" Франсуа Рикара. Эта книга была выдвинута еще на две другие канадские литературные премии.

Составы претендентов на премию "Гиллер" и премию Генерал-губернатора были совершенно различны, и практически все участники были настолько сильны, что учредитель премии даже предлагал устроить нечто вроде литературного тотализатора, но по канадским законам делать ставки можно лишь на животных или команды. Жюри "Гиллера" из трех человек — именитого писателя и критика Альберто Мангеля, кстати, недавно удостоенного французской премии "Медичи"; лауреата премии Генерал-губернатора писателя Нино Риччи и книготорговца Джуди Мэппина — предстояло сделать сложный выбор: тут и один из лучших современных канадских прозаиков Тимоти Финдли, и патриарх канадской литературы 83-летняя Анн Эбер, и писательница Нэнси Хьюстон, выдвигавшаяся и на премию Генерал-губернатора, и на Гонкуровскую премию.

Однако жюри предпочло роман Бонни Бернард "Хороший дом", в котором нет злодеев, но напротив, представлена вполне благополучная семья. "Принято считать, что в литературе зло неожиданно и интересно, а добро — нечто предсказуемое, банальное и скучное. Однако на самом деле именно зло

банально, а добро всегда приходит нежданно", — говорит победительница.

Канадским писателям сделан еще один подарок: на открытии Недели канадской детской книги была представлена новая литературная награда — премия Нормы Флек. Причитающиеся лауреату 10000 долларов получили Энди Тернбулл и Дебора Пирсон за книгу "На грузовике на север: Мое зимнее приключение", в которой рассказано о путешествии на восемнадцатиколесном грузовике по замерзшим рекам.

Марокко

Что читают в Рабате ?

Чтение книг, газет и журналов остается для марокканцев своего рода привилегией. Непреодолимым барьером на пути печатного слова и поныне стоит неграмотность, особенно среди женщин и сельских жителей. Но — как это ни парадоксально — вниманию сравнительно немногочисленных читателей ежегодно предлагается широчайший ассортимент печатной продукции: 723 периодических издания, добрая сотня из которых еженедельники. Впрочем, нарушения закона спроса и предложения здесь нет, ибо политические партии и сто семей, контролирующих экономику страны, сумели в свое время разделить сферы влияния так, что книжный рынок от этого выиграл.

Любопытно также, что многоязычие Марокко обернулось для распространения литературы не минусом, а плюсом. Франция, Германия, США и другие страны открыли свои культурные центры с библиотеками, так что для читающих на французском, немецком и английском нет языковых преград на пути к шедеврам мировой литературы. Конечно, лидирует арабский язык, но французский наступает ему на пятки (в Рабате раскупается вся печатная продукция, поступающая из бывшей метрополии).

Не обижены вниманием и двуязычные меньшинства. Есть, например, русский культурный центр — его посетители когда-то учились в советских вузах. А восемь тысяч евреев, проживающих в этом североафриканском королевстве, имеют собственные типографии и издания, к которым все больше присматриваются литературоведы. Наконец, центральные и муниципальные власти позаботились и о восьми миллионах марокканцев, говорящих на трех диалектах берберского. К их услугам библиотеки, своя ассоциация, а также издательства, выпускающие литературу на берберском языке.

На что же обращает свой интеллектуальный взор многоязычная марокканская публика? Это три темы: политика, религия и бытовые сюжеты. Интерес к первым двум, зачастую тесно взаимосвязанным, вполне объясним: до недавних пор простым смертным не полагалось знать о закулисной жизни дворцов и храмов. Поэтому документальная проза сейчас в одинаковом почете с художественной. Естественно, писателем номер один для Марокко по-прежнему остается Тахар Бенджеллун. Его книги неизменно фигурируют в списках бестселлеров (как, например, роман "Приют бедняка", вышедший в издательстве "Роман ле сей") вместе с новинками таких прозаиков, как Абдельхак Серхан, Мохамед Шукри, Дрисс Шрайби.

Среди документальных произведений огромную популярность в стране завоевала биографическая книга "Абд аль-Керим, эпопея золота и крови" (издательство "Сегье"). В этом произведении журналист Закья Дауд приоткрывает завесу тайны над событиями недавнего прошлого, опираясь на ранее запретные материалы об Абд аль-Кериме — борце за независимость, умершем в изгнании в Каире. Надо сказать, что прошлое привлекает марокканцев не только своей засекреченностью. Иначе чем объяснить предпочтение, которое многие отдали книге Мохамеда Энаджи "Солдаты, слуги и наложницы"? Ведь сюжет ее касается рабства, существовавшего в Марокко вплоть до XIX века. Очевидно, эта тема актуальна и поныне, а раз есть спрос — есть и предложение.

Норвегия

И снова — "Ищите женщину"!

К концу века норвежская литература совершила настоящий прорыв на международную арену. Это событие стало приятной неожиданностью даже для тех, кто прилагал все усилия для развития норвежской словесности. Разве мог рядовой преподаватель философии Йостейн Гаардер ожидать, что его книга "Мир Софии" наделает столько шума! А ведь она "шумит" уже в 40 странах тиражом в 12 миллионов экземпляров! На родине автора приятным отголоском этого бума стало развитие детективного жанра, причем в дамском исполнении. Впрочем, последнее не удивляет, например, писателя Нильса Нордберга, который ранее возглавлял Союз норвежских авторов детективного жанра. "Во все времена женщины убивали не меньше, чем мужчины, и нередко с гораздо большим на то основанием, — напоминает он. — Но ни в какой другой стране об этом не писали так захватывающе, как в Норвегии на исходе столетия!"

А первыми ласточками еще в 40-е были Лалли Кнутсен и Ханна Винснесс, которая скрывалась под мужским псевдонимом Хуго Шварц. Затем к ним присоединились Герд Нюквист и Ким Смаге: их романы ("Не надо посылать цветы" и "Гробовое молчание" — первой, "Ночной прыжок" — второй) удостоились премий, переведены на другие языки.

Затем, в 1993 году дебютировала Анне Хольт, вскоре снискавшая титул "норвежская Агата Кристи". Главной героиней ее романа "Слепая богиня" стала Ханне Вильгельмсен: очаровательная женщина и талантливый сыщик. А ее создательница добилась новых успехов с выходом последующих романов "Смерть дьявола" (1995) и "Моя вина" (1997). Оккупацию жанра довершили Карин Фоссум и Кьерсти Схеен, обогатившие его изысканиями в области психологии, образным языком и актуальным содержанием.

Впрочем, несмотря на триумф, литературные дамы не намерены ограничивать себя рамками лишь одного жанра, ибо верят в свои творческие силы. Это еще одна грань феминизма, заметно оживившегося в Норвегии и ознаменовавшегося смелым вторжением женщин в традиционно мужские сферы влияния (наиболее ярким примером этой тенденции стало назначение Гру Харлем Брунтланд премьер-министром страны в 80-х). Последним по времени норвежским вкладом в мировую литературу стал переведенный на многие языки роман "Прежде, чем ты уснешь" еще одной литературной дебютантки — Линн Ульльманн.

Португалия

Возвращение А. Лобу Антунеша

Выход в свет романа "Увещевание крокодилов" (издательство "Дом Кишоте") расценивается в Португалии как литературное событие, поскольку почитатели таланта Лобу Антунеша уже давно ждали новых откровений 57-летнего корифея португальской литературы. Книга, сразу же попавшая в списки бестселлеров, отличается своеобразием формы, идея которой возникла у писателя в больнице, во время разговора с другим больным. "Сотворение мира начиналось задом наперед", — изрек тот. "Он прав, — подумал Лобу Антунеш. — Писать новую книгу нужно с конца. Если представить ход событий в ней в обратном порядке, то можно свободно переходить из одной плоскости в другую, не держась за традиционную нить повествования". Именно так и построен роман о судьбах четырех женщин: они вспоминают историю своей связи с главарями террористов — историю любви, кровосмешения, болезней и убийств. Это было в Лисабоне после апрельской революции 1974 года.

Но осуществить задуманное мастеру пера оказалось нелегко. Вот как он объясняет этот парадокс в интервью газете "Жорнал де летраш": "Сегодня я смотрю на литературу иначе, чем 25 лет назад, когда только вступал в нее. Тогда мне казалось, что писать — увлекательно и просто. И я думал так, пока не увидел разницу между тем, что написано хорошо, и тем, что плохо. С тех пор мои трудности все росли, а восторгов поубавилось... Конечно, со временем я приобретал опыт, и каждая новая книга была на ступень выше предыдущей. Но, открыв для себя разницу между просто хорошей книгой и шедевром, я впал в полную тоску".

Но что значит "хорошая книга"? "Это книга, которую каждый читатель воспринимает как написанную только для него — настолько, что в остальных экземплярах даже текст кажется другим. Такая книга волнует до слез, а вымысел в ней ощущается как явь, которая реальнее самой действительности", — считает Лобу Антунеш.

Однако добиться подобного эффекта нелегко даже ему, маститому автору. Он признаётся, например, что не может одновременно работать над газетной статьей и романом, хотя первую способен написать хоть на кухне и всего за час. Время и уединение — вот два главных условия для блестящих решений сюжетов и судеб персонажей, которые затем Лобу Антунеш представляет на суд читателей.

США

С английским у него были большие проблемы

Недавно было объявлено, что в 2000 году премию Фолкнера получил Ха Джин, 43-летний американец китайского происхождения. В 1999 году ему присудили Национальную книжную премию за первый роман "В ожидании". История Ха Джина и сама может стать сюжетом романа. В 1985 году его направили из КНР в США для изучения английского языка. Когда стипендия за первый год обучения закончилась, Джин попытался устроиться на работу в китайский ресторан, но владельцы ресторана, уроженцы юга Китая, отказали северянину из провинции Ляонин. В конце концов он устроился официантом в кафе, но вскоре был понижен в должности до уборщика, чтобы его чудовищный английский не отпугивал посетителей.

Вскоре Джин уволился и нанялся ночным сторожем на фабрику — так у него появилось больше времени на чтение классиков западной литературы и занятия языком. В 1989 году, после кро-

Ха Джин в Нью-Йорке после присуждения ему Национальной книжной премии (журнал "Ньюсуик")

вавых событий на площади Тяньяньмынь, Джин отказался возвращаться в Китай и с тех пор общается с родителями лишь по телефону. К 1996 году он уже писал рассказы, основанные на собственном опыте службы в армии и работы телеграфистом на западной границе Китая. Критики оценили его ироничные и забавные истории о любви и сексе в Китае и поставили автора в ряд с Набоковым и другими мастерами, у которых английский не был родным языком. Успехами Ха Джина больше всех был потрясен Роберт Леонард, владелец кафе и первый работодатель писателя: "Я в шоке от этой новости. Он очень славный парень, но с английским у него были большие проблемы — и это всего десять с небольшим лет назад. Да-а... Надо будет почитать его роман".

Роман захватывает с первой же фразы: "Каждое лето Линь Конг возвращался в Гусиную деревню, чтобы развестись со своей женой Шуйю". Ха Джин повествует о сложностях семейной жизни и любовных отношений в коммунистическом Китае. По его собственному признанию, на родине такая книга была бы невозможна

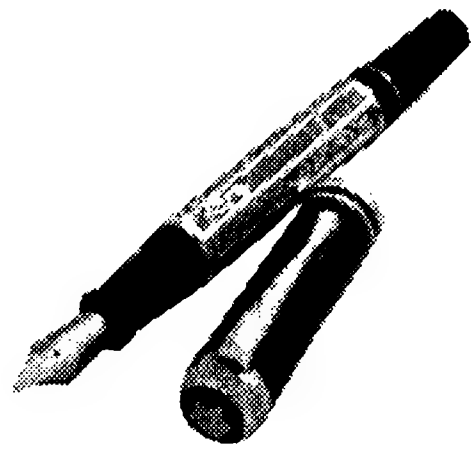
Сейчас он преподает английский в одном из университетов Атланты, и вся его деятельность связана с этим языком. Писатель утверждает, что жизнь в Америке позволила ему взглянуть на Китай со стороны, более критично, чем это могут сделать жители страны.

Свои будущие романы Ха Джин намерен посвятить опыту жизни в эмиграции, которая оказалась даже суровее службы в китайской армии. По словам писателя, в Америке нет нужды бесконечно ожидать каких-то перемен — в ней нужно бороться за выживание.

Франция

Прустомания в разгаре

Во Франции, да и в других странах мира, в самом разгаре "прустомания" — увлечение всем, что так или иначе связано с именем и произведениями одного из величайших французских писателей XX века. Было бы преувеличением назвать прустоманию повальной, зато формы она принимает весьма разнообразные и порой довольно неожиданные. Среди подобных неожиданностей — акция 50 французских писателей, которые посменно, по четыре часа, в течение нескольких недель по вечерам на верхнем этаже Парижского культурного центра имени Жоржа Помпиду читали вслух "В поисках утраченного времени" М. Пруста (без единой купюры). Акция стала частью выставки, посвященной понятию времени. На своеобразную затею публика реагировала так же своеобразно: кто-то слушал, растянувшись на полу и закрыв глаза, кто-то читал вместе с писателями принесенные с собой экземпляры, а, например, Перрин Лакруа, художница из Лиона, призналась журналистам, что последний раз читала Пруста еще в лицее и теперь вновь испытала тогдашнее наслаждение от достойной литературы и даже захотела перечитать Пруста. Некая группа энтузиастов решила совершить поход по прустовским местам.



Ручка в честь Марселя Пруста (еженедельник "Стампа-Туттолибри")

Между тем Национальная библиотека в Париже организовала интереснейшую выставку, на которой были представлены портреты Пруста, 95 тетрадей писателя и полотна его современника Уистлера. Прустомания шагает и по Европе: в Англии интерес к писателю резко вырос после выхода на экраны фильма режиссера чилийского происхождения Рауля Руиса "Обретенное время" с участием Катрин Денёв, Эммануэль Беар и Джона Малковича; за 3 месяца книги Пруста прочно обосновались на первых местах в списках бестселлеров. Активную дискуссию о творчестве Пруста ведут пользователи Интернета. Кроме того, уже выпущены компакт-диск с записями "прустовской" фортепьянной музыки, сборник комиксов, книга "Пруст и звезды" (с анализом ультрасовременных проблем) и даже новая марка вина и умопомрачительные как по красоте, так и по цене ручки, выпущенные знаменитой фирмой "Монблан" в 1999 году (для фирмы это был год Марселя Пруста). Ручки с серебряными инкрустациями по мотивам искусства той эпохи и золотые ручки под названием "В поисках утраченного времени" с выгравированной подписью писателя как бы превращаются в волшебные палочки и делают из их обладателей романистов.

Чем же вызван повышенный интерес к Прусту? Вероятнее всего, сыграла свою роль смена веков и тысячелетий — ведь Пруст придавал особое значение времени как философской категории. В новое тысячелетие многие хотят вступить с обновленным духом, и произведения французского мастера кажутся весьма подходящими для этого. Ведь это роскошь — в век, когда счет идет на секунды, читать роман длиной 4300 страниц. Кроме того, Пруст на удивление современный писатель: его даже называют "человек-Интернет", имея в виду необычайную широту его интересов. В его книгах каждый найдет то, что волнует именно его; по словам исследователя Пруста из Сорбонны Мирей Натюрель,

"его произведения — это гигантский справочник. Они похожи на Библию".

Умные издатели уловили эту тенденцию и, используя интерес к эпохе Пруста, стали выпускать книги типа "Обретенная кухня", "Прогулки с Марселем Прустом" или "Гербарий Марселя Пруста". С 1997 года не теряет популярности своеобразная книга Алена де Боттона "Как Пруст может изменить вашу жизнь" — нечто вроде пособия по улучшению своей жизни в соответствии с идеалами писателя и его произведений. Среди бесспорных приобретений любого читателя Пруста — способность иначе взглянуть на природу, пейзажи, дома, цветы, лучше понять окружающих. За пределами Франции самая крупная колония "прустоманов" находится в Сан-Франциско, где проводится ежегодный День памяти Пруста; люди в джинсах слушают камерную музыку, потягивая шампанское. Возможно, сам Марсель Пруст посмеялся бы над некоторыми из всех этих затей (например, над снобами, покупающими дорогостоящие ручки), но ему наверняка понравилась бы уникальная скульптура, изображающая его в натуральную величину и изготовленная из пирожных и марципанов.

По материалам газет :
"Глоб энд мейл оф Кэнеда", (Канада),
"Паис" (Испания),
"Стампа-Туттолибри" (Италия),
журнала "Ньюсуик" (США).

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров французского журнала «Экспресс» (неделя с 4 по 10 сентября 2000 г.)

1 MARY HIGGINS CLARK.
Avant de te dire adieu

---

2 HELEN FIELDING. BRIDGET JONES.
L'age de raison.

---

3 MARC LÉVY.
Et si c'était vrai...

---

4 ANNA GAVALDA.
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part.

---

5 JIM FERGUS.
Mille Femmes blanches.

---

6 MICHAEL CRICHTON.
Prisonnièrs du temps.

---

7 KRESSMAN TAYLOR.
Inconnu à cette adresse.

---

8 DIDIER VAN CAUWELAERT.
L'Education d'une fée.

---

9 AMIN MAALOUF.
Le Périple de Baldassare.

---

10 CHRISTIAN JACQ.
Pierre de Lumiére (t. II): La femme sage.

Мишель Уэльбек
Michel Houllebecq
[р.1958]. Французский писатель, поэт. Лауреат *Гран-при* по литературе [1998].

Автор сборников эссе *Г. П. Лавкрафт* [*H. P. Lovecraft*, 1991], *Выступления* [*Interventions*, 1998], романа *Расширение пространства борьбы* [*Extension du domaine de la lutte*, 1991], книг стихов *Смысл борьбы* [*Le sens du combat*, 1996], *Остаться живым* и *В погоне за счастьем* [*Rester vivant* suivi de *La poursuite du bonheur*, 1997].
Роман *Элементарные частицы* [*Les particules élémentaires*] вышел во Франции в 1998 г. [Paris, Flammarion].

Хосе Морено Вилья
José Moreno Villa
[1887–1955]. Испанский поэт, эссеист, художник, искусствовед.

Автор книг стихов *Сноп* [*Garba*, 1913], *Путник* [*El pasajero*, 1914], *Хасинта Рыжеволосая* [*Jasinta la Pelirroja*, 1929], *Ночь слова* [*La noche del Verbo*, 1942] и др.
Публикуемые стихи печатаются по изданию *Poesías completas* [El Colegio de México. Residencia de estudiantes, Madrid, 1998].

Петер Карваш
Peter Karvaš
[1920–1999]. Словацкий прозаик, драматург, театровед, эстетик.

Автор книг *Мост* [*Most*, 1943], *Это поколение* [*Toto pokolenie*, 1948], *Это поколение в атаке* [*Toto pokolenie v útoku*, 1952], *Ночь в моем городе* [*Noc v mojom meste*, 1969], *В гнезде* [*V hneizde*, 1981], *Великан, или Жизнь и творчество профессора Баговича* [*Velikán, čiže Zivot a dielo profesora Bagoviče*, 1993] и др. На русский язык переводились его сатирические рассказы, юморески, апокрифы и пьесы; в *ИЛ* [1990, № 6] был напечатан рассказ *Об умении слушать*.
Публикуемые апокрифы взяты из книг *Posledné humoresky a jiné kratochvíle* и *Tajomstvo sfingy [Sedem apokryfov]*, вышедших в 1989 и в 1997 гг. [Bratislava, Slovenský spisovatel].

Вильгельм фон Штернбург
Wilhelm von Sternburg
[р.1939]. Немецкий писатель, журналист, историк.

Автор книг *Аденауэр. Немецкая легенда* [*Adenauer. Eine deutsche Legende*, 1987], *Арнольд Цвейг* [*Arnold Zweig*, 1990], *Лион Фейхтвангер. Жизнь немецкого писателя* [*Lion Feuchtwanger. Ein deutsches Schriftstellerleben*, 1994].
Биография Эриха Марии Ремарка "*Как будто все в последний раз*" [*Erich Maria Remarque. Eine Biographie. "Als wäre alles das letszte Mal"*] вышла в Германии в 1998 г. [Köln, Verlag Kiepenheuer & Witsch].

Вячеслав Всеволодович Иванов
[р.1929]. Лингвист и литератор, доктор филологических наук, академик РАН, член Британского королевского общества, Нью-Йоркского лингвистического общества.

Автор многочисленных работ, в том числе монографий *Хеттский язык* [1963], *Исследования в области славянских древностей* [1974, совместно с В. Н. Топоровым], *Чет и нечет* [1978], *Индоевропейский язык и индоевропейцы* [в 2-х тт., совместно с Т. В. Гамкрелидзе, 1984; Ленинская премия, 1988], один из ведущих авторов энциклопедии *Мифы народов мира* [в 2-х тт., 1988; Государственная премия СССР, 1990], а также многих публикаций в журналах, в том числе в *ИЛ* [1984, № 6, 12; 1985, № 5; 1988, № 8, 9; 1989, № 11; 1996, № 9 и др.].

Переводчики

Ирина Николаевна Васюченко.
Критик, прозаик, переводчик с французского.

В ее переводах выходили произведения А. Дюма и А. Моруа.

Георгий Рубинович Зингер
[р. 1947]. Переводчик с французского, литературовед.

Автор работ по истории французской драматургии и театра XVII—XIX вв., в том числе монографии *Рашель* в серии *Жизнь в искусстве* [М., Искусство, 1980], переводчик произведений Колетт и Брантома. В *ИЛ* в его переводе напечатаны романы *Путь в один конец* Дидье Ван Ковелера [совместно с Н. Мавлевич; 1996, № 3], *Нечаев вернулся* Х. Семпруна [совместно с И. Кузнецовой; 1996, № 11].

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премии Инолиттл [1997].

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы А. де Виньи, А. Ланжевена, С. Пру, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену [1998, № 7], фрагменты книги Н. Саррот *Откройте* [1999, № 5] и др.

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского.

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. В *ИЛ* были опубликованы ее переводы стихов Х. Падрона [1988, № 4; 1995, № 11], Э. де Чампурсин [1994, № 6], Л. Сернуды [1995, № 12; 1997, № 1], П. Салинаса [1997, № 7], Г. Мистраль [1999, № 4].

Виктория Александровна Каменская
Переводчик с чешского и словацкого языков, лауреат литературной премии *Богемика*.

В ее переводах издавались классические произведения чешской и словацкой литературы XIX—XX вв. В *ИЛ* напечатаны ее переводы стихов М. Флориана [1996, № 6], М. Руфуса [1975, № 5], рассказов Э. Петишки [1976, № 9] и И. Климы [1999, № 3], главы из книги Б. Шнайдера *Золотой треугольник* [1987, № 3—5], пьесы П. Когоута *Мерзость* [1994, № 5], эссе К. Чапека [2000, № 9] и др.

Олег Михайлович Малевич
[р. 1928]. Литературовед, кандидат филологических наук, специалист по чешской и словацкой литературам, переводчик. Почетный доктор Карлова университета в Праге, лауреат литературной премии *Богемика*.

Автор книг *Карел Чапек* [1968], *Владислав Ванчура* [1973]. В *ИЛ* выступал как переводчик произведений К. Чапека, И. Ольбрахта, И. Вихры, М. Руфуса, Л. Фельдека, М. Рихтера и др. и как автор вступительных статей и рецензий.

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист-германист, переводчик с немецкого.

В его переводах публиковались произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна, Г. Руге. В *ИЛ* напечатаны его переводы произведений Х. М. Энценсбергера [1994, № 9; 1995, № 6; 1997, № 9], В. Бирмана [1994, № 9], М. Дёнхофф [1998, № 2], Б. Брехта [1998, № 12], Э. Юнгера [1999, № 2], переписки Г. Грасса и Кэндзабуро Оэ [1997, № 2]. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова "Филипп фон Цезен".

Семен Израилевич Липкин
[р. 1911]. Поэт, прозаик, переводчик.

Публикуется с 1929 г. Первая книга стихов *Очевидец* вышла в 1957 г. В США изданы книги стихотворений *Воля* [1980, составитель И. Бродский], *Кочевой огонь* [1983]; в России — *Письмена* [1991], *Семь десятилетий* [полное издание стихов и поэм, 2000]. Проза: повесть *Декада* [США, 1984], *Квадрига* [повесть *Записки жильца* и мемуары, 1997]. Самые крупные переводческие работы: калмыцкий эпос *Джангар*, бурятский — *Гэсэр*, татарский — Идегей, эпизоды индийской *Махабхараты*, поэмы Фирдоуси, Джами, Навои.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использована картина Хосе Морено Вильи [1887–1955] *Женщина* [1930].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
"Англия" —
Хлебный пер., д. 2/3,
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д. 28,
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д. 46,
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 28. 09. 2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2549.
Тираж 13 350 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-[illegible], 201-2603

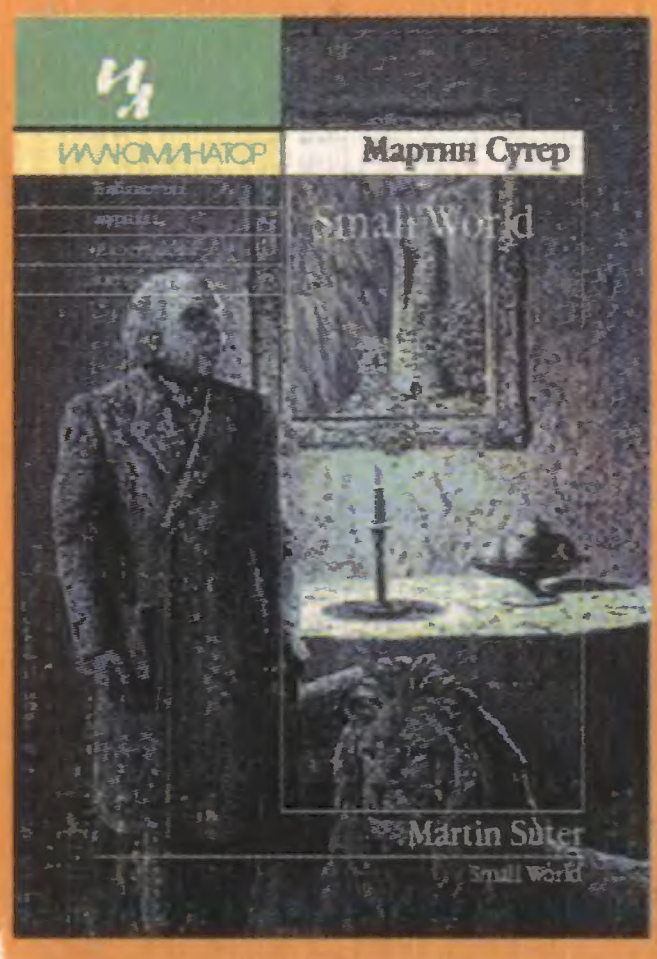
Галерея открыта для посетителей
по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

[11] 2000

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: "ЛОРЕНС ДАРРЕЛЛ, ИЛИ ПУТЬ ЭКСЦЕНТРИКА": РАССКАЗЫ, СТИХИ, ИНТЕРВЬЮ, ФРАГМЕНТЫ КНИГИ "ГОРЬКИЕ ЛИМОНЫ", ПИСЬМА К ГЕНРИ МИЛЛЕРУ / РОМАН ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА "ПЯТАЯ ЗИМА МАГНЕТИЗЕРА" / РАССКАЗЫ ЮДИТ ГЕРМАН / СТИХИ ШАНДОРА КАНЯДИ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР



011. Мартин Сутер "Small World". **012.** Аласдер Грей "Бедные-несчастные".
013. Итало Кальвино " Если однажды зимней ночью путник". **014.** Клайв С.Льюис "Пока мы лиц не обрели"
015. Тибор Фишер " Коллекционная вещь". **016.** Майкл Каннингем "Дом на краю света"

В нашей новой книжной серии "Иллюминатор" читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала "Иностранная литература"
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2000, №10, 1-288